САЛМАН РУШДИ

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЗДОХ МАВРА



Прощальный вздох мавра
Салман Рушди

Аннотация
Салман Рушди. Прощальный вздох мавра
Часть первая. РАЗДЕЛЕННЫЙ ДОМ
1
2
3
4
5
6
7
8
Часть вторая. МАЛАБАРСКИЕ ПРЯНОСТИ
9
10
11
12
13
14
15
Часть третья. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОМБЕЙ
16
17

18
Часть четвертая. «ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЗДОХ МАВРА»
19
20

Аннотация

Для европейцев Индия была и остается страной чудес. Но какова она при взгляде изнутри? Салман Рушди на сегодняшний день - не только самый скандальный, но и самый авторитетный индийский писатель. Ему и его книге "Прощальный вздох Мавра" читатель может довериться.

Место действия этого странного романа - невероятный, причудливый, пряный Бомбей. В его призрачном пространстве и разворачивается полная приключений и лишений история жизни главного героя - заблудившегося во времени скитальца Мораиша Зогойби по прозвищу Мавр. "Портрет человеческой души в аду" - эти слова бедного Мавра, пожалуй, вполне могли бы послужить эпиграфом ко всей книге.

«Портрет человеческой души в аду» – эти слова из горестного монолога главного героя «Прощального вздоха Мавра» можно было бы предпослать всей книге Салмана Рушди. Они являются своего рода ключом к прочтению романа – истории жизни, любви,

приключений и страданий Мавра, – умного, талантливого и глубоко несчастного скитальца, затерявшегося в странном, причудливом мире, рае-аде призрачного Бомбея...

Салман Рушди
Прощальный вздох мавра

Часть первая. РАЗДЕЛЕННЫЙ ДОМ

1

Я потерял счет дням с той поры, как бежал от ужасов безумной горной крепости Васко Миранды в андалусском городке Бененхели, — бежал от смерти под покровом темноты, прибив к двери свое послание. Затем на моем голодном, подернутом знойной дымкой пути были и другие пучки исписанных страниц, взмахи молотка, острые вскрики вгоняемых в дерево двухдюймовых гвоздей. Давно, когда я был еще зелен, любимая сказала мне нежно: «Мавр ты мой, странный темный человек, всегда-то у тебя полно тезисов, как у Лютера, только вот нет церковной двери, чтобы их прибить». (Женщина, считающая себя благочестивой индуисткой, поминает воззвание Лютера в Виттенберге, чтобы подразнить своего совершенно неблагочестивого возлюбленного, потомка индийских христиан, -какими только дорожками не ходят истории, из каких только уст не звучат!) К несчастью, разговор услышала моя мать и выстрелила, словно затаившаяся змея: «Не знаю, как насчет лютеровости, а вот лютости ему не занимать». Да, мама, последнее слово на эту тему осталось за тобой (впрочем, на все другие

— тоже).

«Америка» и «Москва» — так их кто-то прозвал, мою мать Аурору и мою возлюбленную Уму, намекая на враждующие сверхдержавы; говорили, что две женщины похожи одна на другую, но я не видел этого, не в состоянии был увидеть. Обе умерли не своей смертью, а я оказался в чужой стране, где в спину мне дышит погибель, а в руках лежит их история, которую я распинаю на воротах, заборах, стволах олив, которой помечаю ландшафт вдоль моего последнего пути, -история, указывающая на меня. Мой побег превратил местность в подобие пиратской карты, изобилующей подсказками, вереницей косых крестиков подводящей к сокровищу, которое — я сам. Когда преследователи доберутся до меня по оставленным мной приметам, они найдут меня безропотно ожидающим, трудно дышащим, готовым. Здесь я стою. И не мог ничего сделать иначе.

(Скорее уж, здесь я сижу. В этом сумрачном лесу — то есть, на этой масличной горе, в этой роще, под взорами накренившихся так и сяк каменных крестов маленького заросшего кладбища, чуть вниз по дороге от бензоколонки «Ultimo Suspiro»

[1], — без Вергилия и без нужды в нем, на половине земного пути, по запутанным причинам ставшей его концом, я, как пес, подыхаю от изнеможения.)

Мало ли что, милые дамы, можно приколотить гвоздями. Скажем, флаг к мачте. Но после не столь уж длинной (хоть и расцвеченной многими флагами) жизни я остался вовсе без тезисов. Сама жизнь — чем не распятие?

Когда у тебя кончается пар, когда воздух, гнавший тебя вперед, почти на исходе, самое время исповедаться. Пусть это будет завещание, предсмертная (не слишком-то вольная) воля; балаган «Последнее издыханье». Вот объяснение этого «здесь-я-стою-или-сижу» с пригвожденными к ландшафту самообличеньями и ключами от красной крепости в кармане, вот объяснение этой краткой паузы перед окончательной капитуляцией.

Подобает, следственно, пропеть песнь конца; о том, что существовало и не могло существовать далее; о том, что было хорошо и что худо. Испустить прощальный вздох по утраченному миру, уронить слезу ему вдогонку. Также, впрочем,

---

1 Примечания: 1

Прощальный вздох (исп). (Здесь и далее — прим. перев.).

и прокричать прощальное «ура», протравить последнюю отравленную скандальную байку (за неимением видео придется довольствоваться словами), сыграть несколько неблагозвучных поминальных мелодий. Слушайте историю Мавра, полную шума и ярости. Желаете? Впрочем, пусть даже и не желаете. А для начала передайте-ка сюда перец.

— Что вы сказали?

От удивленья заговорить способны и деревья. (А вы — вы никогда в отчаянье и мраке не обращались к стене, пустому воздуху, чучелу собаки?)

Повторяю: перец, пожалуйста; ибо, если бы не эти зерна, то, что завершается сейчас на Западе и на Востоке, не началось бы вовсе. Перец заставил стройные корабли Васко да Гамы пройти двумя океанами от лиссабонского маяка Белен до Малабарского побережья — сначала в Каликут, а оттуда в Кочин с его удобной гаванью-лагуной. Вслед за португальцем-первопроходцем потянулись англичане и французы, так что в эпоху так называемого открытия Индии — хотя как можно было нас открыть, если никто нас до этого не закрывал? — мы были, как выразилась моя прославленная мать, не оправленной жемчужиной, а приправою к ужину. «С самого начало

было ясно, чего добивался мир от пресловутой матери-Индии, — говорила она. — Пикантностей всяких, ради чего мужчины в бордель ходят».

x x x

Слушайте мою историю, историю опалы, какой подвергся высокородный полукровка — я, Мораиш Зогойби, прозванный Мавром, большую часть жизни единственный мужчина-наследник добытых благодаря торговле специями и прочим товаром несметных богатств семейства да Гама-Зогойби из Кочина, отлученный от всего, на что, как считал, имел полное и неотъемлемое право, волей собственной матери Ауроры, урожденной да Гама, выдающейся художницы, ярчайшей из наших мастеров нынешнего века и, в то же время, самой острой на язык женщины в своем поколении, от которой всякий, кто к ней приближался, получал изрядную долю перца. Ее собственные дети не составляли исключения. «Мы девички-католички, богемное отродье, у нас в жилах полно красного перца чили, — говорила она. — И никаких поблажек родимой плоти и крови! Милые вы мои, плоть — наша пища, кровь — любимый напиток».

"Быть отпрыском нашей инфернальной Ауро-

ры, — услышал я в юности от Васко Миранды, художника из Гоа, -воистину означает быть Люцифером наших дней. Ну, ты понял — сыном зари [2]". К тому времени моя семья уже переехала в Бомбей, и в том подобии рая, каким был легендарный салон Аурoры Зогойби, эти слова могли сойти за комплимент; но я вспоминаю их как пророчество, ибо настал день, когда я был изгнан из этого сказочного сада и низвергнут в Пандемониум. (Лишенный своей натуральной среды, мог ли я не соблазниться ее противоположностью? Я имею в виду антинатурализм — единственный реальный изм нашего абсурдного, вывернутого наизнанку времени. Кого отвергла МА-ТЬ, того, разумеется, манит ТЬ-МА. Вышвырнутый из своей истории, Мораиш Зогойби покатился к истории мировой.)

— И все это высыпалось из перечницы!

Ну, тут не один, конечно, перец — еще и кардамон, кешью, корица, имбирь, фисташки, гвоздика; а помимо орехов и специй — кофе и его величество чайный лист. Но приходится признать, что, как говорила Аурора, «перец шел даже не в первую очередь, а вне всякой очереди,

---

2 Примечания: 2

Люцифер в переводе с латыни означает «утренняя звезда». Аврора — римская богиня утренней зари.

поскольку, если хочешь быть первым, не надо становиться ни в какую очередь». И что верно в отношении всей индийской торговли, верно и в отношении наших семейных капиталов: перец, вожделенное черное золото Малабара, был главным источником дохода моих до неприличия богатых предков, крупнейших в Кочине торговцев пряностями, орехами, кофе и чаем, которые без всяких оснований, если не считать вековой молвы, вели свой род от побочного сына самого великого Васко да Гамы!..

Никаких больше секретов. Все написано и пригвождено.

2

В тринадцать лет моя мать Аурора да Гама взяла моду ночами бродить босиком по большому, полному запахов дому ее деда и бабки на острове Кабрал — в то время ее часто посещала бессонница, и, странствуя по комнатам, она неизменно распахивала повсюду окна: сначала внутренние створки, затянутые тонкой сеткой, что защищала обитателей дома от крохотных москитов, затем рамы, застекленные флинтгласом, и наконец ставни из деревянных планок. Вследствие этого Эпифания, шестидесятилетняя владычица дома, в чьей личной москитной сетке за годы образовалось изрядное число небольших, но существенных прорех, которых она не замечала по близорукости или прикидывалась, что не замечает, по скупости, — вследствие этого она каждое утро просыпалась от зуда в костлявых руках с голубоватыми прожилками и испускала писклявый вопль при виде насекомых, вьющихся вокруг подноса с чаем и сладким печеньем, поставленного у ее кровати служанкой Терезой (та мгновенно исчезала). Эпифанией овладевал приступ бесполезного хлопанья и расчесыванья,

она металась по своей вогнутой кровати-лодке из тикового дерева и нередко проливала чай на кружевное покрывало или белую муслиновую ночную рубашку с высоким оборчатым воротником, скрывавшим ее когда-то лебединую, а теперь морщинистую шею. И пока она колотила направо и налево зажатой в одной руке мухобойкой, одновременно терзая себе спину длинными ногтями другой руки, ночной чепец падал с головы Эпифании да Гамы, открывая спутанные седые патлы, сквозь которые, увы, слишком явственно просвечивала усеянная крапинками кожа. Когда юная Аурора, подслушивавшая за дверью, решала, что шум и ярость ненавистной бабки (проклятия, звон разбитой чашки, бессильные шлепки мухобойки и презрительное жужжание москитов) достигли апогея, она изображала на лице сладчайшую улыбку и этаким легким ветерком влетала в спальню почтенной вдовы с преувеличенно радостным пожеланием доброго утра, прекрасно понимая, что бешеная злость матери всего кочинского семейства да Гама, застигнутой в старческой беспомощности, теперь выплеснется за все мыслимые пределы. Эпифания, стоя на коленях посредине залитой чаем простыни, тряся всклокоченными волосами, раз-

махивая мухобойкой, как сломанной волшебной палочкой, голосила при виде непрошеной гостьи наподобие настоящей ведьмы или ракшасы [3] — к тайному удовольствию Ауроры.

— Охо-хо, девчонка, как ты меня напугала, когда-нибудь ты мне сердце погубишь!

Вот так идея убийства бабушки была высказана в присутствии Ауроры да Гамы самой предполагаемой жертвой. После этого моя мать стала строить разнообразные планы, но ее все более зловещие фантазии о ядах и отвесных утесах неизменно наталкивались на практические препятствия — например, на невозможность раздобыть кобру и заманить ее в постель Эпифании или на категорическое нежелание старой карги ступать по любой земле, где имеются «горбы и ямы». И хотя Аурора прекрасно знала, где взять остро заточенный кухонный нож, и даже была уверена, что ей хватит сил задушить Эпифанию голыми руками, эти варианты она отвергла тоже, поскольку отнюдь не желала попадаться и понимала, что неприкрытое убийство может повлечь за собой неприятные вопросы. Не в состоянии изобрести безупречное преступление, Аурора

3 Примечания: 3

Ракшаса — злой демон в индуистской мифологии.

продолжала разыгрывать безупречную внучку — но втихомолку предавалась мечтаниям, не замечая, что жестокость этих мечтаний сродни жестокости самой Эпифании.

— Ничего, потерпим, — говорила она себе. — Придет мое времечко.

Пока что она влажными ночами бродила по комнатам, открывала окна и порой выбрасывала в них ценные вещицы: резные деревянные фигурки с хоботом вместо носа, которые потом покачивались на волнах лагуны и стукались в стены стоящего на острове дома; искусно обработанные слоновьи бивни, которые, разумеется, сразу шли на дно. Несколько дней семья недоумевала, пытаясь понять, что происходит. Сыновья Эпифании да Гамы — Айриш, дядя Авроры, и ее отец Камоинш — проснувшись, обнаруживали, что зловредные ночные ветерки повыдували рубашки из шкафов и деловые бумаги из выдвижных ящиков. Проворные пальчики сквозняков развязывали горловины джутовых мешков, что, подобно часовым, неизменно стояли вдоль сумрачных коридоров служебной части дома и содержали образцы товара — зерна крупного и мелкого кардамона, лист карри, орехи кешью, — и в результате фисташки и семена фенугрека

принимались бешено скакать по истертому старому полу, выложенному известняком с применением древесного угля, яичных белков и прочих позабытых ингредиентов, и запах специй мучил владычицу дома, которая с годами все больше страдала аллергией на эти источники семейного благополучия.

И если москитам довольно было открытых сетчатых створок, а противным сквознякам — распахнутых рам, то сквозь растворенные ставни в дом проникало все остальное: пыль, мельтешенье лодок в кочинской гавани, гудки грузовых судов и пыхтенье буксиров, соленые шутки рыбаков и пульсация боли в их обожженных медузами ногах, солнце острей ножа, зной, способный убить, как затянутая вокруг головы сохнущая тряпка, крики лодочников-торговцев, долетающая по воде из Маттанчери печаль неженатых евреев, ощущение постоянной опасности из-за контрабандистов, вывозящих изумруды, махинации конкурентов, нарастающая нервозность британцев в кочинском форте, денежные требования управляющих и рабочих на плантациях в Пряных горах, толки о подрывной деятельности коммунистов и политике Индийского национального конгресса, фамилии Ганди и Неру,

разговоры о голоде на востоке и голодовках на севере, песни и стук барабанов бродячих сказителей, тяжелый гул накатывающих на хлипкую пристань острова Кабрал волн истории. — Что за мерзопакостная страна, боже ты мой, — ругался за завтраком дядя Айриш в своей лучшей гетро-воротничковой манере. — А тут кому-то приобщиться к ней захотелось, да? Опять какой-то хулиган-безобразник впустил ее в дом. Что у нас здесь, черт возьми, — пристойное жилище или, извините за выражение, сральня?

В то утро Аурора поняла, что зашла слишком далеко: дело в том, что ее нежно любимый отец Камоинш, небольшого роста, прямой как палка человечек с эспаньолкой и в яркой длиннополой перепоясанной рубашке, которого тростинка-дочь уже переросла на целую голову, вывел ее на маленькую пристань, и там, чуть не прыгая от возбуждения и избытка чувств, так что на фоне невероятной красоты неутомимо-деятельной лагуны его можно было принять за персонаж из сказки, за танцующего на поляне эльфа или доброго джинна из волшебной лампы, он заговорщическим шепотом поведал ей великую и волнующую весть. Названный в честь прослав-

ленного поэта [4] и мечтательный от природы (хотя и не даровитый), Камоинш пугливо предположил, что в доме появился призрак.

— Я верю, — сказал он онемевшей от изумления дочери, — что к нам вернулась твоя дорогая мамочка. Ты помнишь, как она любила свежий воздух, как она сражалась из-за него с твоей бабушкой; а теперь каким-то чудом окна стали распахиваться. И подумай, дочь моя, какие вещи стали пропадать! Именно то, чего она терпеть не могла, правда ведь? Слонобоги Айриша, так она их называла. Они-то и исчезли теперь, все статуэтки Ганеши [5] из дядиной коллекции. Плюс слоновая кость.

Эпифанские бивни. Слишком много слонов на один дом. Покойная Белла да Гама всегда говорила, что думала.

— Мне кажется, сегодня ночью, если я не лягу спать, я, может быть, вновь увижу ее незабвенное лицо, — признался Камоинш со страстной тоской. — Что ты на это скажешь? Нам подан знак,

---

4 Примечания: 4

Имеется в виду великий португальский поэт Луиш ди Камоинш (1524 или 1525-1580; в русской традиции — Камоэнс).

5 Примечания: 5

Ганеша — один из богов индуистского пантеона. Изображается в виде человека со слоновьей головой.

это ясно. Побудешь ночью со мной? У нас с тобой горе одно на двоих: мне без супруги туго, тебе без мамашки тяжко.

Аурора, густо покраснев, крикнула:

— Не верю я ни в какие гадкие привидения! — и побежала в дом, не в силах сказать правду, не в силах сознаться, что она сама была призраком своей умершей матери, за нее совершала поступки, говорила ее отлетевшим голосом; что ночными хожденьями она воскрешала мать, впускала покойницу в свое тело, вцеплялась в смерть, отрицала ее, утверждала постоянство любви до гроба и за гробом; что она стала для матери новой зарей, новым вместилищем ее духа, двумя женщинами в одной.

(Много лет спустя она назовет свой собственный дом «Элефанта»; так что слоновьи дела, как и призрачные, будут и дальше играть роль в нашей саге.)

x x x

Со дня смерти Беллы тогда прошло только два месяца. Адовой Беллы, как часто называл ее дядюшка Айриш (он, надо сказать, давал прозвища всем подряд, грубо навязывая внешнему миру свою внутреннюю Вселенную); Изабеллы Хи-

мены да Гамы, бабушки, которую я не застал в живых. Они с Эпифанией сразу начали враждовать. Овдовев в сорок пять лет, Эпифания тут же принялась играть роль главы дома; бывало, усевшись с блюдцем фисташек в утренней прохладе своего любимого дворика, она обмахивалась веером, властно трещала разгрызаемой скорлупой и пела немилосердно громким голосом:

Шафто мой ушел в Похо-од,
Он вернется через го-од…

— Крак! Крак! — раскалывались орехи у нее во рту.

Хоронить меня вернется
Бедненький мой Шафто.

За все годы ее жизни только Белла ни разу не испытала перед ней страха.

— Все не так, — задорно заявила свекрови девятнадцатилетняя Изабелла на следующий же день после того, как она вошла в дом на правах нежеланной, но скрепя сердце принятой, молодой невестки. — Не хоронить и не бедненький. Очень мило с вашей стороны петь в таком возрасте любовную песню, но из-за неправильных слов получается бессмыслица, разве не так?

— Камоинш, — сказала окаменевшая Эпифания, — попроси свою благоверную закрыть кран. Она нам дом кипятком зальет.

В последующие дни попурри из народных песенок с вариациями и импровизациями звучало с удвоенной силой: Как нам быть с вопросом странным? — вместо «матросом пьяным», — на что новоиспеченная невестка реагировала сдавленным смехом; Эпифания, нахмурившись, меняла пластинку: Тихо веслами греби, друга милого вези, — пела она, видимо, советуя Белле уделять больше внимания своим супружеским обязанностям, и афористически-назидательно заканчивала: Как в народе говорится, — крак! — ты жена, а не царица.

О эти легенды о битвах в кочинском семействе да Гама! Я передаю их так, как они дошли до меня, приукрашенными и отполированными после многих пересказов. В них — призраки былого, дальние тени, и я рассказываю эти истории, чтобы с ними распрощаться; кроме них у меня ничего не осталось, и я выпускаю их на волю. От кочинской гавани до бомбейской, от Малабарского побережья до Малабар-хил-ла [6]; истории

---

6 Примечания: 6
Малабар-хилл — фешенебельный район Бомбея.

наших соединений и разрывов, наших взлетов и падений, наших горбов и ям. А там — прощай, Маттанчери, прощай, Марин-драйв [7]… так или иначе, к тому времени, как в изголодавшемся по детям семействе родилась и выросла в тринадцатилетнюю долговязую строптивицу моя будущая мать Аурора, линии фронта уже были четко проведены.

— Слишком высокая для девочки, — прозвучал суровый приговор Эпифании, когда Аурора вошла в подростковый возраст. — Глаза беспокойные — черти в них пляшут. И грудь уже торчмя торчит — никакого приличия.

На что Белла вскинулась:

— Можно подумать, ваш разлюбезный Айриш радует вас идеальным потомством! Скажите спасибо, что есть хоть одна юная да Гама, живая и здоровая, и не беда, что титъки-митьки большие. У братца Айриша и сестрицы Сахары зато тишь да гладь: ни титек, ни деток.

Жену Айриша звали Кармен, но Белла, подражая пристрастию деверя к выдумыванию прозвищ, окрестила ее именем пустыни, «потому что она плоская, как доска, и на всей этой бес-

---

7 Примечания: 7
Марин-драйв — набережная в Бомбее.

плодной равнине я не вижу ни одного местечка, где можно утолить жажду».

Айриш да Гама, обильно смачивавший бриллиантином свои густые волнистые седые волосы (с давних пор ранняя седина была нашей семейной чертой; моя мать Аурора уже в двадцать лет ходила с волосами снежной белизны, и сколько же сказочного блеска, сколько льдистой gravitas [8] прибавляли к ее красоте эти серебряные каскады!), — о, как он позировал, мой двоюродный дедушка! Помню, какой смешной у него был вид на маленьких, два на два дюйма, черно-белых фотографиях: монокль, жесткий крахмальный воротничок, костюм-тройка из великолепного габардина. В одной руке — трость с набалдашником из слоновой кости (и со стилетом внутри, — шепчет мне на ухо семейное предание), в другой — длинный мундштук; и я должен с сожалением отметить, что он носил гетры. Добавить бы сюда высокий рост да закрученные усы, и вышел бы законченный опереточный негодяй; но Айриш был таким же маломерком, как его брат, и чисто брил лицо, которое у него слегка лоснилось, так что его облик прожигателя жизни производил скорее

8 Примечания: 8
Весомости (лат.).

жалкое, чем отталкивающее впечатление.

Здесь же, на другой странице фотоальбома памяти, -сутулая, слегка косоглазая двоюродная бабушка Сахара, «женщина без оазисов», жующая бетель верблюжьими челюстями и выглядящая так, словно у нее вырос горб. Кармен да Гама была двоюродной сестрой Айриша, осиротевшей дочерью сестры Эпифании по имени Блимунда и владельца мелкой типографии, некоего Лобу. И мать, и отец Кармен умерли во время эпидемии малярии, шансы на замужество были у нее абсолютно ничтожные, — и вдруг Айриш, к изумлению своей матери, заявляет, что не прочь на ней жениться. Эпифания, мучась сомнениями, неделю не смыкала глаз, не в состоянии решить, что важнее: ее мечта о том, чтобы подыскать Айришу приличную партию, или настоятельная необходимость пристроить Кармен, пока не поздно. В конце концов долг перед умершей сестрой перевесил заботу о счастье сына.

Кармен никогда не выглядела молодой, ни разу не забеременела, всеми правдами или неправдами мечтала присвоить наследную долю Камоинша и его ветви семейства и ни одной живой душе не обмолвилась о том, что в первую брачную ночь ее муж вошел в спальню поздно

вечером, не удостоил даже взглядом лежащую в постели и охваченную девственным трепетом молодую костлявую невесту, с неторопливым тщанием разделся догола, затем столь же аккуратно облачился (будучи одного с ней роста) в ее подвенечное платье, которое, как символ их союза, служанка оставила красоваться на портновском манекене, и вышел наружу через дверь уборной. С воды до Кармен донесся свист, и, стоя у окна в простынном саване меж тем, как тяжкое предвидение будущего наваливалось ей на плечи и пригибало их книзу, она увидела мерцающее в лунном свете свадебное платье и молодого гребца, увлекающего и платье, и одетого в него человека вдаль, навстречу тому, что у этих загадочных существ зовется наслаждением.

История костюмированной эскапады Айриша, оставившего мою двоюродную бабушку Сахару в холодных барханах не запятнанных кровью простынь, дошла до меня вопреки ее молчанию. Даже в обычных семьях секреты большей частью выходят наружу; а в нашем далеко не обычном клане многое из того, что хранилось в глубокой тайне, рано или поздно писалось маслом по холсту и вывешивалось на стенах галерей… но тогда, опять-таки, возможно, весь инцидент был вы-

думкой, семейной легендой, сочиненной, чтобы шокировать, но не слишком, чтобы сделать более приемлемым — то есть более экзотическим, более красивым — гомосексуализм Айриша? Ибо при том, что Аурора да Гама впоследствии изобразила эту сцену — на ее холсте мужчина в освещенном луной платье сидит очень прямо, глядя на блестящий от пота обнаженный торс гребца, — двойной портрет, несмотря на всю богемную репутацию художницы, вполне мог быть приукрашивающей жизнь фантазией, лишь в меру скандальной, и история эта, как она писалась красками и рассказывалась словами, может быть, имела единственной целью набросить на тайный порок Айриша изящную вуаль, скрыть член и задницу, кровь и сперму, боязливую решительность малорослого денди, выискивающего крепких телом партнеров в кишащем крысами порту, восторг и ужас покупных объятий, наслаждение на темных задворках и в бедных лачугах с плечистыми грузчиками, мускулистые ягодицы молодых велорикш и малокровные губы базарных мальчишек; ведь она, эта история, умалчивала о реальностях капризной, изобиловавшей ссорами и весьма далекой

от верности amour fou [9] — многолетней связи Айриша с ночным гребцом, которого он окрестил Принцем Генрихом-мореплавателем [10]… короче, она показала нам принаряженную истину, быстренько отослала ее за кулисы и стыдливо опустила глаза.

Нет, господа. Авторитет картины неоспорим. Что бы ни случилось потом между ними тремя — о странной близости на склоне лет между Принцем Генрихом и Кармен да Гамой будет рассказано в свой черед, — эпизод с подвенечным платьем лежит у истоков всего.

Нагота под присвоенным свадебным нарядом, лицо жениха под вуалью невесты — именно это соединяет мое сердце с памятью о моем чудаковатом двоюродном дедушке. Многое в нем мне противно; но в этом царственно-женском образе, в котором многие у меня на родине (и не только на родине) способны увидеть только ущербность, я вижу и отвагу, и величие — да, величие.

— Но если это не член в заднице, — говорила о жизни с нелюбимым дядюшкой Айришем моя дорогая мама, унаследовавшая от своей матери

---

9 Примечания: 9
Сумасбродной любви (фр.).

10 Примечания: 10
Известный под этим прозвищем португальский принц жил в XV веке.

бесстрашный язык, — то, милый мой, уж точно кость в горле.

x x x

Если мы хотим копать всерьез, если хотим добраться до корня всех наших семейных раздоров, преждевременных смертей, попранных любовей, бешеных страстей, слабых грудей, соблазнов власти и денег, наконец, еще более нравственно сомнительных соблазнов и тайн искусства — не забудем же того, кто заварил всю кашу, кто первым покинул свою естественную среду и утонул, чья смерть в пучине выбила чеку колеса, краеугольный камень, положила начало постепенному упадку семьи, завершившемуся моим низвержением; не забудем Франсишку да Гаму, покойного супруга Эпифании.

Да, и Эпифания была когда-то невестой. Она происходила из старинного, но сильно обедневшего торгового клана Менезишей из Мангалуру. Эпифания дала немалую пищу зависти, когда после случайной встречи на свадьбе в Каликуте отхватила самый жирный кусок, — вопреки всякой справедливости, рассуждали многие разочарованные мамаши, ибо столь богатому человеку следовало бы погнушаться тощими

банковскими счетами, поддельными драгоценностями и дешевыми нарядами пришедшего в безнадежный упадок семейства этой маленькой авантюристки. В начале столетия на нравах супруги моего прадеда Франсишку она появилась на острове Кабрал, который стал первой из четырех обособленных, змеиных, эдемско-преисподних приватных Вселенных той истории. (Салон моей матери на Малабар-хилле был второй из них; поднебесный сад отца — третьей; диковинная цитадель Васко Миранды, его «Малая Альгамбра» в испанском городке Бененхели была, есть и останется в моем рассказе последней.) Там она увидела величественный старый лом в традиционном стиле с восхитительной вязью внутренних двориков, с зацветшими водоемами и заросшими травой фонтанами, с резными деревянными круговыми галереями, с высокими потолками комнат, образующих настоящий лабиринт, с крутой черепичной крышей. Подлинный рай для богатого человека среди тропической растительности — именно то, что нужно, решила про себя Эпифания, ибо, хотя в девичестве ее жизнь была относительно скудной, она всегда считала, что имеет талант к роскошеству.

Однако в один прекрасный день, через несколь-

ко лет после рождения двоих сыновей, Франсишку да Гама привел в дом неприлично молодого и что-то слишком обходительного французика, некоего Шарля Жаннере, считавшего себя гением архитектуры, хотя ему едва сравнялось двадцать лет. Эпифания и глазом не успела моргнуть, как легковерный муженек подрядил нахального юнца на возведение даже не одного, а сразу двух новых домов в ее драгоценных садах. И что за безумные вышли строения! Одно — из каменных плит, странной угловатой формы, причем сад проникал в интерьер настолько прихотливо, что иной раз трудно было понять, снаружи или внутри ты находишься, а мебель, казалось, была предназначена для больницы или уроков геометрии, сядешь на что-нибудь — и непременно напорешься на острый угол; другое — карточный домик из дерева и бумаги, «в японском стиле», объяснил архитектор охваченной ужасом Эпифании, чрезвычайно хрупкий и готовый вспыхнуть от малейшей искры, с раздвижными пергаментными ширмами вместо стен, где в комнатах можно было только стоять на коленях, потому что сидеть было не на чем, где спать следовало укладываться на расстеленные по полу тюфяки, подкладывая под головы деревянные

чурки, словно мы слуги какие-нибудь, где все было настолько у всех на виду и на слуху, что, как заметила однажды Эпифания, «тут по крайней мере всегда знаешь, у кого из домашних болит живот, — стены-то в уборной из туалетной бумаги сделаны».

Но это еще полбеды; куда хуже, что, когда оба сумасшедших дома были готовы, Франсишку частенько стало надоедать их роскошное старое жилище, и тогда он за завтраком хлопал рукой по столу и объявлял, что они едут «на Восток» или «на Запад», после чего домочадцам ничего не оставалось, как перебираться со всем хозяйством и скарбом в один или другой архитектурный каприз француза, и никакие протесты не помогали. Прожив там несколько недель, они опять снимались с места.

Франсишку да Гама не только оказался неспособен жить, как все люди, оседлой жизнью; вдобавок, к ужасу Эпифании, он возомнил себя покровителем искусств. Орды пьющих ром и виски, потребляющих наркотики, возмутительно одетых личностей низкого пошиба начали совершать длительные набеги на оба французских дома, наводняя их режущей слух музыкой, поэтическими марафонами, обнаженными мо-

делями, марихуанными окурками, карточной игрой на всю ночь и прочими проявлениями своего во всех отношениях нетрадиционного поведения. Наезжали заграничные художники и скульпторы, после которых оставались висеть странные конструкции, шевелящиеся от легкого ветерка и напоминающие огромные вешалки для одежды, да еще изображения женщин-дьяволиц с обоими глазами по одну сторону носа и гигантские холсты, где словно случилась какая-то беда с красками, и все это безобразие Эпифания должна была терпеть на стенах комнат и во двориках своего милого дома и каждый день на него любоваться, словно это невесть как красиво.

— От твоего художества-убожества, Франсишку, — сказала она мужу ядовито, — я скоро ослепну. Но никакие яды на него не действовали.

— Старой красоты недостаточно, — заявил он. — Сколько можно строить, жить, верить по старинке? Мир сдвинулся с места, и теперь красота проявляет себя по-новому.

Франсишку обладал героическими задатками, был рожден для дерзаний и подвигов и ладил с домашним укладом не лучше Дон-Кихота. При дьявольской красоте он был адски даровит и на крикетных площадках, которые тогда покрывали

волокном кокосовой пальмы, демонстрировал коварную крученую подачу слева и элегантный прием мяча. В колледже он был самым блестящим студентом-физиком на своем курсе, но рано осиротел и после многих размышлений решил пожертвовать научной карьерой, исполнить семейный долг и войти в бизнес. Возмужав, Франсишку в совершенстве овладел вековым искусством рода да Гама превращать пряности и орехи в золото. У него развилось тончайшее чутье на деньги, он мог повести носом и сказать, прибыль ожидается или убыток; но при этом он был еще и филантропом — давал деньги приютам для сирот, открывал бесплатные поликлиники, строил школы в деревнях по берегам лагун, финансировал исследования болезней кокосовой пальмы, защищал от истребления слонов, что водились в горах над его плантациями пряностей, и учредил ежегодный конкурс сказителей, приурочив его к Онаму — празднику урожая. Столь щедрым потоком изливалась его благотворительность, что Эпифания не раз ударялась в бесплодные причитания:

— Ты же так все по ветру пустишь, дети побираться пойдут! Что мы тогда кушать будем — антропологию?

Она билась с ним за каждую пядь и проиграла все битвы, кроме последней. Подлинный прогрессист, постоянно вперявший взор в будущее, Франсишку стал последователем сначала Бертрана Рассела («Религия и наука» и «Вера свободного человека» — вот были две его безбожные Библии), затем — все более и более национально ориентированного Теософского общества, возглавляемого госпожой Анни Безант. Не нужно забывать, что Кочин, Траванкур, Майсур и Хайдарабад формально не входили в Британскую Индию — это были княжества со своими местными махараджами. Кочин, к примеру, по уровню образования и грамотности намного опережал районы, напрямую управлявшиеся британцами, однако, скажем, в Хайдарабаде существовало то, что Неру называл «абсолютным феодализмом», а в Траванкуре даже Индийский национальный конгресс был объявлен вне закона; но не будем смешивать (Франсишку не смешивал) видимость и сущность; фиговый листок — он фиговый и есть. Когда Неру поднял в Майсуре национальный флаг, местные (индийские) власти, едва он покинул город, уничтожили не только флаг, но и флагшток, лишь бы не прогневались истинные владыки… Вскоре после того, как в тридцать вось-

мой день рождения Франсишку началась первая мировая война, что-то у него внутри сдвинулось.

— Британцы должны уйти, — торжественно провозгласил он за обедом, сидя под портретами чопорных предков.

— О Господи, куда они уходят? — забеспокоилась Эпифания, не совсем верно его поняв. — Неужели в такое тяжелое время они бросят нас на произвол судьбы, на растерзание этому негодяю Вильгельму?

Тут Франсишку взорвался — двенадцатилетний Айриш и одиннадцатилетний Камоинш так и приросли к стульям.

— Нас уже бросили на растерзание! — грохотал он. — Налоги удвоены! Наши юноши гибнут в британских мундирах! Национальное богатство вывозится — люди голодают, а британским томми подавай нашу муку, рис, джут и кокосы. Меня принуждают сбывать товар дешевле себестоимости. Они опустошают наши недра — забирают селитру, слюду, марганец. Какого черта! Бомбейские богачи жируют, а народ нищенствует.

— Ты задурил себе голову учеными книжками! — возмутилась Эпифания. — Мы самые что ни на есть дети Империи. Британцы дали нам все, все — цивилизацию, закон, порядок, тебе мало?

И пряности твои, которыми пропах весь дом, они покупают у тебя из милости, чтобы твои дети были сыты и одеты. Так зачем нести околесицу и пачкать детские уши безбожной клеветой и изменой?

После этого дня они мало что могли друг другу сказать. Айриш в пику отцу взял сторону матери; они с Эпифанией стояли за Англию, Бога, филистерство, традиции, тихую жизнь. Франсишку был весь — пыл и энергия, поэтому Айриш сделался подчеркнуто праздным и нарочно бесил отца своим ленивым роскошеством. (По иным причинам я в юности тоже отдал дань лени. Но это не было никому в пику -просто я тщетно пытался противопоставить мою медлительность ускоренному бегу Времени. Об этом тоже будет рассказано в надлежащем месте.) Зато Франсишку нашел союзника в младшем сыне, Камоинше — мальчик заразился от него идеями национальной независимости, разума, искусства, новизны и, что было в ту пору главным, — протеста. Франсишку разделял тогдашнее презрение Неру к Индийскому национальному конгрессу — говорильне для местных", — и Камоинш вдумчиво соглашался.

— Анни то, Ганди се, — дразнила сына Эпи-

фания. — Неру, Тилак, вся эта банда с севера. Давай-давай, действуй! Плюй на родную мать! В тюрьму, видно, решил угодить.

В 1916 году Франсишку да Гама примкнул к кампании Анни Безант и Балгангадхара Тилака за самоуправление, присоединив свой голос к требованию учредить в Индии независимый парламент, который определил бы будущность страны. Когда госпожа Безант попросила его создать в Кочине Лигу самоуправления и у него хватило смелости включить в нее, наряду с местной буржуазией, портовых грузчиков, сборщиков чая, базарных кули и рабочих с его же собственных плантаций, Эпифания пришла в ужас.

— Массы и классы в одном клубе! Вот стыдобато! Этот человек лишился рассудка, — провозгласила она слабым голосом, обмахиваясь веером, после чего подавленно умолкла.

Через несколько дней после учреждения Лиги в припортовом районе Эрнакулама [11] произошли уличные столкновения; несколько десятков воинственно настроенных членов Лиги одолели маленькое легковооруженное воинское подразделение и рассеяли его, отобрав у солдат оружие.

---

11 Примечания: 11

Эрнакулам — город, фактически слившийся с Кочином.

На следующий день Лига была официально запрещена, а за Франсишку да Гамой на остров Кабрал пришел моторный катер, и его взяли под арест.

В последующие полгода он то выходил из тюрьмы, то снова в нее попадал, чем снискал презрение старшего сына и непреходящее восхищение младшего. Да, герой, чего уж там. Эти периоды отсидки и бешеная политическая деятельность на свободе, когда, следуя указаниям Тилака, он во многих случаях сознательно навлекал на себя арест, принесли ему репутацию человека с будущим, того, к кому стоит присмотреться, за кем идут люди, — репутацию звезды.

Звезда может зайти за тучу; у героя может зайти ум за разум; Франсишку да Гама не исполнил своего предназначения.

x x x

В тюрьме у него нашлось время для работы, которая погубила его. Никому не удалось выяснить, где, на какой умственной свалке подобрал мой прадед Франсишку «научную» теорию, которая превратила его из потенциального героя в посмешище всей страны; так или иначе, в те годы она чем дальше, тем больше его занимала, постепенно оттесняя на второй план даже идею

национальной независимости. Возможно, былой интерес к теоретической физике соединился у него в голове с новыми увлечениями: теософией госпожи Безант, призывом Махатмы к единению населяющих Индию крайне разношерстных миллионов и характерными для индийских интеллектуалов-модернистов того времени поисками некоего внерелигиозного определения духовной жизни и такого стертого понятия, как душа; словом, в конце 1916 года Франсишку отпечатал частным образом статью, которую затем разослал всем ведущим научным журналам и которую назвал «К предварительной теории трансформационных полей сознания (ТПС)». В ней он выдвинул гипотезу о существовании повсюду вокруг нас невидимых «динамических духовно-энергетических сетей, сходных с электромагнитными полями» и предположил, что эти «поля сознания» суть не что иное, как хранилище памяти людского рода — как практической, так и нравственной — и что они представляют собой, по сути дела, то самое, что джойсовский Стивен [12] (в недавней публикации журнала «Эгоист») желал выковать в кузнице своей души, — извеч-

12 Примечания: 12

Имеется в виду персонаж автобиографического романа Дж. Джойса «Портрет художника в юности».

но сущее сознание человечества.

На низшем уровне своего воздействия ТПСы облегчают процесс познания: то, что где-либо кем-либо на Земле уже познано, становится тем самым легче познаваемо для любого другого человека в любом другом месте; но в статье также утверждалось, что на самом высоком уровне — разумеется, наиболее трудноуловимом — поля оказывают этическое воздействие, влияя на наш выбор и испытывая, в свой черед, его влияние, укрепляясь от всякого нравственного решения и, соответственно, слабея от всякого подлого деяния; поэтому, в теории, переизбыток дурных поступков может непоправимо нарушить структуру полей сознания, и «человечество тогда столкнется с ужасающей реальностью безнравственной (и, следовательно, бессмысленной) Вселенной вследствие разрыва этической ткани, своего рода страховочной сетки, которая всегда нас оберегала».

Фактически в статье Франсишку хоть с какой-то долей убежденности говорилось лишь о низших, познавательных функциях полей, а об их нравственной роли упоминалось в порядке предположения и только в одном сравнительно коротком пассаже. Тем не менее на автора обру-

шилась мощная волна издевательств. Мадрасская газета «Хинду» в редакционной статье под заголовком «Громы и молнии добра и зла» высмеяла его жесточайшим образом: «Переживания господина да Гамы по поводу нашего нравственного будущего сродни страхам какого-нибудь безумного метеоролога, который уверовал, что наши поступки влияют на погоду и что если мы будем вести себя плохо, то нас ожидают беспрерывные грозы и ураганы». Автор сатирической колонки в «Бомбей кроникл» под псевдонимом «Кусака» (главный редактор газеты Хорниман, симпатизировавший госпоже Безант и национальному движению, настоятельно просил Франсишку воздержаться от публикации) ядовито вопрошал, относятся ли пресловутые поля сознания только к людскому роду, или же прочие живые твари — скажем, тараканы, ядовитые змеи — также могут научиться извлекать из них пользу; а, может быть, каждый биологический вид окутывает нашу планету своим собственным вихревым облаком? "Следует ли нам бояться искажения наших нравственных ценностей — назовем это Гама-радиацией — из-за случайных столкновений с чужими полями? Могут ли сексуальные обычаи богомола, эстетика бабуинов и горилл,

скорпионъя политика губительно влиять на наши разнесчастные души? Или — упаси, Господи — может быть, уже повлияли!! "

Эти-то «Гама-лучи» и добили Франсишку; он стал для всех посмешищем, разрядкой от жестокостей войны, экономических тягот и изнурительной борьбы за независимость. Поначалу он еще хорохорился и лихорадочно разрабатывал эксперименты для подтверждения своей первой, малой гипотезы. Он написал новую статью, где предложил в качестве основы для тестов взять «болы», длинные цепочки бессмысленных слов, употребляемых учителями танца «катак» для обозначения движений ног, рук и головы. Одну такую цепочку (тат-тат-таа дршай-тан-тан джи-джи-катай ту, таланг, така-тан-тан, тай! тат тай! — и так далее) можно было бы использовать наряду с контрольной группой из четырех подобных ей других бессмысленных звуковых цепочек, произносимых в том же ритме. Студенты-иностранцы, незнакомые с индийскими плясками, должны будут заучить все пять, и, если теория Франсишку верна, танцевальную белиберду запомнить окажется куда легче.

Эксперимент так и не был проведен. В скором времени Франсишку вывели из состава запре-

щенной Лиги самоуправления, и ее лидеры, в число которых теперь входил сам Мотилал Неру [13], перестали отвечать на все более жалобные письма, которыми мой прадед их забрасывал. Богемные десанты перестали высаживаться на острове Кабрал, чтобы предаваться разгулу в одном или другом садовом домике, курить опиум на бумажном Востоке или пить виски на угловатом Западе; впрочем, время от времени, поскольку слава французика росла, Франсишку спрашивали, действительно ли он был первым индийским заказчиком молодого человека, который теперь называет себя Ле Корбюзье. На подобные вопросы поверженный герой сухо отвечал: «Первый раз о нем слышу». Вскоре от него отстали.

Эпифания торжествовала. Франсишку все глубже погружался в уныние, уходил в себя, все сильней кривил лицо и поджимал губы, как часто делают те, кто считает, что мир совершил по отношению к ним большую и совершенно незаслуженную несправедливость; и тут она нанесла быстрый, убийственный удар (убийственный в буквальном смысле, как выяснилось потом). Я пришел к заключению, что ее подавлен-

13 Примечания: 13

Мотилал Неру (1861-1931) — деятель индийского национально-освободительного движения, отец Джавахарлала Неру.

ное недовольство с течением лет переросло во мстительную ярость — ярость, вот мое истинное наследие! — которая порой доходила до подлинно смертельной ненависти; хотя спроси ее прямо, любит ли она мужа, она сочла бы такой вопрос возмутительным.

— Мы заключили этот брак по любви, — сказала она удрученному супругу в один из невыносимо долгих вечеров на острове: они двое плюс радио. — Ради чего же еще я терпела твои прихоти? Смотри, до чего они тебя довели. Теперь ради любви ты мою прихоть потерпи.

Ненавистные садовые домики были заперты. Отныне в ее присутствии запрещалось говорить о политике: мир потрясла российская революция, окончилась мировая война, с севера начали просачиваться слухи об амритсарской бойне [14], положившей конец остаткам англофилии у индусов (лауреат Нобелевской премии Рабиндранат Тагор вернул королю присвоенный ему рыцарский титул), — а Эпифания да Гама на острове Кабрал, заткнув уши, оставалась до неприличия верна своим представлениям о всесильных и благодетельных британцах; старший сын Айриш

14 Примечания: 14

Амритсарская бойня 13 апреля 1919 г. — расстрел английскими войсками участников митинга в Амритсаре.

был с ней заодно.

В 1921 году на Рождество восемнадцатилетний Камоинш робко привел в дом и представил родителям семнадцатилетнюю сироту Изабеллу Химену Соузу. (Эпифания спросила сына, где они познакомились, и тот, краснея, ответил, что в церкви Святого Франциска; тогда она с презрением, рожденным ее замечательной способностью забывать о своем собственном прошлом то, что помнить было невыгодно, бросила: «Какая-нибудь проныра!» Но Франсишку дал девушке свое благословение, протянув усталую руку в сторону «сказать по правде, не очень праздничного» стола, а затем погладив ею милую головку Изабеллы Соузы.) Будущая невеста Камоинша оказалась девушкой искренней и словоохотливой. С возбужденным блеском в глазах она нарушила пятилетнее табу Эпифании и завела восторженную речь о фактическом бойкоте в Калькутте визита принца УЭЛЬСКОГО (будущего короля Эдуарда VIII) и больших демонстрациях протеста в Бомбее, стала расхваливать отца и сына Неру за отказ сотрудничать с судом, отправившим их обоих за решетку.

— Теперь-то вице-король поймет, что к чему, — сказала она. — УЖ на что Мотилал любит Англию,

но даже он предпочел сесть в тюрьму.

Франсишку встрепенулся, в его давно потухших глазах что-то затеплилось. Но Эпифания заговорила первая.

— В нашем богобоязненном христианском доме британское по-прежнему означает самое лучшее, маде-муазель, -оборвала она девушку. — Если вы имеете виды на нашего мальчика, думайте, что говорите. Вам темного или белого мяса? Угощайтесь на здоровье. Импортного вина из Дао, холодненького? Сделайте одолжение. Пудинг-шмудинг? Отведайте непременно. Вот темы для рождественского стола, фроляйн. Еще начинки?

Потом, на пристани, Белла охотно делилась с Камоиншем своими впечатлениями и горько упрекала его за то, что он за нее не вступился.

— Твой дом словно туманом окутан, — сказала она жениху. — Там нечем дышать. Кое-кто напускает злые чары и сосет жизнь из тебя и твоего бедного папаши. Что касается брата, бог с ним, это безнадежный случай. Ругай меня, не ругай меня, но в доме все криком кричит, как твоя, кстати сказать, прости меня, совершенно безвкусная рубашка, что близится беда.

— Значит, ты больше не придешь? — безнадежно спросил Камоинш.

Белла шагнула в ожидающую ее лодку.

— Глупый мальчик, — сказала она. — Ты милый и трогательный мальчик. И ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что я сделаю и чего не сделаю ради любви, куда я приду и куда не приду, с кем я буду и с кем не буду бороться, чьи злые чары я разгоню моими собственными чарами.

В последующие месяцы именно Белла держала Камоинша в курсе мировых событий; она повторила ему слова из речи Неру на втором судебном процессе в мае 1922 года, когда ему дали новый срок: Принуждение и террор стали главными инструментами властей. Неужели они думают, что таким образом заставят себя любить? Любовь и преданность идут из сердца. Их нельзя отнять у людей под угрозой штыков.

— Похоже на отношения в твоей семье, — улыбаясь, сказала Изабелла, и Камоиншу, в ком пламя борьбы за свободу от восхищения красивой и языкастой девушкой вспыхнуло с новой силой, хватило такта покраснеть.

У Беллы на его счет имелся план. В те дни у него ухудшился сон и началась астматическая одышка.

— Это все от плохого воздуха, — заявила она. — Да-да. Но хотя бы одного да Гаму я спасу,

Она перечислила ему новшества. Под ее водительством и к ярости Эпифании — «Ты что же думаешь, в моем доме перестанут цыплят готовить из-за твоей цыпы-дрипы, твоей вертихвостки — хочет, видите ли, чтобы мой сын питался как нищий» — он стал вегетарианцем и научился стоять на голове. Кроме того, он тайком выломал оконную раму, забрался в затканный паутиной «западный» домик, где пылилась отцовская библиотека, и принялся пожирать книги наперегонки с книжными червями. Аттар, Хайям, Тагор, Карлейль, Рескин, Уэллс, По, Шелли, Раммохан Рай.

— Вот видишь! — подбадривала его Белла. — Значит, можешь быть личностью, а не куклой в нелепой рубашке.

Но Франсишку они не спасли. Однажды ночью после сильных дождей он вошел в воду невдалеке от дома и поплыл; может быть, он хотел, наконец, вздохнуть полной грудью за околдованной береговой линией острова. Его подхватило возвратным течением; раздувшееся тело, обезображенное ударами о ржавый буй, обнаружили через пять дней. Франсишку должны были бы помнить как участника революционного движения, почитать его за благотворительность, за

приверженность прогрессу, за ум, наконец; но семья унаследовала от него лишь расстройство в делах (которые он в последние годы совершенно запустил), внезапность смерти и астму.

Эпифания встретила известие о его гибели совершенно спокойно. Пожрала его мертвого, как пожирала живого; и стала только упитанней.

3

На площадку широкой крутой лестницы, что вела к спальне Эпифании, выходила дверь домашней церкви, которую Франсишку в былые дни, несмотря на отчаянные протесты жены, позволил одному из своих «французиков» декорировать по-новому. Были вынесены прочь и золоченая запрестольная перегородка со вделанными в нее небольшими писанными маслом изображениями чудес Иисуса на фоне кокосовых пальм и чайных плантаций; и фарфоровые куколки-апостолы; и позолоченные херувимы на пьедесталах из тикового дерева, дующие в свои трубы; и свечи в стеклянных чашах, похожих на огромные коньячные рюмки; и покрывавшее престол привозное португальское кружево; и даже само распятие — словом, «вся красота», жаловалась Эпифания, «Иисуса снесли в чулан, и Марию туда же», но треклятому мальчишке этих святотатств, конечно же, было мало, и он замалевал все стены белой краской, как в больнице, поставил рядами самые неудобные скамьи, какие только нашлись в Кочине, а потом налепил на стены этого внутреннего помещения без окон

большие бумажные полотнища, раскрашенные наподобие витражей, «словно мы не можем, если захотим, сделать тут окна по-людски», причитала Эпифания, «ты только посмотри, как убого это выглядит, бумажные окна в Божьем храме», и если бы там еще путное что-нибудь было нарисовано, а то всего-навсего цветной узор, игра пятен, «как для детского праздника», фыркала Эпифания. «Тут не кровь и тело нашего Спасителя вкушать, а разве что именинный пирог».

Франсишку, защищая работу своего протеже, доказывал, что в ней он не просто поставил контур и цвет на место содержания, но и показал, что под умелой рукой они могут, по сути дела, стать содержанием; на что Эпифания сердито ответила:

— Так, может, нам уже и Христа никакого не надо, хватит крестика нарисованного? Зачем еще какое-то распятие? Да уж, на славу потрудился безбожный французик: Сыну Божьему и умирать за грехи наши теперь, выходит, не обязательно.

На другой день после похорон мужа Эпифания распорядилась все это сжечь и восстановила в правах херувимов, кружево и стекло, мягкие церковные сиденья, обитые темно-красным шелком, и подушечки им в тон с плетеной золотой тесь-

мой по краю, на каких женщине ее положения не стыдно преклонить колени перед Господом. Старые итальянские гобелены, изображающие порубленных на шашлык святых и брошенных в печи-тандуры мучеников, были вновь повешены на стены в обрамлении из обшитой рюшами и собранной в складки драпировочной ткани, и вскоре душемучительные воспоминания об аскетических новшествах французика полностью растворились в родной благочестивой затхлости.

— Жив Господь на небе, — заявила свежеиспеченная вдова. — Все на свете ладненько.

— Отныне, — определила Эпифания, — у нас пойдет простая жизнь. С тем, плюгавым, в набедренной повязке, душу не спасешь.

Действительно, простота, которую она учредила, была отнюдь не гандийского толка, это была простота позднего пробуждения, подноса с горячим сладким чаем на столике у кровати, подзывания кухарки хлопками в ладоши для того, чтобы заказать ей блюда на весь день, простота появления горничной, которая умащала и причесывала ее все еще длинные, но быстро седеющие и истончающиеся волосы, каждое утро получая выговор за то, что так много их

остается на щетке, простота долгого утреннего ворчания на портного, приходившего к ней на дом с новыми платьями и становившегося на колени у ее ног с булавками во рту, которые он время от времени вынимал, чтобы дать волю своему льстивому языку; еще простота неспешных дневных посещений магазинов тканей, где ей на радость на застеленный белым полотном пол падали рулоны роскошного шелка, восхитительно разматываясь на лету и оседая нежными складчатыми холмами радужного великолепия; простота сплетничанья с немногими равными ей по положению, приглашений на «мероприятия» к англичанам в район форта, их воскресного крикета, чая с танцами, рождественского пения с их невзрачными, страдающими от жары детьми, ведь, что ни говори, они тоже христиане, пусть там и англиканская церковь, ничего, на ее уважение они могли рассчитывать, хотя на любовь — никогда, сердце ее, конечно же, принадлежало Португалии, мечтало о прогулках вдоль Тежу или Дору, о выходах на лиссабонские улицы под руку с грандом. Это была простота невесток, которые должны были исполнять любую ее прихоть при том, что их жизнь она превратила в ад, и простота сыновей, которые должны были обеспечивать

постоянный приток денег в надлежащем количестве; простота установившегося порядка, когда она в конце концов обрела свое законное место в самом сердце паутины и могла, как ленивый дракон на куче золота, извергать, если сочтет нужным, очищающее и устрашающее пламя.

— Простота твоей мамаши будет стоить целого состояния, — сказала мужу Белла да Гама (они с Камоиншем поженились в начале 1923 года), предвосхищая упрек, который потом часто раздавался в адрес М. К. Ганди. — И, если дать ей волю, эта простота будет стоить нам нашей молодости.

Сладкие грезы Эпифании нарушило вот что: Франсишку ничего ей не оставил, кроме ее гардероба, драгоценностей и небольшого содержания. В остальном, как она выяснила к своей ярости, она должна была зависеть от доброй воли сыновей, которые получали все имущество в равноправное владение на том условии, что торговая компания «Гама» останется единым целым, «если только деловые обстоятельства не продиктуют иное решение», и что Айриш и Камоинш «будут стремиться вести дела в согласии и любви, не допуская, чтобы семейное достояние понесло ущерб из-за раздоров и столкновений».

— Лаже после смерти, — пожаловалась праба-

бушка Эпифания после оглашения завещания, — он бьет меня по обеим щекам.

Это тоже часть моего наследия: могила не улаживает ссор.

К великой досаде вдовы, адвокаты семьи Менезишей не нашли, к чему придраться. Она рыдала, рвала на себе волосы, колотила себя кулаками в щуплую грудь и душераздирающе громко скрежетала зубами; но адвокаты долбили свое: принцип наследования по материнской линии, которым были знамениты Кочин, Травайкур и Коллам и согласно которому право распоряжаться семейной собственностью могло бы принадлежать не покойному доктору да Гаме, а госпоже Эпифании, составляет часть индуистской традиции, и его никаким юридическим крючкотворством нельзя распространить на христианское население.

— Тогда тащите сюда шивский лингам и кувшинчик [15], -сказала якобы Эпифания, хотя впоследствии она это отрицала. — Везите меня к реке Ганг, я мигом в нее прыгну. Хай Рам!

(Я должен заметить, что, на мой взгляд, утверждения о намерении Эпифании совершить

15 Примечания: 15

Лингам — скульптурное изображение мужского детородного органа, связанное с культом Шивы. Распространен обряд, когда лингам поливают из кувшинчика водой или молоком.

молитву-пуджу и паломничество апокрифичны и неубедительны; но причитания, зубовный скрежет, вырывание волос и битье себя в грудь, несомненно, имели место.)

Сыновья покойного магната, надо признать, не уделяли бизнесу должного внимания — их сильно отвлекали мирские дела. Айриш да Гама, на которого самоубийство отца произвело большее впечатление, чем он показывал, искал утешения в неразборчивых связях, вызывая настоящий эпистолярный потоп, — полуграмотные письма писались на дешевой бумаге корявым неразборчивым почерком. Признания в любви, свидетельства страсти и гнева, угрозы совершить злодеяние, если возлюбленный будет упорствовать в своем предосудительном поведении. Автором этих мучительных посланий был не кто иной, как юный гребец той послесвадебной ночи, Принц Генрих-мореплаватель собственной персоной. Не думай что я не знаю про твои дела. Дай мне сердце или я его у тебя вырежу. Если любовь не вся земля и все небо тогда она ничто, хуже чем грязь.

Если любовь не все, тогда она ничто. Этот принцип и обратная его сторона (я имею в виду неверность) сталкиваются на протяжении всех

лет моей судорожно дышащей истории.

После ночных похождений, после гашиша или опиума Айриш мог проспать целый день до вечера, и нередко ему нужно было лечить мелкие ушибы и повреждения; Кармен, не говоря ни слова, втирала мази и накладывала компрессы, готовила ему горячие ванны, и когда в этой воде, вычерпанной, можно сказать, из бездонного колодца ее несчастья, он начинал громко храпеть, она, если и думала о том, что стоит чуть надавить ему на голову, и он захлебнется, — все же искушению не поддавалась. Вскоре ей предоставится другая возможность дать выход своей ярости.

Что касается Камоинша, то он пошел в своего деликатного, мягкого отца. Через Беллу он познакомился с группой молодых националистов-радикалов, которые, устав от разговоров о ненасилии и пассивном сопротивлении, были воодушевлены грандиозными событиями в России. Он стал посещать доклады, озаглавленные Вперед! или Терроризм: оправдано ли средство целью? — а потом и сам начал выступать в подобном роде.

— Кто бы мог подумать, раньше ты и муху обидеть не мог, — смеялась Белла. — А теперь ты у нас ужасный-опасный-красный русский революю-

ционер да Гамский.

Не кто иной, как дедушка Камоинш первым узнал про дублеров Ульянова. В конце 1923 года он сообщил Белле и друзьям, что привилегированная группа советских актеров получила исключительное право на исполнение роли В. И. Ленина, причем не только в специально подготовленных выездных представлениях, рассказывающих советским людям о славной революции, но и в тысячах и тысячах общественных мероприятий, на которых вождь по занятости не может присутствовать лично. Артисты заучивают наизусть, а затем произносят речи великого человека, и стоит кому-нибудь из них появиться на публике в полном гриме и костюме, как люди начинают ликовать и неистовствовать, словно они увидели настоящего живого Ленина.

— А теперь, — взволнованно закончил рассказ Камоинш, -принимаются заявления и от иностранных актеров. Мы можем иметь своих Лениных прямо здесь и на законном основании, говорящих на малаялам, тулу, каннада или на чем еще хотите.

— Значит, они там в Эс-Эс-Эс-Эр занимаются воспроизводством верховного босса, — сказала Белла, кладя его руку себе на живот. — Но Смот-

ри-Смотри-Смотри, Родной, ты уже начал тут свое собственное маленькое воспроизводство.

Это ли не свидетельство нелепой — да! осмеливаюсь употребить это слово — смехотворной и нелепой ненормальности моей семьи, что в то время, когда страна и поистине вся планета были охвачены величайшими событиями, — когда семейный бизнес нуждался в самом пристальном внимании, поскольку смерть Франсишку обострила кризис руководства до предела, началось недовольство на плантациях, угрожающих размеров достигла халатность на двух эрнакуламских складах и даже самые верные партнеры компании «Гама» начали прислушиваться к пению сирен-конкурентов, — когда, в довершение всего, жена объявила ему, что носит в чреве ребенка, первенца, который окажется их единственным ребенком и, более того, единственным ребенком в семье, в этом поколении, станет моей матерью Ауророй, последней из да Гама, — что в это время моего деда всецело захватила идея подставных Лениных? С каким рвением он рыскал по всей округе, выискивая людей с актерскими задатками и хорошей памятью, способных заинтересоваться его проектом! Как самозабвенно трудился, добывая тексты последних работ ве-

ликого вождя, находя переводчиков, нанимая гримеров и костюмеров, проводя бесчисленные репетиции со своей маленькой труппой из семи человек, которых Белла со своей обычной хлесткостью окрестила

Ленин-высоковатый, Ленин-коротковатый, Ленин-толстоватый, Ленин-тонковатый, Ленин-хромоватый, Ленин-совсем-лысый и (последний, бедолага, имел большие дефекты по стоматологической части) Беззубый Ленин… Камоинш вел лихорадочную переписку с инстанциями в Москве, убеждал, улещивал; подобным же образом убеждались и улещивались кочинские чиновники, как светло-, так и темнокожие; наконец, в жаркий сезон 1924 года, его труды были вознаграждены. Когда Белла была уже на сносях, в Кочин явился настоящий, полноправный член специальной ленинской труппы, Ленин высшей категории, уполномоченный дать оценку и дальнейшие указания членам новосозданного кочинского филиала.

Он прибыл пароходом из Бомбея и, сходя на берег в костюме и гриме под судорожные вздохи и радостные возгласы людей на пристани, приветствовал встречающих поклонами и взмахами руки. Камоинш заметил, что он сильно потеет от

жары; по его шее и лбу сбегали ручейки черной краски для волос, которую ему постоянно приходилось вытирать.

— Как к вам обращаться? — вежливо краснея, спросил Камоинш при встрече гостя, который путешествовал с переводчиком.

— Без церемоний, товарищ, — ответил переводчик. — Никаких титулов! Просто Владимир Ильич.

Встречать вождя мирового пролетариата на пристани собралась порядочная толпа, и теперь Камоинш, открывая подготовленный заранее маленький спектакль, хлопнул в ладоши, и из зала ожидания вышли семь местных Лениных — все, как положено, с бородками. Выстроившись перед советским коллегой, они переминались с ноги на ногу и радушно ему улыбались; он в ответ разразился длинной тирадой на русском языке.

— Владимир Ильич спрашивает, как понимать это безобразие, — объяснил переводчик Камоиншу (толпа меж тем прибывала). — У них у всех темная кожа и вообще совершенно не тот вид. Этот высоковат, этот коротковат, этот толстоват, этот тонковат, этот хромоват, этот совсем лыс, а вон у того зубов нет.

— Мне было сообщено, — промямлил Камоинш

упавшим голосом, — что допускается приспособить облик вождя к местным условиям.

Новый русскоязычный залп.

— Владимир Ильич считает, что это не приспособление, а пошлая карикатура, — сказал переводчик. — Оскорбительный выпад. Возмутительно! По меньшей мере у двоих перекосились бороды — на глазах у всей пролетарской массы! Будет доложено наверх. Не продолжать ни под каким видом!

У Камоинша вытянулось лицо; и тут, увидев, что он вот-вот расплачется, что все его планы рушатся, актеры — его кадры — взяли инициативу на себя; желая продемонстрировать, как хорошо у них отрепетированы роли, они встали в позы и начали декламировать. На малаялам, каннада, тулу, конкани, тамильском, телугу и английском они восславили революцию и потребовали немедленного изгнания кровососов-империалистов, свержения колониалистов и их наймитов, обобществления собственности, что должно было привести к перевыполнению планов по рису; пальцем протянутой правой руки каждый из них указывал в светлое будущее, мощно сжимая опущенную левую в кулак. Бороды из-за жары начали отклеиваться, по-вавилонски многоязыч-

ную речь уже слушала огромная толпа, в которой зародился, мало-помалу разросся и наконец неудержимо грянул издевательский хохот.

Владимир Ильич побагровел. Революционная брань изверглась у него изо рта и цепочкой кириллицы повисла в воздухе над его головой. Затем, повернувшись на сто восемьдесят градусов, он прошествовал назад по сходням и скрылся под палубой.

— Что он сказал? — спросил русского переводчика несчастный Камоинш.

— Страна ваша… — ответил тот. — Владимир Ильич со всей прямотой заявил, что он ее не переваривает.

Сквозь влажную пелену своей беды Камоинш увидел маленькую женщину, которая проталкивалась к нему в гуще гогочущих масс; это была горничная его жены Мария.

— Вы бы шли поскорей домой, господин, — пробился ее голос сквозь стену пролетарского смеха. — Ваша супруга вам подарила дочь!

x x x

После унижения в порту Камоинш отвернулся от коммунизма и стал повторять, что, как он убедился на горьком опыте, это учение не отвечает

индийским условиям. Он сделался «конгрессвала», сторонником Неру и, держась на расстоянии, прошел вместе с движением его великий путь последовавших лет; на расстоянии в том смысле, что, хотя каждый день, жертвуя всем прочим, он посвящал делу независимости много часов, хотя без конца говорил и писал на эту тему, при всем том он не принимал больше активного участия в событиях и не опубликовал ни строчки своих пламенных сочинений… Остановимся же на миг и задумаемся о моем деде с материнской стороны. Легче всего отмахнуться от него, обвинив в несерьезности, назвав мотыльком, дилетантом. Заигрывающий с марксизмом миллионер, робкая душонка, ниспровергатель, который мог гореть революционным огнем лишь в компании немногих друзей или в тиши собственного кабинета, за тайными писаниями, которых — видимо, боясь насмешек, подобных тем, что доконали Франсишку, — он так и не решился опубликовать; индийский патриот, чьи любимые поэты были сплошь англичане, атеист и рационалист, который мог внушить себе веру в призраков, человек, который мог от начала до конца с глубоким чув-

ством произнести наизусть марвелловскую [16] «Каплю росы»:

Вот так, Душа, ты проблеском Луча,
Святою каплей вечного Ключа
Из человеческого светишься цветка -
Тебе отрады нет
В телесности листа и лепестка,
Ты свой лелеешь Свет,
Являя скромным ясным ликом
Большое Небо в Небе невеликом.

Эпифания, чрезвычайно суровая и лишенная всякой снисходительности мать, раз и навсегда записала его в разряд дурачков, но я под влиянием более нежного отношения к нему Беллы и Ауроры дам иную оценку. Для меня в самой двойственности дедушки Камоинша заключена красота его души; эта готовность допустить сосуществование в самом себе противоречивых побуждений есть признак полноценной, изысканной человечности. Если бы вы, скажем, указали ему на несоответствие между его эгалитаристскими идеями и реальностями его олимпийского об-

16 Примечания: 16
Эндрю Марвелл — английский поэт и сатирик (1621-1678) (прим. ред.).

щественного положения, в ответ он бы только виновато улыбнулся и обезоруживающе пожал плечами. «Все должны жить хорошо, правда ведь? — часто повторял он. — Остров Кабрал для каждого, вот мой девиз». И в его страстной любви к английской литературе, в его дружбе со многими английскими семьями Кочина наряду со столь же страстной убежденностью, что британскому правлению и княжеской власти должен быть положен конец, мне видится эта доброта, отделяющая грех от грешника, это историческое великодушие, которое поистине составляет одно из чудес Индии. Когда солнце империи закатилось, мы не кинулись убивать наших бывших хозяев, нет, мы обратили оружие друг на друга… но столь горькая мысль никогда бы не зародилась в голове Камоинша, который отшатывался от всякого зла, от «бесчеловечности», как он выражался, за что даже любящая Белла упрекала его в наивности; и, к счастью или к несчастью для себя, он не дожил до пенджабской резни времен раздела страны. (Увы, он не дожил и до того, как после объявления независимости и объединения Кочина, Траванкура и Коллама в новый штат Керала там было избрано первое марксистское правительство на субконтиненте, — вот была бы

ему награда за все несбывшиеся надежды!)

Впрочем, и он хлебнул немало смуты: семья полным ходом шла к катастрофическому конфликту, к так называемой «войне свойственников», которая смела бы с лица земли любой не столь крупный дом и последствия которой для семейного благосостояния чувствовались на протяжении десяти лет.

Женщины теперь выдвигаются в центр моей маленькой сцены. Эпифания, Кармен, Белла и маленькая Аурора — они, а не мужчины, были конфликтующими сторонами; главной же возмутительницей спокойствия стала, конечно же, прабабушка Эпифания.

Она объявила войну в тот же день, как услышала завещание Франсишку; Кармен тогда была вызвана в ее спальню на военный совет.

— Мои сыновья — никчемные шалопаи, — заявила она, обмахиваясь веером. — Отныне мы, дамы, будем играть первую скрипку.

Себя она произвела в главнокомандующие, а Кармен, свою племянницу и одновременно невестку, сделала доверенным лицом и порученцем.

— Это ваш долг не только перед нашим домом, но и перед Менезишами. Не забывайте, что если

бы я над вами не сжалилась, вы сидели бы плесневели тут до второго пришествия.

Первым поручением Эпифании было то, о чем издревле пекутся монархи: Кармен должна зачать ребенка мужского пола, наследного принца, от имени которого будут править королевством любящие мать и бабка. Кармен, сознавая в горьком своем сокрушении, что уже этот приказ останется неисполненным, потупив глаза, пролепетала: «Конечно, тетушка Эпифания, ваша воля для меня закон», — и выбежала из комнаты.

(После рождения Ауроры врачи сказали, что по медицинским причинам Белла не сможет зачать снова. Вечером этого дня Эпифания, вызвав Кармен и Айриша, сделала им внушение:

— Поглядите-ка на эту Беллу — уже разродилась! Но девочка и никого в будущем — это вам от Бога подарок. Так живее! Раз-два, и сделали мальчика, а не то все барахло ей достанется. И хоромы эти.)

x x x

В день, когда Ауроре да Гаме исполнилось десять лет, к острову Кабрал подошла баржа, а в ней сидел человек с севера, из Соединенных Провинций, с большой кучей деревяшек, из которых

он собрал подобие огромной мельницы с сиденьем на каждом из четырех концов деревянного перекрестья. Из футляра, обитого внутри зеленым бархатом, он вынул аккордеон и заиграл веселое ярмарочное попурри. Когда Аурора и ее подружки, вдоволь накружившись в поднебесье, слезли с чарак-чу, как называл это сооружение аккордеонист, он накинул алый плащ и принялся выманивать живых рыбок у девочек изо ртов и выдергивать настоящих змей у них из-под юбок, к немалому ужасу Эпифании, брюзгливому недовольству бездетных Кармен с Айришем и детскому восторгу Беллы и Камоинша. После этих чудес Аурора поняла, что в жизни ей нужней всего персональный маг, умеющий исполнить любое ее желание, способный на веки вечные перенести бабку за тридевять земель, напустить злых кобр на дядюшку Айриша и тетушку Кармен и наколдовать ее родителям довольство и счастье; ибо это была пора разделенного дома с проведенными мелом по полу разграничительными линиями и баррикадами из мешков со специями во дворах, словно для защиты от наводнения или снайперского огня.

Все началось, когда Эпифания, воспользовавшись тем, что сыновья обращали мало внимания

на домашние дела, пригласила в Кочин свою родню. Момент для удара был выбран ею безошибочно: Айриш, потрясенный смертью отца, предавался разврату, Камоинш выискивал своих Лениных, Белла носила ребенка — так что протестовать, по существу, было некому. Громче всех, надо сказать, возражала Кармен, которую никогда не жаловали родственники со стороны матери и в которой при появлении столь многочисленных Менезишей взыграла кровь Лобу. Когда она, запинаясь, со многими околичностями поведала о своих чувствах Эпифании, та ответила рассчитанно-грубо:

— Милочка, все ваше будущее — вон оно где, у вас промеж ног, и забота у вас должна быть одна — заинтересовать мужа, а во взрослые дела попрошу не лезть.

Торопясь, как мухи на мед, первые Менезиши-мужчины прибыли из Мангалуру морским путем; их женщины и дети отстали ненамного. Другие Менезиши воспользовались автобусами, самые же последние, по слухам, добирались поездом, но задержались в пути из-за капризов железнодорожного сообщения. Пока Белла оправлялась от родов, а Камоинш — от ленинского фиаско, люди Эпифании проникли всюду: они оплели

торговую компанию «Гама», словно перечные лианы кокосовую пальму, принялись всячески досаждать управляющим плантациями, совать нос в бухгалтерию, вмешиваться в перевозки и складирование — словом, настоящее вторжение; но завоевателей редко любят, и не успела Эпифания утвердить свою власть, как начала делать ошибки. Первый ее промах был связан с избытком макиавеллизма: хотя ее любимым сыном был Айриш, она не могла отрицать, что единственная пока наследница родилась у Камоинша, и поэтому, рассудила Эпифания, нельзя полностью исключать его из расчетов. Она стала неуклюже заигрывать с Беллой, которая не ответила взаимностью, все больше злясь из-за настырности бесчисленных Менезишей; между тем эти чересчур очевидные маневры серьезно осложнили отношения с Кармен. Тут Эпифания допустила еще большую ошибку: ссылаясь на свою прогрессирующую аллергию к специям, служившим основой семейного благосостояния, — да, и к перцу, главным образом, к нему! — она заявила, что в недалеком будущем торговая компания «Гама» переключится на духи, «поэтому скоро вместо всего этого добра, от которого моя носоглотка с ума сходит, у нас в доме будут хорошие запахи».

Кармен взбунтовалась.

— Менезиши всегда были мелкой сошкой, — горько жаловалась она Айришу. — Неужели ты позволишь твоей матери свести большой бизнес к пахучим склянкам?

Но Айриш да Гама, обессиленный излишествами, пребывал в такой апатии, какую Кармен не могла развеять никакими упреками.

— Если ты не можешь занять свое законное место в этом доме, — крикнула она, — тогда позволь хотя бы, чтобы нам помогали люди из семьи Лобу, а не эти Менезиши, которые заползли, как белые муравьи, во все щели и жрут наши деньги!

Мой двоюродный дедушка Айриш с готовностью согласился. Белла, которая была возмущена не меньше Кармен, ничего толком не смогла добиться (да у нее и не было родни); Камоинш по натуре не был бойцом и поэтому рассудил, что раз у него голова не приспособлена к бизнесу, нечего ему вставлять матери палки в колеса. Но тут появились Лобу.

x x x

Что началось с духов, кончилось поистине вселенской вонью… нечто порой выплескивается из нас наружу, нечто, живущее в нас и до поры

затаенное, потребляющее наш воздух и нашу пищу, глядящее из глубины наших глаз, и когда оно вступает в игру, никто не остается в стороне; одержимые, мы бешено кидаемся друг на друга, нечто тьмой заливает нам глаза и вкладывает в руки настоящее оружие -мое нечто на твое нечто, соседское нечто на соседское нечто, нечто-брат на нечто-брата, нечто-дитя на нечто-дитя. По сигналу от Кармен ее родичи Лобу двинулись на угодья семьи да Гама в Пряных горах, и тут-то все и началось.

Ведущая в Пряные горы ухабистая и каменистая грунтовая дорога сначала идет мимо рисовых полей, банановых деревьев и ковром выложенных вдоль обочины для просушки зеленых и красных стручков перца; затем вдоль плантаций кешью и ареки (Коллам можно было бы переименовать в Кешьютаун, как Коттаям — в Каучуквилль); затем выше, выше, к царствам кардамона и тмина, к тенистым рощам молодых кофейных деревьев в цвету, к чайным террасам, похожим на гигантские зеленые черепичные крыши; и наконец мы попадаем в империю малабарского перца. Ранним утром заливаются соловьи, рабочие слоны идут не спеша, мимоходом подкрепляясь зеленью, и в небе кружит

орел. Проезжают велосипедисты, четверо в ряд, положив руки друг другу на плечи, не уступая дорогу грохочущим грузовикам. Смотрите: один положил сзади ногу приятелю на седло. Чем не идиллия? Но считанные дни прошли после появления Лобу, и поползли слухи, что в горах неладно: Лобу и Менезиши схватились в борьбе за власть, начались споры и потасовки.

Что касается дома на острове Кабрал, там уже яблоку негде было упасть; Лобу блокировали лестницы, Менезиши оккупировали уборные. Лобу яростно сопротивлялись, когда Менезиши пытались подниматься по «их» лестницам, зато Менезиши установили такую жесткую монополию в местах общего пользования, что людям Кармен приходилось удовлетворять естественные надобности на открытом воздухе, на глазах у обитателей близлежащего острова Вайпин с его рыбацкими деревушками и руинами португальской крепости («О-у, аа-аа», — распевали гребущие мимо острова Кабрал рыбаки, и женщины из семейства Лобу густо краснели и, толкаясь, бежали в прибрежные кусты), а также рабочих недальней фабрики по выделке половиков из кокосового волокна на острове Гунду и упадочных князьков, совершающих морские прогулки на

катерах. Немало пинков и тычков было роздано в очередях, выстраивавшихся перед каждой трапезой, немало бранных слов прозвучало во дворах под безучастным взором резных деревянных грифонов.

Начали вспыхивать яростные драки. Чтобы справиться с людским потоком, открыли два построенных Корбюзье павильона, но свойственникам они не пришлись по сердцу; деликатный вопрос о том, какому семейству принадлежит привилегия ночевать в главном доме, зачастую решался кулаками. Женщины Лобу стали дергать женщин из враждебного клана за косы, в ответ дети Менезишей принялись отнимать у детей Лобу игрушки и портить их. Слуги семьи да Гама жаловались на высокомерие свойственников, на их ругань и прочие унижения.

Приближалась развязка. Однажды ночью во дворе дома на острове Кабрал две группы враждующих между собой подростков пошли стенка на стенку; не обошлось без сломанных рук, черепно-мозговых травм и ножевых ранений -два из них оказались серьезными. Во время побоища бумажные стены «восточного» павильона Корбюзье в японском стиле были прорваны, а его деревянным конструкциям был нанесен такой

ущерб, что строение вскоре пришлось снести; юнцы ворвались и в «западный» павильон, где перепортили много мебели и книг. В эту ночь бесчинств Белла разбудила Камоинша, толкнув его в плечо, и сказала:

— Ну сделай же что-нибудь, а то все пойдет прахом.

Тут ей в лицо шлепнулся летающий таракан, и она вскрикнула. Этот крик привел Камоинша в чувство. Он выскочил из постели и убил таракана скатанной в трубку газетой; но когда пошел закрывать окно, с дуновением ветра до него долетел запах, сказавший ему, что настоящая беда уже пришла, — дух горящих приправ, в котором нельзя было ошибиться, — тмин, кориандр, куркума, красный и черный зернистый перец, красный и зеленый стручковый перец, немного чесноку, немного имбиря, несколько палочек корицы. Словно какой-то горный великан готовил на чудовищной сковороде карри неслыханной остроты.

— Мы больше не можем так жить, все вместе, — сказал Камоинш. — Белла, мы сжигаем сами себя.

Да, вселенская вонь покатилась с Пряных гор к морю, свойственники да Гама жгут плантации

пряностей, и в ту ночь, когда Кармен, урожденная Лобу, на глазах у Беллы впервые в жизни схлестнулась со своей свекровью Эпифанией, урожденной Менезиш, когда Белла увидела их обеих в ночных рубашках, со спутанными волосами, ведьмоподобных, изрыгающих проклятия и обвиняющих друг друга в случившемся на плантациях, — тогда она с величайшей аккуратностью положила маленькую Аурору обратно в кроватку, наполнила таз холодной водой, спустилась с ним в освещенный луной двор, где Эпифания с Кармен и не думали утихомириваться, тщательно примерилась и окатила их с головы до ног.

— Вы, с вашими происками, запалили этот поганый пожар, — сказала она, — с вас и начнем его тушить.

Скандал принял огромные масштабы, и семья сполна хлебнула позора. Злокозненное пламя привлекло к себе внимание не только пожарных. Остров Кабрал посетила полиция, за ней — военные, и братья да Гама, в наручниках и под вооруженным конвоем, были препровождены не прямо в тюрьму, но сначала в красивый дворец Болгатти на одноименном острове, где в прохладной комнате с высоким потолком их под ружейными дулами заставили встать на колени,

а одетый в кремовый мундир лысеющий англичанин с моржовыми усами и в пенсне с толстыми стеклами смотрел в окно на кочинскую гавань и говорил словно бы с самим собой, непринужденно сцепив за спиной руки.

— Никто, даже центральное правительство, не знает всего об управлении Империей. Год за годом Англия посылает свежие подкрепления на передовую линию, которая официально именуется индийской гражданской службой. Люди гибнут, гробят себя непосильной работой, не выдерживают груза волнений и забот, теряют здоровье и вкус к жизни ради того, чтобы на этой земле было меньше болезней и смерти, голода и войны, и чтобы когда-нибудь в будущем она смогла жить сама. Она никогда не сможет жить сама, но идея выглядит привлекательно, люди готовы за нее умирать, и так это тянется год за годом: пинками и уговорами, кнутом и пряником страну пытаются вывести к достойному существованию. Добились успеха — хвалят местных, а англичанин стоит себе сзади и утирает пот со лба. Случилась неудача — англичанин выходит вперед и берет на себя всю вину. Вот из-за этой-то неоправданной снисходительности многие местные твердо уверовали, что они могут править

страной сами, и многие добропорядочные англичане разделяют их веру, потому что эта теория изложена на прекрасном английском и украшена новейшими политическими виньетками.

— Сэр, вы можете не сомневаться в моей личной благодарности… — начал Айриш, но солдат-сипай из местных, из малаяли, ударом по лицу заставил его замолчать.

— Мы будем править страной, что бы вы ни говорили! -дерзко выкрикнул Камоинш. И тоже получил по лицу: раз, другой, третий. Изо рта у него потекла струйка крови.

— А есть личности, которые хотят править страной по-своему, — продолжал человек у окна, по-прежнему обращаясь в сторону гавани. — Так сказать, под соусом из красного перца. Среди трехсот миллионов человек такие люди встречаются неизбежно, и если им попустительствовать, они могут натворить бед и даже погубить великана по имени Pax Britannica [17], который, согласно газетам, обитает где-то между Пешаваром и мысом Коморин [18].

---

17 Примечания: 17

Мир по-британски (лат.).

18 Примечания: 18

Слова англичанина в основном заимствованы из рассказа Р. Киплинга «В городской стене».

Англичанин повернулся к ним лицом, и, конечно же, они его хорошо знали: это был начитанный человек, с которым Камоинш любил обсуждать взгляды Вордсворта на французскую революцию, кольриджевского «Кубла хана» и ранние, почти шизофренические рассказы Киплинга о борьбе, которую ведут внутри него индийское и английское начала; человек, с дочерьми которого Айриш танцевал в Малабар-клубе на острове УИЛЛИНГДОН; человек, которого Эпифания принимала у себя дома; и у которого теперь, однако же, был странный отсутствующий взгляд. Он сказал:

— Как представитель британского правительства, да и просто как англичанин, я не склонен в данном случае брать вину на себя. Ваши кланы виновны в поджоге, мятеже, убийствах и нарушении общественного порядка с тяжкими последствиями, и следовательно, по моему убеждению, виновны и вы лично, хоть сами вы и не принимали непосредственного участия. Мы — этим местоимением, как вы, несомненно, понимаете, я обозначаю ваши же местные органы правопорядка — мы позаботимся о том, чтобы вы понесли наказание. Много лет вам предстоит провести в разлуке с семьями.

x x x

В июне 1925 года братья да Гама были приговорены к пятнадцати годам тюрьмы. Необычайная суровость суда вызвала предположения о том, что семья поплатилась за причастность Франсишку к движению за самоуправление или даже за опереточные попытки Камоинша импортировать российскую революцию; однако большинство сочло подобные предположения неправомерными и даже оскорбительными для властей в свете жутких открытий, сделанных на плантациях торговой компании «Гама» в Пряных горах и неоспоримо свидетельствовавших о том, что бандиты из числа Менезишей и Лобу распоясались вконец. В обугленных зарослях кешью нашли трупы управляющего (Лобу), его жены и дочерей, привязанных к деревьям колючей проволокой, — они сгорели, как еретики. А среди останков некогда плодоносной кардамонной рощи на еще дымящихся стволах были обнаружены тела троих братьев-Менезишей. Руки их были раскинуты, и в каждой из шести ладоней торчало по железному гвоздю.

Я говорю об этих находках так прямо именно потому, что из-за них меня сотрясает дрожь

стыда.

В истории моей семьи было немало мрачных страниц. Что же это за семья все-таки? Описанное здесь — нормально? Неужели мы все таковы?

Да, таковы; не всегда, но в потенции. Такое тоже в нас есть.

Пятнадцать лет: Эпифания лишилась чувств в зале суда, Кармен плакала, но Белла сидела с сухими глазами и неподвижным лицом, и столь же тиха и серьезна была Аурора у нее на коленях. Многие мужчины и некоторые женщины из Менезишей и Лобу были осуждены и отправлены за решетку; остальные рассеялись, стушевались, вернулись, меченные пеплом, в Мангалуру. Без них в доме на острове Кабрал стало очень тихо, но стоило поднести руку к стене, ковру, шкафу, как проскакивала искра — столько враждебной энергии в них накопилось; иные места в доме были так сильно наэлектризованы, что там волосы у человека вставали дыбом. Медленно, медленно остывала в старых стенах память о злобной сволочи, они будто страшились нового всплеска бесчинств. Но мало-помалу все успокоилось, мир и тишина начали потихоньку снова воцаряться в доме.

У Беллы были свои представления о том, как

вернуться в лоно цивилизации, и она не тратила времени зря. Спустя десять дней после вынесенного Айришу и Камоиншу приговора, власти, словно спохватившись, распорядились об аресте Эпифании и Кармен, но еще через неделю их столь же неожиданно выпустили на свободу. В течение этих семи дней, заручившись письменным согласием Камоинша (как заключенный категории "А", он имел право получать из дома пищу, письменные принадлежности, книги, газеты, мыло, полотенца, чистое белье и мог отсылать обратно грязное белье и письма), Белла встретилась с юристами торговой компании «Гама», которые на правах опекунов следили за исполнением завещания Франсишку да Гамы, и заявила о необходимости немедленного раздела фирмы на две части.

— Условия, оговоренные в завещании, без сомнения, выполнены, — сказала она. — Повсюду по милости людей Айриша пошли раздоры и столкновения — неважно, прямо он в этом виноват или косвенно; поэтому деловые обстоятельства ясно говорят о невозможности сохранить целостность компании. Если компания «Гама» будет по-прежнему единой, дурная слава ее погубит. Разделимся, и тогда, может

быть, зло останется только в одной половине. Что лучше -умирать вместе или выживать порознь?

Пока юристы прорабатывали предложение о разделе семейного бизнеса, Белла, вернувшись на остров Кабрал, разделила на две части сам величественный старый дом от подвала до чердака; такой же процедуре подверглись постельное белье, столовые приборы и посуда вплоть до последней вилки, плошки и наволочки. Держа на руках годовалую Аурору, она раздавала приказания домашней челяди; шкафы, комоды, пуфы, плетеные кресла с длинными подлокотниками, бамбуковые каркасы для москитных сеток, летние легкие кровати для тех, кто любит в жару спать на открытом воздухе, плевательницы, стульчаки, гамаки, рюмки — все пришло в движение, и даже сидевшие на стенах ящерицы были изловлены и распределены поровну между той и другой половиной. Изучив ветхий план строения и скрупулезно соблюдая справедливость в отношении общей площади и количества окон и балконов, Белла рассекла дом со всей его обстановкой, сады и дворы точно пополам. Вдоль границ были выставлены мешки со специями, а где этого нельзя было сделать — например, на главной лестнице, — она провела белые демар-

кационные линии и потребовала, чтобы каждый из домашних неукоснительно держался своей территории.

В кухне она поделила все горшки и сковородки, а затем повесила на стену расписание, разбивавшее на части каждый из дней недели. Из слуг она взяла себе ровно половину, и хотя почти все просились под ее начало, постаралась ни на йоту не погрешить против справедливости: горничная к ним — — горничная к нам, поваренок туда — поваренок сюда, по эту сторону рубежа.

— Что касается церкви, — заявила она ошарашенным Эпифании и Кармен, когда те, вернувшись, оказались перед fait accompli [19] — разгороженной Вселенной, — и слоновьих зубов вкупе со слоноподобными богами, забирайте это себе. Мы на нашей половине не собираемся ни молиться, ни коллекционировать слонов.

x x x

Ни Эпифания, ни Кармен после случившегося не нашли в себе сил противостоять яростному напору Беллы.

— Вы навлекли на семью адское пламя, — ска-

---

19 Примечания: 19
Свершившимся фактом (фр.).

зала она им. -И я больше не желаю смотреть на ваше поганое барахло. Держитесь своих пятидесяти процентов! Разбирайтесь сами со своей прислугой, пропадайте пропадом, продавайте все как есть — мне-то что! У меня теперь одна забота — чтобы наша с Камоиншем половина процветала и богатела.

— Вы явились ниоткуда, — чихая, ответила Эпифания из-за мешков с кардамоном, — и туда же, милочка моя, вернетесь, — но ее слова прозвучали неубедительно, и ни она, ни Кармен не воспротивились, когда Белла заявила, что выгоревшие плантации входят не в ее, а в их пятьдесят процентов; Айриш да Гама, как видно из его письма, махнул на все рукой: «Да катись оно к черту! Располосуйте всю проклятую дребедень, почему нет?»

Итак, Белла да Гама, двадцати одного года, взяла в свои руки управление собственностью посаженного в тюрьму мужа; и, несмотря на многие превратности последующих лет, прекрасно с этим справилась. После осуждения Камоинша и Айриша земельные угодья и склады компании «Гама» были помещены под общественную опеку: пока юристы занимались разделом, Пряные горы стали патрулироваться вооруженными сипаями,

а в креслах высшего руководства компании засели государственные чиновники. Лишь спустя месяцы уговоров, лести, взяток и флирта Белла смогла получить бизнес обратно. К тому времени многие клиенты, напуганные скандалом, переметнулись к другим фирмам; другие, узнав, что делами теперь заправляет «эта девчонка», потребовали таких изменений в условиях, что финансы компании, и без того не бог весть какие прочные, затрещали по всем швам. Ей много раз предлагали продать дело за десятую или, в лучшем случае, восьмую часть истинной стоимости. Она ничего не продала. Она стала надевать мужские брюки, белые хлопчатобумажные рубашки и мужнину кремовую шляпу с полями. Она побывала на каждом своем поле, в каждой ореховой роще, на каждой плантации, где постаралась успокоить рабочих, напуганных до смерти и готовых бежать куда глаза глядят. Она подыскала управляющих, которым могла доверять сама и к которым рабочие относились с уважением, но без страха. Она очаровала банкиров, и те ссудили ей деньги; она запугала беглых клиентов, и те к ней вернулись; она стала полновластной владычицей своего маленького мирка. И за спасение своих пятидесяти процентов торговой компании «Гама» Белла

получила почетное прозвище: от светских салонов кочинского форта до эрнакуламских доков, от британской Резиденции в старинном дворце Болгатти до Пряных гор шла молва о королеве Изабелле Кочинской. Прозвище ей не слишком нравилось, хотя стоявшее за ним восхищение наполняло ее жаркой гордостью. «Зовите меня Беллой, — настаивала она. — Просто Беллой». Но она была далеко не проста; и, в отличие от дочери любого местного князька, заработала титул сама.

Через три года Айриш и Кармен сдались: их пятьдесят процентов были уже на грани исчезновения. Белла могла выкупить их долю за бесценок, но, поскольку Камоинш никогда так не поступил бы с братом, она переплатила вдвое. И в последующие годы так же яростно билась за спасение -"Айришевых пятидесяти", как за свою половину. Так или иначе, название фирмы она изменила: компания «Гама» больше не существовала. В ее отреставрированном здании теперь размещался частный торговый дом с ограниченной ответственностью «К-50», или «Камоинш — пятьдесят процентов». «Это показывает, — часто повторяла она, — что в нашей жизни пятьдесят плюс пятьдесят будет снова пятьдесят». В том смысле, что бизнес благодаря

реконкисте королевы Изабеллы может вновь стать единым, но раскол в семье остается непреодоленным; баррикады из мешков так и не были разобраны. Их не разбирали еще много лет.

x x x

Она не была безупречна; наверно, пришла пора об этом сказать. Она была высока, стройна, красива, блестяща, отважна, трудолюбива, энергична, победоносна — но увы, леди и джентльмены, королева Изабелла не была ангелом, крылья и нимб не принадлежали к ее гардеробу, нет, господа. В те годы, когда Камоинш отбывал срок, она дымила, как паровоз, постепенно до того пристрастилась к бранной речи, что перестала сдерживаться даже в присутствии подрастающей дочки, и порой, мертвецки упившись, как последняя шлюха, засыпала на циновке в каком-нибудь кабаке; она стала крепчайшим из орешков, ходили слухи, что ее манера ведения дел включала в себя элемент устрашения — некоторого, скажем так, выкручивания рук поставщикам, заказчикам, конкурентам; и она постоянно, небрежно, бесстыдно изменяла мужу, изменяла без всякого удержу и разбора. Бывало, скинув рабочую одежду, она надевала шикарное,

шитое бисером платье и шляпку колокольчиком, упражнялась в чарльстоне перед зеркалом в гардеробной, широко открыв глаза и надув губки, после чего, оставив Аурору на попечении няни, ехала в Малабар-клуб. «До свидания, синичка моя, -говорила она своим низким прокуренным голосом. — Мама сегодня охотится на тигров». Или, взбрыкивая пятками и отчаянно кашляя: «Сладких снов, моя отрада, — мать на льва пошла в засаду».

Впоследствии моя мать Аурора да Гама рассказывала в своем богемном кругу:

— Тогда, в пять-шесть-семь-восемь лет, я уже была настоящей светской дамой. Если звонил телефон, я поднимала трубку и говорила: «Мне очень-очень жаль, но папа и дядюшка Айриш сидят в тюрьме, тетя Кармен и бабушка живут по ту сторону пахучих мешков и им нельзя сюда заходить, а мама ушла на всю ночь стрелять в тигров; что-нибудь передать?»

Пока Белла предавалась гульбе, маленькая одинокая Аурора, предоставленная самой себе в этом сюрреалистически расколотом доме, обращала взор внутрь себя, в чем состоит блаженство и награда одиночества; именно тогда, согласно легенде, она обнаружила в себе дар. Когда она стала

взрослой и ее окутало облако культа, почитатели любили порассуждать про маленькую девочку в большом пустом доме, как она распахивала окна и как вливавшаяся в них потоком индийская действительность пробуждала ее душу. (Вы увидите, что в этом образе сплавлены два эпизода из отрочества Ауроры.) О ней с восторгом говорили, что даже в детстве она никогда не рисовала по-детски, что в самых ранних ее фигурах и пейзажах видна зрелая рука. Это был миф, который она не считала нужным опровергать; вполне возможно, она сама его и создала, проставив на некоторых работах более ранние даты и уничтожив свои первые пробы. И все же, видимо, верно то, что жизнь Ауроры в искусстве началась в эти долгие часы без матери; что у нее уже тогда был талант рисовальщицы и колористки, который специалист мог бы сразу распознать; что она держала свое увлечение в строжайшей тайне и прятала все принадлежности и рисунки, поэтому Белла никогда об этом не узнала.

Она приносила краски из школы, тратила все свои карманные деньги на цветные мелки, бумагу, перья, китайскую тушь и детские акварельные наборы, брала на кухне древесный уголь, и ее няня Джози, которая все знала, которая помогала

ей прятать альбомы и этюдники, ни разу не обманула ее доверия. Лишь после того, как Эпифания ее заперла… но не буду забегать вперед. К тому же есть более изощренные умы, чем мой, чтобы написать о таланте моей матери, есть глаза, яснее моих видящие, чего она достигла. Меня же, когда я представляю себе образ маленькой одинокой девочки, которой суждено было стать моей бессмертной матерью, моей Немезидой, моей врагиней за гранью могилы, занимает то, что она никогда не винила в своей заброшенности ни отца, который все годы ее детства провел в тюрьме, ни мать, которая дни напролет занималась бизнесом, а ночами охотилась на крупного зверя; нет, она боготворила их обоих и не терпела ни слова критики (к примеру, от меня) по поводу их отношения к родительским обязанностям.

(Однако сокровенную свою суть она хранила от них в тайне. Прятала ее в своей груди, покуда она не вырвалась на волю, как оно всегда и бывает, — потому что иначе не может быть.)

x x x

Эпифании,когда сыновей посадили, было сорок восемь, а когда спустя девять лет выпустили — пятьдесят семь, годы проплывают мимо, как

отвязанные лодки, Господи, словно мы так богаты временем, охватывал своего рода экстаз, апокалиптическое безумие, в котором смешивалось все: и вина, и Бог, и уязвленная гордость, и конец света, и разрушение старых форм наступающим ненавистным новым, так не годится, Господи, не годится, чтобы меня в моем собственном доме держали за грудой мешков, чтобы я не могла из-за этой полоумной переступить белую черту, расчесывала она укусы прошлого и настоящего, мои собственные слуги, Господи, не дают мне шагу ступите, потому что я тоже в тюрьме, а они — мои тюремщики, я не могу их прогнать, потому что не я им плачу, все она, она, она, — везде и всюду она, но я могу ждать, ничего, потерпим, придет мое времечко, и она призывала все мыслимые беды на головы Лобу, доколе вы меня будете мучите, пресветлый Иисус, пресвятая дева Мария, доколе мне жить с дочерью этой проклятой семьи, с бесплодной смоковницей, которую я по доброте пожалела, вот как она мне отплатила, всю типографскую свору сюда позвала и разбила мне жизнь, но порой мертвецы вставали во весь рост и указывали на нее, Господи, я великая грешница, меня надо кинуть в жгучие льды, в кипящее масло, смилуйся надо мной, матерь

Божья, над малейшей из малых, вызволи меня, если будет на то Твоя воля, из бездны Преисподней, ибо именем моим и делами моими великое, смертное зло пришло в мир, и она назначала себе кары, Сегодня, Господи, я решила спать без москитной сетки, я готова, Господи, к жалящему Твоему гневу, пусть исколют меня в ночи, пусть кровь мою высосут, пусть вольют в меня, матерь Божья, горький яд Твоего воздаяния, и эта епитимья продолжалась до освобождения ее сыновей, когда она отпустила себе свои грехи и вновь по ночам стала окутываться облаком защитного тумана, слепо отказываясь замечать, что за годы неупотребления в и так уже дырявых москитных сетках моль проела немало новых прорех, Господи, у меня выпадают волосы, жизнь разбита, Господи, и я уже старая.

x x x

А Кармен в своей одинокой постели ласкала себя пальцами ниже пояса, оплетала себя, пила свою собственную горечь и звала ее сладостью, шла своей собственной пустыней и звала ее зеленым садом, возбуждала себя фантазиями о темнокожем матросе, раскрывающем ей объятия на заднем сиденье черной с золотом, обшитой

изнутри деревянными панелями семейной «лагонды», или о совращении кого-нибудь из любовников Айриша в семейной «испано-сюизе», о Господи, сколько же новых мужчину него будет, есть, было в тюрьме, и ночь за ночью, лежа без сна, она гладила свое костлявое тело, а молодость меж тем уходила, двадцать один, когда Айриша посадили, тридцать, когда он вышел, и все еще нетронутая, непочатая, и не суждено никогда никому, кроме этих пальцев, они-то знают, о, знают, о, о… в скользком мыле ванны, в жарком поту базара она находила свою долю радости, не так все замышлялось, муженек Айриш, свекровушка Эпифания, замышлялось красиво; и красота меня окружает, бесконечная красота Беллы, своеволие и власть ее красоты. Но я, я, я — некрасота. В этом доме, под пятой у красоты, я была — да, господа, была и есть — мерзкая тварь, охо-хо, миледи и милорды, истинно так, и, закрывая несчастные свои глаза, выгибая спину, она отдавалась похоти омерзения, сдери с меня сдери с меня шкуру оставь голое мясо разреши начать сызнова без расы без имени без пола о пусть орехи сгниют в скорлупах о пусть пряности увянут на солнце о гори все о гори все гори, оxx, и потом, рыдая, съеживалась под одеялом, а объятые пламенем

мертвецы обступали ее, подходили все ближе и выли: отмщение!

x x x

В день, когда Ауроре да Гаме исполнилось десять лет, человек с аккордеоном, чарак-чу, северным выговором и магическим даром спросил ее: «Ну, а чего ты хочешь больше всего на свете?» — и не успела она ответить, как желание было исполнено. В гавани прогудел сиреной моторный катер, и когда он приблизился к пристани на острове Кабрал, она увидела на палубе Айриша и Камоинша, освобожденных на шесть лет раньше срока, кожица да косточки, крикнула их осчастливленная мать. Стоят бок о бок, вяло машут встречающим и улыбаются одинаковой улыбкой -неуверенной и одновременно жадной улыбкой отпущенных арестантов.

Дедушка Камоинш и бабушка Белла обнялись на пристани.

— Я распорядилась выгладить и приготовить самую твою страшную долгополую рубашку, — сказала она. — Поди прими подарочный вид и преподнеси себя этой именинице -вон стоит, улыбается во весь рот. Гляди, уже, как деревце, вымахала и пытается узнать своего папу.

Я ощущаю их взаимную любовь, плывущую ко мне сквозь годы; как сильна она была, как мало им было отпущено времени! (Да, несмотря на все ее блядство, я настаиваю: то, что было у Беллы с Камоиншем, — это высший класс, без обмана.) Я слышу, как она кашляет, не в силах сдержаться даже подводя мужа к дочери, и этот глубокий надсадный кашель рвет мои легкие, словно мой собственный.

— Слишком много курю, — прохрипела она. — Дурная привычка. — И, чтобы не слишком омрачать встречу, солгала: — Я брошу.

Она выполнила мягкую просьбу Камоинша — «Семья пережила слишком многое, пора выздоравливать», — и баррикады из мешков, отделявшие ее от Эпифании и Кармен, были разобраны. Ради Камоинша она раз и навсегда отказалась от своей рассеянной и развратной жизни. По просьбе мужа она предоставила Айришу место в совете директоров компании, хотя ввиду его плачевного финансового положения вопрос о выкупе им своей доли не поднимался. Я думаю, я надеюсь, что они — Белла и Камоинш — были замечательными любовниками, что его застенчивая нежность и ее телесная жадность великолепно дополняли друг друга; что в

неимоверно краткие три года после освобождения Камоинша у них было вдоволь счастливых объятий.

Но все эти три года она кашляла, и хотя после случившегося во вновь объединенном доме люди старались соблюдать осторожность, ее взрослеющая дочь отнюдь не обманывалась. «Еще до того, как я услышала в ее груди голос смерти, они, эти ведьмы, все знали, — говорила мне мать. — Я поняла, что две стервы просто ждут своего часа. Разделились однажды — разделились навсегда; в том доме не как-нибудь, а насмерть воевали».

Когда в один из вечеров вскоре после возвращения братьев семья по предложению Камоинша собралась в давно не использовавшемся большом зале, под портретами предков, на общий ужин в знак примирения, все испортила именно больная грудь Беллы; увидев, как невестка отхаркивает в металлическую плевательницу кровавую мокроту, Эпифания, председательствовавшая за столом в черной кружевной мантилье, не удержалась: «Кто деньги хапнул, тому, знать, и манеры уже ни к чему», — и разразилась буря взаимных обвинений, сменившаяся хрупким перемирием, но уже без совместных трапез.

Она просыпалась с кашлем и яростно, пугающе

откашливалась перед отходом ко сну. Приступы кашля будили ее среди ночи, она принималась бродить по старому дому и распахивать окна… через два месяца после возвращения Камоинш, проснувшись ночью, обнаружил, что она кашляет в горячечном сне и изо рта у нее сочится кровь. Диагностировали туберкулез обоих легких, его тогда умели лечить гораздо хуже, чем сейчас, и врачи сказали ей, что предстоит тяжкая битва за выздоровление и ей следует резко ограничить себя по части работы. «Ну и гадство же, — прохрипела она. — Сделала я тебе раз из дерьма конфетку, смотри не испогань все опять — исправлять будет некому». Услышав эти слова, мой добрейший дедушка, чье сердце разрывалось от любви и тревоги, зарыдал горючими слезами.

Айриш, вернувшись, тоже обнаружил в жене перемену. В первый вечер после его освобождения она явилась к нему в спальню и сказала:

— Если ты опять за старое, за срамные свои дела, я убью тебя во сне, Айриш.

В ответ он отвесил ей низкий поклон, поклон светского льва времен Реставрации: протянутая правая рука выписывает в воздухе сложные завитушки, правая нога выставлена вперед и в сторону, ее носок щегольски поднят — и Кармен ушла.

Он не отказался от своих похождений, но стал осмотрительней; для послеполуденных радостей он снял квартиру в Эрнакуламе с неторопливым вентилятором под потолком, отстающими от стен скучными голубовато-зелеными обоями, душем, работающим от ручного насоса, уборной без стульчака и большой приземистой кроватью — деревянная рама и ремни, которые он ради гигиены и прочности распорядился заменить новыми. Дневной свет, проникавший сквозь бамбуковые жалюзи, покрывал тонкими полосками его тело и тело того, кто был с ним, и гомон базара сливался со стонами сладострастия.

По вечерам он играл в бридж в Малабар-клубе, что мог подтвердить там кто угодно, или, как образцовый семьянин, сидел дома. Он стал запирать дверь своей спальни на висячий замок и приобрел английского бульдога, которому, чтобы подразнить Камоинша, дал кличку Джавахарлал. Он остался таким же, как до тюрьмы, противником Конгресса с его требованиями независимости и теперь пристрастился к писанию писем в редакции газет, чьи страницы он наводнял доводами в поддержку так называемой либеральной альтернативы. «Предположим, дурная политика изгнания наших правителей

увенчалась успехом, — что тогда? — вопрошал он. — Откуда в нынешней Индии возьмутся демократические институты, способные заменить Британскую Руку, которая, как я могу засвидетельствовать лично, милостива даже когда она наказывает нас за наши детские безобразия?» Когда либеральный редактор газеты «Лидер» мистер Чинтамани выразил мнение, что «Индия должна предпочесть нынешнюю незаконную власть реакционной и ничуть не более законной власти, которая грозит ей в будущем»; мой двоюродный дедушка отправил ему послание, гласившее: «Браво!»; а когда другой либерал, сэр П. С. Шивасвами Айер, написал, что, «выступая за созыв конституционной ассамблеи, Конгресс проявляет ни на чем не основанную веру в мудрость толпы и несправедливо принижает талант и благородство людей, участвовавших в различных конференциях за круглым столом. Я сильно сомневаюсь в том, что конституционная ассамблея сможет добиться большего», — Айриш да Гама выступил в его поддержку: «Я всей душой с Вами! Простой человек в Индии всегда с уважением прислушивался к советам лучших людей — людей образованных и воспитанных!»

На следующее утро Белла дала ему бой на при-

стани. Лицо ее было бледно, глаза — красны, она куталась в шаль, но непременно хотела проводить Камоинша на работу. Когда братья шагнули на борт семейного катера, она помахала перед лицом Айриша утренней газетой.

— В нашем доме и образования, и воспитания было хоть отбавляй, — сказала Белла во весь голос, — а мы перегрызлись, как собаки.

— Не мы, — возразил Айриш да Гама. — Наши скотски невежественные нищие родственники, из-за которых, черт побери, я достаточно хлебнул горя и за которых я не намерен отдуваться до конца своих дней. Да перестань ты лаять, Джавахарлал, тихо, дружок, тихо.

Камоинш побагровел, но прикусил язык, подумав о Неру в алипурской тюрьме и о многих других самоотверженных мужчинах и женщинах в дальних и ближних застенках. Ночью он сидел у постели кашляющей Беллы, обтирал ей глаза и губы, менял холодные компрессы у нее на лбу и шептал ей о том, что грядет новая жизнь, Белла, у нас будет свободная страна: превыше религий — ибо светская, превыше классов — ибо социалистическая, превыше каст — ибо просвещенная, превыше ненависти — ибо любящая, превыше мести — ибо прощающая, превыше племени

— ибо единая, превыше наречия — ибо многоязычная, превыше расы — ибо многоцветная, превыше бедности — ибо способная ее победить, превыше невежества — ибо грамотная, превыше глупости — ибо талантливая, — свобода, Белла, мы к ней помчимся экспрессом, скоро, скоро мы будем с тобой стоять на перроне и радоваться подходящему поезду, и под этот экстатический шепот она засыпала, и ее посещали видения разрухи и войны. Когда она засыпала, он читал ее бесчувственной оболочке стихи:

Не торопись принять блаженство смерти,
Еще хоть через силу подыши, [20]

и он обращался не только к жене, но и к несчастным узникам, ко всей подневольной стране; охваченный ужасом, склонялся над бренным, сонным, больным телом и пускал по ветру свою страдальческую любовь:

Пусть ложе исполнит все свои труды -
Умрет она, и правда воссияет,

---

20 Примечания: 20
Слегка измененная цитата из «Гамлета» (акт 5, сцена 2).

Хотя б никто не видел в ней нужды. [21]

Это был не туберкулез — точнее, не только туберкулез. В 1937 году у Изабеллы Химены да Гамы, урожденной Соуза, которой было всего тридцать три года, нашли рак легкого, уже достигший последней, смертельной стадии. Она отошла быстро, испытывая страшные боли, свирепо негодуя на врага в ее собственном теле, яростно восставая против подлой смерти, что явилась так рано и ведет себя так бесцеремонно. Воскресным утром, когда по воде доносился церковный звон, а в воздухе попахивало древесным дымком, когда Аурора и Камоинш были у ее постели, она сказала, повернув лицо к струящемуся свету:

— Помните историю про испанского Сида Кампеадора [22]? Он тоже любил женщину по имени Химена.

— Да, мы помним.

— И когда он получил смертельную рану, он велел ей привязать свое мертвое тело к лошади

---

21 Примечания: 21

Цитата из стихотворения «Magna Est Veritas» английского поэта Ковентри Патмора (1823-1896).

22 Примечания: 22

Родриго Диас де Бивар (Cid Campeador) (между 1026 и 1043-1099) — прославившийся своими подвигами испанский рыцарь, воспетый в «Песне о моем Сиде» (XII в.); герой трагедии П. Корнеля «Сид» (прим. ред.).

и пустить ее в гущу битвы, чтобы враги думали, что он еще жив.

— Да, мама, любовь моя, да.

— Тогда привяжите мое тело к рикше, черт бы ее драл, или к чему найдете, к верблюжьей ослиной воловьей повозке, к велосипеду, только, ради Бога, не к слону поганому, хорошо? Потому что враг близко, и в этой печальной истории Химене приходится быть Сидом.

— Я сделаю, мама.

[Умирает.]

4

Нам в нашей семье всегда было трудно дышать воздухом мира сего; мы рождались с надеждой на нечто лучшее.

Говорить за себя — в этот поздний час? Спасибо за совет, как раз собираюсь с силами; ведь я стал преждевременно стар, стар, стар. Я, можно сказать, слишком быстро жил, и как марафонский бегун, который рухнул, не дождавшись второго дыхания, как астронавт, который слишком весело танцевал на Луне, я использовал весь отпущенный мне воздух. О расточительный Мавр! К тридцати шести годам надышать на полные семьдесят два! (Хотя скажу справедливости ради, что особого выбора у меня не было.)

Итак: трудность имеется, но я с ней справляюсь. По ночам раздаются всякие звуки, вой и рык фантастических зверей, затаившихся в джунглях моих легких. Я просыпаюсь, полузадохшийся, и в дремотном дурмане хватаю воздух горстями, тщетно пытаюсь затолкать его себе в рот. Все же вдохнуть легче, чем выдохнуть. Как вообще легче поглощать, что предлагает жизнь, чем отдавать результаты этого поглощения. Как легче прини-

мать удары, чем бить в ответ. Так или иначе, с хрипом и присвистом я в конце концов выдыхаю — победа. Кроме шуток, тут есть чем гордиться; можно похлопать себя по ноющему плечу.

В такие моменты я и мое дыхание — одно. Вся жизненная сила, какая у меня еще есть, фокусируется на функциях моих сдающих легких, на кашле, на отчаянных рыбьих зевках. Я — существо, которое дышит. Его путь, начавшийся давным-давно с плача, с выдоха, завершится, когда поднесенное к губам зеркальце останется незамутненным. Не мышление, а воздух делает нас тем, что мы есть. Suspiro ergo sum. Вдыхаю, следовательно, существую. Латынь, как всегда, не врет: suspirare=sub (под) + spirare (дышать).

Suspiro: под-дыхиваю. По-дыхаю.

В начале, в середине и в конце было и есть — Легкое: божественный дух, младенческий первый крик, возделанный воздух речи, порывистое стаккато смеха, сверкающая слитность песни, стон счастливой любви, плач несчастной любви, скулеж обиженного, кряхтенье старца, смрадное дыханье болезни, предсмертный шепот; и превыше, превыше всего -безмолвная, бездыханная пустота.

Вздох — это не просто вздох. Вдыхая мир, мы

выдыхаем смысл. Пока мы в силах. Пока мы в силах.

— Мы дышим светом! — поют деревья. В конце пути в этом краю олив и каменных гробниц листва вдруг обрела слова. Мы дышим светом! — и вправду так; доходчиво, ничего не скажешь. «Эль Греко», — вот как называется этот речистый сорт, довольно-таки удачно — в честь световдохновенного, богоодержимого грека.

Но с этой минуты я больше не слушаю лепечущую зелень со всей ее древесной метафизикой и хлорофиллософией. Мое родословное древо говорит все, что мне нужно.

x x x

У меня было диковинное жилище — увенчанная башней крепость Васко Миранды в городке Бененхели, глядящая с бурого холма на сонную равнину, которой пригрезилось среди блистающих миражей, что она — средиземное море. И я грезил вместе с ней, и в высоком окне-бойнице мне мерещился не испанский, а индийский юг; бросая вызов времени и пространству, я пытался проникнуть в темную эпоху между смертью Беллы и появлением на сцене моего отца. Сквозь эти узкие врата, сквозь трещину во времени я

видел Эпифанию Менезиш да Гаму, коленопреклоненную, молящуюся, и ее домашняя церковка золотисто сияла во мраке просторного лестничного колодца. Но стоило мне моргнуть, как являлась Белла. Однажды вскоре после освобождения из тюрьмы Камоинш вышел к завтраку, одетый в простонародный кхаддар [23]; Айриш, вновь сделавшийся денди, прыснул в свою тарелку с кеджери [24]. После завтрака Белла отвела Камоинша в сторонку.

— Не паясничай, мой милый, — сказала она. — Наш долг перед страной — вести свой бизнес и смотреть за рабочими, а не рядиться мальчиками на посылках.

Но на этот раз Камоинш был непоколебим. Как и она, он был за Неру, а не за Ганди — то есть за бизнес, технологию, прогресс, современность, за город — в противовес всей сентиментальной демагогии о том, чтобы ткать собственное полотно и ездить в поездах третьим классом. Но ему нравилось ходить в домотканой одежде. Хочешь сменить власть -смени сначала платье.

---

23 Примечания: 23

Кхаддар — одежда из домотканой хлопчатобумажной материи.

24 Примечания: 24

Кеджери — жаркое из риса и рыбы с пряностями.

— О'кей, Бапуджи [25], — дразнила она его. — Но я-то из брюк не вылезу, не надейся — разве что ради какого-нибудь сногсшибательного платья.

Я смотрел на молящуюся Эпифанию и благодарил судьбу за великую удачу, которая казалась мне в свое время чем-то совершенно обычным, — а именно за то, что мои родители были напрочь избавлены от религии. (Где оно, это лекарство, это противоядие, этот универсальный антипопин? Разлить бы его по бутылочкам и распространить по всему земному шару!) Я смотрел на Камоинша в домотканой рубахе и думал о том, как однажды, без Беллы, он отправился через горы в городок Мальгуди на реке Сарайю только затем, чтобы услышать выступление Махатмы Ганди, — при том, что Камоинш был сторонником Неру. Он писал в дневнике:

В этой громадной массе людей, сидящих на прибрежном песке, я 6мл всего лишь крупинкой. Волонтеры в белых кхаддарах во множестве сновали вокруг трибуны. Хромированная подставка микрофона сверкала на солнце. Там и сям виднелись полицейские. Среди людей ходили активисты и просили сохранять тишину и спо-

---

25 Примечания: 25
Бапуджи (Папа) — так называли Махатму Ганди.

койствие. Люди слушались… река несла свои водм, на берегу гигантские баньяны и фикусы шелестели листвой; толпа в ожидании ровно гудела, время от времени раздавались хлопки бутылок с содовой; продолговатые искривленные ломти огурца, натертые подсоленной корой лайма, быстро исчезали с деревянного подноса торговца, который, понизив голос перед выступлением великого человека, повторял: «Огурца от жажды, кому огурца?» Защищаясь от солнца, он обмотал голову зеленым махровым полотенцем. [26]

Потом появился Ганди, и все стали ритмично хлопать в ладоши над головами и распевать его любимый дхун [27]:

Рагхупати Рагхава Раджа Рам
Патита павана Сита Рам
Ишвара Аллах тера нам
Сабко Санмати де Бхагван.

После этого прозвучало: Джай Кришна, Харе Кришна, Джай Говинд, Харе Говинд, прозвучало:

---

26 Примечания: 26

Здесь использован отрывок из романа Р. К. Нараяна «В ожидании Махатмы».

27 Примечания: 27

Экуменический распев, славословящий и Раму, и Аллаха.

Самб Садашив Самб Садашив Самб Садашив Самб Шива Хар Хар Хар Хар.

— Потом, — сказал Камоинш Белле по возвращении, — я уже ничего не слышал. Я увидел красоту Индии в этой толпе с ее огурцами и содовой водой, но религиозный фанатизм меня напугал. Мы в городе за светскую Индию, но деревня вся за Раму. Они поют: «Бог Аллах имя твое», но на уме у них другое, на уме у них один только Рама, властитель из рода Рагху, муж Ситы, гроза грешников. Я боюсь, что в конце концов деревня пойдет на город войной, и таким, как мы, придется запираться в домах от Карающего Рамы.

5

Через несколько недель после смерти жены на теле Камоинша да Гамы во сне стали появляться таинственные царапины. Первая — сзади на шее, ему на нее указала дочь; затем — три длинные линии, словно след грабель, на правой ягодице; наконец, еще одна — на щеке, вдоль края эспаньолки. Одновременно Белла начала посещать его в сновидениях, обнаженная и требовательная, и он просыпался в слезах, потому что, даже занимаясь любовью с этой призрачной женщиной, знал, что она не существует. Но царапины существовали и были вполне реальны, и хотя он не сказал этого Ауроре, ощущение, что Белла вернулась, родилось у него не в меньшей степени из-за этих любовных отметин, чем из-за отворенных окон и исчезнувших слоновьих безделушек.

Его брат Айриш истолковал пропажу бивней и статуэток Ганеши несколько проще. В центральном дворе под фикусовым деревом с выбеленным внизу стволом он собрал всех слуг и в послеполуденную жару стал прохаживаться перед ними взад-вперед в соломенной панаме, рубашке без воротника и белых парусиновых брюках с крас-

ными подтяжками; с металлом в голосе он заявил, что один из них, вне всяких сомнений, оказался вором. Домашние слуги, садовники, лодочники, подметальщики, чистильщики уборных стояли потной, колеблемой ужасом шеренгой, растянув лица в одинаковых заискивающих улыбках; бульдог Джавахарлал угрожающе ворчал, а его хозяин Айриш награждал прислугу жуткими евро-индийскими кличками.

— А ну живо все начистоту! — требовал он. — Говинд юшатина, ты украл? Наллаппа бумбия Карампал штильцхен? Сознавайтесь, пронто [28]!

Бои, которых он отхлестал по щекам, были у него Твидлдам и Твидлди [29], садовников, получивших по тычку в грудь, он окрестил именами орехов и специй — Кешью, Фисташка, Кардамон Крупный и Кардамон Мелкий, — а двоим чистильщикам уборных, до которых он, конечно, не дотрагивался, достались прозвища Какашка и Писюшка.

Аурора прибежала стремглав, догадавшись по звукам, что происходит, и впервые в жизни в

---

28 Примечания: 28

Немедленно, живо (исп.).

29 Примечания: 29

Твидлдам и Твидлди — персонажи из «Алисы в Зазеркалье» Л. Кэрролла.

присутствии слуг почувствовала стыд, просто не могла взглянуть им в глаза и, повернувшись к семье (она была в полном составе, ибо и бесстрастная Эпифания, и Кармен с осколком льда в сердце, и даже Камоинш — он поеживался, но, приходится признать, не вмешивался — вышли посмотреть на Айришеву технику допроса), пронзительно, забирая все выше, выкрикнула признание: Это-не-они-это-была-Я!

— Что-о? — издевательски-досадливо взвизгнул Айриш: мучитель, которого лишали удовольствия. — Нельзя ли погромче, я не слышу ни слова.

— Отпусти их немедленно! — завопила Аурора. — Они ни в чем не виноваты, и не трогали они твоих слонов, так их разэтак, и треклятых зубов слоновьих тоже. Я сама все это выкинула!

— Деточка, зачем? — спросил побледневший Камоинш. Бульдог, рыча, оскалился.

— Не смей меня называть деточкой! — вскинулась она и на отца. — Мама давно хотела это сделать. Теперь я буду вместо нее — ясно вам? А ты, дядя Айриш, запер бы лучше этого мерзкого пса, я, кстати, для него кличку придумала, которая ему действительно подходит: Шавка-Джавка, он только брехать умеет, а укусить боится.

Сказала, повернулась и ушла с высоко поднятой головой, оставив всех стоять с разинутыми от удивления ртами, словно перед ними и впрямь возникла аватара, новое воплощение Беллы, ее оживший дух.

x x x

Но заперли все-таки не пса, а Аурору: в наказание она должна была неделю провести в своей комнате на рисе и воде. Впрочем, сердобольная Джози тайком носила ей другую еду и питье — идли, самбар [30], а еще картофельно-мясные котлеты, рыбу в сухарях, остро приправленных креветок, банановое желе, крем-брюле, газировку; та же старая нянька незаметно доставила ей рисовальные принадлежности — уголь, кисти, краски, — посредством которых в этот момент подлинного повзросления Аурора решила раскрыть окружающим свое внутреннее "я". Всю неделю она трудилась, забывая о сне и отдыхе. Когда Камоинш подходил к двери, она гнала его прочь — она, дескать, отбудет положенный срок и не нуждается в утешении прошедшего тюрьму отца, который не пожелал вступиться за дочь и

---

30 Примечания: 30
Идли, самбар — популярные в южной Индии блюда.

защитить ее от заточения; он, повесив голову, удалялся.

Но когда время домашнего ареста истекло, Аурора сама пригласила Камоинша войти, сделав его вторым человеком на свете, увидевшим ее работу. Все стены комнаты и даже потолок, вплоть до дальних закоулков, кишели фигурами человеческими и звериными, реальными и фантастическими, нарисованными стремительной черной линией, бесконечно изменчивой, тут и там ввинчивающейся в обширные области цвета, где земля была красной, небо — фиолетовым и пунцовым, зелень — сорока разных оттенков; линией столь мощной и вольной, столь густой, щедрой и яростной, что у Камоинша, сердце которого распирало от родительской гордости, невольно вырвалось: «Да это же сам великий рой бытия!» Вглядываясь в распахнутую перед ним дочерью Вселенную, он постепенно стал различать отдельные сюжеты: нанося на стены историю страны, Аурора первым делом изобразила царя Гондофера, приглашающего в Индию апостола Фому; от Севера она взяла императора Ашоку с его «колоннами закона» и очереди людей, желающих встать спиной к колонне и, заведя за нее руки, попытаться их

соединить, что якобы приносит удачу; дальше, в ее плоской передаче, шли эротические храмовые изваяния со столь откровенными подробностями, что Камоинш отвел глаза, и строительство Тадж-Махала, творцы которого, как показала ее недрогнувшая кисть, были изувечены, у них отрубили руки, чтобы великие мастера не могли создать больше ничего подобного; перейдя к своему родному Югу, она нарисовала битву при Серингапатаме, меч Типу Султана, волшебную крепость Голконду, где негромкая речь человека, стоящего в надвратной башне, явственно слышна в цитадели, и прибытие первых евреев в стародавние времена. Современная история тоже вся была здесь: тюрьмы, полные пламенных борцов, Конгресс и Мусульманская лига, Неру-Ганди-Джинна-Патель-Бозе-Азад [31], британские солдаты, шепотом обменивающиеся слухами о близкой войне; а помимо истории на стенах жили существа, рожденные фантазией художницы: гибриды, кентавры, полуженщины-полутигры, полумужчины-полузмеи, здесь же морские чудища и горные духи. На почетном месте красовался Васко да Гама собственной персоной: ступив

31 Примечания: 31

Перечислены крупные деятели национально-освободительного движения.

на индийскую землю, он принюхивался и выискивал, чем таким пряным, горячительным, денежным можно тут поживиться.

Камоинш начал выхватывать взглядом семейные портреты, портреты не только живущих и умерших, но даже еще не рожденных — например, ее будущих детей, скорбно стоящих вокруг ее мертвой матери подле большого рояля. Он был шокирован изображением Айриша да Гамы на фоне корабельных мастерских, совершенно голого, светящегося и окруженного надвигающимися на него со всех сторон темными фигурами; он был потрясен пародией на Тайную Вечерю, в которой их домашние слуги разнузданно бражничали за большим обеденным столом под висящими на стенах портретами своих оборванных предков, а члены семьи да Гама, прислуживая им, разносили пищу, разливали вино и терпели издевки: Кармен кто-то ущипнул за мягкое место, Эпифании дал пинок под зад пьяный садовник; но мощный композиционный поток нес его и нес, не позволяя задерживаться на личном, увлекая в гущу толпы, ибо позади, и вокруг, и выше, и ниже, и посреди семьи, повсюду была человеческая масса, густая, всепроникающая и безграничная; Аурора построила свою грандиозную работу та-

ким образом, что ее родственники должны были проталкиваться, продираться сквозь кишение вымышленных лиц, она утверждала тем самым, что отгороженность острова Кабрал — иллюзия, а истина — в этом нагромождении, в этом улье, в этой бесконечно вьющейся линии людского бытия; и куда Камоинш ни смотрел, всюду он видел ярость женщин, мучительную слабость и компромисс на лицах мужчин, двуполость детей, смиренно-бесстрастные лики мертвецов. Он недоумевал, откуда она обо всем этом знает, и, ощущая на языке горечь отцовской несостоятельности, думал о том, что в столь юном возрасте она не должна была столько всего вкусить от злобы, боли и разочарования мира сего и так мало — от его сладости; ты должна научиться радоваться, хотел он сказать, тогда, только тогда твой дар воплотится до конца, но она уже знала так много, что слова замерли у него на устах и он не посмел их произнести.

И лишь Бога там не было: сколь пристально ни вглядывался Камоинш в стены, сколь внимательно, стоя на стремянке, ни рассматривал потолок, он не обнаружил ни распятого, ни нераспятого Христа, ни какого-либо иного божества, ни русалки, ни лесной нимфы, ни единого ангела, черта

или святого.

И все это было погружено в ландшафт, от вида которого Камоинша бросило в дрожь, ибо это была сама Мать Индия, Мать Индия с ее кричащими красками и неостановимым движением, Мать Индия, которая любит, предает, пожирает, уничтожает и вновь любит своих детей, которая в них, детях, возбуждает страстное влечение и яростный гнев, не утихающие и за гранью могилы; которая простирается до великих гор, подобных восклицаниям души, тянется вдоль полноводных рек, несущих и милость, и заразу, охватывает суровые знойные плоскогорья, где люди крошат кирками и мотыгами сухую неплодородную почву; Мать Индия с ее океанскими побережьями, кокосовыми пальмами, рисовыми полями и волами у колодцев, с ее журавлями на деревьях, выгибающими шеи наподобие вешалок для одежды, с кружащими в небе стервятниками, подражательными криками скворцов-майн и желтоклювой свирепостью ворон, протеически-изменчивая Мать Индия, которая может обернуться чудищем, морским червем, поднимающим над водой на длинной чешуйчатой шее голову с лицом Эпифании; которая может сеять смерть, плясать на тысячах трупов, косоглазая

и кровавоязыкая, словно грозная богиня Кали; но превыше всего, в самом центре потолка, где к острию грандиозного рога изобилия сходились все линии, была Мать Индия с лицом Беллы. Умершая «королева Изабелла» была здесь единственной богиней-матерью; исходной причиной первого могучего творческого выброса Ауроры оказалась простая боль человеческой утраты, безутешная тоска осиротевшего ребенка. Комната была ее актом прощания.

Камоинш, поняв все, обнял ее, и они заплакали вместе.

x x x

Да, мама; прежде, чем стать матерью, ты была дочерью. Одна женщина подарила тебе жизнь, у другой ты ее отняла… О, это история многих внезапных кончин, многих злоумышлении и злодеяний, многих смерто– и самоубийств. Люди играли во всем этом главную роль, а огонь, вода и болезнь были только подспорьем, сопутствующими — или, скорей, обволакивающими и проникающими — факторами.

В ночь перед Рождеством 1938 года, ровно через семнадцать лет после того, как юный Камоинш впервые привел в дом семнадцатилетнюю Иза-

беллу Соузу, их дочь и моя мать Аурора да Гама проснулась от менструальных болей и не могла вновь уснуть. Она пошла в ванную и проделала то, чему научила ее старая Джози, использовав вату, марлю и длинную ленту, чтобы все держалось на месте… упаковавшись как должно, она легла на белый кафельный пол и стала пережидать боль. Через некоторое время ей полегчало. Она решила выйти в сад и омыть измученное тело в сияющем, беззаботном чуде Млечного Пути.

Добрая звезда светит нам всегда… мы глядим в вышину и надеемся, что звезды глядят оттуда на нас, мы молимся о путеводной звезде, прочерчивающей в небе путь нашей судьбы, но это гордыня наша и ничего больше. Мы смотрим на галактики и влюбляемся, но для Вселенной мы значим куда меньше, чем она для нас, и звезды остаются на своих кругах, как бы мы ни мечтали об ином. Да, конечно, если достаточно долго взирать на небесное колесо, можно увидеть вспышку падающего и умирающего метеора. Но это не та звезда, за которой стоит следовать, — просто камень, которому не повезло. Судьбы наши здесь, на земле, и нет для нас путеводных звезд.

После инцидента с отворенными окнами прошел год с лишним, и дом на острове Кабрал спал

в ту ночь под знаком некоего перемирия. Аурора, уже достаточно взрослая, чтобы не бояться рождественского деда, накинула поверх ночной рубашки легкую шаль, обогнула спящую на своем матрасике у двери няню Джози и босиком пошла по коридору.

(Рождество, эту северную затею, эту снежно-чулочную сказку, этот праздник ярких каминов и северных оленей, латинских гимнов и немецкого O Tannenbaum [32], вечнозеленых деревьев и Санта-Клауса с его маленькими «помощниками» тропическая жара возвращает к чему-то более исконному, ибо кем ни считай младенца Иисуса, он был дитя теплого климата; как скудна ни была его пища, она не была холодна; и если действительно к нему пришли мудрые волхвы, следуя (в чем, как сказано выше, особой мудрости не было) за звездой, явились они, не надо забывать, с Востока. В кочинском форте в английских домах стояли деревца с ватой на ветвях; в церкви святого Франциска, тогда, в отличие от нынешних дней, англиканской, молодой священник Оливер д'Эт уже провел ежегодное рождественское богослужение; для Санта-Клауса были оставлены

---

32 Примечания: 32
О елка (нем.) — слова из рождественской песни.

сладкие пирожки и стаканы молока, и, так или иначе, уж индейка-то на столах завтра будет, обязательно будет, и два вида начинки, и даже брюссельская капуста. Но здесь, в Кочине, много других христианских церквей, есть католики, есть сирийские православные и несториане, здесь служатся полночные обедни, на которых спирает дух от курений, здесь есть священники с тринадцатью крестами на клобуках, означающими Христа и апостолов, здесь между общинами порой разгораются войны, католики враждуют с сирийцами, и все согласны, что несториане не имеют никакого отношения к христианству, и каждая из соперничающих конфессий готовится к своему Рождеству. В доме на острове Кабрал правит Римский папа. Рождественского дерева тут не ставят; зато есть ясли. Иосиф смахивает на плотника из Эрнакулама, Мария — на сборщицу чая, из скота — только буйволы, и цвет кожи у Святого Семейства — ух ты! — довольно темный. Подарков не полагается. По убеждению Эпифании да Гамы Рождество должно быть посвящено Иисусу. Подарки — даже в этом, мягко говоря, недружном семействе происходит обмен подношениями — дарятся на Крещение, в праздник золотого благовонного мира. В этот дом никто не

влезает через каминную трубу…)

Дойдя до площадки главной лестницы, Аурора увидела, что дверь домашней церкви отворена; горевший в ней свет, словно маленькое золотое солнце, разгонял тьму лестничного колодца. Аурора подкралась поближе, заглянула внутрь. У престола на коленях стояла маленькая фигура в черной кружевной мантилье, покрывавшей голову и плечи. Аурора услышала легкое постукивание рубиновых четок Эпифании. Не желая попадаться бабушке на глаза, Аурора двинулась было обратно, как вдруг в полной тишине Эпифания Менезиш да Гама завалилась набок и осталась лежать.

«Когда-нибудь ты мне сердце погубишь».

«Ничего, потерпим. Придет мое времечко».

И как же приблизилась Аурора к лежащей бабушке? Подбежала ли она к ней стремглав, как любящая внучка, поднесла ли дрожащую руку к ее губам?

Она приблизилась медленно, непрямым путем, двигаясь вдоль стены, подкрадываясь к неподвижному телу осторожными шагами.

Закричала ли она, ударила ли в гонг (в церкви он был), призвала ли как-либо иначе людей на помощь?

Ничего подобного она не сделала.

Может быть, в этом уже не было смысла; может быть, стало совершенно ясно, что Эпифании ничем не помочь, что ее настигла милосердная мгновенная смерть?

Подойдя к Эпифании, Аурора увидела, что ее пальцы все еще вяло перебирают четки; что глаза старой женщины открыты и она узнала внучку; что губы бабушки слабо шевелятся, не выговаривая ничего членораздельного.

И, увидев, что бабушка еще жива, сделала ли она что-нибудь ради спасения ее жизни?

Она замерла.

А потом? Ведь, само собой, она была еще девочка; паника могла вызвать у нее минутный столбняк, это простительно, но, придя в себя, она, конечно, немедленно позвала на помощь домашних… неужели нет?

Придя в себя, она отступила на два шага назад; потом села на пол, скрестив ноги; и стала смотреть.

И она не почувствовала ни жалости, ни стыда, ни страха?

Она была озабочена — это да. Если приступ у Эпифании окажется несмертельным, тогда ее поведение сочтут предосудительным; даже отец

разгневается. Она это знала.

И более ничего?

Она боялась, что ее увидят; поэтому она пошла и закрыла дверь церкви.

Почему тогда не пойти до конца? Почему не задуть свечи и не выключить электричество?

Все надо было оставить, как оставила Эпифания.

Значит, хладнокровное убийство. Все было рассчитано.

Если бездействие можно приравнять к убийству, то да. Если сердечный приступ Эпифании был столь серьезен, что ее оказалось невозможно спасти, то нет. Спорный случай.

Эпифания умерла?

Спустя час ее губы в последний раз зашевелились; глаза вновь обратились на внучку. Поднеся ухо к умирающему рту, Аурора услышала бабушкино проклятие.

И что же убийца? Или, справедливости ради, — та, которая, возможно, была убийцей?

Оставила дверь церкви широко открытой, как раньше; и отправилась спать…

…Но ведь не могла же она…

…и заснула безмятежным сном младенца. И проснулась рождественским утром.

XXX

Нелицеприятная правда состоит в том, что смерть Эпифании отозвалась прибавлением жизни. Какой-то давно изгнанный дух — может быть, радости — вернулся на остров Кабрал. Изменилось само освещение, словно из воздуха убрали некий фильтр; заиграли свежие краски, все как будто переродилось. В новом году садовники дивились бурному росту насаждений и малому количеству вредителей, и даже абсолютно равнодушные к растительным красотам глаза останавливались на величественных каскадах бугенвиллии, даже наименее чувствительные носы ощущали победную мощь жасмина, ландыша, орхидей и цветов декоративного кактуса. Казалось, гудящее возбуждение, предвкушение нового передается и старому дому; горечь и затхлость ушла из его дворов. Даже бульдог Джавахарлал помягчел нравом в новую эпоху.

Гостей стало едва ли не столько же, сколько в лучшие дни Франсишку. Молодые люди приезжали на больших лодках, чтобы поглазеть на Комнату Ауроры и провести вечер в уцелевшем доме Корбюзье, который с юношеским рвением они быстро привели в порядок; вновь на острове

заиграла музыка, вновь зазвучали модные танцевальные мелодии. Даже

Кармен да Гама, моя двоюродная бабушка Сахара, вошла во вкус и под предлогом присмотра за молодежью постоянно присутствовала на этих сборищах; в конце концов она уступила уговорам одного красивого юноши и, ворча и отдуваясь, но неожиданно гибко и ловко прошлась с ним в танце. Оказалось, что у нее есть чувство ритма, и в последующие вечера, когда приятели Ауроры выстраивались в очередь, чтобы пригласить Кармен, можно было видеть, как госпожа Айриш да Гама утрачивает старообразность, как она распрямляется, как ее глаза перестают косить и затравленное выражение уступает в них место робкой радости. Ей ведь еще и тридцати пяти не исполнилось, и впервые за целую вечность она выглядела моложе своих лет.

Когда Кармен начала танцевать шимми, Айриш стал поглядывать на нее с неким подобием интереса и наконец сказал:

— Может, пора и нам, взрослым, напригласать гостей, чтобы тебе было перед кем чуток пофорсить.

Это были самые добрые слова, какие Кармен от него слышала за всю жизнь, и последующие

недели она провела в безумном вихре пригласительных билетов, китайских фонариков, меню, длинных столов — вихре, переходившем в смертельно-сладкую агонию, когда она задумывалась, что надеть. В назначенный вечер на главной лужайке играл оркестр, а в бельведере домика Корбюзье — патефон, и катер привез много женщин в брильянтах и элегантных мужчин с белыми галстуками, и если иные глаза со значением вглядывались в глаза Айриша, то Кармен в этот день дней не была расположена замечать слишком много.

Лишь одного члена семьи не коснулось всеобщее оживление: в самый разгар бала на. острове Кабрал ни о чем другом не мог думать Камоинш, кроме Беллы, чья красота в такой великолепный вечер затмила бы и сами звезды. Любовные отметины перестали появляться у него на теле, и теперь, когда он не мог больше цепляться за сумасшедшую надежду на ее возвращение из-за грани могилы, ослабла какая-то нить, связывавшая его с жизнью; в иные дни он даже не мог смотреть на собственную дочь, в которой слишком сильно ощущалось присутствие матери. Он как бы гневался на нее за то, что она обладает Беллой настолько, насколько ему никогда уже не обладать.

Он стоял на пристани один, держа в руке стакан с гранатовым соком. Молодая женщина, изрядно выпившая, с черными завитыми волосами и ярко-алой губной помадой, в пышном платье с буфами подошла к нему не вполне твердой походкой.

— Белоснежка! — представилась она с долей развязности. Камоинш, мысли которого были далеко, не нашелся с ответом.

— Да вы что, кинокартину не видели? — разочарованно протянула женщина. — Наконец-то идет, столько ждали, я ее, наверно, уже раз десять посмотрела. — Она показала на свое платье. — Как в фильме, не отличить! Я портному велела -чтобы в точности. Хотите, всех гномов назову? — И, не дожидаясь ответа: — Чихунсоняшвесельчакпростакворчунтихонялекарь. А вы кто из них будете?

Несчастный Камоинш не знал, что говорить; и просто покачал головой. Но игривую Белоснежку его молчание не обескуражило.

— Не Чихун, не Весельчак, не Лекарь, — сказала она. -Значит, Соняпростакворчунтихоня — кто? Раз вы не сознаетесь, начинаю угадывать. Соня — нет, Простак — не думаю, Ворчун — может быть, но Тихоня — точно. Не робей, Тихоня! На-

свистывай за работой!

— Мисс, — предпринял попытку Камоинш, — может быть, вам вернуться к другим гостям? Мне, честно сказать, хочется побыть одному.

Белоснежка нахмурилась.

— Мистер Камоинш да Гама, важная птица из тюремной клетки, — отчеканила она. — Не может поддержать разговор с дамой, все горюет по умершей женушке, хотя с ней половина города переспала, богач-бедняк-принц-нищий. О Господи, да что я говорю, не надо было, наверно…

Она повернулась, чтобы уйти, но Камоинш схватил ее за руку выше локтя.

— Вы что, пустите, синяк будет! — закричала Белоснежка. Но взгляд Камоинша был недвусмысленно требователен. -Я вас боюсь, — сказала она, пытаясь высвободить руку. -Ополоумели вы, что ли? Или пьяный? Да, наверно, пьяный. Ладно. Жаль, проговорилась я, но ведь все-все-все знают, так что и без меня это до вас бы дошло рано или поздно. А теперь хватит, хорошенького понемножку, вы, оказывается, не Тихоня, а самый настоящий Ворчун, и пойду-ка я поищу себе другого гнома.

На следующее утро к Белоснежке, которая мучилась головной болью, заявились двое полицей-

ских и попросили ее пересказать приведенный выше разговор.

— Не понимаю, что вас интересует, я ушла, он остался на пристани, все, конец, говорить больше не о чем.

Она была последней, кто видел моего дедушку живым.

Вода нас забирает. Она забрала Франсишку и Камоинша, отца и сына. Оба погрузились в черную зеркальную гладь ночной гавани и поплыли в морскую материнскую необъятность. Течение подхватило их и унесло.

6

В августе 1939 года Аурора да Гама увидела, что торговое судно «Марко Поло» все еще стоит на якоре в кочинской гавани, и, сочтя это признаком вопиющей халатности дядюшки Айриша, выпустившего из равнодушных рук бразды правления в переходный период между смертью ее родителей и ее собственным полноправным появлением на сцене, пришла в неописуемый гнев. Она велела шоферу «пулей» везти ее в эрнакулам-ский порт, к складу? 1 частного торгового дома с ограниченной ответственностью «К-50» и вихрем ворвалась в это пещероподобное хранилище; там на мгновение остановилась, смущенная прохладным, пронизанным лучами света сумраком, обескураженная кощунственным величием уставленного джутовыми мешками собора, где запахи пачулевого масла, гвоздики, куркумы и фенугрека, тмина и кардамона витали в воздухе, словно воспоминания о хоралах, и узкие проходы между нагромождениями готовой к экспорту продукции вели то ли в ад и обратно, то ли к спасению души.

(Великое родословное древо — из малого зер-

нышка; не закономерно ли, что моя личная история, история сотворения Мораиша Зогойби, берет начало в задержанной партии перца?)

В этом соборе были и священнослужители: экспедиторы, поминутно сверяясь с прикрепленными к дощечкам бумагами, озабоченно сновали среди кули, нагружающих свои тележки; над ними всеми возвышалась троица жутко изможденных контролеров — господин Перчандал, господин Тминсвами и господин Чиликарри, восседавшие, подобно инквизиторам, на высоких табуретах в зловещих нимбах ламп и царапавшие гусиными перьями в гигантских гроссбухах, что лежали перед ними на наклонных столах с журавлиными ножками-ходулями. Ниже этих величественных персонажей за обычным письменным столом с маленькой лампой сидел дежурный складской управляющий, на которого и спикировала Аурора, оправившись от нерешительности и требуя объяснить, почему задержана отправка судна.

— О чем там дядя себе думает? — кричала она, и это было довольно глупо, ибо откуда мог столь ничтожный червь знать, что на уме у самого господина Айриша да Гамы? -Он что, утопить хочет наше семейное состояние?

Увидев столь близко от себя самую красивую из всех представительниц рода да Гама и единственную наследницу его несметных богатств — ведь всем было известно, что господин Айриш и госпожа Кармен хозяйничают только до поры до времени, а покойный господин Камоинш оставил им не более, чем содержание, хотя и щедрое, — складской управляющий был поражен словно ударом копья в самое сердце и временно онемел. Юная владычица наклонилась к нему еще ближе, зажала его подбородок между большим и указательным пальцами, пронзила управляющего самым что ни на есть негодующим взглядом — и по уши влюбилась. К тому времени, как он, совершенно ошеломленный, справившись кое-как с приступом застенчивости, пробормотал с запинкой, что между Англией и Германией объявлена война и поэтому капитан «Марко Поло» отказывается плыть в Англию, — «Видите ли, возможны нападения на торговые суда», — Аурора поняла, немало злясь на свои предательские чувства, что по причине нелепой и неуместной страсти ей придется бросить вызов правилам и обычаям своего класса и немедленно выйти замуж за этого состоящего на службе у семьи не слишком речистого красавца. «Все равно, что

выйти за грязного шоферюгу», — кляла она себя в блаженном отчаянии и, погрузившись с головой в сладкий ужас своего положения, не сразу увидела на столе управляющего деревянную табличку с именем и фамилией.

— О Господи, позор-то какой! — вырвалось у нее, когда белые буквы впечатались наконец в ее сознание, — мало мне позора, что у него в кармане пусто и язык не ворочается, так он еще и еврей впридачу. — После паузы, в сторону: -Вот так, Аурора. Чем дело-то пахнет. Втюрилась в Моисея, в поганца косноязычного [33].

Белые буквы таблички педантично поправили ее (предмет ее внимания, у которого голова шла кругом, во рту пересохло, сердце бухало, в ушах шумело и в паху разгорался огонь, был неспособен это сделать, вновь лишившись дара речи из-за нарастания чувств, обычно не поощряемых в служащих семейных фирм); дежурного управляющего Зогойби звали не Моисей, а Авраам. Если верно, что имя определяет судьбу, то шесть крупных букв говорили о том, что ему не суждено сокрушить фараона, дать народу заповеди и разделить воды морские; не его удел — вести

---

33 Примечания: 33

Библейский Моисей, когда его устами не говорил Бог, был косноязычен.

кого-либо в землю обетованную. Вместо этого он возложит родного сына на алтарь свирепой любви. А «Зогойби»?

x x x

«Неудачник» по-арабски — так, по крайней мере, утверждает свечной фабрикант Моше Коген и гласит предание в материнской ветви семьи Авраама. При этом, однако, никто в роду ни в малейшей степени не знал этого заморского языка. Даже подумать такое было грешно. «Ты только погляди, как они пишут, — сказала раз Аврааму его мать Флори. — Точно ножами колют и полосуют, даже тут одно зверство. Правда, мы тоже потомки воинов. Может, поэтому к нам и прилипло чужое андалусское прозванье».

(Вы хотите спросить: если это фамилия матери, почему же сын?.. Отвечаю: не гоните, пожалуйста, лошадей.)

«Ты ей в отцы годишься». Авраам Зогойби, рожденный в том же году, что и покойный Камоинш, стоял, весь напружинившийся, у отделанной внутри голубой плиткой кочинской синагоги (Плитки из Кантона. Нет двух одинаковых, — гласила надпись под образчиком на стене прихожей), источая сильный запах специй и кое-чего еще,

и готовился защищаться от материнского гнева. Старая Флори Зогойби в выцветшем зеленом миткалевом платье, облизывая десны, слушала сбивчивый рассказ сына о запретной любви. Своей палкой она провела на земле черту. По одну сторону синагога, Флори, история; по другую Авраам, его богатая девица, Вселенная, будущее — все вещи нечистые. Закрыв глаза, отвлекшись от Авраамова бормотанья и запаха, она вызвала в памяти прошлое, предвосхищая момент, когда ей придется отречься от единственного сына, потому что не случалось еще такого, чтобы кочинский еврей женился на язычнице; ведь помимо ее собственной памяти, глубже и дальше, была долгая память племени… индийские «белые евреи», сефарды из Палестины, появились в большом числе (приблизительно десять тысяч) в 72 году нашей эры, спасаясь от преследования римлян. Обосновавшись в Кранганyре, они шли в наемные войска к местным раджам. Однажды битву между правителем Кочина и «владыкой морей» — каликутским князем пришлось отложить из-за того, что еврейские воины не могли сражаться в субботу.

О благая община! Она процветала. Затем, в 379 году нашей эры, царь Бхаскара Рави Варман I

дал Иосифу Раббану во владение деревню Анджуваннам близ Кранганура. Медные таблички, на которых был увековечен этот дар, в конце концов оказались в облицованной плиткой синагоге, в ведении Флори; ибо в течение многих лет, вопреки обычаю, она, женщина, исполняла там почетную должность смотрительницы. Таблички хранились в ящике под алтарем, и время от времени она их доставала и полировала с превеликим тщанием, покрывая слоем собственного пота.

— Мало того, что христовка, так тебе из них самую такую-растакую надо было выбрать, — бормотала Флори. Но взор ее все еще блуждал в далеком прошлом, перед ним возникали еврейские насаждения ореха кешью, арековой пальмы и хлебного дерева, древние колышущиеся поля еврейского рапса, сбор еврейского кардамона — ведь разве не это было основой процветания общины?

— Теперь эти поздние пташки захватывают наш бизнес, -бубнила она. — Невесть как гордятся из-за того, что они чьи-то там выблядки. Фитц-Васко-да-Гама [34]! По мне, так ничуть не лучше,

---

34 Примечания: 34

Частица «Фитц», восходящая к французскому fils (сын), входит в состав многих английских фамилий.

чем шайка мавров.

Если бы Авраам не был так охвачен любовью, если бы удар грома не был таким внезапным, он, по всей вероятности, придержал бы язык из сыновнего почтения, зная к тому же, что Флори с ее предрассудками ему не переспорить.

— Я слишком по-нынешнему тебя воспитала, — продолжала она. — Христиане да мавры, подумать только. Пришли, значит, по твою душу.

Но Авраам был влюблен и поэтому не стал терпеть нападок на свою любимую.

— Во-первых, если по справедливости, то и ты такая же поздняя пташка, — имея в виду, что задолго до «белых евреев» в Индии появились «черные», бежавшие из Иерусалима от полчищ Навуходоносора в 587 году до нашей эры, и даже если не принимать их в расчет, поскольку они давным-давно смешались с местным населением и исчезли, были еще, например, евреи, которые пришли из Вавилона и Персии в 490-518 годах нашей эры, и много столетий протекло с тех пор, как евреи стали селиться сначала в Крангануре, а затем и в Кочине (общеизвестно, что некий Иосиф Азаар с семьей перебрался туда в 1344 году), а потом они стали приезжать из Испании после

изгнания в 1492 году, и в числе первых — предки Соломона Кастиля…

Услыхав это имя, Флори Зогойби вскрикнула; вскрикнула и мотнула головой.

— Соломон, Соломон, Кастиль, Кастиль, — с детским злорадством принялся ее дразнить тридцатишестилетний сын. -От которого произошел, по крайней мере, один инфант Кастильский. Что, будем родословную вспоминать? Начиная с сеньора Леона Кастиля, оружейника из Толедо, потерявшего голову из-за некой испанской аристократки со слоном и башней на гербе, [35] и кончая моим папашей Соломоном, который тоже, конечно, был ненормальный, но самое главное то, что Кастили приехали в Кочин на двадцать два года раньше, чем Зогойби, quod erat demonstrandum [36]… А во-вторых, евреям с арабскими фамилиями и семейными тайнами надо бы поосторожней со словом «мавр».

На сумрачной еврейской улочке, куда выходит синагога в Маттанчери, стали появляться, чтобы с важным видом понаблюдать за ссорой, пожилые

---

35 Примечания: 35

Одно из значений испанского слова castillo — геральдическая башня на слоне.

36 Примечания: 36

Что и требовалось доказать (лат).

мужчины с закатанными брюками и женщины с пучками седеющих волос. Над рассерженной матерью и не дающим себя в обиду сыном стали распахиваться голубые ставни, и в окнах возникли головы. Рядом на еврейском кладбище камни с надписями на древнем языке реяли в сумерках, как приспущенные флаги. В вечернем воздухе висели запахи рыбы и специй. Флори Зогойби, услышав о тайнах, которых она никогда никому не открывала, стала заикаться и дергаться.

— Проклятье всем маврам! — заголосила она, когда немного пришла в себя. — Кто разрушил кранганурскую синагогу? Мавры, кто же еще. Местные Отелло, нашего кустарного производства. Чума на них с их домами и женами!

В 1524 году, через десять лет после приезда Зогойби из Испании, в этих краях произошла мусульмано-еврейская война. Дела, разумеется, весьма давние, и Флори вспомнила о них только для того, чтобы увести разговор от семейных секретов. Но проклятье — вещь серьезная, особенно при свидетелях. Оно вспорхнуло в воздух, как перепуганная курица, и довольно долго в нем трепыхалось, словно не зная, на кого опуститься. Мораиш Зогойби, внук Флори, родится только через восемнадцать лет; тогда-то курочка и найдет

свой насест.

(А что же, интересно, не поделили мусульмане и евреи в шестнадцатом веке? Торговлю перцем, конечно.)

— Евреи с маврами бились-бились, — бурчала старая Флори, чувствуя, что в беде своей сказала лишнее, — а потом пришли твои христианские Фитц-Васко и хапнули рынок у тех и у других.

— Уж ты-то молчала бы насчет незаконных детей! — крикнул Авраам Зогойби, который носил фамилию матери. -Фитц, видишь ли, — сказал он, обращаясь к собравшейся толпе. — Я ей покажу «Фитц»!

С этими словами, полный яростной решимости, он ринулся в синагогу; мать с визгливым сухим плачем заковыляла вслед.

x x x

Два слова о моей бабушке Флори Зогойби, которая была ровесницей и полной противоположностью Эпифании да Гама, но стояла ближе ко мне на целое поколение: за десять лет до конца века «бесстрашная Флори» постоянно околачивалась у игровой площадки школы для мальчиков, где она дразнила подростков шелестом юбок и рифмованными насмешками, а порой брала

ветку и проводила по земле черту — попробуй переступи. (Рисование линий, видно, у меня в роду и с материнской, и с отцовской стороны.) Она бесила их жуткими и бессмысленными заклинаниями, как заправская ведьма:

Фокус-покус, райский сад,
Птичий потрох, пошел в ад.
Дунул, плюнул, раз-два-три,
Топни, хлопни и умри.

Когда мальчики подступали к ней, она кидалась на них с такой яростью, что легко брала верх, несмотря на их преимущество в силе и росте. От какого-то неизвестного предка она унаследовала явные бойцовские задатки, и как ни хватали противники ее за волосы, как ни обзывали грязной еврейкой, совладать с ней им не удалось ни разу. Иногда она в буквальном смысле тыкала их носом в грязь. А иногда просто стояла, расправив плечи, торжествующе скрестив на груди худые руки и наблюдая, как ошеломленные жертвы неверными шагами пятятся прочь. «В другой раз подбери кого-нибудь себе по росту», — добавляла Флори к рукоприкладству словесное оскорбление, или: «Мы евреечки-малявочки, тронешь

— обожжешься». Да, она всячески измывалась над ними, но даже подобные попытки увенчать победу метафорой, представить себя защитницей маленьких, меньшинства, девочек — даже они не сделали ее популярной. «Бешеная Флори», «Флори-горе» — вот и вся ее «репутация».

Пришло время, когда никто уже не переступал пугающе-аккуратных линий, которые она продолжала проводить через ухабы и пустоши своего детства. Она стала задумываться и уходить в себя, подолгу сидела за проведенной ею пыльной чертой, как бы затворившись в некоей воображаемой крепости. К восемнадцати годам она перестала драться, поняв кое-что о выигранных сражениях и проигранных войнах.

А веду я к тому, что в представлении Флори христиане украли у нее отнюдь не только древние плантации пряностей. То, чего они ее лишили, уже тогда было в дефиците, а " для девушки с «репутацией» — и подавно… Когда ей исполнилось двадцать четыре, синагогальный смотритель Соломон Кастиль переступил проведенную мисс Флори черту, чтобы попросить ее руки. По всеобщему мнению, это была либо величайшая милость, либо величайшая глупость, либо и то и другое вместе. В те годы численность общины

уже уменьшалась. Еврейское население Маттанчери насчитывало всего, может быть, четыре тысячи человек, а если исключить семейных, да маленьких, да стариков, да больных, да увечных, то получается, что молодежь брачного возраста не была особенно свободна в выборе женихов и невест. Старые холостяки обмахивались веерами у башни с часами и гуляли по набережной, держась за руки; беззубые старые девы сидели на скамеечках у дверей и шили распашонки для неродившихся младенцев. Свадьба давала повод скорей для завистливых толков, чем для веселья; брак Флори и смотрителя молва объяснила их обоюдным уродством. «Как смертный грех, — говорили острые языки. — Детишек будущих жалко».

(Ты ей в отцы годишься, кричала Флори Аврааму; но Соломон Кастиль, родившийся в год индийского восстания, был старше ее на двадцать лет, бедняга, должно быть, просто спешил жениться, пока он еще в силе, чесали языками сплетники… И еще по поводу их свадьбы. Она произошла в 1900 году, в тот же день, что и гораздо более заметное событие; ни одна газета не упомянула в колонке светской хроники о бракосочетании Кастиля и Зогойби, но все поместили

фотографии господина Франсишку да Гамы и его улыбающейся невесты из Мангалуру.)

Мстительность одиночек была в конце концов вознаграждена: спустя семь лет и семь дней бурной семейной жизни, в течение которых Флори родила единственного ребенка, мальчика, выросшего вопреки всякой логике в самого красивого молодого человека редеющей общины, поздно вечером в день своего пятидесятилетия смотритель Кастиль вышел на пристань, прыгнул в шлюпку, где сидело с полдюжины пьяных матросов-португальцев, и отправился в плавание. «Надо было думать прежде, чем брать в жены Флори-горе, -удовлетворенно перешептывались старые девы и холостяки, — но мудрое имя не означает, что у тебя обязательно мудрые мозги». Этот неудачный брак стали называть в Маттанчери «глупостью Соломоновой»; но Флори винила христианских моряков, всю эту купеческую армаду всесильного Запада, в том, что она сманила ее мужа на поиски земного рая. И в возрасте семи лет ее сыну пришлось расстаться с несчастливой фамилией отца и взять себе столь же несчастливую материнскую — Зогойби.

После исчезновения Соломона Флори сделалась хранительницей голубых керамических плиток

и медных табличек Иосифа Раббана, потребовав себе должность смотрительницы с такой пламенной яростью, что в ней потонул робкий ропот несогласных. Хранительница, защитница; не только маленького Авраама, но и пергаментного Ветхого Завета с истертыми страницами, по которым бежали строки еврейских букв, и полой золотой короны, дарованной общине в 1805 году травaнкурским махараджей. Она ввела новшества. Евреев, приходивших молиться, она заставляла снимать обувь. Это явно мавританское правило вызвало много возражений; Флори отвечала на них горьким лающим смехом.

— Где почтение? — вскидывалась она. — Наняли меня беречь добро, так будьте бережней сами. Обувь долой! Быстро! Не смейте пачкать китайские плитки.

Нет двух одинаковых. Плитками из Кантона, приблизительно 12 на 12 дюймов, приобретенными в 1100 году Эзекилем Раби, были облицованы пол, стены и потолок маленькой синагоги. Им приписывали магические свойства. Говорили, что если достаточно долго их рассматривать, то можно найти среди бело-голубых квадратов историю своей жизни, потому что от поколения к поколению рисунки на плитках меняются,

отображая события, происходящие среди кочинских евреев. Другие уверяли, что эти рисунки — пророчества, ключ к пониманию которых был за прошедшие годы утрачен.

Мальчиком Авраам вдоволь наползался на четвереньках по полу синагоги, чуть не тыкаясь носом в голубизну плиток из древнего Китая. Он утаил от матери, что через год после бегства отец возник, воплощенный в керамике, на синагогальном полу в маленькой голубой шлюпке в компании голубокожих типов заграничного вида — они держали путь к столь же голубому горизонту. После этого открытия Авраам периодически получал от услужливо-изменчивых плиток новости о судьбе Соломона Кастиля. Б другой раз он увидел отца в небесно-голубой сцене дионисийского веселья под традиционной ивой среди убитых драконов и огнедышащих вулканов. Соломон танцевал в шестиугольной беседке с беззаботно-счастливым выражением на керамическом лице — выражением, не имевшем ничего общего со скорбной миной, которую Авраам прекрасно помнил. Если отец счастлив, думал мальчик, то хорошо, что он уехал. С раннего детства Авраам инстинктивно пестовал в себе представление о главенстве счастья, и этот-то

инстинкт повелел потом взрослому дежурному управляющему принять любовный дар, предложенный ему краснеющей и иронизирующей Ауророй да Гамой в камере-обскуре эрнакулам-ского склада…

По прошествии лет Авраам увидел на одной из плиток отца богатым и толстым, сидящим на подушках в позе царственного спокойствия в окружении подобострастных евнухов и юных танцовщиц; но всего через несколько месяцев другой двенадцатидюймовый «кадр» запечатлел его тощим оборванцем. И Авраам понял, что бывший синагогальный смотритель отринул все ограничения, развязал все путы, добровольно пустившись в плавание по кидающим то вверх, то вниз бешеным валам жизни. Он стал Синдбадом, ищущим счастья в коловращении земли и воды. Он стал небесным телом, которое смогло усилием собственной воли сойти с предначертанной орбиты и унестись сквозь галактики, заранее принимая все, что там может случиться. Аврааму казалось, что на преодоление гравитационных сил обыденности отец потратил весь свой запас волевой энергии и теперь, после первого и решительного преображения, он плывет без руля и ветрил, повинуясь волнам и приливам.

Когда Авраам Зогойби стал подростком, Соломон Кастиль начал появляться на полупорнографических изображениях, которые, заметь их кто-то еще, вряд ли были бы сочтены уместными в доме молитвы. Эти плитки обнаруживались в самых темных и пыльных углах помещения, и Авраам оберегал их от посторонних глаз, позволяя плесени и паутине скапливаться на них, покрывая самые непристойные места, где отец совокуплялся с немалым числом личностей обоего пола и разнообразного вида в такой манере, что любопытствующему сыну картинки представлялись не чем иным, как учебным материалом. Но даже в самый разгар похабной гимнастики стареющий странник теперь снова был мрачен, как в прежние годы, так что после всех скитаний его, выходит, вынесло на тот же берег тоски, откуда он пустился в путь. В день, когда у Авраама Зогойби сломался голос, у юноши вдруг возникло чувство, что отец возвращается. Он побежал по улочкам еврейского квартала к морскому берегу, где висели высоко вздернутые для просушки сети рыбаков-китайцев; но рыба, которую он хотел поймать, из воды не выпрыгнула. УНЫЛО приплетясь в синагогу, он увидел, что на всех плитках, изображавших отцовскую одиссею, теперь дру-

гие картинки — банальные и анонимные. Придя в лихорадочную ярость, Авраам часами ползал по полу, выискивая остатки чудес. Без толку: его непутевый отец вторично канул, растворился без следа в плиточной голубизне.

x x x

Не помню, когда я в первый раз услышал семейную историю, которой я обязан своим прозвищем, а моя мать -темой для своих знаменитых «мавров», цикла картин, получившего триумфальное завершение в неоконченном и впоследствии украденном шедевре «Прощальный вздох мавра». Я словно знал ее всю жизнь, эту пылко-мрачную сагу, которая, добавлю, дала господину Васко Миранде тему для одной его ранней работы; но, несмотря на изначальное знание, я серьезно сомневаюсь в буквальной достоверности истории: уж слишком она прихотлива, уж слишком отдает перченой бомбейской байкой, уж слишком отчаянно озирается вспять в поисках опоры, подтверждения… Я думаю — и другие со мной соглашались, — что можно дать более простые объяснения и сделке между Авраамом Зогойби и его матерью, и, в особенности, случившейся якобы находке в старинном ларце под алтарем; ниже

я приведу одну такую альтернативную версию. Но сейчас я излагаю одобренную и отшлифованную семейную легенду, которая, будучи весьма важной частью созданного моими родителями образа самих себя, а также существенным элементом истории современного индийского искусства, хотя бы по этим причинам существенна и весома, чего я не собираюсь оспаривать.

Мы достигли ключевого момента нашей истории. Вернемся ненадолго к юному Аврааму, стоящему на четвереньках, судорожно осматривающему пол синагоги в поисках отца, который только что бросил его во второй раз, зовущему его надтреснутым голосом, то соловьиным, то вороньим; и, наконец, нарушая запрет, он впервые в жизни осмелился приподнять голубую ткань с золотой каймой, укрывающую высокий алтарь… Соломона Кастиля там не было; вместо него фонарик подростка осветил старый сундучок, помеченный буквой "З", с дешевым висячим замком, который очень скоро был открыт, — ведь школьники обладают многими талантами, которые они во взрослой жизни утрачивают наряду со всей вызубренной на уроках белибердой. Вот так, сокрушаясь из-за беглого отца, он неожиданно раскрыл секрет матери.

Хотите знать, что было в сундучке? Единственное сокровище, достойное этого имени: прошлое плюс будущее. Еще, впрочем, изумруды.

x x x

И вот настал решительный миг, когда взрослый Авраам Зогойби с криком Я ей покажу «Фитц»! ворвался в синагогу и вытащил ларец из потайного места. Мать, ковылявшая вслед, поняла, что тайное становится явным, и почувствовала слабость в ногах. С глухим стуком она осела на голубые плитки, а Авраам тем временем откинул крышку и извлек серебряный кинжал, который тут же засунул за пояс; потом, часто и судорожно дыша, Флори увидела, как он достает и возлагает себе на голову ветхую старинную корону.

Нет, не золотой венец девятнадцатого века, дарованный травайкурским махараджей, а нечто гораздо более древнее — так, во всяком случае, мне рассказывали. Темно-зеленый тюрбан из ткани, ставшей от возраста почти иллюзорной, — столь непрочной, что казалось, будто проникающий в синагогу оранжевый свет заката для нее слишком груб, будто она вот-вот истлеет под огненным взором Флори Зогойби…

И с этого невообразимого тюрбана, гласила

семейная легенда, свисали потемневшие от времени цепи из чистого золота, а на цепях красовались такие крупные и такие зеленые изумруды, что они казались искусственными. Эта корона четыре с половиной столетия назад упала с головы последнего властителя аль-Андалуса; она — не что иное, как корона Гранады, которую носил Абу Абдалла, последний из Насридов, известный под именем Боабдил.

— Но как она туда попала? — спрашивал я отца. Действительно, как? Этот бесценный головной убор мавританских монархов — как он оказался в сундуке у беззубой старухи, чтобы потом увенчать голову Авраама, еврея-отступника, моего будущего отца?

— Это, — отвечал отец, — было сокровище срамоты.

Не буду пока что оспаривать его версию событий. Итак, когда Авраам Зогойби подростком в первый раз обнаружил спрятанную корону и кинжал, он положил драгоценные вещи обратно в тайник, тщательно запер замок и всю ночь, весь следующий день трясся от страха перед материнским гневом. Но когда стало ясно, что его проступок не возымел последствий, в нем опять взыграло любопытство, и он снова выдвинул сун-

дучок и отпер замок. На этот раз рядом с тюрбаном он нашел завернутую в мешковину маленькую рукописную книжицу в кожаном переплете с грубо сшитыми пергаментными страницами. Испанского языка, на котором она была написана, юный Авраам не знал, но он скопировал оттуда несколько имен и в течение последующих лет понял их смысл — главным образом благодаря тому, что задавал якобы невинные вопросы брюзгливому и нелюдимому старому свечному фабриканту Моше Когену, который в то время был признанным главой общины и хранителем ее преданий. Старый Коген был настолько потрясен тем, что молодой человек проявляет интерес к. старине, что у него развязался язык и он пустился в рассказы о былом; сидевший у его ног красивый юноша жадно ловил каждое слово.

Так Авраам узнал, что в январе 1492 года под удивленным и презрительным взором Христофора Колумба гранадский султан Боабдил отдал ключи от крепости-дворца Альгамбры, последнего и величайшего из мавританских укреплений, всепобеждающим католическим монархам Фердинанду и Изабелле, отказавшись от власти без боя. Он отправился в изгнание с матерью и слугами, подведя черту под столетиями существования

мавританской Испании; и, придержав коня на Слезном холме, он оглянулся, чтобы бросить последний взгляд на утраченное, на дворец и плодородные долины, на угасающее великолепие аль-Андалуса… взлянув на все это, султан вздохнул и горько заплакал, но Айша Добродетельная, его неукротимая мать, жестоко высмеяла сына. Вынужденный ранее преклонить колени перед всевластной королевой Изабеллой, Боабдил теперь был унижен безвластной, но по-прежнему грозной вдовой. Плачь же, как женщина, над тем, чего ты не умел защитить, как мужчина, — презрительно сказала она, имея в виду, конечно, другое. Что в отличие от этого хнычущего мужчины она, женщина, будь у нее возможность, встала бы за свое достояние насмерть. Она была бы достойной противницей королевы Изабеллы, которой повезло, что пришлось иметь дело с несчастным плаксой Боабдилом…

Слушая свечного фабриканта, Авраам, примостившийся на бухте каната, вдруг почувствовал горе низложенного Боабдила, почувствовал как свое собственное. Воздух вылетел из его груди с присвистом, а последующий вдох был судорожным. Предвестник астмы (опять астма! Удивительно, что я вообще способен дышать!)

стал символом, знаком связи между людьми через пропасть веков — так, во всяком случае, думал взрослеющий Авраам, ощущая, как болезнь в нем набирает силу. Эти свистящие вздохи не только мои, но и его тоже. В моих глазах вскипает его древнее горе. Боабдил, я тоже сын твоей матери.

Действительно ли плач — такая уж слабость? Действительно ли оборона до последнего — такая уж доблесть?

Отдав ключи от Альгамбры, Боабдил укрылся на юге. Католические монархи предоставили ему поместье, но даже оно было продано у него за спиной приближенному, которому он доверял как себе. Властелин превратился в шута. Он кончил жизнь в бою, сражаясь под флагом какого-то мелкого правителя.

Евреи тоже в 1492 году двинулись на юг. Корабли, увозящие гонимых евреев, запрудили Кадисскую гавань, вынудив другого путешественника, Колумба, отплыть из Палоса. Евреи перестали ковать толедскую сталь; Кастили отправились в Индию. Но не все евреи уехали в одно время. Зогойби, припомним, отстали от Кастилей на двадцать два года. Что произошло? Где они прятались?

— Не торопись, сынок; всему свое время.

Молодой Авраам научился скрытности от матери и к изрядному неудовольствию маленькой группы потенциальных невест жил сам по себе, проводил время главным образом в деловой части города, а в еврейском квартале, и особенно в синагоге, старался бывать как можно реже. Он работал сначала у Моше Когена, затем поступил к да Гамам помощником клерка, и хотя он был исполнительным работником и быстро начал продвигаться по службе, что-то в его облике говорило об иных возможностях, и благодаря его отрешенной красоте ему нередко прочили будущность гения, возможно — того самого великого поэта, о котором кочинское еврейство всегда мечтало и которого никак не могло произвести на свет. Источником большинства этих умозрительных предвосхищений была Сара, крупная телом и довольно волосатая племянница Моше Когена, ожидавшая, подобно неоткрытому субконтиненту, когда же, наконец, Авраамово судно войдет в ее тихую гавань. Но, сказать по правде, Авраам был лишен каких бы то ни было артистических дарований. Намного родственней ему был мир чисел, особенно чисел работающих: литературу ему заменял балансовый отчет, музыку — хрупкая гармония производства и объема про-

даж, а пахучий склад был его храмом. О короне и кинжале в деревянном сундучке он никому не обмолвился даже словом, и поэтому никто не понимал, откуда у него этот облик изгнанного монарха, а между тем с течением лет он скрытно проник в тайны своей родословной, выучив по книгам испанский и разобравшись в письменах на прошитых бечевкой страницах старой записной книжки; и вот наконец, освещаемый вечерним оранжевым солнцем, он водрузил корону себе на голову и предстал перед матерью во всей родовой срамоте.

x x x

Снаружи в толпе, собравшейся на еврейской улочке, разрастался ропот. Моше Коген, как глава общины, наконец решился войти в синагогу и стать посредником между враждующими матерью и сыном, ибо тут место молитвы, а не ссор; его племянница Сара следовала за ним, и сердце ее медленно трескалось под грузом знания о том, что обширное поле ее любви навсегда останется пустошью, что предательское увлечение Авраама иноверкой Ауророй обрекает ее на вечный ад девичества, на шитье ненужных ползунков и юбочек, голубых и розовых, для младенцев,

которые никогда не отяжелят ее утробу.

— Наш Ави собрался сбежать с христианской девчонкой, -сказала она, и голос ее прозвучал среди голубых плиток громко и резко. — Глядите, уже вырядился, как рождественская елка.

Но Авраам ее не слыхал — он тряс перед носом матери кипой ветхих бумаг, прошитых бечевкой и переплетенных в кожу.

— Кто это написал? — вопрошал он, и, поскольку она безмолвствовала, отвечал сам: — Женщина. — И, продолжая в духе катехизиса: — Как ее звали? Неизвестно. Кто она была? Еврейка; укрылась в доме низложенного султана; сначала в доме, а там и в постели. Произошло, — констатировал Авраам, — смешение кровей. — И хотя не так уж трудно было проникнуться сочувствием к этой паре, к обездоленному испанскому арабу и изгнанной испанской еврейке, в любви и бессилии объединившимся против могущественных католических монархов, жалость Авраама досталась только мавру:

— Приближенные продали его земли, а любовница украла его корону.

Прожив с Боабдилом годы и годы, анонимная прародительница без лишнего шума покинула дряхлеющего возлюбленного и отплыла в Индию

с бесценным сокровищем в ларце и ребенком мужского пола в утробе; от него-то много поколений спустя и произошел Авраам. Моя мать рассуждает о чистоте крови, а у самой-то в роду мавр.

— Ты даже имени ее не знаешь, — перебила его Сара. — А берешься утверждать, что в твоих жилах течет ее нечистая кровь. Стыдись — твоя мать из-за тебя плачет. И все, Авраам, из-за богатой девки. Дурно это пахнет, и ты сам, кстати, тоже.

Флори Зогойби, соглашаясь, тихо заскулила. Но Авраам еще не исчерпал всех своих доводов. Взгляните на эту украденную корону, завернутую в тряпки, запертую в сундук и так пролежавшую четыре с лишним столетия. Если ее украли ради простой наживы, почему до сих пор не продали?

— Втайне гордясь царственным происхождением, люди хранили эту корону; стыдясь греха, они ее прятали. Так кто из нас ниже, мама? Моя Аурора, которая не скрывает своего происхождения от Васко и только этому радуется, или я, чей предок был зачат от прощальных вздохов старого толстого гранадского мавра в объятиях его нечистой на руку любовницы, — я, еврейский ублюдок, отпрыск Боабдила? '.

— Доказательства, — прошептала в ответ Фло-

ри, как смертельно раненный боец, умоляющий о том, чтобы его добили. — Пока одни предположения; где твердые факты?

И тут неумолимый Авраам задал решающий вопрос:

— Как наша фамилия, мама?

Услышав это, Флори поняла, что последний удар близок. Она беззвучно покачала головой. Тогда Авраам бросил перчатку Моше Когену, от многолетней дружбы с которым он в тот день отказался навсегда:

— У султана Боабдила после его падения было только одно прозвище, и та, которая украла его корону и драгоценности, забрала, в злой насмешке над ним и собой, заодно и кличку тоже. Боабдил Неудачник — вот как его прозвали. Кто-нибудь может это перевести на язык мавров?

И старому фабриканту ничего не оставалось, как поставить точку в цепочке доказательств.

— Эль-Зогойби.

Авраам тихо положил корону на пол рядом с побежденной Флори; ему нечего было добавить.

— По крайней мере он выбрал бойкую девку, — глухо сказала Флори, обращаясь к стене. — Хоть на это хватило моего влияния, пока он еще был мне сыном.

— Шел бы ты отсюда теперь, — сказала Сара пропахшему перцем Аврааму. — Женишься, возьми фамилию этой девчонки. Так мы скорей тебя забудем; ублюдочный мавр и ублюдочная португалка — одного поля ягода.

— Большую ошибку ты сделал, Ави, — заметил старый Моше Коген. — Нельзя было ссориться с матерью; ведь врагов у нас и так хватает, а другой матери тебе не сыскать.

x x x

Флори Зогойби, покинутую всеми после одного катастрофического откровения, поджидало второе. В багряно тлеющем закате плитки из Кантона прошли перед ее глазами одна за одной — ведь не она ли была их прислужницей и ученицей? Не она ли их мыла и полировала все эти годы? Не она ли бессчетное число раз пыталась войти в их множественные миры, в их вселенные, втиснутые в одинаковые клетки двенадцать на двенадцать и намертво прихваченные к стене раствором? Эта разграфленная регулярность в разнообразии завораживала Флори, которая любила проводить линии, но до сих пор плитки были для нее немы, она не видела на них ни беглых мужей, ни будущих воздыхателей, ни

пророчеств о предстоящем, ни объяснений прошедшего. Никаких наставлений; смысл, судьба, дружба, любовь — обо всем этом они молчали. Но теперь, в тяжелую минуту, плитки открыли ей тайну.

Сцена за сценой, окрашенные в голубое, проходили перед ее взором. Толкотня базаров, зубчатые стены дворцов-крепостей, колосящиеся поля, брошенные в темницу воры; еще — высокие остроконечные горы и огромные морские рыбы. В садах росли голубые деревья, в угрюмых схватках проливалась голубая кровь; голубые всадники гарцевали под освещенными окнами, в рощицах обмирали от страсти дамы в голубых масках. И интриги придворных, и надежды крестьян, и писцы со счетами и косичками, и бражничающие поэты. По стенам, полу, потолку маленькой синагоги, а теперь и перед мысленным взором Флори Зогойби шествовала керамическая энциклопедия материального мира, которая была также бестиарием, путеводителем, синтезом и песнопением, и в первый раз за свою службу старосты Флори поняла, чего не хватает в этой пышной кавалькаде. «Не столько чего, сколько кого», — подумала она, и слезы у нее высохли. «Ни слуху ни духу». Оранжевый свет заката падал

на нее, как грохочущий дождь, смывая слепоту, открывая ей глаза. Через восемьсот тридцать девять лет после того, как плитки привезли в Кочин, в начале эпохи войн и убийств они открыли свою тайну тоскующей женщине.

— Что видишь, то и есть, — пробормотала Флори. — Нет мира, кроме мира. — Потом, чуть громче: -Бога-то нет. Фокус-покус! Мумбо-юмбо! Духовной жизни не существует.

x x x

Доводы Авраама опровергнуть не так уж трудно. Экая важность — фамилия. Семья да Гама хвалилась происхождением от путешественника Васко, но семейная легенда и истина — вещи разные, поэтому даже здесь у меня имеются серьезные сомнения. А что касается этой мавританщины, этой гранадианы, этой порочной во всех смыслах версии -фамилия, она же кличка, надо же придумать такое! — то она, эта версия, рассыпается от малейшего прикосновения. Старая записная книжка в кожаном переплете? Чушь. Кто когда ее видел? Пропала бесследно. Насчет изумрудной короны тоже не верю — ищите других простаков; это сказочка из тех, что мы, несчастные, сами про себя придумываем. Нет,

судари и сударыни, не сходятся тут концы с концами. Семья Авраама никогда не жила богато, и если вы способны поверить, что ларец с драгоценностями пролежал у них нетронутым четыре столетия, тогда, друзья-подружки, вы способны поверить чему угодно. Семейные реликвии, говорите? Да чтоб мне провалиться! Это даже не смешно. Если выбирать между старым барахлом и звонкой монетой, никто во всей Индии не поглядит, реликвии там или не реликвии.

Аурора Зогойби написала кой-какие знаменитые полотна и погибла при страшных обстоятельствах. Самое разумное -отнести все прочее на счет ее художнического мифа о самой себе, к которому в данном случае мой дорогой отец приложил отнюдь не только руку… хотите знать, что на самом деле было в сундучке? Тогда слушайте; о тюрбанах, увешанных драгоценностями, придется позабыть, но изумруды -да. Иногда их было больше, иногда меньше. При этом никаких реликвий. — Что же тогда? — Горячие камушки, вот что. Да! Краденое! Контрабанда! Добыча! Семейный позор вам нужен — пожалуйста: моя бабушка Флори Зогойби была мошенницей. Много лет она состояла в банде удачливых контрабандистов, переправлявших изумруды, и высоко ценилась

ими: кому придет в голову искать левый товар под синагогальным алтарем? Долю, которую ей отстегивали, она хорошенько прятала, и не была она такой дурой, чтобы тратить не глядя. Никто ее не подозревал; но пришло время, когда ее сын Авраам востребовал свою незаконную часть… а вы все о незаконном рождении? Да бросьте; тут не родственные счеты, а денежные.

Таково мое мнение о подоплеке слышанных мною историй; но хочу также сделать одно признание. Ниже вы найдете истории намного более странные, чем та, которую я только что попытался опровергнуть; и позвольте заверить вас, позвольте сказать всем, кому интересно, что в истинности дальнейших историй не может быть никаких сомнений. Так что в конечном счете судить не мне, а вам.

И еще по поводу мавританской легенды: если выбирать между логикой и памятью детства, между головой и сердцем — тогда несомненно; тогда, вопреки вышенаписанному, я остаюсь верен сказке.

x x x

Покинув еврейский квартал, Авраам Зогойби пошел к церкви Святого Франциска, где у гробни-

цы Васко его ждала Аурора да Гама, державшая в руках его будущее. Дойдя до морского берега, он на мгновение обернулся; и ему показалось, что он видит на фоне темнеющего неба, на крыше склада, выкрашенного в кричаще-яркие горизонтальные полосы, немыслимую фигуру юной девушки, вскидывающей юбки в бешеном канкане, выкрикивающей знакомые заклинания и словно бросающей ему вызов: Попробуй переступи.

"Фокус-покус, райский сад,
Птичий потрох, пошел в ад..."

Слезы навернулись ему на глаза; он их вытер. Она исчезла.

7

Христианство, португальство, еврейство; на древних плитках похабное действо; бойкие женщины в юбках — не в сари; мавританские цари-государи… и это Индия? Бхаратмата, Хиндустан-хамара [37], это она? Война только-только объявлена. Неру и Всеиндийский конгресс требуют от англичан, чтобы те признали справедливость требования независимости в обмен на содействие Индии в военном противостоянии; Джинна и Мусульманская лига отказываются присоединиться к требованию; господин Джинна провозглашает и отстаивает судьбоносную идею о двух нациях на субконтиненте — индуистской и мусульманской. Очень скоро раскол станет необратимым; скоро Неру вновь очутится в тюрьме города Дехрадун, и англичане, арестовав верхушку Конгресса, обратятся за поддержкой к Лиге. И что же — из всей мятежной, смутной эпохи, когда «разделяй и властвуй» достигло наивысшей, разрушительной силы, — из огромной, черной как смоль и неостановимо расплетающейся косы

---

37 Примечания: 37
Индия-мать, наша Индия (хиндустани).

непременно нужно выхватить именно эту чужеродную светлую прядь?

Да, милые вы мои, да, сахибы и прочие джентльмены, — именно так. И я не позволю ни могучему слону Большинства, ни слону помельче — Главному из Меньшинств — раздавить неуклюжими ногами мою историю. Разве мои персонажи, все до одного, не индийцы? То-то же; значит, и эта повесть — индийская повесть. Вот вам один ответ. Но есть и другой: всему свое время. Будут вам и слоны. Придет еще час Большинства и Главного из Меньшинств, и многое из того, что цвело и было прекрасно, разнесут бивнями и растопчут в прах эти трубящие, лопоухие стада. Но пока позвольте мне продолжить тайную мою вечерю, тихую, хоть и с присвистом, дыхательную трапезу. Прочь, прочь дела государственные! Я хочу рассказать вам историю любви.

x x x

В духовитом сумраке склада? 1 торгового дома «К-50» Аурора да Гама взяла Авраама Зогойби за подбородок и заглянула в самую глубину его глаз… нет, увольте, не могу и не могу. Ведь это моя мать и мой отец, речь о них, и хотя Аурора Великая была наименее застенчивой из женщин,

мне сдается, что сейчас я стесняюсь и за себя, и за нее. Член отца вашего, треугольник матери вашей — видели вы их когда-нибудь? Да или нет — не важно, суть не в этом, а в том, что это сказочные места, над ними витает табу, «сними обувь твою, ибо это место есть земля святая», — как сказал Голос на горе Синай, и если Авраам Зогойби оказался в роли Моисея, то моя мать была для него не чем иным, как неопалимой купиной. Скрижали, заповеди, огненный столп, Я есмь Сущий — да, ничего не скажешь, ветхозаветный Бог из нее получился отменный. Я представлял себе, бывало, как она, сидя в ванне, практикуется в разделении вод.

— Сил моих не было ждать, — так объясняла свой поступок сама Аурора. В своей золотисто-оранжевой гостиной, полной сигаретного дыма, где мужчины, сидя на исфаханских коврах, поглаживали стройные, с браслетами на щиколотках и темнорозовыми ногтями, ноги разлегшихся на диванах юных красавиц; где ее стареющий муж в строгом костюме, стоя у стены, кривил рот в смущенной улыбке, беспомощно шевеля руками, пока наконец его ладони не обретали неподвижность, прижатые к моим юным ушам, — там Аурора потягивала шампанское из переливча-

того бокала в форме распускающегося цветка и с небрежной откровенностью рассказывала о том, как лишилась девственности, вспоминая с легким смехом о своей безоглядной юной отваге:

— Думаете, вру? Чтоб мне сдохнуть! Я взяла его за подбородок, и он пошел, я его выдернула из-за стола, как пробку из бутылки, и повела, еврейчика моего ручного. В то время моего любимого.

В то время… Мы поговорим еще о жестоком смысле этих слов, брошенных с такой легкостью, с таким изящным взмахом звякнувшей браслетами руки. Но сейчас мы находимся именно в том времени, в том самом — так что: за подбородок взяла она его и повела, и он пошел; покинул свое рабочее место, оставил свой пост под негодующими взорами Перчандала, Тминсвами и Чиликарри, этой божественной пишущей троицы; последовал за своим подбородком, отдавшись на волю судьбы. Ибо красота в своем роде есть рок, красота говорит с красотой, узнает и дает согласие, она верит, что ею оправдано все, и поэтому, не зная друг о друге ничего помимо слов «наследница-христианка» и «еврей-служащий», они оба уже приняли самые важные решения, какие только могут быть у людей. Много раз на протяжении всей своей жизни Аурора Зогойби с

полной определенностью объясняла, зачем она повела дежурного управляющего в сумрачную глубину склада и почему, побуждая его двигаться следом, она по длинной и шаткой приставной лестнице взобралась на самый верх, к оставленным там пахучим мешкам. Пресекая малейшие поползновения в области психоанализа, она впоследствии гневно отвергала гипотезу о том, что, дескать, после столь многих смертей в семье она оказалась восприимчива к обаянию зрелого мужчины, что ее вначале привлекла, а затем и пленила жалостливая доброта в облике Авраама; что это, таким образом, был обычный случай влечения невинности к опытности.

— Первым делом, — возражала она под аплодисменты и одобрительные возгласы в то время, как папаша Авраам, заслуживая мое презрение, стыдливо пробирался к выходу, -первым делом вы мне скажите, кто там кого тащил? Сдается мне, я была ведущей, а не ведомой. Сдается мне, это Ави был сама невинность, а я была та еще пятнадцатилетняя штучка. А во-вторых, я всегда мечтала о красавце, о герое-любовнике.

И там-то, наверху, под самой крышей склада? 1, пятнадцатилетняя Аурора да Гама возлегла на мешки с перцем и, дыша жарко-пряным возду-

хом, замерла в ожидании Авраама. Он взошел к ней, как мужчина восходит к судьбе своей, с дрожью и решимостью, и вот именно здесь слова меня покидают, и поэтому вы не услышите от меня кровавых подробностей того, как она, и потом он, и потом они, и после этого она, и в ответ он, и в свой черед она, и на это, и вдобавок, и коротко, и затем долго, и молча, и со стенанием, и на пределе сил, и наконец, и еще после, и до тех пор, пока… уф! Хватит! Кончено с этим! — И все же нет. Осталось еще кое-что. Рассказывать, так до конца.

Скажу вот что: жарким и жадным было то, что случилось у них. Бешеная любовь! Она подвигла Авраама на битву с Флори Зогойби, и она же заставила его покинуть свое племя, дав оглянуться лишь однажды. «Чтоб за эту милость немедленно он принял христианство», — потребовал венецианский купец в час своего торжества над Шейлоком, демонстрируя лишь весьма ограниченное понимание милосердия; и дож согласился: «Быть по сему: иначе отменю я прощение, что даровал ему». [38] К чему Шейлока принудили силой, на то Авраам, которому любовь моей матери ста-

38 Примечания: 38

Здесь и далее цитаты из «Венецианского купца» В. Шекспира даны в переводе Т. Щепкиной-Куперник.

ла дороже любви Господней, был готов пойти добровольно. Он собирался жениться на ней по законам Рима — о, какая буря скрывается за этими словами! Но их любовь была достаточно сильна, чтобы противостоять всем ударам судьбы, чтобы выдержать натиск разбушевавшегося скандала; память об их стойкости придала стойкости и мне, когда я, в свой черед… когда мы с любимой… но в ответ на это она, моя мать… вместо того, чтобы… а я-то рассчитывал… она разгневалась на меня и, когда я больше всего в ней нуждался, она… на свою родную плоть и кровь… вы видите, я и ту, другую историю не в силах рассказывать. Слова вновь покинули меня.

Перечная любовь — так я ее называю. Перечная любовь охватила Авраама и Аурору там, на мешках с золотом Малабара. Когда они сошли наконец с груды специй, пряный запах успел пропитать отнюдь не только одежду любовников. Так страстно впивались они друг в друга, до такой степени перемешались их пот, кровь и сокровенные выделения тел, настолько сроднились он и она в этой душной атмосфере, насыщенной запахом кардамона и тмина, не только друг с другом, но и с тем, что витало в воздухе, и с самим содержимым мешков — иные из них, надо сказать,

они разорвали и плющили высыпавшиеся зерна перца и кардамона меж стиснутых животов, бедер, ног, — что навсегда с той поры не только их пот стал отдавать перцем и пряностями, но и прочие телесные жидкости приобрели запах и даже вкус того, что они втерли тогда в свою кожу, что растворилось в их любовных соках, что вдохнули они вместе с воздухом во время этого немыслимого совокупления.

Вот так-то; если предмет занимает тебя достаточно долго, в конце концов какие-то слова приходят. Но сама Аурора говорила на эту тему без всякого стеснения:

— И всегда с той поры, доложу я вам, мне приходится держать моего Ави подальше от кухни, потому что стоит ему учуять этот запах специй, когда их мелют, — ну, милые, он землю тогда начинает рыть копытом. А что до меня — я моюсь-размываюсь, душусь и притираюсь, лишь потому, мои друзья, свежа и всем приятна я.

Отец, отец, ну почему ты ей разрешал так с тобой обращаться, почему ты позволил ей сделать тебя вечной мишенью для насмешек? Почему мы — все остальные — позволили ей это в отношении нас? Неужели ты все еще так сильно ее любил? Было ли любовью то, что мы к ней чувствовали

тогда, или же просто давним ее превосходством над нами, которое мы, безропотно мирясь со своим порабощением, безропотно принимали за любовь?

x x x

— С этого дня я всегда буду о тебе заботиться, — сказал мой отец моей матери после первой их близости. Но она ответила, что уже становится художницей и поэтому о самом важном в себе способна позаботиться сама.

— Тогда, — сказал Авраам смиренно, — я позабочусь о менее важном, о той части, которая нуждается в еде, отдыхе и удовольствии.

x x x

Люди в конических китайских шляпах медленно плыли на плоскодонках через темнеющую лагуну. Красно-желтые паромы в последний раз за день неторопливо перемещались между островами. Кончила работать землечерпалка, и без ее бум-яка-яка-яка-бум над гаванью повисла тишина. Покачивались стоящие на якоре яхты, и суденышки с парусами, сшитыми из лоскутов кожи, направлялись домой, в деревню Вайпин; кое-где виднелись буксиры, гребные и моторные

лодки. Авраам Зогойби, оставив позади призрак матери, пляшущей на крыше в еврейском квартале, шел в церковь св. Франциска на свидание с любимой. На берегу были развешаны на ночь сети рыбаков-китайцев. Кочин, думалось ему, город сетей, и я тоже попал в сеть, словно какая-нибудь рыба. В угасающем свете призрачно парили двухтрубные пароходы, торговое судно «Марко Поло» и британская канонерка. Все как обычно, удивлялся Авраам. Как это мир ухитряется сохранять иллюзию постоянства, когда в действительности все стало иным, все необратимо переменилось силою любви?

Может быть, размышлял он, дело в том, что нам вообще трудно принять непривычное, иное. Если не лгать самим себе, то человек, одержимый любовью, заставляет нас вздрагивать; он подобен лунатику, разговаривающему с незримым собеседником в пустом дверном проеме, или смотрящей на море сумасшедшей женщине с огромным мотком бечевки на коленях; мы бросаем на них взгляд и проходим мимо. И сослуживец, о чьих необычных сексуальных склонностях мы случайно узнаем, и ребенок, раз за разом повторяющий бессмысленное для нас сочетание звуков, и увиденная в освещенном окне красивая

женщина, позволяющая собачке лизать свою обнаженную грудь; ох, и блестящий ученый, который на вечеринке забивается в укромный угол, чешет там задницу и затем тщательно обследует свои пальцы, и одноногий пловец, и… Авраам остановился и покраснел. Куда увели его мысли! До нынешнего утра он был самым методичным и аккуратным из людей, живущим лишь бухгалтерскими книгами и колонками цифр, а теперь, Ави, только послушай сам, что ты мелешь, что за немыслимый вздор ты несешь, а ну прибавь шагу, не то дама явится в церковь раньше тебя, и помни, что отныне всю жизнь тебе придется лезть из кожи вон, только бы не заставить ждать свою благоверную…

…Пятнадцать лет! Ничего, ничего. В наших краях это не такой уж юный возраст.

x x x

А в церкви св. Франциска: кто это там тихонько постанывает? Кто этот рыжеволосый бледный коротышка, яростно скребущий ногтями кисти рук с тыльной стороны? Кто сей кривозубый херувим, у которого по брючине стекает пот? Священник, господа. А кого вы предполагали увидеть в этих стенах, если не смирного пса в во-

ротнике ошейником? Нашего зовут Оливер д'Эт, это молодой кобелек прекрасной англиканской породы, не так давно с парохода и страдающий в индийском климате фотофобией.

Он прятался от лучей солнца, как от чужих злобных собак, но они все равно до него добирались, вынюхивали его, в какую конуру он ни заползал в поисках тени. Огненные псы тропиков норовили застать его врасплох, они налетали стаей и вылизывали его с ног до головы, как он ни молил о пощаде; и мигом кожа сплошь покрывалась мелкими, словно в шампанском, аллергическими пузырьками, и, как шелудивая шавка, он начинал скрестись, не в силах сдержаться. Воистину он был затравлен неимоверным полыханием дней. Ночами ему снились облака, все нежные оттенки серого в низеньком уютном небе дальней родины; а помимо облаков — потому что, хоть солнце и заходило, тропический жар продолжал терзать его чресла — помимо них еще девушки. Точнее, одна высокая девушка, которая приходила в церковь св. Франциска в красной бархатной юбке до пят и наброшенной на голову совершенно неангликанской белой кружевной мантилье, девушка, из-за которой одинокий молодой пастор исходил потом, уподобляясь про-

худившемуся водяному баку, из-за которой его лицо приобретало в высшей степени церковный пурпурный оттенок.

x x x

Она приходила раз или два в неделю посидеть у пустой гробницы Васко да Гамы. Стоило ей впервые горделиво пройти мимо д'Эта, подобно императрице или великой трагической актрисе, как он был сражен. Он еще не видел ее лица, а его собственное лицо уже изрядно налилось пурпуром. Потом она к нему повернулась, и он словно утонул в солнечном сиянии. Мигом на него напал зуд, и он залился потом; шея и кисти рук горели, несмотря на взмахи подвешенных к потолку больших опахал, медленно реявших наподобие женских волос. Чем ближе подходила Аурора, тем хуже ему становилось: жестокая аллергия желания.

— Вы похожи, — сказала она сладким голосом, — на красное ракообразное. И еще на блошиный стадион после того, как все блохи разбежались. А воды-то, воды! Стоит ли завидовать бомбейцам с их фонтаном Флоры, когда в наших владениях есть вы, ваше преподобие?

Воистину она им завладела. Целиком и пол-

ностью. С того самого дня муки аллергии стали для него пустяком в сравнении с муками невыразимой, невозможной любви. Он отдавал себя презрению Ауроры, упивался им, ибо это было все, что он мог от нее получить. Но мало-помалу в нем совершалась перемена. Донельзя скованный, водянистый, косноязычный, посмешище даже в своей среде, настоящий английский школьник, над чьей бессловесностью постоянно трунила Эмили Элфинстоун, вдова торговца кокосовым волокном, которая по четвергам кормила его бифштексом и пудингом с почками, рассчитывая (пока что тщетно) на нечто в ответ, — он превращался, внешне оставаясь, каким был, в совершенно иное существо; его страсть, медленно темнея, становилась ненавистью.

Может быть, он возненавидел ее из-за этой ее привязанности к пустой гробнице португальского путешественника, из-за своего страха смерти, да и как вообще она смела являться лишь для того, чтобы сидеть у гробницы Васко да Гамы и вести с нею нежный разговор, как она смела, когда живые ловили каждое ее движение и каждое слово, предпочесть мертвящую близость с ямой в земле, откуда Васко перекочевал, пролежав всего четырнадцать лет, обратно, в давно покинутый

им Лиссабон? Один только раз имел д'Эт неосторожность приблизиться к Ауроре и спросить — не нужна ли вам моя помощь, дочь моя, — и в ответ она обрушила на него весь высокомерный гнев бесконечно богатых:

— Это наши семейные дела, нечего вам соваться!

Потом, смилостивившись, она объяснила ему, что пришла исповедаться, и Оливера д'Эта потрясло это богохульство: испрашивать отпущения грехов у пустой могилы.

— У нас здесь англиканская церковь, — промямлил он, и, услышав это, она вскочила на ноги, выпрямилась во весь рост и ослепила его, восстающая из красного бархата Венера, а затем обдала иссушающим жаром презрения.

— Скоро, — сказала она, — мы всех вас опрокинем в море вместе с вашей церковью, которая оттого только у вас возникла, что один старый король-пердила вздумал жениться на молоденькой.

Потом она спросила, как его величать. Услышав ответ, она захохотала и хлопнула в ладоши.

— Нет, это уж слишком. Всеобщая Смерть, про-

шу любить и жаловать! [39]

После этого он не мог с ней больше разговаривать: она ударила по больному месту. Индия лишала Оливера д'Эта всяческих сил; его сновидения были то эротическими фантазиями о чаепитиях голышом со вдовой Элфинстоун на лужайках, покрытых бурыми покалывающими циновками из кокосового волокна, то мучительными кошмарами, когда он попадал в такое место, где его неизменно лупили, как мула, как пыльный ковер; а также пинали ногами. Мужчины в головных уборах, плоских сзади, так что они могли, если нужно, прижаться спиной к стене и не позволить врагу заползти с тыла, в головных уборах, сделанных из чего-то черного, твердого и блестящего, — эти мужчины подстерегали его на каменистых горных тропах. Они били его, не говоря ни слова. Сам он, напротив, громко вопил, отчего страдала его гордость. Стыдно было так кричать, но он не мог удержаться. И при этом он знал в своих снах, что злополучное место было и останется его домом; он снова и снова будет идти по этой горной тропе.

После того, как он увидел в церкви Аурору,

---

39 Примечания: 39

Имя Оливер д'Эт созвучно английским словам «allover death» — «всеобщая смерть».

она стала появляться в этих тяжких, напоенных болью сновидениях. Людские предпочтения непостижимы, сказала она ему один раз, видя, как он тащится по тропе после особенно жестоких побоев. Осуждала ли она его? Порой он думал, что она должна презирать его за то, что он мирится с таким унижением. Но бывало, он замечал в ее глазах, в гладких линиях рук, в птичьем повороте головы начатки мудрости. Словно она говорила, что если людские предпочтения непостижимы, то людей нельзя судить и нельзя презирать.

— С меня сдирают шкуру, — сказал он ей во сне. — В этом мое святое призвание. Чтобы до конца стать человеком, надо лишиться кожи.

Проснувшись, он так и не смог решить, чем объясняется этот сон: то ли его верой в единство всех человеческих рас, то ли аллергией, из-за которой его кожа зудела и свербела; героическое видение это было или банальность.

Индия была неопределима. Она была обманом, иллюзией. Здесь, в кочинском форте, англичане изо всех сил старались поддержать свой английский мираж, здесь английские домики окружали английскую лужайку, здесь играли в гольф и крикет, устраивали чаепития с танцами, здесь было отделение Ротари-клуба и масонская ложа.

Но д'Эт не мог не видеть здесь фальши, не мог не слышать грубого притворства в речах торговцев кокосовым волокном, лгущих о своей образованности, не мог не вздрагивать от движений в танце их, по правде сказать, большей частью довольно неотесанных жен, не мог не замечать кровососущих ящериц под английскими живыми изгородями или попугаев на ветвях джакаранды, не слишком-то напоминающей растительный мир родины. А стоило ему взглянуть на море, как иллюзия Англии вовсе исчезала; ибо гавань не замаскируешь, и как бы англизирована ни была суша, вода твердила свое -могло показаться, что Англию омывает чужое море. Чужое и неспокойное; Оливер д'Эт знал достаточно, чтобы понимать, что граница между английскими анклавами и окрестной чужеродностью стала проницаема, начала рассасываться. В свой срок Индия их заполонит. Британцы, как напророчила Аурора, будут опрокинуты в Индийский океан, который здешние на свой лад называют Аравийским морем.

И все же, считал он, нельзя опускать руки, надо поддерживать преемственность. Путь бывает верный и неверный, есть Господень тракт и тропа заблуждений. Хотя, конечно, это всего

лишь метафоры, не стоит понимать их слишком буквально, не стоит слишком громко славить рай и слишком многим грешникам сулить муки ада. Он делал это добавление, пожалуй, даже яростно, потому что Индия начала подтачивать его кротость; Индия, где Фома Неверный учредил то, что можно назвать христианством сомнения, встретила англиканскую церковь с ее мягкой рассудочностью облаками жаркого фимиама и всполохами религиозного пыла… Он смотрел на стены церкви св. Франциска, где были начертаны имена умерших молодых англичан, и ему становилось страшно. Восемнадцатилетние девушки приезжали в надежде подцепить на крючок жениха и, едва успев сойти на берег, ложились в индийскую землю. Девятнадцатилетние отпрыски славных семейств, прожив здесь всего несколько месяцев, падали замертво. Оливеру д'Эту, который ежедневно задавался вопросом, когда же индийская пасть проглотит его самого, шутка Ауроры по поводу его имени и фамилии представлялась такой же безвкусной, как ее беседы с пустой гробницей Васко да Гамы. Он, конечно, молчал об этом. Такое не следует говорить. К тому же от ее красоты у него отнимался язык; она ввергала его в жаркое смущение — ибо, когда

его пронзал этот презрительный, насмешливый взгляд, он желал, чтобы земля поглотила его, — и вдобавок эта красота вызывала у него зуд.

x x x

Аурора в кружевной мантилье, распространяя сильный запах перца и мужского семени, ждала возлюбленного у гробницы Васко да Гамы; Оливер д'Эт, едва не лопаясь от похоти и негодования, таился в темном углу. Кроме них в сумрачной церкви, слабо освещенной несколькими желтыми лампами на стенах, были только сестры Аспинуолл — три англичанки-мемсахиб [40], которые недовольно причмокнули, когда облаченная в бесстыдный багрянец юная папистка гордо прошествовала мимо; одна из сестер даже поднесла к носу надушенный платочек, на что тотчас же отреагировал острый язычок Ауроры:

— Что это за куры здесь раскудахтались? Да нет, не куры, пожалуй. Скорей уж рыбы, поперхнувшиеся костями других рыб.

И молодой священник, не в силах приблизиться к ней, не в силах отвлечь от нее свое внимание,

---

40 Примечания: 40

Мемсахиб — госпожа (почтительное обращение к замужней европейской женщине).

теряя рассудок от ее немыслимого запаха, почувствовал, что вдова Элфинстоун оттеснена на задворки его сознания, несмотря на то, что она была красивая женщина всего двадцати одного года и отнюдь не испытывала недостатка в поклонниках. «Можно не иметь золотых гор, но быть разборчивой», — сказала она ему раз. Немало мужчин стучалось в двери молодой вдовы, и не все имели благородные намерения. «Многие вопрошают, но немногим дается ответ, — сказала она. — Надо провести черту, которую непросто перейти». Эмили Элфинстоун, статная молодая женщина, но отвратительная кухарка, уже, наверно, стоит у плиты в надежде, что сегодня наведается Оливер д'Эт; так оно и случится, так оно и случится. Пока что, однако, он оставался где был, и взгляды, бросаемые им украдкой на предмет своих мечтаний, отдавали неверностью. Авраам ворвался, как вихрь, и чуть не бегом ринулся к гробнице Васко. Когда Аурора зажала его ладони меж своих и они повели разговор торопливым шепотом, Оливер д'Эт ощутил прилив гнева. Он резко повернулся и пошел прочь, стуча каблуками своих черных ботинок по каменному полу, и в желтых конусах света сестрам Аспинуолл было видно, что молодой человек идет, сжав

кулаки. Повскакав с мест, они перехватили его у дверей; почувствовал ли он запах, в котором нельзя было ошибиться и который длинные опахала постепенно разносили по всей церкви до самых отдаленных ее уголков? — Почувствовал, уважаемые дамы. — Видел ли он, как эта бесстыдница-католичка милуется с любовником у всех на глазах? — И, может быть, он еще не знает, ведь он недавно приехал, что этот, который тискает ее в доме молитвы, что он работает в ее семейной фирме мелким служащим и, вдобавок ко всему, придерживается иудейской веры? — Он этого не знал, уважаемые дамы, он премного благодарен за эти сведения. — Но это же недопустимо, он этого, конечно же, не потерпит, намерен ли он действовать? — Намерен, уважаемые дамы, правда, не сию минуту, следует избегать неприятных сцен, но меры, безусловно, будут приняты, и самые решительные, на этот счет они могут быть спокойны.

— Ну что ж! Он обещал и должен отвечать за свои слова. Утром они возвращаются в Ути [41] и надеются, когда вновь спустятся сюда, увидеть результаты. «Эта бешарамная парочка должна

---

41 Примечания: 41
Ути (Утакаманд) — горный курорт в южной Индии.

зарубить себе на носу, — сказала старшая из сестер Аспинуолл, — что такая тамаша не лезет ни в какие ворота».

— Уважаемые дамы, я весь к вашим услугам.

Позднее в тот же вечер, выпив у молодой вдовы немного портвейна и приходя в себя после огромной тарелки с кожистыми полуобгорелыми трупиками, Оливер д'Эт упомянул о событиях в церкви св. Франциска. Но едва он произнес имя «Аурора да Гама», потение и зуд возобновились с новой силой, поскольку сами эти звуки были способны воспламенить его, и Эмили взорвалась в неожиданном, необузданном приступе гнева:

— Эти люди не более здешние, чем мы, но мы, по крайней мере, можем уехать домой. Когда-нибудь Индия им тоже задаст перцу, им придется либо плыть, либо тонуть.

— Нет, нет, — стал возражать д'Эт, — здесь, на юге, почти не бывает столкновений такого рода, — но она обрушилась на него со всей яростью. Они — отщепенцы, кричала она, эти так называемые христиане с их невнятными дикарскими обрядами, не говоря уже о вымирающих евреях, это все не люди, а шваль, отребье из отребья, и если им приспичило устроить… случку, то это самое неинтересное, что только есть на свете

и совершенно не то, о чем она хотела думать в сегодняшний хороший вечер, и пусть даже эти три мегеры из богатенького пошленького Утакаманда, эти три чайные дамы решили поднять вселенский вой, все равно она не намерена уделять этой теме больше ни одной секунды, и еще она должна сказать, что он, Оливер, сильно упал в ее глазах, она думала, что у него достанет деликатности не обсуждать с ней такое, не говоря уже о том, чтобы краснеть как рак, и сочиться от одного лишь имени этой особы.

— Покойный мистер Элфинстоун, — сказала она прерывающимся голосом, — имел слабость к местным девочкам. Но он уважал меня хотя бы настолько, чтобы не афишировать передо мной свои похождения с танцовщицами; а вы, Оливер, — духовное лицо! — вы сидите за моим столом и весь течете.

Оливер д'Эт, которого вдова Элфинстоун попросила более не утруждать себя визитами к ней, удалился; и поклялся отомстить. Эмили совершенно права. Аурора да Гама и ее еврей — это не более чем мухи, ползающие по огромному индийскому алмазу; как смеют они с таким бесстыдством бросать вызов естественному порядку вещей? Прямо напрашиваются на то, чтобы их

прихлопнули.

x x x

У пустой гробницы легендарного португальца, протянув обе ладони к юной возлюбленной, которая зажала их меж своих ладоней, Авраам Зогойби исповедался: ссора, изгнание, бездомность. Вновь подступили слезы. Но он ушел от матери ради еще более крепкого орешка; Аурора начала действовать немедленно. Она подхватила Авраама и перенесла его на остров Кабрал, где поселила в подновленном «западном» домике Корбюзье.

— Жаль, что ты такой высокий и широкоплечий, — сказала она ему. — Костюмы моего бедного папочки тебе будут малы. Сегодня ночью, правда, тебе не понадобится костюм.

И отец мой, и мать потом называли эту ночь подлинной своей брачной ночью, несмотря на более ранние события на верхотуре среди мешков с «малабарским золотом»; а дело все в том, что: после того, как пятнадцатилетняя наследница торгового дома вошла в спальню своего избранника, складского управляющего, бывшего на двадцать один год старше ее, облаченная в один лишь лунный свет, с гирляндами из жасми-

на и ландышей, которые старая Джози вплела в ее распущенные черные волосы, ниспадавшие, подобно королевской мантии, почти до прохладного каменного пола, по которому ее обнаженные ступни двигались так легко, что потрясенному Аврааму на миг почудилось, будто она летит; после второго их пряного соития, в котором старший мужчина полностью подчинился воле юной возлюбленной, словно истощив самим актом соединения с ней свою способность к выбору и принятию решений; после того, как Аурора шепотом поведала ему свою тайну, потому что долгие годы я исповедалась только пустому месту, но теперь, муж мой, я могу рассказать тебе все, и, узнав об убийстве бабушки и о старухином предсмертном проклятии, он, не моргнув глазом, смирился с судьбой; извергнутый из среды своего народа, он принял на себя бремя последней злой воли главы семейства, воли, которую Эпифания прохрипела Ауроре на ухо и которую сладкой отравой Аурора теперь вдохнула в него: дом, разделившийся сам в себе, не устоит [42], вот что она мне сказала, муж мой, пусть дом твой вечно будет расколот, пусть фундамент его обратится в пыль,

---

42 Примечания: 42
Евангелие от Матфея, 12, 25.

пусть дети твои восстанут против тебя, пусть низвержение твое будет ужасным; после того, как Авраам, успокаивая ее, поклялся защитить ее от проклятия, поклялся стоять подле нее плечом к плечу, какие бы невзгоды их ни постигли; после того, как он пообещал ради брака с нею сделать великий шаг, принять наставление и перейти в католичество, а перед ее обнаженным телом, приведшим его в некий религиозный трепет, дать такое обещание было вовсе не трудно, в этом вопросе он тоже готов был подчиниться ее воле, условностям ее окружения, хотя у нее самой было не больше веры, чем у москита, хотя внутри него звучал некий голос, о чьих требованиях Авраам молчал, и этот голос говорил, что ему следует сберечь свое еврейство в самой сердцевине души, что в самом ее потайном уголке у него должна быть комната, недоступная никому, где будет храниться его тайная истина, его подлинная сущность, и только тогда ему можно будет отдать все остальное во имя любви; после всего этого дверь их брачного чертога распахнулась настежь, и в ней с фонарем, в пижаме и ночном колпаке, ни дать ни взять гномик из детской сказки, если только отвлечься от выражения напускного гнева на лице, возник Айриш да Гама; рядом с ним — в

старом муслиновом чепце и ночной рубашке со сборчатым воротником из гардероба Эпифании — Кармен Лобу да Гама, изо всех сил старающаяся скрыть зависть под маской ужаса; и чуть позади них — ангел мести, доносчик, ярко-розовый и потеющий в три ручья, — разумеется, Оливер д'Эт. Но Аурора была не из тех, кто способен сдержать себя и сыграть предписанную ей роль в этой викторианской мелодраме на тропический лад.

— Дядюшка Айриш! Тетушка Сахара! — воскликнула она задорно. — А где же Шавка-Джавка, ваш любимчик? Он не обидится? Ведь вы сегодня другого пса выгуливаете, вон у него ошейник какой.

Чем вызвала у Оливера д'Эта еще большее покраснение лица.

— Блудница вавилонская! — крикнула Кармен, пытаясь направить события в положенное русло. — Мать была шлюха, и дочь такая же!

Аурора, чтобы позлить их побольше, выпрямила свое стройное тело под белой льняной простыней; открылась одна из грудей, что вызвало судорожный пасторский вздох и заставило Айриша обращаться к стоявшей в стороне радиоле «телефункен»:

— Зогойби, черт вас побери! До какой степени

надо лишиться стыда!

— «Это моя племянница, сэр!» И пошло-поехало. С его-то послужным списком — и такой праведный гнев! — хохотала моя мать, рассказывая эту историю в доме на Малабар-хилле. — Ребята, я чуть не лопнула со смеху. «Что все это значит?» Болван безмозглый. Ну, пришлось объяснить. Это, говорю, значит то, что у меня бракосочетание. Вот, говорю, священник, вот ближайшие родственники, все мило-пристойно. Включите радио — может, свадебный марш сыграют.

Айриш велел Авраму одеваться и убираться; Аурора приказала ему оставаться на месте. Айриш пригрозил вмешательством полиции, на что Аурора заметила: «А тебе самому, дядюшка Айриш, разве нечего скрывать от настырных легавых?» Айриш густо покраснел и, пробормотав: «Мы к этому еще вернемся в утренние часы», ретировался, сопровождаемый торопливым Оливером д'Этом. Кармен с отвисшей челюстью на секунду застыла у входа. Потом ринулась вон, театрально хлопнув дверью. Аурора повернулась к Авраму, который лежал, закрыв лицо руками.

— Вот она я, готовая ли, нет ли, какая разница, — прошептала она. — Господин, к вам невеста, берите ее.

x x x

В ту августовскую ночь 1939 года Авраам Зогойби закрыл лицо потому, что его настиг страх, внушенный, однако, не Айришем, не Кармен и не пастором-аллергиком; то был страх иного рода, внезапная паническая мысль, что уродство жизни может пересилить ее красоту, что любовь не делает любовников неуязвимыми. И все же, подумалось ему, даже если бы вся любовь и вся красота мира были на краю гибели, лишь их сторону следовало бы держать; побежденная любовь остается любовью, победившая ненависть — ненавистью. «Лучше, впрочем, самим побеждать». Он пообещал Ауроре печься о ней — и сдержал слово.

x x x

О том, что моя мать написала «Скандал», всякому любителю живописи известно и без меня, поскольку это огромное полотно находится в Национальной галерее современного искусства в Нью-Дели, где занимает целую стену. Надо миновать «Женщину, держащую плод» Рави Вермы, эту юную, увешанную драгоценностями соблазнительницу, чей взгляд искоса, полный

откровенной чувственности, напоминает мне ранние вещи самой Ауроры; затем повернуть за угол около мистически-потусторонней акварели Гаганендраната Тагора «Джадугар» («Колдунья»), где монохромная индийская версия искривленного мира «Кабинета доктора Калигари» [43] выстроена на умопомрачительном оранжевом ковре и, должен признаться, напоминает мне дом на острове Кабрал резкостью светотени, смещенной перспективой и не внушающим доверия обликом крадущихся фигур, не говоря уже о полускрытом за ширмой центральном персонаже -причудливо разодетой и увенчанной короной великанше; а затем — быстро повернитесь кругом! Сейчас не время говорить о том, насколько справедливы уничижительные оценки, которые космополитичная до мозга костей Аурора Зогойби давала работам своей погруженной в мир деревни старшей современницы, другой претендентки на титул первой художницы Индии; напротив шедевра Амриты Шер-Гил «Старый сказитель» — вот оно наконец: Аурора во всем своем великолепии, полотно, которое, по мнению такого скромного или, возможно, как

43 Примечания: 43

«Кабинет доктора Калигари» — фильм режиссера Р. Вине (1919 г.), программное произведение немецкого экспрессионизма.

раз нескромного ценителя, как я, ничуть не уступает в цвете и динамизме знаменитым круговым пляскам Матисса, только на этой плотно населенной фигурами картине с ее кричаще-красными и ядовито-зелеными тонами пляшут не тела, а языки, и все они, все талдычащие гуль-гуль-гуль ближнему на ухо языки богато расцвеченных персонажей черны как смоль, смоль, смоль.

Я не буду обсуждать здесь живописные особенности этой работы, остановлюсь лишь на некоторых из тысячи и одной истории, которые она рассказывает, — ведь всем известно, как много Аурора взяла от южной традиции повествовательной живописи: глядите, здесь вновь и вновь возникает загадочная фигура мокрого от пота рыжего священника с головой пса, и все, надеюсь, со мной согласятся, что эта фигура играет организующую роль во всей композиции. Глядите! Вот он здесь, рыжим пятном на фоне голубых плиток синагоги; вот он опять, теперь уже в католическом соборе Святого Креста, расписанном сверху донизу фальшивыми балкончиками, фальшивыми гирляндами и, разумеется, сценами крестного пути, — вот он! Пес-пастор шепчет на ухо потрясенному католическому епископу в полном облачении, изображенному в виде

Рыбы [44].

Композиционно «Скандал» сделан как грандиозная спираль, в которую Аурора вплела оба скандала, постигших кочинское семейство да Гама, — здесь и горящие плантации специй, и любовники, которых запах тех же специй выдал с головой. На склонах гор, служащих фоном для закрученной спиралью толпы, можно видеть враждующие кланы Лобу и Менезишей; Менезиши изображены со змеиными головами и хвостами, а Лобу, разумеется, в виде волков [45] На переднем плане видны улицы и набережные Кочина, кишащие людьми из всех растревоженных скандалом общин: здесь и рыбы-католики, и псы-протестанты, и евреи дельфтской голубизны, подобные фигурам на китайских плитках. Махараджа, британский резидент, прочие облеченные властью лица принимают петиции; от них требуют решительных действий. Гуль-гуль-гуль! Руки держат плакаты и горящие факелы. Вооруженные люди защищают склады от преисполненных праведного гнева городских поджигателей. Да,

---

44 Примечания: 44
Рыба — один из важнейших христианских символов.

45 Примечания: 45
Lobo (португ.) — волк.

страсти на картине кипят вовсю — как и в жизни. Аурора не раз повторяла, что картина имеет своим источником события семейной истории, чем немало раздражала тех критиков, кому подобный историзм был чужд, кто готов был свести искусство к простому анекдоту… Но она никогда не отрицала, что две фигуры в самом центре беснующейся спирали — это Авраам и она сама. Наслаждаясь тишиной посреди вихря, они спят на мирном острове в самом сердце урагана; переплетясь телами, они лежат в открытом павильоне, вокруг которого разбит английский сад с водопадами, ивами и цветниками, и если пристально вглядеться в эти маленькие фигурки, можно увидеть, что они покрыты не кожей, а перьями, что головы у них орлиные и что их ищущие, алчущие языки не черные, а розовые, пухлые, сочные. «Буря в конце концов улеглась, -сказал мне отец, когда привел меня, мальчика, смотреть эту картину. — А мы витали над ней, мы бросили им всем вызов, и мы победили».

x x x

Я хочу — наконец-то! — сказать теперь доброе слово о двоюродном дедушке Айрише и его жене Кармен-Сахаре. Хочу выдвинуть аргумен-

ты, извиняющие их поведение; ведь, когда они ворвались в Аурорино любовное гнездышко, они были искренне обеспокоены на ее счет, ведь это, в конце концов, нешуточное дело, когда тридцатишестилетний мужчина без гроша в кармане лишает девственности пятнадцатилетнюю миллионершу. Добавлю еще, что жизнь самих Айриша и Кармен была ломаной и несчастной, потому что в ее основе лежала ложь, и нечего удивляться, что их поведение порой тоже было ломаное. Как Шавка-Джавка, они производили много шума, но кусаться, в общем, не кусались. И важнее всего то, что они очень скоро раскаялись в своем кратком союзе с ангелом всеобщей смерти и, когда скандал достиг высшей точки, когда склады компании были на волосок от уничтожения бушующими толпами, когда не было недостатка в желающих линчевать еврея и его потаскушку, когда в течение нескольких дней жители еврейского квартала Маттанчери дрожали за свою жизнь и когда события в Германии перестали казаться такими странными и далекими, — в это время Айриш и Кармен встали на защиту любовников; они проявили солидарность и не позволили нанести урон интересам семьи. И если бы Айриш не появился перед подступившей

к воротам склада толпой и мощным окриком не осадил ее вожаков — акт необычайной личной смелости, — и если бы они с Кармен не посетили всех без исключения религиозных и светских городских руководителей и не заверили их, что происходящее между Авраамом и Ауророй совершается по любви и что они как законные опекуны девушки против этого не возражают, то неизвестно еще, куда вынесла бы всех участников спираль событий. А так скандал выдохся за несколько коротких дней. В масонской ложе, куда Айриш незадолго до того вступил, сливки местного общества одобрили деликатное поведение мистера да Гамы в создавшейся ситуации. Сестры Аспинуолл, слишком поздно вернувшиеся из «богатенького пошленького Ути», пропустили всю потеху.

Впрочем, победа никогда не бывает полной. Кочинский епископ ни в какую не желал согласиться на крещение Авраама, а глава еврейской общины Моше Коген, в свою очередь, заявил, что о бракосочетании по еврейскому обряду не может быть и речи. Вот почему — открою секрет — мои родители всегда подчеркивали, что бурная ночь в домике Корбюзье была их первой брачной ночью. Переехав в Бомбей, они стали называть

себя мистером и миссис, и Аурора, взяв фамилию Зогойби, сделала ее знаменитой; но, леди и джентльмены, никаких свадебных колоколов не было и в помине.

Я приветствую их внебрачную отвагу; судьба, замечу, распорядилась так, что ни ему, ни ей, при всем их равнодушии к религии, не пришлось рвать конфессиональную связь с прошлым. При этом воспитание, которое получил я, не было ни католическим, ни еврейским. Я и то, и другое — или ни то, ни другое, жидопапист, катоиудей, римско-иерусалимский кентавр, ни рыба ни мясо, гибрид, беспородная дворняга. Как теперь пишут на коробках?

Гомогенизированная смесь. В общем, господа, полуфабрикат «Бомбей».

«Бастард»: я неравнодушен к этому слову. «Баас» — вонь. «Тард» — английское «turd» — попросту дерьмо. Итак: «бастард» — вонючее дерьмо; взять меня, к примеру.

x x x

Через две недели после того, как утих скандал, затеянный из-за поведения моих будущих родителей Оливером д'Этом, его навестил, проникнув ночью сквозь дырочку в москитной сетке, некий

весьма зловредный комарик. Скорым и заслуженным следствием этого визита романтического мстителя стало то, что священник заболел малярией и, несмотря на самоотверженную заботу, денно и нощно проявляемую вдовой Элфинстоун, несмотря на все прохладные компрессы ее несбыточных надежд, он пылал, и исходил потом, и спустя недолгое время скончался.

Знаете, я сегодня сочувственно настроен — бывает же такое. Может, мне и этого поганца жалко.

8

Помимо двух публичных скандалов, было в истории нашей семьи и нечто такое, самое, может быть, скандальное, что не стало пока достоянием гласности; однако теперь, когда мой отец Авраам Зогойби в возрасте девяноста лет испустил дух, у меня нет причин долее хранить щекотливые тайны… «Лучше самим побеждать», — таков был его неизменный девиз, и едва он вошел в жизнь Ауроры, как она почувствовала, что это не пустые слова; потому что не успел утихнуть тарарам из-за их романа, как, изрыгнув из труб клубы дыма и громко прогудев хум-хум-хум, торговое судно «Марко Поло» отправилось в плавание к лондонским докам.

В тот вечер Авраам вернулся на остров Кабрал, пробыв в отлучке весь день, и по одной только игривости, с какой он погладил бульдога Джавахарлала, можно было заключить, что его распирает от восторга. Аурора, во всем своем властном великолепии, потребовала, чтобы он объяснил, где был и чем занимался. В ответ он показал на удаляющийся пароход и сделал жест, который ей пришлось потом видеть много раз,

жест, означавший не спрашивай: он словно повесил на губы воображаемый замок, вставил ключик и повернул.

— Я обещал тебе, — сказал он, — что позабочусь о менее важном; но для этого мне иногда придется держать рот на замке.

В те дни в газетах, радиопередачах, разговорах людей на улицах была только война, война, война; по правде говоря, Гитлер и Черчилль сыграли не последнюю роль в том, что моих мятежных родителей оставили в покое, и начало второй мировой войны оказалось великолепным отвлекающим фактором. Из-за потери немецкого рынка цены на перец и прочие специи стали нестабильны, и ходили упорные толки об опасностях, подстерегающих грузовые суда. Особенную тревогу рождали слухи о планах немцев развязать морскую войну в Индийском и Атлантическом океанах — слово «подлодки» было у всех на устах — с тем, чтобы парализовать экономику Британской империи, и никто не сомневался, что торговые суда будут такой же лакомой целью для субмарин, как военные; кроме того, само собой, еще мины. Вопреки всему этому Аврааму удался некий фокус — и вот вам пожалуйста: «Марко Поло» выходит из кочинской гавани и берет курс

на запад. «Не спрашивай», — говорил он всем своим видом; и Аурора, моя царственная мать, вскинув руки, немножко ему поаплодировала и воздержалась от расспросов. Она сказала только:

— О ком я всегда мечтала, это о чародее. Выходит -нашла?

Думая об этом, я не устаю удивляться поведению матери. Как сумела она обуздать свое любопытство? Авраам совершил невозможное, и она примирилась с тем, что не знает, как это ему удалось; она готова была жить в неведении, готова была к роли девочки со своим маленьким замочком и ключиком. Неужели за все последующие годы, когда фамильный бизнес рос как на дрожжах, триумфально распространяясь во всех мыслимых направлениях, когда скромные Гаты [46] богатств семьи да Гама превратились под рукой Зогойби в заоблачные Гималаи, — неужели ей ни разу не пришло в голову — неужели она не заподозрила — нет, такого, конечно, не могло быть; она сознательно выбрала слепоту, войдя с ним в молчаливый сговор: мол, не рассказывайте мне о том, чего я знать не желаю, и тише, я работаю над очередным шедевром. И такова была

---

46 Примечания: 46
Гаты — горы в южной Индии.

сила ее слепоты,– что мы, ее дети, также ничем не интересовались. Какое надежное прикрытие она создала для деятельности Авраама Зогойби! Какой величественный легализующий фасад… но я не буду забегать вперед. Пока что необходимо предать гласности только то обстоятельство — давным-давно пора, чтобы кто-нибудь предал его гласности! — что мой отец Авраам Зогойби обладал выдающимся талантом к переубеждению строптивцев.

Мне из первых рук известно, что, отлучаясь по своим таинственным делам, он большую часть времени проводил среди портовых рабочих; выбирая самых рослых и сильных из тех, кого он знал, он отводил их в сторонку и объяснял им, что если нацистам удастся их блокада и, вследствие этого, фирмы, подобные торговому дому «Камоинш — пятьдесят процентов», разорятся, то их, грузчиков, с семьями ждет нищета.

— Этот капитан «Марко Поло», этот жалкий трус, — цедил он презрительно, — своим отказом плыть крадет еду у твоих детей.

Сколотив себе маленькую армию, способную в случае необходимости одолеть команду парохода, Авраам в одиночку отправился говорить с главными управляющими. Господа Перчандал,

Тминсвами и Чиликарри встретили его с едва скрываемым неудовольствием — ведь до недавнего времени он был всего-навсего их мелким подчиненным, которым они могли распоряжаться как им вздумается. А теперь, скажите пожалуйста, — соблазнил эту дешевую шлюшку, собственницу фирмы, и имеет наглость являться и командовать, как невесть какое начальство... Но делать нечего, пришлось повиноваться. Хозяевам и капитану "Марко Поло были посланы срочные телеграммы, составленные в категорической форме, и чуть погодя Авраам Зогойби, по-прежнему один, сопровождаемый лишь портовым лоцманом, отправился на торговое судно.

Разговор с капитаном был короткий.

— Я ему выложил все как есть, — рассказывал мне отец в глубокой старости. — Необходимость прибрать к рукам, не теряя времени, британский рынок, чтобы возместить потерю доходов в Германии, и так далее, и тому подобное, л не скупился на обещания — в переговорах это всегда полезно. Ваша отвага, говорю, сделает вас богатым человеком. Я едва вы войдете в Ост-Индский док. Это ему понравилось. Он ко мне расположился. — Отец умолк, переводя дыхание, силясь наполнить воздухом остатки изорванных лег-

ких. — Ну, разумеется, у меня для него не только блюдо с халвой Ьыло припасено, но и большая бамбуковая палка. Если, говорю, до захода солнца согласия не будет, то должен вас предупредить как деловой человек делового человека, что, к моему искреннему сожалению, корабль и его капитан отправятся на дно кочинской бухты.

Я спросил отца, готов ли он был исполнить угрозу. На мгновение мне почудилось, что он тянется за своим невидимым замком и ключиком; но вдруг на него напал неудержимый кашель, он перхал и харкал, из его подернутых слезой старческих глаз струилась влага. Лишь когда конвульсии чуть поутихли, я понял, что это был смех.

— Эх, мальчик, мальчик, — прохрипел Авраам Зогойби, ставить ультиматум надо только в том случае, когда ты не просто готов, но и желаешь исполнить угрозу.

Капитан «Марко Поло» не посмел ослушаться; план Авраама Зогойби сорвался в силу иных обстоятельств. Подняв якорь вопреки тревожным слухам, вопреки трезвому расчету, торговое судно шло через океан, пока немецкий крейсер «Медея» не продырявил его лишь в нескольких часах плавания от острова Сокотра, что у Афри-

канского Рога. Пароход затонул немедленно; все члены экипажа погибли, груз пропал.

— Я зашел с туза, — сказал мой престарелый родитель. — Но его, черт подери, перебили козырем.

x x x

Кто бросит камень во Флори Зогойби за то, что, покинутая единственным сыном, она слегка помешалась? Кто поставит ей в вину долгие часы, которые она проводила, сидя в соломенной шляпке и облизывая беззубые десны на скамейке в вестибюле синагоги, шлепая пасьянсными картами или щелкая косточками маджонга, безостановочно проклиная при этом «мавров», к которым мало-помалу стала причислять едва ли не всех людей на свете? И кто не простит ей ложный вывод о том, что ей являются призраки, сделанный в один прекрасный день весной 1940 года, когда ее блудный сын Авраам, как ни в чем не бывало, подошел к ней, сладко улыбаясь во весь рот, словно он только что выкопал сундук с золотом?

— Ну что, Ави, — сказала она медленно, боясь взглянуть на него в упор и обнаружить, что видит сквозь него, поскольку это означало бы, что она

окончательно спятила. — Сыграем?

Его улыбка стала еще шире. Он был так красив, что она разозлилась. С какой стати он является без предупреждения расточать тут свои улыбочки?

— Мне ли тебя не знать, Ави, малыш, — сказала она, по-прежнему кося глаза на разложенные карты. — Если ты так вот улыбаешься, значит, в яме сидишь, и чем улыбка шире, тем яма глубже. Сдается мне, ты сам не знаешь, как быть с тем, что тебе досталось, вот и прибежал к маме. В жизни не видела у тебя такой широкой улыбки. Садись! Сыграем партию-другую.

— Не надо никаких игр, мама, — ответил Авраам, растягивая рот до мочек ушей. — Войдем лучше внутри — ведь ты не хочешь, чтобы весь квартал знал про наши с тобой дела?

Наконец она взглянула ему в глаза.

— Садись, — сказала она и, когда он сел, сдала карты для игры «рамми». — Думаешь взять надо мной верх? Ни в жизнь, сынок. И думать забудь.

Пароход затонул. Благосостояние семьи да Гама вновь оказалось под угрозой. Я рад сообщить, что это не привело к неприглядным ссорам на острове Кабрал, — перемирие между старыми и новыми членами клана соблюдалось неукоснительно. Но угроза была вполне реальна; после

многих уговоров и других, не столь приличных для упоминания, действий, о которых следовало держать рот на замке, второе, а за ним и третье судно были отправлены кружным путем мимо мыса Доброй Надежды во избежание североафриканских опасностей. Несмотря на эти меры предосторожности и усилия британского военного флота по охране жизненно важных морских путей — хотя нужно сказать, и пандит Неру так и сказал, находясь в тюремной камере, что отношение Англии к безопасности индийских торговых судов было, мягко говоря, наплевательским, — эти два парохода, как и первый, хорошо поперчили океанское дно; и империя специй «К-50» (как, может быть, и вся Британская империя, лишенная перечного взбадриванья) ослабла и пошатнулась. Жалованье служащим, эксплуатационные расходы, проценты по кредитам… Но я не финансовый отчет пишу, так что попросту поверьте мне на слово: скверно, очень скверно обстояли дела, когда лучезарно улыбающийся Авраам, с некоторых пор — крупный кочинский коммерсант, явился в еврейский квартал. «Ужель погибло все, без исключенья?.. И ни один корабль

не спасся?» [47] — Ни один. Ясно? Тогда идем дальше. На очереди волшебная сказка.

В конечном счете все, что остается от нас, — это легенды, наше посмертное существование сводится к нескольким полузабытым историям. И в самых лучших из старых сказок, в тех, что мы готовы слушать вновь и вновь, непременно есть любящие, это верно, но лакомей всего для нас те места, где на их счастье ложится мрачная тень. Отравленное яблоко, заколдованное веретено, Черная королева, злая ведьма, ворующие детей гоблины — вот оно, самое-самое. Ну так слушайте: жил-был в некотором царстве, в некотором государстве Авраам Зогойби, и поставил он все на карту, и проиграл. Но ведь он поклялся: «Я буду о тебе заботиться». И ни в чем не было ему удачи, и в такое пришел он великое отчаяние, что, улыбаясь во всю ширь лица, явился он с просьбой к своей безумной матери. Вы спрашиваете, о чем была просьба? О ее ларце с сокровищами — о чем же еще.

x x x

Смирив свою гордость, Авраам пришел как

---

47 Примечания: 47
В. Шекспир, «Венецианский купец».

проситель, и уже по одному этому Флори могла судить, сколь выигрышно ее положение. Он дал обещание и не может его исполнить — не может превратить труху в золото, старая как мир история; и слишком горд, чтобы признаться в поражении свойственникам и сказать, что они должны продавать или закладывать свои роскошные владения. «Ты голову давал на отсечение, Ави, и гляди, вот она на блюде». Флори заставила его подождать, недолго совсем; и согласилась. Нужен капитал? Драгоценности из старого ларца? Отчего же не дать, можно дать. От всех его изъявлений благодарности, от всех разъяснений о временных трудностях с наличностью и рассуждений об особенно убеждающем действии драгоценностей на моряков, которые, выходя в плавание, рискуют жизнью, от всех предложений доли в будущих доходах она разом отмахнулась.

— Драгоценности ты получишь, — сказала Флори Зогойби. — Но дашь мне за них кое-что еще более драгоценное.

Сын не понял смысла этих слов. Ну конечно, пообещал он, лучась, — долг будет возмещен ей сполна после того, как судно достигнет цели; и если она предпочитает получить свою долю

изумрудами, он выберет для нее великолепные камни. Так он лепетал; но, сам того не зная, он погрузился уже в темные воды, за которыми лежал дремучий лес, и в этом лесу, на поляне, маленький гномик, приплясывая, пел: "А зовут меня Румпельштильцхен [48]..."

— Это все пустяки, — прервала его Флори. — О возвращении долга я не беспокоюсь. Но за такое рискованное вложение только самая большая драгоценность может быть мне наградой. Ты отдашь мне твоего сына, твоего первенца.

(Были выдвинуты две версии происхождения Флориного ларца с изумрудами — наследие предков и контрабанда. Если отбросить сантименты, то разум и логика заставляют склониться ко второй из них; и если разум и логика не лгут, если Флори решила использовать в своих личных целях тайный склад гангстеров, то она подвергла свою жизнь немалой опасности. Становится ли ее требование менее возмутительным от того, что она рискнула собой ради обладания другим человеческим существом? Было ли это требование по сути своей актом героизма?)

«Отдай мне твоего первенца...» Слова из леген-

---

48 Примечания: 48

Румпельштильцхен — гномик из немецкой народной сказки. За услугу, оказанную невесте короля, он требовал у нее ее первенца.

ды повисли между матерью и сыном. Авраам, ужаснувшись, сказал, что об этом речи быть не может, что это немыслимо и низко.

— Ну что, Ави, убрала я с твоего лица эту дурацкую улыбку? — мрачно спросила Флори. — И не надейся, что сможешь цапнуть ларчик и дать деру. Он в другом тайнике. Нужны мои камешки? Отдай старшенького, со всеми потрохами отдай.

Безумна ты, о мать, безумна ты. О бабушка, мне сердце гложет страх, что ты, старая карга, совсем уже того.

— Аурора еще не ждет ребенка, — промямлил Авраам.

— Охо-хо, Ави, — хихикнула Флори. — Думаешь, я, спятила, малыш? Я что, по-твоему, его зарежу и съем, или кровь его пить буду? Я не шибко богата, дорогой мой, но не настолько голодаю, чтобы жрать собственное потомство. — Ее тон стал серьезным. — Значит, так. Ты сможешь с ним видеться, когда душе твоей будет угодно. Даже твоя пусть приходит. Брать на прогулки, на выходные — пожалуйста. Но жить будет у меня, и я, как могу, буду стараться сделать из него то, чем ты быть не захотел, — евреем города Кочина. Потеряла сына, так хоть внука спасу.

Она не сказала того, что было ее тайной молит-

вой: «И, может статься, спасая его, вновь обрету Бога, которого потеряла».

Мир вокруг Авраама вернулся к прежнему состоянию, он облегченно вздохнул и, чувствуя великую нужду и зная, что Аурора еще не беременна, согласился. Но неумолимая Флори требовала оформить все письменно. «Настоящим обязуюсь передать моей матери Флори Зогойби своего первенца мужского пола с тем, чтобы он был воспитан по еврейскому закону». Подписано, скреплено печатью, передано. Схватив бумагу, Флори помахала ею над головой, поддернула юбку и прошлась в танце перед дверью синагоги. «Небу дал я клятву!.. за вексель мой стою». И за эти обещанные фунты нерожденной плоти Авраам получил драгоценности; пустив их на взятки и на жалованье морякам, он отправил в путь корабль, который был его последней надеждой.

Аурора о тайных этих делах ничего не знала.

x x x

И случилось так, что корабль счастливо прибыл по назначению, а вслед за ним еще один, и еще один, и еще. Во всем мире дела обстояли чем дальше, тем хуже, но у оси да Гама-Зогойби они резко пошли в гору. (Как удалось моему отцу

обеспечить охрану своих судов британским военно-морским флотом? УЖ не хочу ли я сказать, что изумруды, фамильные или контрабандные, осели в карманах защитников Империи? Сколько отчаяния, сколько «все или ничего» нужно было иметь в душе Аврааму, чтобы решиться на подобный шаг! И сколь невероятным кажется предположение о том, что взятка была принята! Нет, нет, мы должны приписать случившееся доблести военных моряков — ибо подлая «Медея» была в конце концов потоплена — или тому, что внимание нацистов сосредоточилось на других театрах военных действий; или, если хотите, назовите это чудом; или слепой удачей.) При первой возможности Авраам возместил матери стоимость одолженных драгоценностей и предложил щедрую прибавку. Но молча и мрачно ушел, когда она, отвергнув доплату, спросила с жалобным укором: «А где самоцвет, который ты мне обещал? Когда я его увижу?»

Я требую закона и уплаты.

Аурора по-прежнему не была беременна и по-прежнему не знала о существовании письменного обязательства. Месяцы, сменяя один другой, сложились в год. Авраам упорно держал язык за зубами. Теперь он управлял семейным бизнесом

единолично: Айриш никогда не имел к этому вкуса и после того, как его новый свойственник совершил чудесное избавление, элегантно отошел от дел, сосредоточившись -хм, хм — на частной жизни… Первого числа каждого месяца Флори отправляла сыну, процветающему купцу, письмо. «Не надейся увильнуть. Я жду мой самоцвет». (Как странно, как судьбоносно, что в горячие дни перечно-пряной любви Аурора не забеременела! Потому что, если бы родился мальчик — я говорю как единственный сын моих родителей, — то костью или, точнее, потрохами, из-за которых перегрызлись Флори и Авраам, стал бы я.)

Снова он предложил ей деньги; снова она отказалась. Однажды он взмолился: как он может забрать у молодой жены новорожденного сына и отдать той, кто ее ненавидит? Флори была неумолима. «Надо было думать раньше». В конце концов злоба взяла в нем верх, и он взбунтовался. «Можешь выкинуть эту бумажонку! — кричал он в трубку телефона. — Посмотрим, кто из нас больше заплатит судье». Зеленые камешки Флори и вправду мало что значили против возрожденной мощи семьи; к тому же, если это действительно был контрабандный товар, ей следовало хоро-

шенько подумать прежде, чем показывать его судейским при всей их жадности. Что ей оставалось делать? В божественном воздаянии она разуверилась. Мстить нужно было на этом свете.

Еще один ангел мести! Мало было рыжего пса и комара-убийцы! Что за эпидемия сведения счетов свирепствует в этой повести! Бесконечное «око за око, зуб за зуб», что заразней малярии, холеры, тифа. Неудивительно, что я кончил… Но странно было бы говорить о конце, не добравшись даже до начала. Итак, Аурора в день своего семнадцатилетия весной 1941 года в одиночку пришла к гробнице Васко; а там, в церкви, в темном углу дожидалась старая карга…

Когда Флори кинулась к ней из сумрачных церковных глубин, ошеломленной Ауроре на миг почудилось, что это ее бабушка Эпифания, восставшая из могилы. Но, быстро оправившись от испуга, она улыбнулась, вспомнив, как огрызнулась на отца, вдруг уверовавшего в призраков; нет, нет, это просто какая-то старуха, и что это за клочок бумаги она ей тычет? Иногда нищенки совали людям такие бумажки: «Помилосердствуйте Бога ради, я немая, дома 12 голодных детей…»

— Прошу прощения, ничем не могу помочь, — сказала Аурора небрежно и начала уже отвора-

чиваться, как вдруг старуха произнесла ее имя.

— Мадам Аурора! — (Громко.) — Римская блудница моего Ави! Прочтите, что здесь написано.

Аурора вновь повернулась к ней лицом; взяла у нее лист бумаги; прочла.

x x x

Порция, богатая наследница, которая соглашается исполнить волю покойного отца и выйти за первого, кто верно отгадает один ларец из трех (золотой, серебряный, свинцовый), представлена Шекспиром как воплощение справедливости. Но прислушайтесь: когда принц Марокканский, ищущий ее руки, не справляется с загадкой, она облегченно вздыхает:

> *Избавились! – Спустить завесу. Что ж!*
>
> *Вот так бы всем, кто с ним по виду схож!*

То есть никаких мавров! Нет, нет; она любит Бассанио, который, по счастью, выбирает нужный ларчик, где лежит портрет Порции (" ты, простой свинец "). И вот как этот безупречный юноша объясняет свой выбор:

> *…пышность – лишь коварный берег*

Опаснейшего моря, шарф прелестный,
Сокрывший индианки красоту.
Да, ты личина правды, под которой
Наш хитрый век и самых мудрых ловит…

Так-то; для Бассанио красота «индианки» подобна «опаснейшему морю» и даже сравнима с личиной «хитрого века»! Поэтому мавры, индийцы и, само собой, «жид» (Порция лишь дважды снисходит до того, чтобы назвать Шейлока по имени, в остальных случаях ограничиваясь обозначением нации) должны знать свое место. Воистину благочестивая пара; этакие нелицеприятные судьи… Я для того привожу все эти цитаты, чтобы объяснить, почему, признавая, что наша Аурора не была Порцией, я лишь отчасти могу поставить ей это в вину. Она была богата (и в этом похожа на Порцию), но выбрала себе мужа сама (а в этом не похожа); она была, безусловно, умна (в этом вновь похожа) и в семнадцать лет цвела своей очень индийской красотой (в этом совершенно не похожа). Мужем ее стал еврей, чего с Порцией никогда не могло случиться. Но подобно тому, как девица из Бельмонта не позволила Шейлоку получить фунт кровавого мяса,

так и моя мать нашла способ, не нарушив справедливости, отказать Флори в ее требовании.

— Скажи своей матери, — заявила Аурора Аврааму в тот вечер, — что, пока она жива, никто у меня не родится. -Сказав это, она выставила его из спальни. — Ты делай свои дела, я буду делать свои. Но того дела, какого Флори от нас ждет, — этого ей не дождаться.

x x x

Она тоже провела черту. В тот вечер в ванной оттирала себя до красноты, чтобы не осталось и намека на пряный любовный аромат. (Помните? Я моюсь-разммваюсь…) Потом заперла дверь спальни на замок и задвижку и погрузилась в глубокий сон без сновидений. В последующие месяцы, однако, в ее работах, будь то рисунки, картины или ужасные маленькие фигурки из красной глины, насаженные на палочки, преобладали пламя, ведьминские пляски, светопреставление. Позже она уничтожила большую часть произведений «красного» периода, следствием чего стал неудержимый рост цен на уцелевшие вещи; появление какой-либо из них на аукционе всякий раз становилось событием и вызывало ажиотаж.

Несколько вечеров подряд Авраам жалобно скулил у ее запертой двери — но тщетно. В конце концов подрядил, за неимением Сирано [49], местного певца-аккордеониста петь серенады во дворе под ее окном, а сам при этом, стоя с идиотским видом подле музыканта, громко вторил словам старых любовных песен. Аурора, растворив ставни, бросила им цветы; затем выплеснула воду из цветочной вазы; наконец швырнула саму вазу. Все три раза она добилась прямых попаданий. Тяжеленная каменная ваза угодила Авраму в левую лодыжку и сломала кость. Мокрого и стенающего, его отвезли в больницу, и с тех пор он оставил попытки смягчить ее сердце. Их жизненные пути начали расходиться.

После перелома у Авраама на всю жизнь сохранилась небольшая хромота. Уныние сквозило в каждой черточке его лица, оттягивало вниз углы рта, делало его красивое лицо мрачным. Аурора же цвела, как прежде. Нарождавшаяся в ней гениальность заполняла пустоты в ее постели, сердце, утробе. Она ни в ком не нуждалась, кроме самой себя.

---

49 Примечания: 49

Имеется в виду герой романтической пьесы Э. Ростана (1868-1918) «Сирано де Бержерак», писавший по просьбе друга любовные признания от его имени.

x x x

В годы войны она по большей части отсутствовала в Кочине, вначале из-за своих длительных поездок в Бомбей, где ее приметил и взял под крыло Кеку Моди, молодой парс, который поддерживал и пропагандировал новых индийских художников (не очень выгодное занятие в то время) и чей дом на Кафф-парейд стал для многих из них центром притяжения. Хромой Авраам туда с ней не ездил; при расставании она неизменно говорила: «Пока, не скучай, Ави! Смотри за хозяйством». Там, вдали от него, недоступная его раненому взгляду, полному неизбывной тоски, Аурора Зогойби выросла в ту гигантскую общественную фигуру, которую мы все помним, в красавицу с роскошными, артистически распущенными волосами, ставшую эмблемой национально-освободительного движения и бесстрашно шедшую во главе демонстраций бок о бок с Валлабхаи Пателем и Абул Калам Азадом, в доверенное лицо — и, согласно упорным слухам, любовницу — пандита Неру, в его «ближайшую из близких», которая впоследствии будет бороться за его сердце с Эдвиной Маунтбеттен. Хоть ей и не доверял Махатма Ганди, а

Индира Ганди ее ненавидела, ее арест в 1942 году, после резолюции Конгресса с требованием ухода англичан, сделал ее национальной героиней. Джавахарлал Неру, также арестованный, сидел в крепости Ахмаднагар, которую в шестнадцатом веке принцесса-воительница Чанд Биби оборонялa от полчищ Великого Могола Акбара. И пошли разговоры, что Аурора Зогойби — это новая Чанд Биби, восставшая против другой, еще более могущественной империи, и ее изображение стало появляться повсюду. Рисунки на стенах домов, карикатуры в газетах — создательница образов сама превратилась в образ. Два года ее продержали в окружной тюрьме города Дехрадун. Когда ее выпустили, ей было двадцать лет, и волосы у нее были совершенно седые. Она вернулась в Кочин, овеянная легендой. Авраам встретил ее словами: «Хозяйство в порядке». Она небрежно кивнула и принялась за работу.

На острове Кабрал не все было по-прежнему. Пока Аурору держали в тюрьме, Принц Генрих-мореплаватель, многолетний любовник Айриша да Гамы, серьезно заболел. Оказалось, что у него тяжелая форма сифилиса, и вскоре стало ясно, что Айриш тоже не избежал инфекции. Из-за сифилитической сыпи на лице и теле он не мог выйти на

люди; тощий, с запавшими глазами, он выглядел лет на двадцать старше своих сорока с хвостиком. Его жена Кармен, когда-то угрожавшая убить его за постоянные измены, самоотверженно за ним ухаживала.

— Посмотри, на кого ты стал похож, муженек мой, — как-то сказала она. — Ты что, помереть собрался у меня на руках?

Он повернул к ней голову, не поднимая ее с подушки, и не увидел в ее глазах ничего, кроме сострадания.

— Мне надо поставить тебя на ноги, — сказала она, — а то с кем мне дальше танцы танцевать? И не только тебя, — тут она сделала кратчайшую из пауз, и кровь бросилась ей в лицо, — но и твоего Принца Генриха.

Принцу Генриху-мореплавателю дали комнату в доме на острове Кабрал, и в последующие месяцы Кармен упорно, не зная усталости, выхаживала обоих больных, которых лечили лучшие и наименее болтливые — потому что самые дорогие — специалисты города. Пациенты постепенно пошли на поправку; и настал день, когда к Айришу, который сидел в саду в шелковом халате, гладил растянувшегося рядом бульдога Джавахарлала и потягивал известковую воду, пришла

его жена и тихо сказала, что Принцу Генриху можно будет у них остаться.

— Хватит войн, домашних и мировых, — сказала она. -Навоевались. Предлагаю трехсторонний мир.

Весной 1945 года Аурора Зогойби достигла совершеннолетия. Двадцать первый свой день рождения она отпраздновала в Бомбее без Авраама; на вечере, устроенном в ее честь Кеку Моди, были многие из художественных и политических светил города. Англичане как раз выпустили тогда из тюрем конгрессистов, поскольку затевались новые переговоры; сам Джавахарлал Неру был освобожден и послал Ауроре из Шимлы, из гостиницы «Армсделл» длинное письмо, в котором извинялся за свое отсутствие на торжествах. «Я совершенно охрип, — писал он. — Не могу понять, чем я привлекаю эти громадные толпы. Очень лестно, разумеется, но изматывает и часто вызывает досаду. Здесь, в Шимле, мне то и дело приходится выходить на балкон или веранду, даруя им даршан — лицезрение. Из-за осаждающих меня толп о том, чтобы выйти прогуляться, не может быть и речи, разве что глубокой ночью… Появись я на твоем празднике, он был бы безнадежно испорчен». В качестве подарка

он прислал ей «Основы наук для гражданина» и «Математику для миллионов» Хогбена с тем, чтобы «стимулировать твой художественный талант воздействием иной стороны человеческого духа».

Слегка поморщившись, она отдала книги Кеку Моди.

— Сдалась Джавахару эта заумь. Мне незачем — я девушка односторонняя.

x x x

Вернемся к Флори Зогойби; она была еще жива, но явно повредилась умом. Однажды, в конце июля, люди увидели, что она ползает на четвереньках по полу синагоги в Маттанчери, и услышали от нее, что она зрит будущее на голубых китайских плитках и что очень скоро целая страна поблизости от Китая будет съедена гигантскими прожорливыми грибами. Старый Моше Коген с печалью в сердце освободил ее от должности. Его до сих пор незамужняя дочь Сара знала от кого-то, что в Траванкуре около моря есть церковь, которую начали посещать душевнобольные всех религий, поскольку считалось, что церковь способна исцелить недуг; Сара сказала отцу, что хотела бы свозить туда Флори, и свеч-

ной фабрикант согласился оплатить поездку.

Первый день по приезде Флори провела, сидя на земле внутри церковной ограды, проводя веточкой линии и беспрестанно разговаривая с невидимым, потому что несуществующим, внуком. Во второй день Сара на час оставила Флори одну, а сама пошла пройтись вдоль берега, глядя на приплывающие и отплывающие баркасы рыбаков. Когда она вернулась, у церкви был ад кромешный. Один из сумасшедших облил себя бензином и совершил самосожжение у подножия большого распятия. Когда он чиркнул роковой спичкой, гигантский всполох лизнул край цветастой юбки сидевшей рядом старухи, и ее тоже охватило пламя. Это была моя бабушка. Сара привезла ее тело обратно, и ее похоронили на еврейском кладбище. После похорон Авраам долго стоял у могилы и не отстранился, когда Сара Коген взяла его за руку.

Через несколько дней гигантский гриб пожрал японский город Хиросиму, и, услышав об этом, свечной фабрикант Моше Коген зарыдал горькими слезами.

x x x

Теперь кочинские евреи почти все уже уехали.

Осталось доживать не более пятидесяти человек; те, кто помоложе, отбыли в Израиль. В Кочине живет последнее поколение; уже решено, что синагога станет собственностью штата Керала и в ней откроют музей. Последние беззубые холостяки и старые девы греются на солнышке в переулках Маттанчери, не оглашаемых детскими криками. УХОД в небытие этой общины также должен быть оплакан; хоть и не истребление, как в других местах, но все же конец истории, длившейся два тысячелетия.

В конце 1945 года Аурора и Авраам уехали из Кочина, купив просторный дом под сенью тамариндов, платанов и хлебных деревьев на склоне холма Малабар-хилл в Бомбее; из круто спускавшегося террасами сада открывался вид на пляж Чаупатти, бухту Бэк-бей и набережную Марин-драйв.

— В любом случае в Кочине больше делать нечего, — рассуждал Авраам. — С деловой точки зрения переезд — абсолютно разумный шаг.

Он оставил надежных людей руководить операциями на юге и регулярно, из года в год, совершал туда инспекционные поездки… но Аурора не нуждалась в разумных обоснованиях. В день приезда она вышла на смотровую площадку на

последней террасе сада — дальше был головокружительный обрыв к черным прибрежным камням и кипящему морю — и во всю силу голоса крикнула прокатившееся эхом «Ура!»

Авраам смиренно стоял в нескольких шагах позади нее, сцепив перед собой пальцы рук, и постороннему взгляду мог показаться дежурным управляющим, каким он когда-то был.

— Надеюсь, новое местоположение благотворно скажется на твоей творческой деятельности, — сказал он с болезненной церемонностью. Аурора подбежала к нему и кинулась ему в объятия.

— На творческой деятельности, говоришь? — спросила она, глядя на него так, как не глядела уже годы. — Тогда пошли, мистер, в дом, и давай творить.

Часть вторая. МАЛАБАРСКИЕ ПРЯНОСТИ

9

Единожды в году моя мать Аурора Зогойби танцевала превыше богов. Единожды в году боги приходили на пляж Чаупатти плескаться в загаженном море; тысячи и тысячи толстобрюхих идолов из папье-маше, изображавших слоноголового бога Ганешу или Ганапати Баппу, двигались к воде верхом на крысах из того же материала — ведь индийские крысы, как мы знаем, переносят не только чуму, но и богов. Иные из этих кентавров бивня и хвоста были так малы, что могли поместиться на человеческих плечах или их можно было бы взять в охапку; другие — размером с небольшой дом — передвигались на деревянных платформах с огромными колесами, толкаемых множеством людей. Вдобавок в огромных количествах появлялись танцующие Ганеши, и вот с этими-то вихлявыми Ганапати, сладострастными и толстобрюхими, сражалась Аурора, противопоставляя свои безбожные вращения развеселому покачиванию бесконечно растиражированного бога. Единожды в году небо заволакивали облака всех мыслимых оттенков; розовые и фиолетовые, пурпурные и алые, шафранные и зеленые, эти

порошковые облака, выпускаемые из бывших в употреблении инсектицидных пистолетов или вылетающие из связок лопающихся в воздухе воздушных шаров, осеняли копошащихся внизу богов "подобно aurora borealis или, точнее, aurora bombayalis [50]", как говорил художник Васко Миранда. И там же, в небесах, над толпами богов и людей, год за годом -сорок один год подряд, — не страшась крутизны под бастионами нашего дома на Малабар-хилле, дома, который из иронического озорства или своенравия мать назвала «Элефантой» [51], то есть обиталищем слонов, кружилась почти божественная фигура нашей собственной «Бомбейской зари», облаченная в ослепительные, переливающиеся всеми огнями радуги одежды, превосходящие яркостью даже праздничное небо с его висячими садами из крашеного порошка. Длинными прядями взметались ее белые волосы-возгласы (о пророчески преждевременная седина в моем роду!), живот ее — не жирно-трясучий, а стройно-летучий — был

---

50 Примечания: 50

Aurora borealis (tam.) — северное сияние. Aurora bombayalis можно буквально перевести как «бомбейская заря».

51 Примечания: 51

Элефанта (Гхарапури) — остров в 8 километрах от Бомбея, знаменитый своими древними пещерными храмами; elephant на ряде европейских языков означает «слон».

обнажен, босые ступни мелькали, на щиколотках звенели серебряные браслеты с бубенчиками, голова гордо поворачивалась из стороны в сторону, руки изъяснялись на непостижимом языке… Так исполняла великая художница свой танец вызова, танец презрения к извращенности рода человеческого, заставлявшей людей лезть в толпу, рискуя погибнуть в давке, «лишь бы только куклу в жижу макнуть», как моя мать язвила, закатывая глаза к небу и кривя рот в горькой улыбке.

— Людская извращенность сильней, чем людской героизм, — дин-дин-дон! — чем трусость, — топ-хлоп! — чем искусство, -возглашала в танце Аурора. — Ибо у всего этого есть пределы, границы, дальше которых мы не пойдем; но извращенность безгранична, и предел ей не положен. Что на сегодняшний день крайность, завтра уже будет в порядке вещей.

И словно в подтверждение ее слов о многоликой мощи извращенности танец Ауроры стал с годами главным событием праздника, который она презирала, стал частью того, против чего был направлен. Ликующие толпы ложно, но неисправимо видели в кружении и яркости ее безбожных юбок свою же веру; они считали, что Аурора тоже

возносит хвалу богу. «Ганапати Баппа морья» [52], — пели они, приплясывая, под резкие звуки дешевых труб и огромных рогов-раковин, под оглушительную дробь, выбиваемую пришедшими в наркотический раж барабанщиками с белыми выкаченными глазами и пачками бумажных денег в зубах от благодарных верующих, и чем высокомернее легендарная женщина танцевала на недосягаемом парапете, чем сильней в ее собственных глазах возносилась над тем, что презирала, тем с большей жадностью толпа всасывала ее в себя и переваривала, видя в ней не мятежницу, а храмовую танцовщицу — не гонительницу богов, а их фанатичную поклонницу.

(Авраам Зогойби, как мы увидим, находил для храмовых танцовщиц иное применение).

Однажды в разгар семейной ссоры я со злостью припомнил ей многочисленные газетные сообщения о ее постепенном врастании в торжества. К тому времени праздник «Ганеша Чатуртхи» стал поводом для демонстраций силы со стороны индуистско-фундаменталистски настроенных молодых громил в головных повязках шафранного цвета, подстрекаемых крикливыми

---

52 Примечания: 52
Господин Ганеша, батюшка, приветствуем тебя {хиндустани).

политиканами и демагогами из так называемой "Оси Мумбаи [53]" — такими, как Раман Филдинг по прозвищу Мандук (Лягушка).

— Раньше ты была бесплатным зрелищем для туристов, -насмехался я. — А теперь ты составная часть «программы облагораживания».

За этим благозвучным названием стояла деятельность мумбаистов, заключавшаяся, попросту говоря, в очистке городских улиц от неимущих; однако броня Ауроры Зогойби была слишком крепка для моих примитивных ударов.

— Думаешь, я поддамся похабному давлению? — презрительно кричала она. — Думаешь, меня очернит твой черный язык? Сыскались, видите ли, какие-то мумбисты-джумбисты тупоголовые! Я на кого, думаешь, иду войной? На самого Шиву Натараджу [54] и на его носатого пузатого пресвятого сына-кретина — сколько лет уже я гоню их со сцены вон! А ты мотай на ус, черномазый. Может, научишься когда-нибудь поднимать ветер, сеять бурю. Нагонять ураган.

---

53 Примечания: 53

Мумбаи — богиня-покровительница города Бомбея, от имени которой произошло его название.

54 Примечания: 54

Шива Натараджа (Шива, царь танца) — один из верховных богов индуистской мифологии, отец Ганеши.

Тут же, конечно, над нашими головами прокатился гром. Щедрый, обильный дождь хлынул с небес.

Сорок один год подряд танцевала она в день Ганапати -танцевала безрассудно, с риском для жизни, не удостаивая взглядом оскаленные внизу обросшие ракушками терпеливые черные каменные зубы. Когда она в первый раз вышла из «Элефанты» во всем убранстве и начала крутить пируэты на краю обрыва, сам Джавахарлал Неру просил ее образумиться. Это было вскоре после антианглийской забастовки военных моряков в бомбейском порту и объявленного в ее поддержку хартала — прекращения торговли по всему городу, акция была остановлена по совместному призыву Ганди и Валлабхая Па-теля, и Аурора не упустила случая съязвить на этот счет:

— Что, пандитджи, ваш Конгресс так и будет, чуть запахнет порохом, идти на попятный? УЖ я-то, будьте уверены, не потерплю компромиссов.

Б ответ на новые просьбы Неру она поставила условие: она спустится, лишь если он от начала до конца прочитает наизусть «Моржа и Плотника» Кэрролла, что он, ко всеобщему ликованию, сделал. Помогая ей спуститься с опасного парапета, он сказал:

— С забастовкой все не так просто.

— С забастовкой все предельно ясно, — возразила она. -Скажите лучше, что вы думаете о стихотворении.

Мистер Неру густо покраснел и мучительно сглотнул.

— Это печальное стихотворение, — сказал он после короткой заминки, — потому что устрицы еще очень юные. Здесь, можно сказать, идет речь о пожирании детей.

— Мы все пожираем детей, — отрезала она. Это было за десять лет до моего рождения. — Не чужих, так своих.

Нас было у нее четверо. Ина, Минни, Майна, Мавр -волшебная трапеза из четырех блюд: сколь часто и сколь плотно она ни наворачивала, пища не иссякала.

Четыре десятилетия она наедалась досыта. В шестьдесят три года, танцуя свой сорок второй танец в день Ганапати, она упала. Тихие слюнявые волны облизали ее тело, и черные каменные челюсти взялись за работу. В то время, однако, хотя она оставалась мне матерью, я уже не был ей сыном.

x x x

У ворот «Элефанты» стоял, опираясь на костыль, человек с деревянной ногой. Закрываю глаза, и вот он передо мной, отчетливо виден, этакий немудрящий Петр у врат земного рая, ставший по совместительству моим личным уцененным Вергилием, моим вожатым по аду — по великому адскому граду Пандемониуму, по темному, недоброму, зазеркальному двойнику моего родного златого града, по низинам, а не высотам Бомбея. Возлюбленный мой одноногий страж! Мои родители, постоянно изощрявшиеся в языковых вывертах, звали его Ламбаджан Чандивала. (Можно подумать, Айриш да Гама заразил их привычкой всему на свете давать прозвища.) Эта двуязычная шутка в те дни была понятна гораздо большему, чем сейчас, числу людей: ламба — долговязый; джан (душенька) — звучит почти как Джон; чанди — серебро, silver; вала — суффикс деятельности или обладания. Итак, долговязый Джон Сильвер, жутко бородатый и косматый, но младенчески беззубый в прямом и переносном смысле, перетирающий бетель кроваво-красными деснами. «Наш приватный пират», говорила о нем Аурора, и само собой, вы

верно догадались, на плече у него обычно сидел и орал всякие гадости зеленый попугай Тота с подрезанными крыльями. Птицу купила моя мать, во всем стремившаяся к совершенству, на меньшее она не соглашалась.

— А то что за пират без попугая? — спрашивала она, изгибая брови и делая правой рукой крутящее движение, словно поворачивала дверную ручку, и добавляла, непринужденно и достаточно скандально, потому что вольными шуточками о Махатме Ганди тогда просто так не бросались: — Все равно, что Маленький человек без его набедренной повязки.

Она пыталась научить попугая говорить по-пиратски, но увы — это была упрямая старая бомбейская птица. «Пиастры! Пиастры!» — выкрикивала мать, но ученик хранил возмутительное молчание. И вот, когда прошли уже годы бесплодного натаскиванья, Тота вдруг сдался и недовольно проскрипел: «Писе — сафед — хати!» Эта достопамятная фраза, которая переводится примерно как «пюре из белых слонов», стала излюбленным семейным ругательством. Я не видел последнего танца Ауроры Зогойби, но многие из бывших на месте говорили впоследствии, что во время ее рокового падения за ней шлейфом

тянулось это диковинное проклятие: «Пюр-р-ре-е-е..» — и глухой удар о камни. Волны прибили к ее телу сплюснутую и разбитую фигуру танцующего Ганеши. Но, конечно, она не это пюре имела в виду.

Заклинание Тоты сильно подействовало и на самого Ламбаджана Чандивалу, ибо он — как и столь многие из нас -был слегка сдвинут на слонах; когда попугай заговорил, Ламба признал в сидящей у него на плече птице родственную душу и впустил в свое сердце это временами пророчествующее, но чаще безмолвное, как рыба, и, сказать по правде, злобное и дрянное создание.

О каких же островах сокровищ мечтал наш пират с попугаем? Чаще и пространней всего он рассуждал о реальном острове Элефанта. Для детей из семьи Зогойби, которых слишком много чему учили, чтобы они могли грезить наяву, Элефанта была пустяком, горбом посреди залива. До Независимости — то есть до рождения Ины, Минни и Майны — люди плавали туда, нанимая лодки, и гуляли по острову, рискуя напороться на змею или иную гадость; однако ко времени моего появления на свет остров давно уже был освоен, и от «Ворот Индии» туда регулярно отправлялись экскурсии на катерах. Три мои большие сестры

там откровенно скучали. Поэтому для меня, когда я ребенком в послеполуденную жару сидел на корточках подле Ламбаджана, Элефанта была чем угодно, только не островом грез; но для

Ламбаджана, послушать его, это была земля, где текли млеко и мед.

— В старые времена там правили царь-слоны, баба [55], — рассказывал он. — Думаешь, почему в Бомбее так любят бога Ганешу? Потому что, когда люди еще не народились, там на тронах сидели слоны и рассуждали про всякую философию, а прислуживал им кто? Обезьяны. Говорят, когда слоны все вымерли и люди в первый раз приплыли на Элефанту, они увидели там каменных мамонтов выше башни Кутб-Минар в Дели, и так перепугались, что все порушили. Да уж, постарались люди тогда, чтобы о слонах памяти никакой не осталось, но кое-кто, выходит, и не забыл. Там, на Элефанте, есть в холмах такое место, где мертвые слоны схоронены. Что? Не верим? Качаем головкой? Гляди, Тота, он нам с тобой не верит. Ладно, баба. Хмурим, значит, лобик? Ну так смотри!

И под попугайские крики он доставал — что

---

55 Примечания: 55

Баба — уважительное обращение.

же, что же еще, о тоскующее сердце мое, как не мятый лист дешевой бумаги, который даже я, ребенок, никак не мог принять за старинный пергамент. В общем, «карту».

— Один большой слон, может быть, сам Великий Слон там до сих пор прячется, баба. Что я видел, то видел! А кто, по-твоему, ногу мне откусил? Кровищи-то было! А потом он отпустил меня великодушно, и кое-как я сполз с холма и добрался до лодки. Чего только я у него не насмотрелся! Он сокровища бережет, баба, там у него россыпи побогаче, чем у хайдарабадского низама.

Ламбаджан охотно воспринял пиратский образ, который мы для него нафантазировали, — поскольку, естественно, моя мать, которая любила во всем ясность, растолковала ему его кличку — и с годами, казалось, постепенно уверовал в свою мечту, в Элефанту для «Элефанты», погружаясь в нее все глубже. Сам того не зная, он сроднился с семейной легендой да Гама и Зогойби, в которой немалую роль играют спрятанные сокровища. Так пряная сказка Малабарского побережья продолжилась на Малабар-хилле чем-то еще более пряным и сказочным, и это, по всей видимости, было неизбежно, ибо какие бы перченые дела ни творились в Кочине, наш великий космополис

был и остается точкой пересечения всех подобных побасенок, и самые жгучие байки, самые смачно-бесстыдные истории, самые кричаще-мрачные грошовые (или, точнее, пайсовые) триллеры разгуливают в чем мать родила по нашим улицам. В Бомбее тебя сминает эта безумная толпа, тебя оглушают ее ревмя-реву-щие рога изобилия, и — подобно фигурам Аурориных родичей в ее настенной росписи дома на острове Кабрал — твоя собственная история должна тут протискиваться сквозь тесноту и давку. Это-то и нужно было Ауроре Зогойби; рожденная отнюдь не для тихой жизни, она наслаждалась шибающими в нос испарениями города, смаковала его обжигающие соусы, поглощала его острые блюда до последнего кусочка. Аурора стала представлять себя предводительницей корсаров, подпольной владычицей города. «Над этим домом развевается один флаг — Веселый Роджер», — не раз говорила она, что вызывало у нас, детей, лишь смущение и скуку. Она и вправду заказала флаг своему портному и дала его чоукидару, то бишь привратнику. «Ну-ка живенько, мистер Ламбаджан! На флагшток его, на самую верхотуру, и посмотрим, кто отдаст ему честь, а кто нет».

Что до меня, я не отдавал честь черепу и костям;

в ту пору я был человеком не пиратского склада. К тому же я знал, как на самом деле Ламбаджан лишился ноги.

x x x

Первым делом хочу отметить, что в то время люди вообще теряли конечности легче, чем сейчас. Знамена британского владычества висели по всей стране, подобно липучкам от мух, и, пытаясь отклеиться от этих губительных флагов, мы, мухи, — если допустимо мне употреблять слово «мы» применительно к годам, когда меня еще не было на свете, — часто оставляли на них ножки или крылышки, предпочитая увечье рабству. Разумеется, теперь, когда английская клейкая бумага стала достоянием истории, мы находим способы калечить себя, сражаясь с другими, столь же смертельно, опасными, столь же устарелыми, столь же липучими штандартами нашего собственного изготовления. — Довольно, довольно; пора слезть с трибуны! Вырубим громкоговоритель и перестанем грозить пальцем. — Я продолжаю. Второй существенный момент в истории с ногой Ламбаджана связан с занавесками моей матери — точней, с тем обстоятельством, что задние стекла в кабине ее американского авто

постоянно были задернуты зелеными с золотом занавесками…

В феврале 1946 года, когда Бомбей, эта сверхэпическая, полная движения кинокартина за одну ночь была превращена в стоп-кадр грандиозной забастовкой военных моряков и портовых служб, когда не отчаливали суда, не выплавлялась сталь, на ткацких фабриках замерли челноки, на киностудиях прекратились и съемка, и монтаж, — в эти дни Аурора, которой шел двадцать второй год, носилась по парализованному городу в своем ревущем занавешенном «бьюике», направляла шофера Ханумана в самую гущу захватывающего действа или, точнее, великого бездействия, покидала машину у ворот фабрик и судоремонтных заводов, углублялась в одиночку в трущобы Дхарави, смело шла мимо питейных заведений Дхоби Талао и пылающих неоном злачных мест Фолкленд-роуд, вооруженная лишь складной деревянной табуреткой и этюдником. Разложив то и другое, она принималась запечатлевать историю угольным карандашом.

— Забудьте про меня, — властно говорила она изумленным забастовщикам, стремительной рукой зарисовывая их, стоящих в пикетах, пьющих по кабакам, пристающих к девкам. — Я ничего

вам худого не сделаю — я как ящерка на стене. Или, если хотите, божья коровка.

— Сумасшедшая, — дивился Авраам Зогойби много лет спустя. — Мама твоя, сынок. Сумасшедшая, как обезьяна на дереве. Не знаю, о чем она думала. Это даже в Бомбее нешуточное дело, когда женщина одна разгуливает по переулкам и заглядывает мужчинам в лица или идет в притон, где пьют и играют, и делает зарисовки в блокноте. Кстати, божьими коровками звались тогда бомбы.

Да, это было нешуточное дело. Дюжие грузчики с золотыми зубами всерьез думали, что она пытается похитить у них души, перенося их из тел в портреты; бастующие сталевары подозревали, что под личиной художницы кроется шпионка, подосланная полицией. Вопиющая странность такого занятия, как искусство, сделала ее сомнительной фигурой -как оно бывает везде и всюду, как всегда было и, вероятно, всегда будет. Все это и многое другое она превозмогла; все похабные посягательства, все угрозы рукоприкладства прекращались под этим спокойным неуступчивым взглядом. Моя мать всегда обладала сверхъестественной способностью делаться в ходе напряженной работы невидимой. День за

днем, собрав свои длинные белые волосы в пучок и надев дешевенькое ситцевое платье с Кроуфордского рынка, она бесшумно и неотвратимо появлялась в своих излюбленных местах, и мало-помалу волшебство начинало действовать, люди переставали ее замечать; они забывали, что она шикарная леди, приезжающая на автомобиле величиною с дом и даже с занавесками на окнах, и правда жизни возвращалась в их лица — вот почему угольный карандаш в ее летучих пальцах ухватил столь многое: бешеные потасовки голых детей у водопроводного крана; злобу и отчаяние праздных рабочих, курящих самокрутки на ступенях закрытых аптек; вымершие фабрики; кровь в глазах мужчин, готовую выплеснуться и затопить улицы; напряженные позы женщин, плотно закутанных в сари, сидящих на корточках у крохотных примусов в джопадпатти — нищенских хибарах — и пытающихся из ничего соорудить обед; панику в глазах полицейских с бамбуковыми дубинками, опасающихся, что скоро, когда наступит свобода, их скопом запишут в каратели; тревожное возбуждение моряков-забастовщиков, стоящих у ворот морского арсенала или жующих орешки на причале Аполло Бандер и с виноватой наглостью шалых детей догляды-

вающих на красные флаги недвижных судов в порту; беззащитное высокомерие английских офицеров, словно выброшенных на берег крушением и чувствующих, что власть отхлынула от них, как бурлящая вода, оставив им лишь осанку и позу былой неуязвимости, лишь лохмотья роскошных имперских одежд; и во всем этом сквозило ее собственное ощущение, ощущение неадекватности мира и его неспособности оправдать ее ожидания, так что злость и разочарование персонажей нашли отражение в злости и разочаровании самой художницы, поэтому ее этюды стали не просто репортажами, а личным переживанием, которое передает уже сама эта линия — яростная, рвущаяся за все мыслимые пределы, резкая, как удар в лицо.

Кеку Моди спешно арендовал зал в районе форта и выставил там эти этюды, которые были окрещены «чипкалистскими», то есть «ящеричными», потому что по предложению Моди, понимавшего, что рисунки носят явно подрывной, прозабастовочный характер и бросают вызов британским властям, Аурора их не подписала, а просто нарисовала в углу каждого листа маленькую ящерку. Кеку был совершенно уверен, что его арестуют, и счастлив заслонить собою Аурору

(ибо он с первой же встречи подпал под ее обаяние), и когда этого не произошло — англичане полностью проигнорировали выставку, — он увидел в этом еще одно доказательство паралича не только их власти, но и их воли. Долговязый, угловатый, бледный, величественно близорукий, в очках с круглыми стеклами такой толщины, что они казались пуленепробиваемыми, он мерил шагами выставочный зал в ожидании так и не состоявшегося ареста, то и дело прикладывался к невинного вида термосу, который был наполнен дешевым ромом, похожим по цвету на крепкий чай, и, хватая посетителя за пуговицу, принимался пространно разглагольствовать о неизбежном закате империи. Авраам Зогойби, пришедший однажды на выставку без ведома Ауроры, придерживался иного мнения.

— Эх вы, художники-рисовальщики, — сказал он Кеку. -Послушать вас, вы горы можете сдвинуть. С каких это пор массы стали ходить на выставки? А что касается англичан, то, по моему скромному мнению, в настоящий момент искусство для них — дело десятое.

Поначалу Аурора гордилась своим псевдонимом: воистину она стала тем, чем хотела стать, немигающей ящеркой на стене истории,

смотрящей и всматривающейся; но когда у ее новаторской манеры появились последователи, когда другие молодые художники принялись делать зарисовки на улицах и даже окрестили себя «чипкалистским движением», моя мать, что очень для нее характерно, публично от них отмежевалась. В газетной статье, озаглавленной «Ящерица — это я», она признала свое авторство, заявила, что готова к репрессиям со стороны англичан (их не последовало), и пренебрежительно отозвалась о своих имитаторах как о «карикатуристах и фотографах».

— Быть птицей высокого полета — это прекрасно, — сказал мой отец в старости, вспоминая былые годы. — Но надо понимать, что такая птица — птица одинокая.

x x x

Когда Аурора Зогойби узнала, что забастовочный комитет под давлением руководства Конгресса решил прекратить стачку и созвал собрание моряков, чтобы объявить им о возобновлении работы, ее разочарование в мире как таковом вышло из берегов. Не раздумывая, не подождав даже шофера Ханумана, она ринулась к занавешенному «бьюику» и газанула к военно-

морской базе. Но когда она миновала афганскую мечеть близ военного городка в Колабе, кокон неуязвимости, обволакивавший ее все это время, вдруг лопнул, и на нее напали сомнения — стоило ли ехать? Дорога к базе была запружена подавленными матросами; мрачные молодые парни, одетые в чистую форму, но с нечистыми помыслами влеклись куда-то бесцельно и безвольно, как сухие листья. На платане глумливо раскричались вороны; один матрос подобрал камень и запустил в направлении карканья. Черные силуэты презрительно колыхнулись, описали в воздухе круг и, вновь опустившись на ветки, взялись за старое. Полицейские в шортах, стоя маленькими кучками, тревожно переговаривались, как нашкодившие дети, и до моей матери, наконец, дошло, что нечего здесь делать леди со складной табуреточкой и этюдником, прикатившей в одиночку, без шофера, на сверкающем «бьюике». Был жаркий, влажный, недобрый предвечерний час. Детский сиреневый воздушный змей, чья бечевка была оборвана в своем, тоже проигранном сражении, многозначительно рухнул на землю.

Ауроре не нужно было опускать стекло и спрашивать матросов, что они обо всем этом думают, поскольку она думала ровно то же, что

и они, — что конгрессисты поступили как чамча, как холуи, что даже сейчас, когда англичане не настолько уверены в армии, чтобы посылать ее на усмирение моряков, они могут быть вполне уверены в Конгрессе, готовом избавить их от всех неприятностей. Когда массы поднимаются всерьез, думала она, боссы поджимают хвост, — что белокожие боссы, что темнокожие. «Забастовка перепугала наших не меньше, чем тех». Аурора была в мятежном настроении; но она понимала, что для столпившихся здесь озлобленных парней она богатая фифа, прикатившая в шикарном авто, и для них она чужая, а может быть, и враг.

Угрюмое, беспричинное сгущение толпы вынудило ее ползти со скоростью пешехода; и когда внезапным движением, быстрота и небрежность которого таили в себе пугающую силу, один хмурый молодой верзила так крутанул ее оправленное в хромированную сталь зеркальце заднего вида, что оно беспомощно повисло наподобие сломанной конечности, — тут сердце ее заколотилось, и она решила, что пора сматываться. Она дала задний ход, поскольку развернуться не было никакой возможности, и, уже нажав на газ, сообразила, что без зеркальца и при занавешенном заднем стекле она не может видеть,

что делается позади машины. Она не знала, что некоторые матросы в последнем приливе куража уселись прямо посреди дороги; и кроме того, из-за растущей, толчками прибывающей паники она тронулась слишком резко и двигалась намного, намного быстрей, чем следовало бы.

Тормозя, она почувствовала небольшой толчок.

Крайне редко Аурора Зогойби теряла голову от страха, но теперь случилось именно это: после толчка моя объятая ужасом мать, мгновенно поняв, что кто-то расположился на сидячую демонстрацию позади ее машины, переключила «бьюик» на первую скорость. Автомобиль дернулся теперь уже вперед и еще раз, с новым толчком переехал вытянутую ногу матроса. В этот миг к «бьюику», размахивая дубинками и дуя в свистки, бросилось несколько полицейских, и Аурора уже в каком-то помрачении, повинуясь нахлынувшему чувству вины и желанию бегства, вновь дала задний. И ощутила третий толчок, существенно менее заметный, чем первые два. Сзади вздымалась волна гневных криков, и, совершенно обезумев, инстинктивно реагируя на крики и почти не чувствуя четвертого толчка, она опять рванулась вперед -и сшибла наземь, по

крайней мере, одного полицейского. После чего, к счастью, мотор «бьюика» заглох.

Что больше всего меня изумляло, когда я слушал про это в детстве, что ставит меня в тупик и по сей день — каким образом, фактически разрезав человека надвое, она ухитрилась выбраться из толпы целой и невредимой. Аурора раз за разом давала своему спасению новые объяснения, ссылаясь то на замешательство несчастных матросов; то на остатки флотской дисциплины, помешавшие превращению их в толпу линчевателей; то на присущее индийцам внутреннее благородство и чувство иерархии, не позволившее им тронуть даму, да еще такую изысканную. Или, может быть, дело не в этом, а в ее глубоком и очевидном для всех сострадании -какая уж тут изысканность! — к искалеченному человеку, чья нога омерзительно напоминала ее болтающееся зеркальце заднего вида; а может быть, в быстроте и властности, с какой она распорядилась, чтобы его положили на заднее сиденье «бьюика», где его скрыла от возмущенных глаз зеленая с золотом ткань, меж тем как она растолковала собравшимся, что раненого надо немедленно везти в больницу, а единственный доступный сейчас транспорт — ее машина. В сущности она сама не

понимала, почему ее пощадила грозно подступившая людская масса, но в самые мрачные свои минуты она, возможно, ближе всего подходила к истине, признавая, что ее спасла слава; ведь ее снимки видели многие, и трудно было не узнать это красивое молодое лицо и длинные белые волосы. «Скажите вашим дружкам в Конгрессе, что они нас предали!» — раздался чей-то голос, и она крикнула в ответ: «Скажу!» — после чего они дали ей уехать. (Через несколько месяцев, делая пируэты на парапете «Элефанты», она сдержала слово, и Джавахарлал Неру получил от нее все сполна. Вскоре после этого в Индию приехали Маунтбеттены, и Неру с Эдвиной полюбили друг друга. Слишком ли смело будет предположить, что резкость Ауроры в вопросе о забастовке отвратила от нее сердце пандитджи, который предпочел ей более покладистую дамочку -супругу последнего вице-короля?)

У Авраама — ведь он, как мы помним, обещал постоянно заботиться об Ауроре — была несколько иная версия. Он изложил ее мне спустя долгое время после ее смерти.

— Я тогда держал расторопных ребят, чтоб тайком сидели у нее на хвосте, и скучать им редко приходилось. Не скажу, что очень уж трудно бы-

ло приглядывать за твоей глупой мамашей, когда она выкидывала свои фортели, — но смотреть приходилось в оба. Куда ее «бьюик», туда и мои парни. И ей ведь не скажешь! Узнала бы — не жить мне тогда на свете.

После всех этих лет я так и не знаю, чему верить. Аурора сорвалась с места совершенно неожиданно — как они могли за ней поспеть? Но, может быть, ее версия не вполне точна; возможно, ее поездка не была все же такой внезапной. Старая, как мир, головоломка для биографа: даже если человек рассказывает свою собственную жизнь, он непременно приукрашивает факты, переиначивает события, а то и вовсе выдумывает все от начала до конца. Аурора хотела выглядеть независимой; ее версия проистекала из этого желания, тогда как версия Авраама — из его желания доказать всем -доказать мне, — что ее безопасность целиком зависела от него. Истина, которую открывают подобные истории, — это истина человеческих сердец, но отнюдь не их дел. С раненым матросом, однако, все обстоит проще: бедняга остался без ноги.

x x x

Она взяла его к себе в дом и изменила его жизнь.

Она укоротила его, лишив ноги и, соответственно, — флотской будущности; и вот теперь, изо всех сил стараясь вновь его увеличить, она подарила ему новую униформу, новую работу, новую ногу, новую индивидуальность и ворчливого попугая впридачу. Разрушив его жизнь, она спасла его от наихудших последствий этого разрушения — от житья в канаве, от нищенской сумы. В итоге он влюбился в нее, как же иначе; он стал, согласно ее желанию, Ламбаджаном Чандивалой, и слоновьи сказки, которые он нам рассказывал, были своего рода объяснениями в любви, в невозможной, собачьей любви раба к госпоже, в любви, вызывавшей отвращение у мисс Джайи Хе, нашей костлявой и брюзгливой няни и домоправительницы, которая стала его нареченной и отравой его жизни. "Баап-ре! Господи ты боже мой! — кричала она на него. — Отправляйся на «соляной марш» [56] и, как дойдешь до моря, не останавливайся!"

Ламбаджан у ворот Ауроры — у врат зари,-как говорил Васко Миранда, — не только охранял госпожу от грубого внешнего мира, но также и

---

56 Примечания: 56

«Соляной марш» к морскому побережью был организован Махатмой Ганди в 1930 году в знак протеста против монополии англичан на соль.

некоторым образом оберегал от нее других. Никто не входил, не доложив ему, по какому делу; но при этом Ламба считал своим долгом давать посетителям советы. «По шерстке, по шерстке сегодня, — мог он сказать, к примеру. — Ей уже чего только не нашептали». Или: «Она не в духе. Есть хорошая шутка наготове?» Эти предупреждения помогали гостям моей матери (если они были благоразумны настолько, чтобы внять словам Ламбаджана) предотвращать вспышки этой сверхновой звезды, дабы не быть испепеленными ее легендарным — и в высшей степени артистическим — гневом.

x x x

Моя мать Аурора Зогойби была слишком яркой звездой; взглянешь на нее в упор — и лишишься зрения. Даже теперь, в воспоминаниях, она ослепляет, и приходится двигаться кругами, держась на расстоянии. Легче воспринимать ее косвенно, по ее действию на другие тела — по искривлению идущего от других людей света, по гравитационному притяжению, от которого никому из нас не дано было спастись, по тающим орбитам тех, кто прекращал сопротивление и неудержимо падал в пожирающее пламя этого

солнца. О эти мертвые — как бесконечна, как нескончаема их кончина; как длинна, как богата их повесть! Нам, живущим, приходится выискивать себе место подле них — подле мертвых гигантов, которых мы не в состоянии надежно связать, хоть мы хватаем их за волосы, хоть мы опутываем их веревками во сне.

Должны ли мы тоже умереть прежде, чем наши души, так долго немотствующие, смогут выразить себя? Прежде, чем наша тайная природа станет явной? Тем, кого это касается, я отвечаю — нет, и вновь отвечаю — никоим образом. В юности мне иногда снилось — как Кармен да Гаме, но по иной причине, не столь мазохистской, не столь мастурбаторской; как страдающему фотофобией, ушибленному верой Оливеру д'Эту, — что с меня слезла кожа, словно кожура с банана, что я иду в мир в полной наготе, как анатомическая картинка из Британской энциклопедии, сплошь нервные узлы, связки, сосуды и мышцы, хоть таким образом вырвавшись из глухих застенков расы, нации и рода. (В иных вариантах этого сна я ухитрялся избавиться не только от кожи, но и от всех потрохов, от плоти как таковой, становился вольным сгустком разума и чувства, отпущенным в мир резвиться на его лугах, свечением из

научной фантастики, не нуждающимся в физической форме.)

И сейчас, когда я пишу эти строки, мне нужно содрать с себя кожу истории, освободиться, выйти из тюрьмы прошлого. Пришла пора для чего-то окончательного, пришла пора истины о себе самом, которая поможет мне избавиться наконец от удушающей родительской власти, от моей собственной темной кожи. Эти строки — сбывающийся сон. Мучительный сон, что верно, то верно; ибо нелегко человеку наяву очистить себя, как банан, сколь бы перезрелым этот человек ни был. А Аурору с Авраамом поди еще стряхни с дерева.

Материнство — простите меня, если я слишком уж напираю на этот предмет, — очень важная тема в Индии, самая, может быть, важная: родина — как мать, мать — как родина, как твердая земля под нашими ногами. Я говорю, леди и джентльмены, о своей большой родине, стране большинства. В год, когда я родился, на экраны страны вышла — три года в работе на студии «Мехбуб продакшенз», триста съемочных дней, до сих пор в первой тройке по посещаемости за все времена среди кинолент «Болливуда», бомбейского Голливуда, — всепобеждающая

«Мать Индия». Кто видел, тот хорошо запомнил эту вязко-приторную сагу о героизме сельской женщины, эту сверхсентиментальную оду стойкости деревенской Индии, созданную самыми циничными горожанами на свете. А что касается главной героини — о несравненная Наргис [57] с лопатой через плечо, с упавшей на лоб черной прядью! — она для всех нас стала, пока «мать Индира» не вытеснила ее, живой матерью-богиней. Аурора, конечно, была с ней знакома; Наргис, как и прочие светила, притягивало ослепительное пламя моей матери. Но дружбы не вышло — возможно, потому, что Аурора не удержалась и заговорила об отношениях матери и сына (как близка эта тема моему сердцу!)

— Когда я в первый раз пошла на этот фильм, — призналась она знаменитой кинозвезде на верхней террасе «Элефанты», — стоило мне только взглянуть на вашего непутевого сына, на Бирджу, как я подумала: какой красавец, боже ты мой, горячий-горячий, перченый-перченый, несите скорей воды. Пусть он тысячу раз вор и прохвост, все равно: первоклассный герой-любовник. А теперь надо же, что я слышу — вы взяли

---

57 Примечания: 57

Наргис (наст. имя Фатима Рашид; 1929-1981) — индийская кинозвезда.

с ним и поженились. Ну и жизнь сексуальная у вас, у киношников, не соскучишься — замуж за собственного сына, вот это я понимаю.

Актер, о котором шла речь, Сунил Датт, напряженно стоял, краснея, подле жены и пил нимбу-пани — лимонад. (Тогда Бомбей был «сухим» штатом, и, хотя в «Элефанте» виски с содовой водилось в изобилии, актер подчеркивал нравственный момент.)

— Аурора-джи, вы смешиваете жизнь и вымысел, — сказал он назидательно, словно такое смешение тоже воспрещалось сухим законом. — Бирджу и его мать Радха — это персонажи, плоские фигуры на белом экране; ну а мы-то живые, объемные, из плоти и крови — и пришли к вам в гости в ваш прекрасный дом.

Наргис, потягивая нимбу-пани, чуть заметно улыбнулась, довольная прозвучавшим в его словах упреком.

— Но даже смотря фильм, — немилосердно продолжала Аурора, — я на все сто была уверена, что непутевый Бирджу хочет иметь свою великолепную мамашу.

Наргис стояла раскрыв рот и не знала, что ответить. Васко Миранда, для которого скандал был самое милое дело, почуял назревающий шторм и

поспешил внести посильную лепту.

— Сублимация, — заметил он, — взаимного влечения между ребенком и родителем глубоко укоренена в национальной психологии. Сами имена, использованные в картине, достаточно красноречивы. Ведь Бирджу — это одно из имен бога Кришны, и кто не знает, что кроткая пастушка Радха -единственная настоящая любовь у этого синего молодчика. [58] В фильме, Сунил, вас загримировали под бога, вы там заигрываете со всеми девушками подряд и разбиваете камнями их глиняные горшки, которые символизируют женскую утробу; согласитесь, поведение вполне в духе Кришны. С этой точки зрения, — тут паясничающий Васко безуспешно попытался придать своему голосу некую ученую весомость, — «Мать Индию» можно интерпретировать как темную версию истории Радхи и Кришны, дополненную побочной темой запретной любви. Но что это я! Заморочил вам голову всякими эдипами и прочими типами. Глотнете виски?

— Какие грязные разговоры! — воскликнула здравствующая Матерь-богиня. — Поганые и грязные, фу, срам какой. Меня ведь предупрежда-

---

58 Примечания: 58

На изображениях Кришны цвет его кожи обычно темно-синий; Радха — главная из множества его возлюбленных.

ли, что здесь вечно трется всякая богема, всякие умники-битники, но я решила — ладно, не будем рубить сплеча. Теперь вижу, тут и вправду одно охальное отребье. Охота вам всюду выискивать отрицательное! Мы создали фильм, несущий положительный заряд. Здесь доблесть широких масс, которые не забыли еще родину-мать.

— Не забыли еще ругань и мат? — с невинным видом переспросил Васко. — Это очень хорошо! Но в экранной версии цензура, видимо, весь мат вырезала.

— Бевакуф! — заорал выведенный из себя Сунил Датт. -Идиот! Безмозглый кретин! Какая еще ругань? Здесь патриотизм, здесь будущее, здесь прогресс! С чего начинается фильм? С того, что моя супруга открывает строительство гидроэлектростанции!

— Вы сказали «супруга», — поспешил прийти на помощь внимательный Васко, — но имели в виду, конечно, вашу маму.

— Сунил, пошли, — сказала легенда, устремляясь к выходу. — Если эта вот безбожная, безродная банда и есть так называемый мир искусства, то я рада остаться на коммерческой половине.

В «Матери Индии», поставленной мусульманским социалистом Мехбуб Ханом и ставшей при

этом важным элементом индуистского мифотворчества, индийская крестьянка воспевается как невеста, мать и воспитательница сыновей; как воплощение долготерпения, стоицизма, любви, строгой морали и консервативной приверженности установившимся порядкам. Но для непутевого Бирджу, лишающегося ее материнской любви, она приобретает черты, по выражению одного из критиков, «того образа агрессивной, враждебной, карающей матери, который тревожит воображение любого индийского мужчины».

Для меня тоже этот образ кое-что значит; я тоже был в свой черед отвергнут как непутевый сын. Правда, моя мать мало походила на Наргис Датт — туг кротостью и не пахло, тут все наотмашь и в лицо. С лопатой через плечо она не вышагивала. «Я рада вам сообщить, что за всю жизнь в глаза не видела лопаты». Аурора была самая что ни на есть городская штучка, воплощение бомбейского шика, а Мать Индия, напротив, была плотью от плоти деревни. При всем том поучительно будет увидеть сходство и различие наших семей. Согласно фильму, мужа Матери Индии калечит упавший камень, который расплющивает его руки и делает его импотентом; в нашей исто-

рии изуродованные конечности также играют ключевую роль. (А был ли Авраам импотентом — судите сами.) Что же касается Бирджу и Мавра — темной кожей и шельмовством наше сходство не исчерпывается. Слишком долго я хранил свой секрет. Пора раскалываться.

x x x

Три мои сестры появились на свет одна за другой с небольшим интервалом, и Аурора носила и рожала их с такой рассеянной небрежностью, что они, казалось, задолго до рождения знали, что она мало будет снисходить к их постнатальным нуждам. Имена, которые она им дала, только подтвердили эти подозрения. Старшая, первоначально названная, вопреки протестам еврея-отца, Кристиной, позже осталась только с половинкой имени.

— Чтоб ты не дулся, Ави, — распорядилась Аурора, — отныне она будет просто Ина без всякого Христа.

Так, усеченная вдвое, бедная Ина и росла, а когда родилась вторая дочь, стало еще хуже, потому что Аурора настаивала на имени Инамората. Авраам вновь пытался протестовать:

— Их же будут путать, — сказал он жалобно. — К

тому же это Ина-мор, Ina-more, означает «больше, чем Ина», Ина с плюсом…

Аурора пожала плечами.

— Ина у нас та еще кроха — она, как родилась, весила десять фунтов, — напомнила она Аврааму. — Голова с пушечное ядро, задница с корабельную корму. А эта маленькая мышка-норушка не может быть ничем, кроме как Иной с минусом.

Неделю спустя она пришла к выводу, что пятифунтовая мышка Инамората очень похожа на знаменитого зверька из мультфильмов — «ушки большие, глазки кругленькие, одежка в горошек», — после чего моя средняя сестра стала зваться Минни. Когда еще через полтора года Аурора заявила, что ее новорожденная третья дочь будет Филоминой, Авраам принялся рвать на себе волосы.

— Теперь пойдет путаница: Минни — Мина, — стонал он. -Не говоря уже о том, что третья Ина.

Филомина послушала-послушала их спор и принялась плакать, басовито и совершенно немелодично, чем убедила всех, кроме ее матери, в комизме и нелепости данного ей соловьиного имени. Но когда ребенку было месяца три, няня, мисс Джайя Хе, вдруг услышала из детской прон-

зительные трели и душераздирающее карканье и, поспешив туда, увидела в кроватке довольную жизнью девочку, распевающую на всевозможные птичьи голоса. Ина и Минни с восторгом и ужасом взирали на сестричку через прутья кроватки. Позвали Аурору, и, придя, она с невозмутимой беспечностью, тотчас разрушившей ощущение чуда, решительно кивнула и вынесла свой вердикт:

— Что ж, если она так умеет подлаживаться — значит, она не бюль-бюль, а майна, говорящий скворец.

С той поры так и пошло: Ина, Минни, Майна; правда, в школе «Уолсингем хаус» на Нипиэнси-роуд их превратили в «Ини, Мини, Майни» — неоконченную строку, завершавшуюся пропуском, паузой на месте четвертого слова. Три сестры ждали — и ждать пришлось долго, потому что от рождения Майны до моего, до времени, когда можно будет поймать братца за палец ноги [59], прошло без малого восемь лет.

Мальчик, которого безуспешно пыталась заполучить старая ведьма Флори Зогойби, все не

---

59 Примечания: 59

Здесь обыгрывается английский детский стишок, начинающийся словами: «Ини, Мини, Майни, Му, поймай обезьянку за палец ноги». «Му» по звучанию близко к Moor [mue] (англ)– мавр.

появлялся, и к чести моего отца надо сказать, что он всегда выказывал полное удовлетворение своими тремя дочерьми. Девочки подрастали, и он был самым что ни на есть любящим отцом… Но вот однажды — это было в 1956 году, во время длинных каникул после сезона дождей, — когда семейство отправилось в Лонавлу посмотреть двухтысячелетние буддийские пещерные храмы, он он вдруг остановился на середине высеченной в скале крутой лестницы, ведущей к темному жерлу самой большой пещеры, схватился, задыхаясь, за сердце и, слыша, как воздух с хрипом вырывается из легких и видя одни лишь плывущие перед глазами круги, тщетно потянулся рукой к трем своим дочерям, девяти-, восьми– и почти семилетней, которые не замечали его бедственного положения и, хихикая, скакали себе все выше и удалялись все дальше от него с присущими детству беззаботной быстротой и ощущением бессмертия. Аурора успела подхватить его прежде, чем он упал. Подошедшая к ним старая торговка грибами помогла Ауроре посадить Авраама, прислонив его спиной к скале; соломенная шляпа съехала ему на лоб, по лицу и шее струился холодный пот.

— Да не хрипи ты, черт бы тебя побрал! — за-

кричала Аурора, взяв его голову в свои ладони. — Дыши, понял! Не смей у меня умирать!

И Авраам, который всегда ее слушался, остался жив. Дыхание сделалось ровнее, в глазах прояснилось, и долгие минуты он сидел со склоненной головой, приходя в себя. Девочки прибежали сверху по лестнице, вытаращив глаза и засунув в рот пальцы.

— Видишь, как плохо быть старым отцом, — пробормотал жене пятидесятитрехлетний Авраам, пока дочери еще не приблизились. — Очень уж быстро они растут, а я так же быстро разваливаюсь. Будь моя воля, я оставил бы в этом возрасте и себя, и девочек.

В присутствии подоспевших детей Аурора придала своему голосу беззаботность.

— Ну, о тебе-то беспокоиться нечего, — сказала она Аврааму. — Ты у нас вечный. А что касается этих диких существ, я жду не дождусь, когда они вырастут. Боже ты мой! Как долго тянется все это детство! Вот (бы мне таких детей -пусть даже одного ребенка, — который бы действительно быстро рос.

Тихий, почти неслышный голос произнес у нее за спиной: «Фокус-покус, райский сад». Аурора резко обернулась.

— Кто это сказал?

Рядом были только дочки. Другие экскурсанты, часть из которых несли в паланкинах (внизу Авраам отказался от этой услуги), находились слишком далеко от них — одни выше, другие ниже.

— Где эта женщина? — спросила Аурора детей. — Эта старуха с грибами, которая мне помогла. Куда она делась?

— А мы никого не видели, — сказала Ина. — Тут были только ты да папа.

x x x

Махабалешвар, Лонавла, ХандалМатеран… Я никогда больше не увижу эти милые прохладные местечки в холмах, местечки, чьи названия отдаются в ушах бомбейцев детским смехом и нежными песнями любви, пробуждая воспоминания о днях и ночах в зеленой тени лесов, о прогулках и беззаботности! В сухое время перед сезоном дождей эти священные холмы словно парят в серебристой волшебной дымке; а после муссонов, когда воздух прозрачен и чист, можно встать, скажем, на Центральной высоте Матерана или на Холме одинокого дерева и посреди этой сверхъестественной ясности проникнуть взгля-

дом если не в вечность, то хотя бы ненамного в будущее, на день или на два.

Однако в тот день, когда у Авраама случился приступ, причудливые изгибы холмов и медлительность петляющих между них дорог пришлись весьма некстати. У семьи был забронирован на эти дни номер в гостинице «Лорде сентрал» в Матеране, и это означало, что они должны были сначала проехать двадцать миль по ухабистой неухоженной дороге, а затем, оставив «бьюик» на попечение Ханумана, пересесть на игрушечный поезд, ползущий вверх из Нерала через «туннель одного поцелуя» и дальше — томительная двухчасовая поездка, во время которой Аурора, смягчив свою обычную суровость, пичкала детей сахарно-ореховыми конфетками, чтоб сидели тихо, в то время как мисс Джайя мочила в кувшине с водой носовые платки, которые Аурора все время меняла на лбу у ослабевшего Авраама.

— До этой «Господней центральной», — сетовала Аурора, -трудней добраться, чем до самого рая.

Но «Лорде сентрал» была, по крайней мере, вещью реальной, существование этой гостиницы было эмпирически доказуемо, а что касается

небесного рая, то на его существование в моей семье никогда особенно не закладывались… Поезд пыхтел, взбираясь по узкоколейке все выше, розовые занавески на окнах вагона первого класса развевались от ветра, и наконец он остановился, и обезьяны, свесившись с крыши, попытались украсть через окно сладости у опешивших девочек Зогойби. Здесь дорога кончалась; и в ту ночь в комнате «Господней центральной», где вдруг сильно запахло специями и на стенах сидели внимательные ящерицы, — там, на скрипучей пружинной постели под медленными взмахами потолочного вентилятора Аурора Зогойби ласкала мужнино тело, пока жизнь не вернулась в него полностью; и четыре с половиной месяца спустя, в первый день 1957 года, она родила своего четвертого и последнего ребенка.

Ина, Минни, Майна, и наконец — Мавр. Ваш покорный слуга; последний в роду. И еще одно. Есть еще одно обстоятельство; можно назвать его исполнением желания. Можно — местью мертвой старухи. Я — тот ребенок, на отсутствие которого Аурора Зогойби жаловалась на ступенях, ведущих к пещерам Лонавла. Это мой секрет, и после всех этих лет все, что я могу сделать, — это открыть его, и плевать мне на то, как это

прозвучит.

Я перемещаюсь во времени быстрее, чем следует. Вы меня поняли? Кто-то где-то нажал кнопку FF или, может быть, x2. Читатель, слушай меня внимательно, не пропускай ни единого слова, ибо то, что я сейчас пишу, — простая и буквальная истина. Я, Мораиш Зогойби, прозванный Мавром, в наказание за грехи мои, за неисчислимые грехи мои, по вине моей, по прискорбной вине моей живу с двойной скоростью.

А что торговка грибами? Аурора, принявшись на следующее утро расспрашивать администратора гостиницы, услышала в ответ, что, насколько он знает, в районе пещер Лонавла грибы никогда не росли и не продавались. Старуху — птичий потрох, пошел в ад — больше так и не видели.

(Я вижу, как встает заря; и благоразумно умолкаю.)

10

Повторю еще раз: с момента зачатия я, как гость из иного измерения, из иного пространственно-временного конуса, рос и развивался вдвое быстрее, чем наша древняя Земля и все живущие на ней растения и существа. Четыре с половиной месяца от зачатия до рождения — можно ли удивляться, что из-за этой сверхскоростной эволюции беременность моей матери была неимоверно тяжкой? Рисуя себе в воображении, как стремительно раздается ее матка, я не могу сравнить это ни с чем, кроме как с кинематографическим спецэффектом, — словно из-за какой-то дважды нажатой генетической кнопки вся ее биохимия сошла с катушек и принялась накачивать ее протестующее тело с такой яростью, что признаки моего ускоренного созревания были видны невооруженному глазу. Зачатый на одном холме и рожденный на другом, я достиг размеров горы, когда мне полагалось быть еще камешком… итак, я хочу сказать, что хотя вне всяких сомнений я был зачат именно в матеранской гостинице «Лорде сентрал», столь же неоспоримо то, что, когда малыш Гаргантюа Зогойби сделал свой первый

удивленный вдох в родильном отделении высшего класса при монастыре сестер Девы Марии Благодатной на Алтамонт-роуд в Бомбее, степень его физического развития была столь высока -достаточно сказать, что его продвижению по родовым путям немало препятствовала щедрая эрекция, — что ни у кого в здравом уме язык не повернулся бы назвать его полуфабрикатом.

Недозрелый плод? Скорее уж перезрелый. Четыре с половиной месяца в мокроте и слизи — это было для меня чересчур долго. С самого начала — верней, еще до всякого начала — я понимал, что мне нельзя терять времени. Торопясь взамен схлынувших вод обрести наконец желанный воздух, но задержавшись близ устья Ауроры из-за довольно-таки милитаристского поведения моего мужского отростка, надумавшего в этот торжественный момент встать по стойке «смирно», я решил дать людям знать о настоятельности моих нужд и испустил мощный бычий рев. Аурора, до которой мои первые звуки донеслись изнутри ее собственного тела и которая чувствовала неимоверный размер того, что собиралось народиться на свет, испытывала одновременно страх и благоговение; но дара речи, разумеется, не лишилась.

— После Ини-Мини-Майни, — задыхаясь, сказала она перепуганной насмерть католической акушерке, которая выглядела так, словно услышала глас из преисподней, — мне кажется, сестрица, у нас появится Му.

От Му до Мавра, от первого крика до прощального вздоха — вот вехи моей повести.

Сколь многие из нас чувствуют сегодня конец чего-то, слишком быстро миновавшего, — отрезка жизни, исторической эпохи, идеи цивилизации, зигзага во вращательном движении бесстрастной Вселенной. «Тысячелетья, как единый миг, — поют в соборе святого Фомы, обращаясь к Богу, которого, без сомнения, нет, — перед Твоими протекли очами»; так что мне, о всеблагой читатель, остается только сказать, что я тоже миновал слишком быстро. Существование с удвоенной скоростью позволяет прожить лишь полжизни. «И отошли, как ночи темный лик пред жаркими рассветными лучами».

Нет нужды привлекать для объяснений сверхъестественное; какой-нибудь непорядок в ДНК — и все дела. Сбой в основной программе, приведший к образованию слишком большого числа короткоживущих клеток. В Бомбее, в моем родном городе лачуг и небоскребов мы можем считать,

что находимся на вершине цивилизации, но это верно лишь наверху, среди стекла и бетона наших рассудков. Там, внизу, в трущобах наших тел мы подвержены самым уродливым уродствам, самым заразным заразам, самым бедственным бедам. Сколько бы домашних кошечек мы ни завели в наших блещущих чистотой, вознесенных в небеса апартаментах, они ничего не смогут поделать с крысами, кишащими в кровеносных клоаках.

Если человек возникает как побочный продукт взрыва, вызванного слиянием двух нестабильных элементов, то полужизнь — вероятно, лучшее, на что можно рассчитывать. От родильной палаты в Бомбее до архитектурного каприза в Бененхели мое путешествие по жизни продлилось всего тридцать шесть календарных лет. И во что превратился за это время младенец-гигант? В зеркалах Бененхели отражается изможденный тип с волосами столь же белыми, истончившимися, извилистыми и путаными, как давно истлевшие пряди его прабабушки Эпифании. Лицо — вытянутое и исхудалое, долговязое тело не сохранило ничего от прежнего неторопливого изящества движений. Профиль из орлиного превратился в мерзко-клювастый, по-женски

полные губы стали такими же худосочными, как поредевшая растительность на голове. Полы старого коричневого кожаного пальто, под которым заляпанная краской ковбойка и бесформенные вельветовые брюки, болтаются сзади, как сломанные крылья. Правда, этот сухой костлявый старикан с цыплячьей шеей и грудью ухитрился сохранить примечательную прямизну осанки (я всегда с легкостью мог идти, поставив на голову кувшин с молоком); но если бы вам показали его и попросили угадать возраст, вы бы ответили, что ему в самый раз будут кресло-качалка, мягкая пища и закатанные брюки, что его пора отпустить спокойно пастись, как старую лошадь, или же — если по случаю вы живете не в Индии — вы предложили бы отправить его в дом престарелых. Семьдесят два года, сказали бы вы, да еще правая рука деформирована — не рука, а палка с набалдашником.

x x x

«Что росло так быстро, не могло вырасти как надо», -подумала Аурора (позже, когда начались наши ссоры, она сказала это вслух, прямо мне в лицо). Почувствовав отвращение при виде моего уродства, она безуспешно попыталась утешить

себя: «Хорошо, что только рука». Печальное событие оплакала за нее сестра Иоанна, акушерка, располагавшая физическую ущербность (на которую моя мать смотрела почти так же, как она) лишь на одно деление ниже психической неполноценности на шкале семейного позора. Она завернула младенца в белую пеленку, скрыв под ней и хорошую, и плохую ручку, и когда вошел мой отец, она вручила ему непомерно большой сверток со сдавленным -и, вероятно, лишь наполовину притворным — рыданием.

— Такой красивый ребенок, в такой прекрасной семье, -всхлипнула она. — Пусть преисполнит вас кроткой радости, господин Авраам, то, что всемогущему Господу угодно было отметить вашего сына клеймом своей крепкой-крепкой любви.

Этого Аурора не могла, конечно, снести; моя правая рука, какой бы уродливой она ни была, — не объект для чьего-либо постороннего вмешательства, человеческого или божественного.

— Убери отсюда эту женщину, Ави, — прорычала с кровати моя мать, — а то я сейчас сама кое-кого клеймом отмечу.

Моя правая рука: вместо кисти — округлый слитный комок, лишь зачаток большого пальца

угадывается в недоразвитом отростке. (По сей день, здороваясь, я протягиваю мою нормальную левую, перекрутив ее большим пальцем вниз.)

— Привет, боксер, — невесело поздоровался со мной Авраам, рассматривая неудавшуюся конечность. — Будешь чемпионом. Помяни мое слово: таким кулачищем ты кого угодно уложишь с одного удара.

Слова, которые слетели со скривившихся губ отца, тщетно пытавшегося сохранить хорошую мину при плохой игре, стали просто-напросто пророческими: именно так все и вышло.

Не желая уступать никому пальму первенства в показном оптимизме, Аурора, не допускавшая и мысли, что ее трудная беременность может завершиться чем-нибудь кроме триумфа, спрятала свой ужас и свое отвращение, отправила их в глубокий сырой подвал души, откуда они вышли на волю, чудовищно и мерзко разросшиеся, только в день нашего окончательного разрыва… А тогда, в родильной палате, она, напротив, пожелала представить меня чудо-ребенком, более чем доношенным, развившимся с ошеломляющей скоростью, из-за которой ей пришлось очень туго, но благодаря которой из меня должно получиться нечто необыкновенное.

— Эта чертова дура сестра Иоанна права в одном, — сказала она, беря меня в руки. — Он из моих детей самый красимый. А рука — подумаешь! Тоже мне, беда какая. Даже шедевр может иметь маленький изъянчик.

Сказав это, она взяла за меня ответственность, какую художник берет за свой труд; мою уродливую лапу, этот комок, бесформенностью своей напоминающий современное искусство как таковое, она объявила не более чем случайной помаркой на гениальном полотне. И, пойдя еще дальше в своей щедрости — или же это было умерщвление плоти, наказание, наложенное на себя за то, что она инстинктивно отшатнулась от меня вначале? — Аурора одарила меня совсем уж по-царски.

— Бутылочка мисс Джайи была хороша для девочек, -заявила она. — Но сына своего я буду кормить сама.

Я, разумеется, не был против; и накрепко присосался к ее груди.

— Смотри, какой красавец, — замурлыкала Аурора, отметая сомнения. — Пей на здоровье, мой павлинчик, мой мор [60], мой мавр.

---

60 Примечания: 60
Мор — павлин (хиндустани).

x x x

Однажды, в начале 1947 года, у ворот «Элефанты» появился некий молодой человек, совсем исхудалый и без гроша в кармане, назвался Васко Мирандой, живописцем из Лоутолиня, что в Гоа, и потребовал, чтобы его пропустили «к единственной в этом антихудожественном Пердистане подлинно великой Художнице, чье величие может поспорить с моим». Бросив один лишь беглый взгляд на жалкие тоненькие усики, на рот, растянутый в улыбочке мелкого афериста, на подстриженные по захолустной моде — челка и бачки — волосы, с которых капало кокосовое масло, на дешевую рубаху, брюки и сандалии, привратник Ламбаджан Чандивала расхохотался. Васко ответил таким же хохотом, так что у «врат зари» сразу стало очень весело — оба то и дело хлопали себя по ляжкам и вытирали слезящиеся глаза, и только попугай Тота сохранял хмурую серьезность, крепко вцепившись в ходящие ходуном плечи чоукидара; наконец Ламбаджан с трудом выговорил:

— Да вы хоть знаете, куда пришли? — и тут же, к неудовольствию Тоты, его плечи вновь судорожно затряслись.

— Знаю, — отозвался Васко меж спазмами смеха, после чего Ламбаджан так развеселился, что попугай слетел с него и мрачно уселся на ворота.

— Не знаете, — прорыдал Ламбаджан и принялся яростно колотить Васко своим длинным деревянным костылем, — нет, мистер бадмаш [61], вы не знаете, куда пришли. Понятно вам? Не знали никогда, не знаете сейчас и не будете знать завтра.

И Васко поплелся с высокого Малабар-хилла в дыру, где он тогда ютился, — вероятно, в какую-нибудь жалкую хибару в трущобах Мазгаона — и там, весь покрытый синяками, но не павший духом, сел писать Ауроре письмо, которому удалось то, что не удалось ему самому, а именно — проскользнуть мимо чоукидара и удостоиться взгляда его недосягаемой работодательницы. Это письмо стало первым манифестом «Наи бадмаши» — «Нового нахальства», — благодаря которому впоследствии Васко сделал себе имя, хотя это направление, по существу, было не чем иным, как европейским сюрреализмом под острым индийским соусом; он даже снял короткометражный фильм под названием «Кут-

---

61 Примечания: 61
Бадмаш — нахал (хиндустани).

та Кашмир Ка» («Кашмирский пес» — перепев «Андалусского»). Правда, Васко не стал надолго зацикливаться на этой малахольной вторичности; вскоре он обнаружил, что может раскрыть свой подлинный дар, работая на заказ в мягкой, не оскорбляющей никого манере, за что владельцы общественных зданий готовы были платить ему поистине сюрреалистические суммы, и после этого его репутация — которая никогда, впрочем, не была очень уж солидной в серьезных кругах — стала снижаться с такой же быстротой, с какой росли его банковские накопления.

В письме он поведал Ауроре, что в нем она найдет родственную душу. Оба «Южные Звезды», оба «Анти-Христиане», оба провозвестники «Эпико-Мифо-Трагикомико-Супер-Эротико-Высоко-Забористо-Пряного Искусства», объединяющим принципом которого является «Цвет-Сюжет-Линия», они будут обогащать друг друга творчески, "...как французик Жорж и испанец Паблито [62], только лучше, поскольку Мы — люди разного Пола. Также я вижу в Вас Художника Общественно Мыслящего, интересующегося многими Темами Для; в то время как я, увы,

62 Примечания: 62

Имеются в виду знаменитые художники Жорж Брак (1882-1963) и Пабло Пикассо (1881-1973).

крайне Легкомыслен; едва только Политическая Сфера попадается мне на глаза, я превращаюсь в злого невоспитанного Ребенка и хорошим хлестким ударом отправляю вышеуказанную Сферу катиться подальше от Зоны моих Действий. Вы — Героиня, я — бесхребетная Медуза; нам ли, объединившись, не смести все стоящие перед нами Препоны? Это будет грандиозный союз, ибо если Вы — сама Правота, то я, к сожалению, сама Неправота".

Когда ветер донес до Ламбаджана Чандивалы, стоящего у ворот «Элефанты», взрыв хозяйкиного хохота, за которым последовали ведьминские завывания, полные буйного веселья, он понял, что Васко перехитрил-таки его, что комедия взяла верх над безопасностью и что, когда этот шут гороховый опять поднимется на холм, ему, Ламбаджану, придется вытянуться перед ним по стойке «смирно».

— А поглядывать я все-таки буду, — пробормотал чоукидар своему, как всегда, молчаливому попугаю. — Этот глупый лафанга, этот пустобрех когда-нибудь да споткнется, и посмотрим, каким смехом он будет смеяться, когда я схвачу его за руку.

На закате следующего дня, когда Васко провели

к Ауроре, она возлежала на исфаханском ковре в беседке в дальнем конце верхней террасы в позе «махи одетой». Она потягивала французское шампанское и курила импортную сигарету в длинном янтарном мундштуке, подложив себе под живот, в котором брыкалась Ина, шелковую подушечку. Он влюбился в нее прежде, чем она произнесла первое слово, рухнул перед ней так, как не считал себя способным рухнуть перед женщиной, и в своем падении, как стало ясно потом, увлек за собой еще многое другое. Отвергнутая любовь разбудила в нем темное начало.

— Я искала живописца, — сказала ему Аурора.

— Я — тот, кого вы искали… — начал Васко, встав в позу, но Аурора оборвала его.

— Стены расписывать, — сказала она довольно бесцеремонно. — Надо в момент подготовить детскую. Можете, нет? Говорите прямо. Платят в этом доме щедро.

Васко был уязвлен, но в деньгах нуждался отчаянно. Помедлив несколько секунд, он воссиял ослепительной улыбкой и осведомился:

— Какие сюжеты вы предпочитаете, мадам?

— Мультфильмы, — сказала она с неопределенным видом. -В кино ходите? Комиксы читаете? Так вот, пусть там будет эта мышь, этот утенок и

этот крольчонок — как бишь его зовут? Еще морячок этот с его шпинатной эпопеей [63]. Можно взять кошку, которая никак не поймает мышь, другую кошку, которая никак не поймает птицу, еще одну птицу, которая убегает от койота. Давайте мне каменные глыбы, которые на голову падают, но не убивают, а только сплющивают, давайте бомбы, от которых все лицо сажей покрывается, давайте этот бег по воздуху, длящийся, пока вниз не взглянешь. Еще завязанные узлом ружья и ванны, полные больших золотых монет. Но никаких чтобы мне ангелочков с арфами, никаких этих садов поганых — пусть у моих детей будет такой рай, какого я сама для них хочу.

Самоучка Васко, только приехавший из Гоа, ничего толком не знал про всех этих психованных дятлов и приставучих хоббитов. Однако, не имея ни малейшего представления о том, что от него требовала Аурора, он улыбнулся и отвесил поклон.

— Мадам, кто платит, тот и заказывает музыку. Вы имеете неслыханное ура разговаривать с ведущим и величайшим, не имеющим себе равных во всем Бомбее мастером райских росписей.

---

63 Примечания: 63

Имеется в виду популярный герой мультфильмов — моряк Попай, у которого, стоит ему поесть шпината, стремительно растут мышцы.

— Имеете ура? — недоуменно переспросила Аурора.

— Именно, именно, — сказал Васко. — Противоположность «увы».

x x x

Через пару дней он переехал в «Элефанту»; никаких формальных приглашений он ни разу не получал, но так или иначе задержался там на тридцать два года без малого. Поначалу Аурора относилась к нему как к забавному домашнему зверьку. Забраковав его провинциальную прическу, она настояла на том, чтобы он подстригся по-столичному и перестал стричь усы, и когда они стали длинными и пышными, заставила его вощить их, отчего они сделались похожи на волосяной лук Купидона. Своему портному она заказала для него одежду: шелковые костюмы в крупную полоску и разноцветные ширококрылые галстуки-бабочки, убедившие весь Бомбей в том, что новоиспеченный протеже Ауроры Зогойби — махровый педераст (в действительности он был настоящий бисексуал — пятьдесят на пятьдесят, — в чем многие молодые мужчины и женщины, посещавшие «Элефанту», смогли раньше или позже убедиться лично). Ауроре нра-

вился неуемный голод, с каким он набрасывался на информацию, еду, работу, а превыше всего — на удовольствия; ее подкупала сама та откровенность, с которой он, улыбаясь, как ребенок с коробочек детского питания «бинака», стремился добиться, чего хотел.

— Пусть остается, — заявила она, когда Авраам мягко поинтересовался, не пришло ли ему время собирать вещички. — Мне с ним веселей. К тому же он сказал, что он — мое неслыханное ура; можешь считать его моим талисманом.

Когда он кончил расписывать детскую, она предоставила ему мастерскую с мольбертами, цветными мелками, шезлонгом, кистями, красками. Авраам Зогойби, как попугай-скептик, склонил голову на свое недоуменно поднятое плечо; но возражать не стал. Васко Миранда сохранял за собой эту мастерскую даже в те времена, когда он давно уже был богат и имел агента в Америке и мастерские по всему свету. Он говорил, что здесь его корни, и по прошествии лет не что иное, как принятое Ауророй решение выкорчевать его, заставило Васко зайти за грань… Речения и словечки Васко вошли в семейный лексикон Зогойби. Ина, Минни и Майна все на свете подразделяли на «ура» и «увы»,

одноклассницы в школе «Уолсингем хаус» были для них либо «урочками», либо «увочками». В «Элефанте» ничего никогда не включалось и не выключалось: телефоны, лампы, радиолы были либо «открыты», либо «закрыты». Были заполнены остававшиеся раньше незамеченными языковые лакуны: раз существуют утвердительно-вопросительные пары туда-куда, тогда-когда, такой-какой, тому-кому, того-кого, следовательно, рассуждал Васко, на каждое там должно быть свое кам, на каждое тех — свое кех, и так далее.

Что касается детской, то он сдержал свое слово. В большой светлой комнате с видом на море он создал то, чему для нас с сестрами навсегда суждено было стать ближайшим из возможных подобий земного (но, к счастью, не садоводческого) рая. При всех его замашках бомбейского шута, этакого вращающего тросточку комического дядюшки, он был прилежным тружеником и в первые же дни после получения заказа изучил предписанную тематику с доскональностью, намного превосходившей требования Ауроры. Первым делом он изобразил на стенах детской множество фальшивых окон — могольско-дворцовых, андалусско-мавританских, мануэлино-португальских, лепестково-готических, окон больших

и малых; в этих окнах, позволявших не то выглянуть наружу, не то заглянуть внутрь сказочного мира, он нарисовал множество легендарных персонажей. Ранний Микки-маус на пароходике, утенок Дональд, сражающийся с живыми часами, дядя Скрудж со значками долларов в глазах. Утята Хью-Дью-Лью. Безумный изобретатель Джайро Джирлуз, собаки Гуфи и Плутон. Вороны, бурундуки, затем еще всякие неразлучные парочки: Гекль и Джекль, Чип и Дейл, Такдалее и Томуподобное. Еще герои «Песенок с приветом»: Даффи, Порки, Багс и Фадд. Чуть выше этой портретной галереи реяли их какофонические восклицания: хаха-хаХАха, кошшмарная кашша, тра-та-та, би-би, что-случилось-Док и ЧПОК. Дальше шли говорящие петухи, Кот в сапогах и летающие Чудесные Собачки в красных пелеринках; за ними — великое множество местных персонажей, ибо он сделал больше, чем просили, добавив джиннов на коврах, разбойников в огромных кувшинах и Синдбада в когтях гигантской птицы. Он изобразил сказочные океаны и магические заклинания, притчи из сборника «Панчатантра» и лампы Аладдина. Важней всего, однако, было понятие, которое он нам внушил посредством этих картинок: понятие о тайном "я".

Кто этот человек в маске? [64] Именно на стенах моей детской я впервые увидел богача Брюса Уэйна и его подопечного Дика Грейсона, живущих в роскошном особняке, который, однако, таит в себе секреты Бэтмена; скромного Кларка Кента, который в действительности не кто иной, как Кал-Эл, Супермен, пришелец с планеты Криптон; Джона Джонса, марсианина, чье настоящее имя — Дж'онн Дж'онзз; Диану Кинг — Чудо-женщину, королеву амазонок. Именно тогда я узнал, что могучий герой обречен на тоску по обыкновенности, что Супермен, который был храбр, как лев, и мог видеть сквозь любую стену, кроме свинцовой, больше всего на свете желал, чтобы Лоис Лейн полюбила его в облике мягкотелого очкарика. Я никогда не считал себя сверхгероем, не поймите меня превратно; но со своей рукой-дубинкой и сверхбыстрым мельканием листков в своем личном календаре я был достаточно исключителен и вовсе не хотел таким быть. У Фантома и Флэша, у Зеленой Стрелы, Бэтмена и Робина Гуда я учился заботиться о своем тайном "я" (как заботились о нем мои сестры; мои несчастные загубленные сестры).

---

64 Примечания: 64

Крылатая фраза из американских фильмов-вестернов про «Одинокого объездчика»

К семи с половиной годам я достиг физической зрелости — у меня появились пушок на лице, адамово яблоко, густой бас, вполне развитые половые органы и соответствующие вожделения; в десять я был ребенком с почти двухметровым телом двадцатилетнего верзилы, и пробуждающееся самосознание уже тогда наделило меня ужасом стремительно утекающего времени. Обреченный на быстроту, я напускал на себя медлительность, которая была подобна маске Одинокого объездчика. Полный решимости затормозить бег времени чистым усилием воли, я приучал себя к ленивой неторопливости движений, к чувственной и томной протяжности речи. Одно время я практиковал аристократически-тягуче-манерный стиль разговора, каким отличался индийский собрат Билли Бантера [65] — Харри Джамсет Рам Сингх, смуглый набоб из Бханипура; в тот период я никогда не хотел просто пить, но непременно «жажду испытывал неимоверную». Пересмешница Майна постоянным передразниваньем в конце концов излечила меня от того, что она называла «харризмами», но даже после того, как я распрощался с моим

65 Примечания: 65

Билли Бантер — хитрый, жадный и лживый мальчишка-толстяк в рассказах Ф. Ричардса и в английских комиксах.

смуглым набобом, она продолжала смешить все семейство до колик, изображая мои сомнамбулически-замедленные повадки; впрочем, этот «соня», как она меня называла, был только самым явным из моих тайных "я", внешним слоем моей маскировки.

Левак, кочерга, клешня, перевертыш, леворучка, куриная лапа — какой пышный букет презрительных кличек осеняет всякого левшу! Сколько мелких унизительных неудобств караулит его на каждом углу! Где, скажите на милость, можно отыскать левосторонние брючную ширинку, чековую книжку, штопор, утюг (да, утюг; представьте себе, как неудобно левшам из-за того, что электрический шнур всегда подсоединен с правой стороны)? Крикетист-левша, ценное приобретение для средней линии любой команды, без труда найдет себе подходящую биту; но во всей помешанной на травяном хоккее Индии вы не отыщете такой диковины, как левосторонняя клюшка. О картофелечистках и фотоаппаратах я даже не дерзну говорить... И если жизнь так трудна даже для левшей, так сказать, натуральных, то насколько трудней она была для меня, человека праворукого по природе, чья правая рука оказалась ни на что не годной! Мне было

так же трудно научиться писать левой рукой, как любому правше. Когда мне было десять лет, а на вид все двадцать, мой почерк походил на младенческие каракули. С этим, как и со многим другим, я, однако, справился.

Труднее было справиться с чувствами, какие испытывает человек, выросший в атмосфере искусства, постоянно окруженный дома его творцами и сознающий при этом, что для него подобное творчество должно всегда оставаться книгой за семью печатями; что туда, где его мать (и Васко тоже) находят величайшую радость своей жизни, ему пути нет. Еще труднее было сознавать свое уродство; я ощущал себя калекой, выродком, которому природа сдала плохие карты и который поэтому вынужден слишком быстро разыгрывать проигрышную партию. Но труднее всего было видеть, что тебя стесняются, стыдятся.

Все это я спрятал в себе. Первым из уроков, какие дал мне мой рай, был урок скрытности и маскировки.

Когда я был еще очень мал (годами, но не ростом), Васко Миранда, бывало, прокрадывался в комнату, пока я спал, и менял рисунки на стенах. Одни окна вдруг закрывались, другие откры-

вались; мышонок, утенок, кот, кролик меняли положение, переходили с одной стены на другую, от одного приключения к другому. Довольно долго я верил, что живу в поистине волшебной комнате, где стоит мне заснуть, как фантастические существа на стенах оживают. Потом Васко дал другое объяснение.

— Комнату преображаешь ты сам, — прошептал он мне однажды вечером. — Именно ты. Ночью, во сне, той твоей, третьей рукой.

Он показал в сторону моего сердца.

— Кой третьей рукой?

— Ну как же, той самой, невидимой, теми твоими невидимыми пальцами с ужасными ногтями, обкусанными-переобкусанными…

— Кой рукой? Кеми пальцами?

— …рукой, которую ты можешь ясно увидеть только во сне.

Неудивительно, что я любил его. Одного этого царского подарка, одной этой руки-грезы было достаточно, чтобы любить его; но когда я подрос настолько, чтобы понять, он поведал моему полуночному уху еще более захватывающую тайну. Он сказал, что в результате ошибки, допущенной при удалении аппендикса много лет назад, в его теле затерялась иголка. Она совершенно не дает о

себе знать, но когда-нибудь непременно доберется до сердца и, проткнув его, вызовет мгновенную смерть. Вот, оказывается, в чем секрет его неуемного темперамента, из-за которого он спал не более трех часов в сутки, а когда бодрствовал, не мог и минуты усидеть на месте.

— Пока иголка не кольнет, мне много чего надо успеть, -объяснял он. — Живи, пока не умрешь — вот мой девиз.

Я такой же, как ты. Вот какую братскую весть я от него получил. У меня тоже мало времени. Возможно, он попросту выдумал это, чтобы облегчить мое вселенское одиночество; чем старше я становился, тем труднее мне было верить в эту историю, я не понимал, как знаменитый, необычайный Васко Миранда, этот возмутитель спокойствия может столь пассивно мириться со страшной судьбой, не понимал, почему он не обращается к врачам, чтобы те нашли и удалили иглу; я начал думать о ней как о метафоре, как о стрекале его амбиций. Но той ночью в моем детстве, когда Васко колотил себя в грудь и перекашивал лицо, когда он закатывал глаза и валился на пол вверх тормашками — тогда я верил каждому его слову; и, вспоминая позднее об этой своей абсолютной вере (вспоминая сейчас,

когда я вновь встретил его в Бененхели, подстрекаемого иными иглами, превратившегося из стройного молодца в тучного старика, в котором свет давно уже сделался тьмой, а открытость -замкнутой неприступностью, в котором вино любви, скиснув, обернулось уксусом ненависти), я мог — и теперь могу — осмыслить его секрет по-другому. Может быть, эта иголка, если она взаправду затерялась в его теле, как в стоге сена, была в действительности источником всей его личности -может быть, она была его душой. Лишиться ее значило бы лишиться самой жизни или, по крайней мере, сделать ее бессмысленной. Он предпочитал работать и ждать. «В слабости человека его сила, и наоборот, — сказал он мне однажды. — Мог бы Ахилл стать великим воином, не будь у него этой пятки?» Думая об этом, я чуть ли не завидую ему с его острым, блуждающим, подгоняющим ангелом смерти.

В сказке Андерсена у юного Кая, спасшегося от Снежной Королевы, остается внутри осколок льда, который причиняет ему боль до конца жизни. Моя беловолосая мать была для Васко Снежной Королевой, которую он любил и от которой в конце концов бежал в унижении и гневе, унося в крови острый, холодный, горький

осколок; этот осколок мучил его, понижал температуру его тела, охлаждал его некогда горячее сердце.

x x x

Васко с его дурацкими нарядами и словесными новациями, с его наплевательским отношением ко всем традициям, условностям, священным коровам, святыням и богам, с его легендарной неутомимостью как в погоне за заказами, сексуальными партнерами, теннисными мячами, так и в поисках любви стал моим первым героем. Когда мне было четыре года, индийская армия вошла в Гоа, положив конец длившемуся 451 год португальскому колониальному правлению и надолго ввергнув Васко в один из его периодов черной меланхолии. Аурора убеждала его, что на это событие ему надо, подобно многим жителям Гоа, смотреть как на освобождение; но он был безутешен.

— До сих пор я мог не верить только в тройку богов да в Деву Марию, — жаловался он. — А теперь я получил их триста миллионов. И каких! На мой вкус слишком много у них голов и рук.

Впрочем, довольно скоро он оправился и целыми днями стал торчать на кухне «Элефанты»,

вдалбливая в голову поначалу возмущенного старика Эзекиля, нашего повара, секреты кухни Гоа и записывая их в новую зеленую тетрадь рецептов, которую повесил у двери на проволочке; неделями после этого у нас шла сплошная свинина, нам приходилось есть гоанскую копченую колбасу с перцем, сарапател из свиной крови и ливера и свиное карри с кокосовым молоком, пока Аурора не сказала в сердцах, что еще немного, и мы все превратимся в свиней. После этого Васко отправился на базар и, ухмыляясь, вернулся с огромными корзинами, полными щелкающих клешнями ракообразных, и пакетами, откуда торчали акульи зубы и плавники; увидев это, наша уборщица бросила метлу и ринулась вон из ворот «Элефанты», прокричав на бегу Ламбаджану, что ни за что не вернется, пока тут будут появляться эти «нечистые» чудища.

Его контрреволюция не ограничилась обеденным столом. Он наполнил наши уши рассказами о героизме Альфонсо де Альбукерке, отобравшего Гоа у некоего Юсуфа Адилъшаха, Биджапурского султана, в день святой Екатерины 1510 года; и о делах Васко да Гамы, конечно, тоже.

— В вашей перчено-пряной семье я рассчитывал на большее понимание, — укоризненно

говорил он Ауроре. — У нас одна общая история; что эти индийские вояки о ней знают?

Он пел нам любовные песни, наигрывая на мандолине, и угощал взрослых контрабандным ликером «фени»; по вечерам он приходил ко мне в комнату с волшебными окнами и рассказывал свои сомнительные гоанские байки.

— К чертям Мамашу Индию! — кричал он, становясь в воинственную позу и заставляя меня фыркать в одеяло. — Ад здравствует Мамаша Португаша!

Через сорок дней Аурора прекратила это миниатюрное португальское вторжение.

— Траур окончен, — объявила она. — Движение истории возобновляется.

— Колониалистка, — страдальчески возмущался Васко. -Культурная шовинистка вдобавок.

Но — как и все мы, когда Аурора отдавала приказ, — покорно подчинился.

Я любил его; но долгое время не видел — разве мог я тогда увидеть? — как он враждовал с самим собой, какая шла в нем битва между жаждой становления и мелкостью души, между верностью и карьеризмом, между талантом и амбициями. Я не знал, какую цену он заплатил, пробиваясь к нашим воротам.

У него не было друзей, с которыми он был бы знаком раньше, чем с нами; по крайней мере, ни о ком из них он не упоминал и никого не приводил. Он никогда не говорил о своей семье и очень редко — о прежней жизни. Даже рассказы о Лоутолине, его родной деревне с домами из красного латерита и окнами из устричных раковин мы должны были принимать на веру. Однажды он бросил фразу, не удостоив нас подробностями, о том, что одно время работал базарным грузчиком в Мапузе, на севере Гоа, другой раз упомянул о работе в порту Мармаган. Создавалось впечатление, что в погоне за избранным будущим он ртринул все, что связывало его с родичами и родными местами, — решение, которое указывало на некую безжалостность и боязнь вероломства. Он был своим собственным изобретением, и Аурора должна была сообразить — как это пришло в голову Аврааму и многим людям их круга, как это пришло в голову моим сестрам, но не мне, — что изобретение нельзя будет использовать, что в конце концов оно развалится на куски. Долгое время Аурора не желала слышать ни единого критического слова в адрес своего любимца — как впоследствии не желал этого слышать я в адрес Умы Сарасвати, другой самоизобретательницы.

Когда ошибка нашего сердца становится мам ясна, мы клянем собственную дурость и спрашиваем наших дорогих и милых, почему они не спасли нас от нас же самих. Но от этого врага никто не даст нам защиту. Никто не мог спасти Васко от самого себя — что бы ни было там у него внутри, кем бы он ни был раньше, кем бы ни стал потом. Никто не мог спасти меня.

x x x

В апреле 1947 года, когда моей сестре Ине было только фи месяца и подтвердилась беременность Ауроры будущей Минни-мышкой, Авраам Зогойби, гордый муж и отец, грубовато-примирительно обратился к Васко Миранде:

— Ну, так если вы и впрямь живописец, почему бы вам не сделать портрет моей беременной супруги с младенцем?

Портрет был первым опытом Васко на холсте, который Авраам ему купил, а Аурора научила его грунтовать. Прежние свои работы он из соображений дешевизны делал на досках и бумаге; получив мастерскую в «Элефанте», он уничтожил все, что создал до той поры, заявив, что стал совершенно другим человеком и только-только начинает жить, вновь народившись на свет.

Портрет Ауроры должен был ознаменовать это новое рождение.

Я назвал картину портретом Ауроры, потому что, когда Васко наконец сдернул с нее покрывало (в процессе работы он никому не разрешал на нее смотреть), Авраам, к ярости своей, увидел, что художник проигнорировал малютку Ину начисто. Уже потеряв половину имени, моя разнесчастная старшая сестрица целиком выпала из картины, в которой она должна была стать главным действующим лицом и которая, собственно, и заказана-то была именно вследствие ее недавнего появления на свет. (Минни-еще-не-мышкой живописец тоже пренебрег, но на столь ранней стадии второй Аурориной беременности это еще было простительно.) Васко изобразил мою мать сидящей скрестив ноги на огромной ящерице в своей беседке-чхатри и баюкающей воздух. Ее пышная левая грудь, полная материнского молока, была обнажена.

— Какого черта? — рычал Авраам. — Миранда, вы глазами смотрите или чем?

Но Васко отмахнулся от этой приземленной натуралистической критики; когда Авраам заметил, что его жена ни секунды не позировала с открытой грудью и что она вообще сама не кор-

мит оставшуюся за бортом Ину, лицо художника налилось тяжким презрением.

— Дальше я от вас услышу, что вы не держите здесь ящерицу-переростка в качестве домашнего животного, — вздохнул он.

Когда разозленный Авраам напомнил Васко, кто здесь за все платит, тот высокомерно задрал нос.

— Не пристало таланту прислуживать богачам, — заявил он. — Холст — не зеркало, чтобы отражать милые улыбочки. Я видел то, что видел: присутствие — и отсутствие. Наполненность — и пустоту. Вы заказывали двойной портрет? Получите. Имеющий очи да видит.

— Вы кончили о присутствии и отсутствии? — спросил Авраам острым, как бритва, голосом. — Так вот, о чьем-то дальнейшем присутствии здесь я должен крепко подумать.

Был ли Васко вследствие его возмутительного пренебрежения к личности малютки Ины выдворен из дома? Набросилась ли на него с выпущенными когтями мать Девочки? Нет, дорогой читатель; ни того ни другого не случилось. Как мать Аурора Зогойби всегда придерживалась суровой концепции воспитания и не считала нужным защищать детей от толчков и пинков

жизни (не оттого ли, что для сотворения нас ей пришлось взять в соавторы Авраама, эта солистка до мозга костей раз и навсегда причислила нас к своим менее удавшимся произведениям?)… Как бы то ни было, через два дня после показа портрета Авраам вызвал художника в свой офис на Кэшонделивери-террис (название дано в честь жившего в прошлом веке магната, ростовщика-банкира и разбойника из парсов — сэра Далджи Далджибхоя Кэшонделивери [66]) и проинформировал его, что картина «не отвечает требованиям» и что только по исключительной доброте и милосердию миссис Зогойби сто не вышвыривают обратно на улицу, «где, — желчно закончил Авраам, — по моему личному мнению, вам самое место».

После того, как портрет моей матери был отвергнут, Васко перестал вощить усы и заперся в своей мастерской на трое суток, по прошествии которых, истощенный и иссохший, появился, держа под мышкой холст, завернутый в джутовую мешковину. Он вышел из ворот «Элефанты»,

---

66 Примечания: 66

Парсы — потомки персов, некогда вытесненных мусульманами с территории нынешнего Ирана. Парские фамилии иногда бывают «значащими». «Кэшонделивери» в буквальном переводе с английского означает «деньги после доставки».

провожаемый недобрыми взглядами чоукидара и попугая, и отсутствовал целую неделю. Ламбаджан Чандивала начал уже думать, что мошенник исчез навсегда, как вдруг он подкатил в черно-желтом такси, одетый в шикарный новый костюм и опять полный бьющего через край веселья. Выяснилось, что за время своего трехдневного заточения он написал поверх портрета Ауроры новую картину — автопортрет верхом на лошади в арабском костюме, — которую Кеку Моди, не имея ни малейшего представления о том, что скрывалось под этим странным изображением плачущего Васко Миранды в роскошной восточной одежде, сидящего на большом белом коне, сумел продать почти мгновенно, причем не кому иному, как сталелитейному магнату-миллиардеру С. П. Бхаба, и по удивительно высокой цене, вследствие чего Васко смог вернуть Аврааму деньги за холст и купить себе еще несколько. Васко вдруг обнаружил, что его труды могут иметь коммерческий успех. Так началась эта необычайная, мишурно-блестящая карьера, и порой даже казалось, что всякому вестибюлю отеля или залу ожидания аэропорта чего-то не хватает, если там нет гигантской фрески В. Миранды, сочетающей фейерверковую пышность с

банальностью… И на каждой создаваемой Васко картине, на каждом его триптихе, панно, фреске и витраже неизменно возникало маленькое, безупречно выполненное изображение женщины, которая сидела скрестив ноги на ящерице, обнажив с одной стороны грудь и баюкая пустоту, — если, конечно, не предполагать, что пустота эта была самим Васко или что она была целым мирозданием; если не предполагать, что, притворившись ничьей матерью, эта женщина стала на самом деле матерью всех нас; и, закончив эту маленькую деталь, которой, как часто казалось, он уделял больше внимания, чем всему остальному вместе взятому, он каждый раз закрашивал ее широкими размашистыми мазками, ставшими со временем его фирменным знаком, — этими сочными, вульгарными ударами кисти, в которых было так много самозабвенной удали и которыми он работал с такой неимоверной быстротой и плодовитостью.

— Так меня возненавидели, что решили замалевать? — кричала Аурора, ворвавшись к нему в мастерскую и чувствуя одновременно раскаяние и смятение. — Нельзя было пять минут подождать, пока я успокою старика Ави?

Васко прикинулся, что не понимает.

— Вы что думаете, весь сыр-бор из-за Ины? — продолжала Аурора. — Просто вы меня слишком соблазнительной сделали, вот он и возревновал.

— Ну, так теперь у него нет причин для беспокойства, -сказал Васко, улыбаясь горькой и в то же время кокетливой улыбкой. — А может, наоборот, стало больше причин; потому что отныне, Аурора-джи, вам суждено вечно быть подо мной. Мистер Бхаба повесит нас у себя в спальне — видимого Васко и невидимую Аурору под ним с еще более невидимой Иной в руках. Некоторым образом, семейный портрет.

Аурора покачала головой.

— Мочи нет, какая чушь. Эти уж мне мужчины. Бесчувственные до мозга костей. Плачущий араб на коне! Вкуса у этого Бхаба нет ни на грош — поделом ему. Лаже базарный мазила что-нибудь потолковей бы сотворил.

— Картина называется: «Автопортрет в виде Боабдила, прозванного Неудачником (эль Зогойби), последнего султана Гранады, покидающего Альгамбру», — сказал Васко с неподвижным лицом. — Или «Прощальный вздох мавра». Надеюсь, Ави-джи не слишком обидится на это название. А также на использование фамилии, семейных баек и иного-прочего личного материала. УВЫ,

без предварительного на то разрешения.

Аурора Зогойби уставилась на него с изумлением; затем с громкими и, возможно, мавританскими вздохами и всхлипываниями, расхохоталась.

— Негодник вы, Васко, — сказала она наконец, вытирая глаза. — Гадкий, темный человек. Что мне теперь делать, чтобы мой муж не свернул вам скверную вашу шею, — об этом надо крепко подумать.

— А вам-то, вам? — спросил Васко. — Вам понравилась эта горемычная, отвергнутая картина?

— Мне понравился горемычный, отвергнутый художник, -ответила она мягко и, поцеловав его в щеку, ушла.

x x x

Через десять лет мавр воплотился вновь, на этот раз во мне; и пришло время, когда Аурора Зогойби, идя по стопам В. Миранды, написала картину, которую тоже назвала «Прощальный вздох мавра»... Я потому так задержался на Васко и старых историях о нем, что вместе с моей собственной повестью ко мне вновь приходит и вновь вызывает меня на битву былой страх. Как мне передать этот панический, до обрыва в животе, до белизны в костяшках стиснутых паль-

цев, испуг бешеной езды, когда мне невольно и буквально приходилось оправдывать фигуры речи, столь часто применявшиеся к моей матери и ее кружку? Авангардист, реактивный самолет, бегун впереди прогресса, прожигатель жизни, у которого она была горящей с обоих концов свечой из поговорки, хотя по наклонностям я был скорей из числа поборников экономии свечного воска. Как передать это ощущение фильма ужасов, когда рост волос чуть ли не виден невооруженным глазом, когда вдруг чувствуешь, как тесны становятся ботинки стремительно растущим ступням; как заставить вас разделить со мною боль, вызванную ростом коленных чашечек, боль, из-за которой мне так трудно было бежать? Удивительно, что мой позвоночник не стал искривленным. Я был парниковым растением, солдатом на нескончаемом марш-броске, путешественником в машине времени из плоти и крови; мне постоянно не хватало воздуха, потому что, несмотря на боль в коленях, я бежал быстрей, чем часы.

Не подумайте, что я пытаюсь представить себя каким-то чудо-ребенком. Я не проявил ранних способностей ни к шахматам, ни к математике, ни к игре на ситаре. Чудом был только мой

неостановимый рост. Как мой родной город, как Бомбей моих радостей и печалей, я ширился и набухал гигантским грибом, я распространялся вверх и вширь без всякой системы и плана, не имея времени остановиться и поразмыслить, извлечь уроки из собственного и чужого опыта, из собственных и чужих ошибок. Как могло из меня получиться что-нибудь путное?

Многое, что было во мне подвержено порче, — испортилось; многое, что было способно к совершенствованию, но уязвимо и хрупко, — погибло.

— Смотри, какой красавец, мой павлинчик, мой мор, мой мавр, — приговаривала мать, кормя меня грудью, и скажу без ложной скромности, что, несмотря на южноиндийскую темнокожесть (столь невыигрышную на рынке женихов!) и если отвлечься от увечной руки, я и впрямь вырос красивым; но долгое время из-за этой злосчастной правой я видел в себе одно лишь уродство. К тому же наружность цветущего молодого человека, когда в душе я был ребенком, таила в себе двойное проклятие. Лишившись из-за нее вначале естественных детских, малышовых радостей, затем, действительно став мужчиной, я утратил золотисто-наливную юную красоту. (В

двадцать три года я был совсем седым человеком, и многие системы организма уже действовали не так хорошо, как раньше.)

Мое внешнее и мое внутреннее никогда не ладили друг с другом; зная это, вы поймете, почему то, что Васко Миранда однажды назвал моим «кинозвездным ура», имело для меня такую малую ценность.

Избавлю вас от врачебной тематики; моей истории болезни хватило бы на полдюжины томов. Рука-обрубок, стремительное взросление, громадный рост — шесть футов шесть дюймов — в стране, где средний мужчина имеет пять футов пять — все это не раз и не два было подвергнуто тщательному исследованию. (До сего дня слова «Больница Брич-кенди» вызывают у меня представление о некоем исправительном заведении, о «доброй» пыточной камере, где некие демоны из лучших побуждений адски мучили меня — поджаривали — делали из меня утку по-бомбейски и шашлык «тикка», и все для моего же блага.) И напоследок, после всех измывательств, медленное неизбежное покачивание очередной маститой профессорско-дьявольской головы с фонендоскопом, бессильное разведение рук, бормотание об индуистской карме, мусульманском

кисмете, европейском роке. Помимо медиков, меня водили к практикам аюрведы, профессорам из Тибиа-колледжа [67], знахарям, святым. Женщина последовательная и целеустремленная, Аурора решила — для моего блага опять же — испробовать всех и всяческих целителей-гуру, которых она, конечно, всей душой ненавидела и презирала.

— На всякий случай, — не раз говорила она при мне Аврааму. — Клянусь, если кто из этих субчиков-шаманов поправит бедному мальчику внутренние часы, я в ту же секунду обращусь в его веру.

Но ничего не помогло. В это время как раз появился юный махагуру — лорд Хусро Хусровани Бхагван, последователи которого исчислялись миллионами несмотря на упорные слухи о том, что все его чудеса — фальшивка, сфабрикованная его матерью, некоей миссис Дубаш. Однажды, когда мне было лет пять (а на вид, соответственно, десять), Аурора Зогойби проглотила свои сомнения — ради меня, естественно — и (за большие деньги) договорилась о частном визите к чудо-мальчику. Нам пришлось плыть к нему на

---

67 Примечания: 67

Тибиа-колледж — медицинский колледж, где преподавание ведется по традиционной системе «юнаки».

роскошную яхту, стоявшую на якоре в Бомбейском заливе, и, выйдя к моим родителям в узких брючках «чуридар», шитой золотом юбочке и тюрбане, он поразил их своим обликом испуганного ребенка, вынужденного всю жизнь быть ряженым на какой-то нескончаемой свадьбе; несмотря на это моя мать, преодолевая себя, рассказала о моих бедах и попросила помощи. Маленький Хусро посмотрел на меня серьезными, печальными, умными глазами.

— Иди навстречу судьбе, — произнес он. — Радуйся тому, что заставляет тебя горевать. К тому, от чего хочешь бежать, повернись лицом и со всех ног устремись вперед. Лишь приняв свое несчастье, одолеешь его.

— Россыпь мудрости! — воскликнула миссис Дубаш, которая лежала на диване и, малоаппетитно чавкая, ела манго. -Вах-вах! Рубины, жемчуг, алмазы! Теперь, — добавила она, подытоживая наш визит, — прошу покорно 'расплатиться. Только наличные рупии или заграничная валюта, за доллары или фунты стерлингов скидка пятнадцать процентов.

Эти времена мне долго потом вспоминались с горечью -бесполезные врачи и еще более бесполезные знахари. Я сердился на мать за испытания,

которым она меня подвергла, за лицемерные реверансы перед индустрией гуру. Я не сержусь на нее сейчас; я научился видеть любовь в том, что она делала, и я понял, что ее унижение от встреч со всевозможными липкими от манго миссис Дубаш было никак не меньше моего. Должен, кроме того, признать, что в словах «лорда Хусро» содержалась истина, которую жизнь потом внушала мне раз за разом. Платить за науку надо было по самой высокой ставке, и никаких скидок за иностранную валюту не предлагалось.

x x x

Приняв неизбежное, я перестал его страшиться. Раскрою нам один из секретов страха: он — максималист. Ему или все, или ничего. Либо он, как грубый деспот, властвует над твоей жизнью с тупым оглушающим всесилием; либо ты свергаешь его, и вся его сила улетучивается как дым. И еще один секрет: в восстании против страха, которое становится причиной падения этого заносчивого тирана, «храбрость» не играет почти никакой роли. Его движущая сила — нечто гораздо более непосредственное: простая необходимость идти дальше по жизни. Я потому перестал бояться, что, раз отпущенный мне срок на земле так мал,

у меня нет времени дрожать от испуга. В предписании «лорда Хусро» отозвались слова Васко Миранды, близкие к тому, что я годы спустя прочитал в одном из рассказов Джозефа Конрада. Живи, пока не умрешь.

Я унаследовал семейный дар крепкого сна. Во времена беды или тревоги все мы могли спать, как младенцы. (Не всегда, это верно: бессонница тринадцатилетней Ауроры да Гамы с открыванием окон и выбрасыванием безделушек была хоть и давним, но важным исключением из правила.) Поэтому в те дни, когда на душе у меня было скверно, я ложился и поворачивал внутренний выключатель, «закрывал» себя, по выражению Васко, словно лампу, в надежде вновь «открыться» в лучшем состоянии. Не каждый раз это срабатывало. Порой среди ночи я просыпался в слезах и горько плакал, тоскуя по любви. Эти всхлипывания, эти рыдания шли из такой душевной глубины, что найти их источник было невозможно. Со временем я смирился и с этими ночными слезами как с неизбежной платой за мою исключительность; хотя, как я уже говорил, я не испытывал никакого желания быть исключительным — я хотел быть Кларком Кентом, а никаким не Суперменом. В нашем прекрасном

доме я хотел жить себе да поживать, как богач Брюс Уэйн не важно, с «подопечным» или без. Но как страстно я ни стремился к нормальности, моя тайная, моя бэтменская, летуче-мышиная натура все время давала себя знать.

x x x

Позвольте мне прояснить один пункт относительно Васко Миранды: с самого начала были видны пугающие признаки того, что крыша у него, как говорится, едет и что не все таящиеся под этой крышей летучие мыши так уж безвредны. Мы, любившие его, обходили в разговорах случавшиеся с ним приступы агрессивной ярости, когда он так сильно был заряжен темным, отрицательным электричеством, что, казалось, стоит прикоснуться к нему — и уже не оторвешься, пока не обуглишься. Бывало, он пускался в страшные загулы, и, как Айриша (и Беллу) да Гама в другое время и в другом месте, его могли обнаружить лежащего без чувств в каком-нибудь из притонов Каматипуры или оглушенно шатающегося у рыболовной пристани Сассуна — пьяного, обкурившегося, избитого, окровавленного, ограбленного и источающего отвратительный рыбный запах, который, как он ни мылся, держался потом

несколько дней. Когда он уже стал знаменитостью, любимчиком международного денежного истеблишмента, большие суммы платились за молчание, за то, чтобы эти истории не попали в газеты, — тем более, что многие партнеры, каких он находил для своих бисексуальных орфических забав, потом горько жалели, что с ним связались. Похоже, Васко носил в себе самый настоящий ад, и кто знает, какую сделку с дьяволом он заключил, чтобы расстаться с прошлым и заново родиться в нашем доме; порой казалось, что он вот-вот вспыхнет ярким пламенем. «Я великий старый герцог Йоркский, — говорил он, когда ему становилось лучше. — Если я вверху, так уж вверху, а если внизу, так уж внизу. Между прочим, у меня было десять тысяч мужчин; да еще десять тысяч женщин» [68].

Вечером того дня, когда была провозглашена независимость Индии, красный туман нахлынул на него с неудержимой силой. Противоречивость этого великого мига разорвала его надвое. Праздник освобождения породил такой всплеск эмоций, что он, даже будучи, как уроженец Гоа,

---

68 Примечания: 68

Здесь обыгрывается английский детский стишок о герцоге Йоркском, маршировавшем со своей десятитысячной армией вверх и вниз по склону холма.

формально ни при чем, не мог остаться в стороне; но ужас, обуявший его из-за того, что в Пенджабе все текут и текут кровавые реки, нарушил шаткое равновесие его искусственного "я" и выпустил на волю безумца. Так, во всяком случае, мне рассказывала мать, и, без сомнения, она говорила правду; но я знаю, что помимо этого была еще его любовь к ней, о которой он не мог заявить открыто, которая наполнила его до краев и пошла верхом, кипя и обращаясь в ненависть. Он сидел в дальнем конце длинного и пышного стола у Ауроры и Авраама, смотрел на множество именитых и взволнованных гостей, накачивался под шумок vinho verde [69] и мрачнел. Когда в полночь небо расцвело пышными гроздьями салюта, он помрачнел еще больше; наконец, в стельку пьяный, он встал, пошатываясь, на ноги и, брызгая слюной, выдал собравшимся свой не менее пышный залп оскорблений.

— Чему это вы так радуетесь? — орал он, качаясь. — Думаете, сегодня ваш праздник? Как бы не так! Маколеевы ополченцы поганые. Дошло, нет? Английские выкормыши — понятно? Малый народ! Гайки не с той резьбой. Нечего вам тут

---

69 Примечания: 69
Кислым вином (португ.).

делать. Вы такие же чужие здесь, как — забыл слово — лунатики. Люди с луны, то бишь. Вечно не то читаете, вечно не так думаете, вечно не ту позицию занимаете. Даже мечты ваши чертовы все растут из заграничного корня.

— Перестаньте паясничать, Васко, — сказала Аурора. — Все мы потрясены индуистско-мусульманской резней. У вас нет монополии на эту боль; у вас только на кислое вино монополия да на глупость немыслимую.

Это отрезвило бы почти каждого; но это не отрезвило бедного разошедшегося Васко, обезумевшего на почве истории, любви и великого своего притворства, которое стоило ему таких мук.

— Бездари самодовольные, обормоты от искусства! — возглашал он, опасно кренясь набок. — Сексуально-агрессивная Индия — оп-ля! Черт. Я хотел сказать — социально-прогрессивная. Вот-вот. Бред собачий. Пандит Неру вам все совал под нос этот товар, как базарный торговец дешевые часы, вы их купили и теперь удивляетесь, почему они не идут. Весь этот ваш поганый Конгресс — сплошные продавцы поддельных «ролексов». Вы думаете, сейчас Индия возьмет и перекувырнется, а вместе с ней все эти их по-

ганые кровожадные боги кувырнутся и откинут копыта. Аурора, великолепная наша хозяйка, грандиозная дама, великая художница, думает, что она танцуя может разделаться с богами. Танцуя! Тат-тат-таа-дригай-тан-тан! Тай! Тат-тай! Тат-тай! Господи Иисусе.

— Миранда, — сказал Авраам, поднимаясь с места. — Хватит вам.

— А у меня и для вас есть словечко, милый наш босс-бизнесмен Ави, — захихикал Васко. — Позвольте сделать маленький намек. В этой поганой стране есть только одна сила, которая может побороться с ихними богами, и никакой это не ваш треклятый социальный прогресс. Это не треклятый ваш пандит Неру с его треклятыми правами меньшинств и кустарными базарными конгрессистами-прогрес-систами. Знаете, что это за сила? Я скажу, чего ж не сказать. Коррупция. Понятно? Взятки и все такое.

Он потерял равновесие и стал заваливаться назад. Двое слуг, одетых наподобие Неру в белые кители с золотыми пуговицами, поддержали его, готовые по первому знаку Авраама удалить его с пиршества. Но Авраам Зогойби медлил, позволяя Васко доиграть спектакль.

— Веселое старое вонючее взяточничество, —

продолжал Васко сюсюкающим тоном, словно разговаривал с любимой старой собакой. — Как мы говорим? Отстегнуть, подмаслить, дать на лапу. Я понятно говорю? Ави-джи, вы меня поняли? Васко Миранда дает вам определение демократии: один человек — одна взятка. Вот так. Вот он, самый большой секрет. Без дураков. — Вдруг, что-то сообразив, он поднес руки ко рту. — Ох. Ох. Ну я и дурак. Набитый дурак Васко. Какой же это секрет? Ави-джи ведь такая большая вонючая шишка, он, конечно же, и без меня все знает. Такая большая-большая курица, которая чему хочешь научит все наши жалкие яйца, вместе взятые. Прошу извинить. Разрешите откланяться.

Авраам кивнул; люди в белых кителях взяли его под мышки и потащили спиной вперед.

— Еще только одно! — завопил Васко так громко, что слуги приостановились. Он висел на них, как набитая ватой марионетка, грозя безумным пальцем. — Всем вам добрый совет. Грузитесь вместе с англичанами на корабли! Собирайте ваши вещички и уебывайте. Вам тут нечего делать. Вот я вам задам! Кыш отсюда! Уматывайте подобру-поздорову.

— Ну, а себе, — сказал Авраам со стальной

вежливостью, стоя среди изумленной тишины. — Себе, Васко. Себе вы какой дадите совет?

— А, себе-е-е-то, — протянул Васко уже издалека. — Обо мне не беспокойтесь. Я португалец.

11

До сей поры так и не снят фильм под названием «Отец Индия». «Бхарат-пита»? Странно звучит. «Хиндустан-ке-Бапуджи»? Что-то специфически-гандийское. «Валид-э-Азам»? Напоминает о Великих Моголах. «Мистера Индию» мы, правда, недавно получили — вероятно, самое топорное из всех подобных националистических наименований. Герой — глянцевый молодой красавчик, пытающийся убедить нас в своих качествах супергероя; никаких патерналистских коннотаций нет и в помине, ни тебе боевого индийского абба-мена [70], ни патриархального Индопапы. Всего-навсего наш малорослый Джеймс Бонд с наклейкой «Сделано в Индии». Великолепная Шридеви, эта чувственная сирена во влажно-облегающем сари, с презрительной легкостью заняла в фильме центральное место… но я вспоминаю эту картину по совсем другой причине. Мне кажется, что постановщики этой дешевой феерии, настолько же малозначащей со всеми ее цветовыми эффектами, насколько значительна

---

70 Примечания: 70
Абба — обращение к отцу.

была старая сумрачная материнская сага Наргис, сами того не желая, все-таки показали нам национального папашу. Вот он сидит, дракон в своей пещере, тысячепалый кукловод, средоточие мрака; маршал вооруженных автоматами «узи» легионов, повелитель столпов адского пламени, дирижер всей потайной музыки низших сфер; архизлодей, темный главарь-капо, всем Блофельдам Блофельд, всем Мориарти Мориарти [71], всем крестным отцам крестный отец: Могамбо. Имя, позаимствованное из старой полузабытой ленты с Авой Гарднер на африканские мотивы, выбрано с тем расчетом, чтобы не задеть ни одно из национально-религиозных сообществ страны: оно не мусульманское, не индусское, не парсское, не христианское, не джайнское и не сикхское, и если в нем слышен отзвук экзотической карикатуры на обитателей «черного континента», каковой был послевоенный голливудский фильм «Сандерс с реки», — что ж, с такой разновидностью ксенофобии можно не опасаться нажить много врагов в сегодняшней Индии.

Борьба «Мистера Индия» с Могамбо заставляет

---

71 Примечания: 71

Блофельд — злодей из романа И. Флеминга «Шаровая молния» о Джеймсе Бонде. Мориарти — злодей из рассказов А. Конан Доила о Шерлоке Холмсе.

вспомнить многие другие киношные схватки сыновей и отцов. Вот кульминация фильма «По лезвию бритвы», когда мятежный робот раскраивает череп своему творцу в роковых сыновних объятиях; вот в «Звездных войнах» ведут смертельную дуэль Льюк Скайуокер и Дарт Вейдер, предводители светлых и темных сил. И еще в этой пошлой драме с ее карикатурным злодеем и приторным героем я вижу многокрасочное отражение того, о чем не сняли и не снимут фильма, — истории об Аврааме Зогойби и обо мне.

x x x

На первый взгляд он был полнейшей противоположностью царю преисподней. Авраам Зогойби, каким он виделся мне в детстве, стареющий мужчина, чья хромота — следствие падения каменной вазы — с возрастом усилилась, производил впечатление слабой, незначительной личности, он хрипло, судорожно дышал и часто поднимал к груди ладонь правой руки услужливо-покорным движением, которое можно было понять и как самозащиту. Насколько же мало (если не считать почтительности складского управляющего) осталось в нем от человека, внушившего Ауроре глубочайшую и острейшую

перечную любовь! Память детства сохранила во мне довольно-таки бесцветный призрак, возникающий время от времени на периферии шумного и пышного двора Ауроры, чуть согбенный, идущий неуверенной походкой и неопределенно хмурящий брови, как это делают слуги, выражая тем самым внимание и готовность помочь. В этом легком наклоне тела вперед было что-то отталкивающе-униженное, что-то неприятно-заискивающее. "Вот вам тавтология, — часто говорила злоязычная Аурора, вызывая всеобщий смех. — Слабый мужчина ". И я, которому Авраам был отцом, не мог не презирать его за то, что он соглашается быть посмешищем, и мне казалось, его слабость унижает всех нас — всех мужчин, разумеется.

По странной логике сердца великая страсть Ауроры к «ее еврею» после моего рождения быстро сошла на нет. Что весьма характерно, она объявила о своем охлаждении всем и каждому. «Когда я вижу, как он идет на меня, весь распаленный и пахнущий карри, — хохотала она, — баап-ре! Батюшки мои! Тогда я прячусь за спинами детей и затыкаю нос». Все эти насмешки он сносил совершенно безропотно. «Вот вам наши мужчины! — распространялась Аурора в

своей знаменитой оранжевой с золотом гостиной. -Он либо павлин, либо серенький. Но даже если павлин, как мой мор, все же он ничто по сравнению с нами, девушками, — мы-то распространяем ослепительное сияние. Мой вам совет, выбирайте сереньких! Они тюремщики наши. У них в руках чековые книжки и ключи от наших золотых клеток».

Это был максимум благодарности, какую она была способна выразить Аврааму за неистощимость его банковских счетов и великолепие золотого дворца, который он так стремительно возвел для нее на фундаменте ее семейного состояния, бывшего, при всем очаровании старинных традиций, не более чем деревней, сельским поместьем, скромным провинциальным городишком в сравнении с мегалополисом их теперешнего капитала. Аурора отнюдь не была в неведении о том, что роскошь ее существования стоит денег и что тем самым она привязана к своему Ави. Порой она приближалась к тому, чтобы признать это вслух и даже проявить беспокойство из-за неумеренности своих расходов и распущенности своего языка, которые могли подорвать ее благосостояние. Любительница страшных историй, рассказываемых на сон грядущий, она не

раз повторяла мне притчу, в которой скорпион, упросив лягушку переправить его через ручей в обмен на его обещание не жалить свое средство передвижения, все же нарушает уговор и посреди ручья впивается в земноводное со всей роковой силой. Перед тем, как и лягушка, и скорпион идут на дно, убийца просит у жертвы прощения. «Ничего не мог с собой поделать, — объясняет он. — Такова моя природа».

Авраам, как мне стало ясно годы спустя, был покрепче любой лягушки: Аурора жалила его, повинуясь требованиям своей природы, а он все не тонул. Как поверхностно было мое презрение к нему, как много времени мне понадобилось, чтобы понять его боль! Ибо он ни на миг не переставал любить ее столь же страстно, как в день их первой встречи; и все, что он делал, он делал ради нее. Чем более явно, чем более публично она предавала его, тем всеохватней и скрытней становилась его любовь.

(И когда я узнал, какие дела он совершил, — дела, на которые презрение было бы совершенно недостаточным ответом, — я почувствовал, что не могу вновь вызвать в себе то юношеское отвращение; ибо я уже был во власти лягушки из другого болота, и мои собственные дела лишали

меня права судить отца.)

Когда она оскорбляла его публично, она делала это с ослепительной брильянтовой улыбкой, как бы означавшей, что она только шутит, что ее постоянные шпильки — не более чем внешняя форма восхищения, слишком необъятного, чтобы выразиться прямо; улыбка, можно сказать, заключала ее поведение в иронические кавычки. До конца убедительным это, правда, никогда не было. Частенько она пила (антиалкогольные ограничения вводились и отменялись параллельно со взлетами и падениями в политической карьере Морарджи Десаи [72], но после разделения штата Бомбей на Махараштру и Гуджарат город распрощался с ними окончательно), а когда пила — ругалась. В полном сознании собственного таланта, во всеоружии языка, столь же безжалостного, как ее красота, и столь же яростного, как ее искусство, она никому не позволяла уйти от ее колоратурных проклятий, от ястребиных пике, джазовых импровизаций и витиеватых газелей ее брани, раздававшейся всегда с неизменной полированно-каменной улыбкой,

---

72 Примечания: 72

Морарджи Десаи (1896-1996) — индийский политический деятель, стоявший в оппозиции к Индире Ганди. Премьер-министр с 1977 по 1979 г.

служившей своего рода анестезией для жертв, у которых она выдирала внутренности. (Хотите знать, каково было жертвам — спросите меня, ее единственного сына. Чем ближе работаешь к быку, тем легче угодить к нему на рога.)

Разумеется, это была Белла и еще раз Белла, вернувшаяся, как и было предсказано, чтобы вселиться в собственную дочь. «Теперь я буду вместо нее, — сказала Аурора, — ясно вам?»

Представьте себе: в кремовом шелковом сари, по краю которого шел золотой геометрический узор, что вызывало в памяти тогу древнеримского сенатора, — или, если упоение собой возносило ее особенно высоко, в еще более роскошном сари императорско-пурпурного цвета — она покоится в шезлонге и, клубами выдувая, как огнедышащий дракон, дым дешевой цигарки «биди», заполонивший всю гостиную, председательствует на одной из своих не слишком частых, но скандально знаменитых вечеринок с виски и кое-чем похуже, вечеринок, дающих своей роскошной распущенностью массу лакомой пищи городским сплетникам; хотя сама она ни разу не была замечена в баловстве, будь то с мужчинами, с женщинами или с иглами… Бывало, в поздний час, в самый разгар гульбы она вста-

вала и, как поддатая пророчица, принималась кровожадно пародировать пьяный выпад Васко Миранды в ночь Независимости; не опускаясь до признания его авторского права, вследствие чего собравшиеся даже не подозревали, что ее слова — дерзкая вариация на заданную тему, она в деталях описывала грядущее изничтожение ее гостей — художников, моделей, сценаристов полукоммерческого кино, трагических актеров, танцовщиц, скульпторов, поэтов, плейбоев, спортсменов, шахматистов, журналистов, азартных игроков, контрабандистов, промышляющих индийской стариной, американцев, шведов, чудаков, дам полусвета, всех самых симпатичных и бешеных из «золотой молодежи» города, — и пародия была настолько убедительной, настолько точной, ирония была так глубоко спрятана, что невозможно было не поверить этому злорадному облизыванью губ или — поскольку ее настроение быстро менялось — этому олимпийскому, божественному безразличию.

— Подделки под жизнь! Исторические аномалии! Кентавры! — бушевала она. — Не рассчитывайте, что вас пощадят грядущие бури! Полукровки, метисы, призраки, мертвяки! Рыбы без воды! Грядут скверные времена, милашки

вы мои, не надейтесь, что пронесет, и тогда всю нежить пинком под зад отправят к дьяволу, ночь поглотит всех призраков, и жиденькая ваша полукровь потечет, как вода. А я, заметьте, останусь целехонька, — произносила она в заключение, на самом гребне подъема, гордо расправив плечи и уставив в небеса палец, подобный факелу статуи Свободы, — благодаря моему Искусству, несчастные вы ничтожества.

Но гостей, которые к тому уже времени лежали штабелями, пронять было невозможно.

Потомству своему она тоже предрекала всяческие беды:

— Мои детки вышли худо, уцелеют — будет чудо.

…А мы — мы употребили жизнь на то, чтобы оправдать ее предсказания на все сто, двести и триста… говорил ли я о том, что она была совершенно неотразима? Слушайте же: она была для нас светочем жизни, возбудительницей мечтаний, возлюбленной ночных грез. Мы любили ее даже когда она уничтожала нас. Она заставила нас любить ее такой любовью, которая была, казалось, слишком велика для наших тел — словно создана ею самой и преподнесена нам, как преподносят произведение искусства. Если

она попирала нас, то мы ведь сами с радостью ложились под ее звенящие шпорами сапожки; если она поносила нас в своих ночных тирадах, то нам ведь доставляли наслаждение удары ее языка-кнута. Именно когда я понял это, я простил моего отца; ибо мы все были ее рабами, но по ее великой милости ощущали это рабство как подлинный рай. Такое, говорят, под силу только богиням.

А после ее рокового падения в скалистые воды мне подумалось, что, когда она с такой высокомерно-ледяной улыбкой и с недоступной ни для кого иронией предсказывала катастрофу, она предсказывала ее не кому-то другому, а себе.

x x x

Я простил Авраама еще и потому, что начал понимать: хотя они перестали спать в одной постели, для каждого из них другой был тем человеком, в чьем расположении он более всего нуждался, и моей матери так же необходимо было одобрение Авраама, как ему — ее благодарность.

Ему первому она показывала все свои работы (следом шел Васко Миранда, неизменно противоречивший тому, что говорил отец). Десять лет после объявления независимости Аурора

пребывала в глубоком творческом кризисе, в полупараличе, вызванном сомнениями не только в реалистическом искусстве, но и в сути самой реальности. В немногих живописных работах этого периода видны ее муки и смятение, и, оглядываясь назад, легко почувствовать в этих полотнах столкновение между игровой стихией Васко Миранды с его любовью к воображаемым мирам, не знающим иного закона, кроме всевластной прихоти художника, и догматической убежденностью Авраама в том, что на данном историческом этапе стране нужней всего простой незамутненный натурализм, который поможет Индии увидеть самое себя. Аурора тех лет — и это была одна из причин ее пошловатых ночных тирад под градусом — неуверенно колебалась между ревизионистской, принужденно-мифологической живописью и неловкими, порой даже ходульными рецидивами помеченной ящерицей «чипкалистской» документалистики. Немудрено было художнику потерять индивидуальность в то время, когда столь многие мыслящие люди придерживались мнения, будто величие и накал страстей, присущие жизни громадной страны, могут быть выражены лишь посредством безличного патриотического объективизма. Так что

Авраам был далеко не единственным приверженцем такого взгляда. Великий бенгальский кинорежиссер Сукумар Сен, друг Ауроры и, возможно, единственный равный ей по таланту из всех ее современников, был лучшим из этих реалистов и в своих гуманных, тревожащих душу фильмах привнес в индийское кино — ох уж это мне индийское кино, потасканное, как старая шлюха! — слияние чувства и разума, в достаточной мере оправдавшее его эстетические построения. Однако эти реалистические фильмы никогда не были популярны — горькая ирония заключена в том, что Наргис Датт, сама Мать Индия, раскритиковала их за западнический элигизм, — и Васко с Ауророй (он — открыто, она — тайно) предпочитали его детские картины, где Сен дал своей фантазии полную волю, где рыбы разговаривали человечьими голосами, где летали ковры-самолеты и юноши грезили в золотых дворцах о своих прежних воплощениях.

Помимо Сена, была еще группа видных писателей, которых на какое-то время Аурора собрала под свое крыло: Премчанд, Саадат Хасан Манто, Мулк Радж Ананд, Исмат Чугтаи, все — убежденные реалисты; но и в их работах видны элементы фантастики, как, например, в «Тоба Тек Сингх»

-замечательном рассказе Манто о разделении всех умалишенных субконтинента, произошедшем после раздела страны на Индию и Пакистан. Один из психически больных, в прошлом зажиточный землевладелец, оказывается заперт на ничейной земле души, будучи не в силах определить, к какому государству теперь принадлежит его родной городок в Пенджабе, и в безумии своем, олицетворяющем безумие самого времени, произносит некую божественную невнятицу, полюбившуюся Ауроре Зогойби. Ее картина, изображающая трагическую концовку рассказа, когда несчастный сумасшедший бредет между двумя заграждениями из колючей проволоки, за одним из которых лежит Индия, а за другим — Пакистан, стала, может быть, лучшей ее работой того периода, и звучащая из уст персонажа жалобная бессмыслица, в которой отразился не только его личный, но и наш общий коммуникативный кризис, образует чудесное длинное название картины: «Uper the gur gur the annexe the bay dhayana the mung the dal of the laltain» [73].

Итак, и дух времени, и личные предпочтения Авраама подталкивали Аурору к натурализ-

---

73 Примечания: 73
Бессмысленная мешанина слов на хиндустани и английском.

му; с другой стороны, Васко напоминал ей о ее инстинктивной нелюбви к чистому «отображательству», заставившей ее отстраниться от своих последователей-чипкалистов, и старался вновь повернуть ее к органичной для нее эпически-сюжетной манере, убеждая ее вглядеться, как прежде, и в свои собственные грезы, и в чудесную грезу пробуждающегося мира.

— Мы не скопище средненьких людишек, — горячился он, — мы волшебный народ. Ты что, всю жизнь собираешься изображать чистильщиков обуви, стюардесс и клочок земли в два акра? Выходит, кроме кули, трактористов и гидроэлектростанций а-ля Наргис от тебя и ждать, теперь нечего? Да ты в собственной семье найдешь опровержение такого взгляда на мир! К чертям всех этих безмозглых реалистов! Ну согласись — ведь реальность не где-нибудь, а внутри чудесного горящего куста. Жизнь фантастична! Вот что тебе надо писать — взгляни хоть на своего фантастического, ирреального сына! Великан, красавец, мальчик-мужчина, машина времени из плоти и крови! УЖ если чипко, если цепляться, то к его невероятной правде, к нему, а не к этому засохшему ящеричному дерьму.

Поскольку одобрение Авраама было для нее

важно, Аурора на время облачилась в артистические одежды чуждого ей покроя; поскольку Васко был рупором ее внутреннего голоса, она прощала ему все дебоши. И поскольку смятение ее было велико, она пила и становилась груба, зла и вульгарна. В конце концов она склонилась на сторону Васко и, следуя его совету, надолго сделала меня центральной фигурой и талисманом своего творчества.

Что касается Авраама, я часто видел, как по его лицу пробегает тень печального недоумения. Безусловно, он был озадачен мною. Реальность сбивала его с толку, и поэтому, приезжая после своих долгих отлучек, возвращаясь домой из деловых поездок в Лели, Кочин и другие места, названия которых много лет оставались тайной, он привозил мне то детские наряды, годные любому ребенку моего возраста, кроме меня, которому они были смехотворно малы; то книги, которые понравились бы юноше моего роста, но ничего не говорили детской душе, что жила в непомерно разросшемся теле. Жена также озадачивала его своим охлаждением к нему, всплесками темной злобы и открывшимся в ней талантом к саморазрушению, который полнее всего проявился во время ее последней встречи с

премьер-министром Индии за девять месяцев до моего рождения…

x x x

…За девять месяцев до моего рождения Аурора Зогойби отправилась в Дели, чтобы получить из рук президента и в присутствии премьер-министра, с которым была дружна, государственную награду — так называемый Почетный лотос — за свои заслуги в области искусства. Однако по несчастливому стечению обстоятельств мистер Неру только что вернулся из поездки в Англию, во время которой большую часть свободного времени он провел в обществе Эдвины Маунтбеттен. Надо сказать, что неоднократно наблюдавшимся (хоть почти не комментировавшимся) фактом нашей семейной жизни было то, что простого упоминания об этой видной особе оказывалось достаточно, чтобы вызвать у Ауроры приступ злобной ругани. Обстоятельства близкой дружбы между пандитом Неру и женой последнего вице-короля уже давно стали предметом домыслов; я же в моих личных домыслах все чаще и чаще возвращаюсь к аналогичным слухам относительно премьер-министра и моей матери. Хронология — упрямая вещь. Отсчитайте

четыре с половиной месяца вспять от дня моего рождения, и мы окажемся в гостинице «Лорде сентрал» в Матеране, где мои родители, вероятно, в последний раз вступили в интимную близость. Но вернитесь еще на четыре с половиной месяца назад, и вот вам Аурора Зогойби в Дели, где она входит в церемониальный зал в Раштрапати Бхаван [74] на прием к самому пандитджи; и там она закатывает скандал, учинив то, что газеты назвали «неподобающей демонстрацией буйного артистического темперамента»; глядя прямо в испуганное лицо Неру, она сказала:

— Ох уж эта мне цыпочка с цыплячьей грудкой! Эдвина-Задвинь-Мне! Дикки был вице-король, а она у нас, конечно, королева без всяких «вице»! Королева-гуляй-налево. Ума не приложу, чего это вы все, как попрошайка, у ее дверей околачиваетесь? Если, джи, вас на белое мясцо,потянуло, то уверяю вас, много вы на ней не нащупаете.

После чего, оставив всех собравшихся стоять с разинутыми ртами, а президента — топтаться с Почетным лотосом в руке, она отвергла награду, повернулась на сто восемьдесят градусов и отправилась в Бомбей. Такую версию, во всяком

---

74 Примечания: 74
Дворец в ансамбле правительственных зданий в Дели.

случае, с ужасом выдали на другой день газеты; но два обстоятельства не дают мне покоя, и первое из них то, что, когда Аурора поехала на север, Авраам отправился на юг. Странным образом проигнорировав вручение своей любимой жене высокой награды, он вместо этого решил проинспектировать кочинский филиал фирмы. В иные дни я не могу не видеть здесь — как бы невероятно это ни выглядело — уступчивость покладистого мужа… А второе обстоятельство связано с тетрадками нашего повара Эзекиля.

Эзекиль, мой Эзекиль: древний старик, лысый, как яйцо, скалящий три своих канареечно-желтых зуба в вечной усмешке, он сидел, бывало, на корточках у традиционного открытого очага и отгонял дым древесного угля соломенной раковиной-опахалом. В своем деле он был настоящий артист, что признавали все, кто ел его кушанья, секретные рецепты приготовления которых он записывал медленной, трясущейся рукой в тетрадки с зелеными обложками, хранившиеся у него в сундуке под замком — как изумруды. Он был настоящий архивист, наш Эзекиль; ибо его клеенчато-бумажная сокровищница содержала не только рецепты, но и отчеты о трапезах — полные отчеты за все долгие годы его службы

о том, что, кому и по какому случаю было подано. Во время моего затворнического детства (о котором я еще скажу) я много часов провел с ним рядом, учась делать одной рукой то, что он делал двумя; и одновременно изучая нашу семейную историю, как она отразилась в еде, различая моменты напряжения по отметкам на полях о том, что съедено очень мало, и смутно догадываясь, какие яростные сцены стояли за лаконичным: «разлито». Счастливые мгновения также были различимы — по кратким записям о винах, пирожных и других особых заказах, о любимых блюдах, готовившихся детям в качестве поощрения за хорошие отметки, о званых вечерах, которыми отмечались успехи в бизнесе и живописи. Само собой, пищевые предпочтения, как и другие проявления нашей натуры, на своем шифрованном языке говорят о нас многое. О чем, к примеру, могут свидетельствовать дружная ненависть моих сестер к баклажанам или моя страстная любовь к означенному овощу? Что стоит за тем, что отец всегда требовал баранину или курятину на косточке, а мать ела исключительно бескостное мясо? Но я должен оставить все эти тайны в стороне и сообщить, что, изучив тетрадь, относящуюся к периоду, о котором идет

речь, я увидел, что Аурора вернулась в Бомбей лишь на третий день после скандала в Дели. Я слишком хорошо знаком с расписанием прямого почтового поезда Дели-Бомбей, чтобы проверять: поездка занимала две ночи и день, стало быть, одну ночь она провела не в поезде. «Кто-то, видно, в Дели пригласил мадам на угощение», -скорбно прокомментировал Эзекиль ее задержку. Это прозвучало как слова мужчины, пытающегося оправдать измену ветреной возлюбленной.

Кто-то пригласил… какое пряное блюдо отведала Аурора Зогойби вдалеке от дома? Какая, грубо говоря, каша могла там завариться? Одной из слабостей моей матери было то, что обида и боль слишком часто рождали в ней бешеную злобу; и еще большей, на мой взгляд, слабостью — то, что позволив себе роскошь прийти в ярость, она затем чувствовала сильнейший прилив виноватой симпатии к ее объекту. Словно добрые чувства могли излиться лишь вдогонку за губительным потоком желчи.

За девять месяцев до моего появления на свет случилась эта подозрительная ночь. Но презумпция невиновности -замечательное правило, и я не могу инкриминировать что-либо Ауроре и покойному великому деятелю. Может быть, всему

этому есть другое, вполне невинное объяснение. Детям не суждено до конца понять, почему их родители совершают те или иные поступки.

Каким тщеславием с моей стороны было бы претендовать на происхождение — пусть даже незаконное — от столь славного отца! Читатель, я хотел лишь выразить некое недоумение, но успокойтесь: я ничего не утверждаю. И остаюсь верным прежней версии, согласно которой я был зачат на указанной выше станции в холмах, после чего все дальнейшее пошло с определенным отклонением от биологических норм. И поверьте, это не выдумка, покрывающая чью-то вину.

В 1957 году Джавахарлалу Неру было шестьдесят семь лет; моей матери тридцать два. Они никогда больше не встречались; также никогда великий деятель больше не ездил в Англию, где жила жена другого великого деятеля.

Общественное мнение — не в последний раз, надо сказать, — осудило Аурору. Между жителями Дели и Бомбея (я говорю, естественно, о буржуазных кругах) всегда были определенные трения: бомбейцы слегка презирали делийцев за некое якобы лакейство перед властью, за искательство и карьеризм, обитатели же столицы насмехались над поверхностностью, нуворише-

ством и космополитическим западничеством «бизнес-бабу» [75] и блистательных лакированных дам моего родного города. Но скандальный отказ Ауроры от «Лотоса» возмутил Бомбей не меньше, чем Дели. Все враги, каких она нажила своим высокомерным поведением, почуяли шанс и ринулись в бой. Крикуны-патриоты клеймили ее как предательницу, благочестивые ханжи обвиняли в безбожии, самозванные защитники бедных упрекали за богатство. Далеко не все люди искусства вступились за нее: «чипкалисты», помня ее наскоки на них, молчали; те художники, которые действительно преклонялись перед Западом и с ужасающими результатами имитировали стиль великих американцев и французов, объявили ее «провинциальной»; с другой стороны, те — имя им легион, — что барахтались в мертвом море индийской старины, продуцируя современные перепевы древнего искусства миниатюры (и часто тайком сбывая на сторону порнографические подделки под старые кашмирские или могольские вещи), столь же громко поносили ее за «отрыв от корней». На свет божий вытащили все наши старые семейные скандалы

---

75 Примечания: 75
Бабу — господин (хинди).

за исключением битвы из-за первенца между Авраамом и его матерью Флори, которая никогда не была достоянием гласности; газеты со смаком и во всех доступных им деталях пересказывали истории о бесчестье Франсишку с его «Гама-лучами», о нелепой попытке Камоинша да Гамы сколотить труппу южноиндийских двойников Ленина, о войне не на жизнь, а на смерть между Лобу и Менезишами, в результате которой братья да Гама попали в тюрьму, о том, как утопился несчастный одинокий Камоинш и, конечно же, о немыслимо скандальном внебрачном сожительстве нищего безродного еврея и неприлично богатой шлюшки-католички. И вот когда появились намеки о сомнениях в законности детей Зогойби, случилось нечто -можно предположить, что редакторов всех ведущих газет одновременно навестили эмиссары Авраама Зогойби с одним и тем же добрым советом, — из-за чего печатная кампания мигом прекратилась, словно от испуга ее хватил инфаркт.

Аурора до некоторой степени отошла от общественной жизни. Ее салон продолжал блистать, но консервативная часть высшего общества и интеллектуально-художественной элиты распрощалась с ней навсегда. Чем дальше, тем больше

она становилась затворницей в стенах своего приватного рая, и взгляд ее раз и навсегда устремился в направлении, давно указанном ей Васко Мирандой, — в направлении собственного сердца, внутрь себя, в реальность сновидений.

(Как раз в это время, когда столкновения из-за языка предопределили раздел нашего штата, она заявила, что в ее доме не говорят ни на маратхи, ни на гуджарати; язык ее королевства — английский и только английский. «Все эти наречия режут нас на куски, — объяснила она. — Только английский объединяет». В подтверждение своей мысли она со скорбным видом, неизменно провоцировавшим слушателей на непочтительные мысли, не раз произносила популярный в те годы стишок, где обыгрывался английский алфавит: «Эй-би-си-ди-и-эф-джи — здравствуй, милый пандитджи!» На что только свой в доску Васко Миранда имел смелость ответить: «Эйч-ай-джей-кей-эл-эм-эн — убирайся, старый хрен!»)

Я тоже вынужден был вести довольно-таки затворническую жизнь, и следует сказать, что мы с Ауророй были ближе друг к другу, чем обычно бывают мать и сын, потому что вскоре после моего рождения она начала цикл больших полотен, с которыми впоследствии имя ее связалось в наи-

высшей степени; цикл, само название которого — «Мавры» -говорит о моей роли в нем, цикл, в котором мое взросление запечатлено точней и осмысленней, чем в любом фотоальбоме, и который на веки вечные соединил нас, как бы далеко и яростно ни разводила нас жизнь.

x x x

Истина об Аврааме Зогойби состоит в том, что он был человеком с двойным дном; что он носил маску мягкого тихони, чтобы скрыть свою тайную супер-силу. Он сознательно создавал скучнейший автопортрет — ничего общего с махровым кичем плачущего Васко Миранды en arabe! — поверх захватывающей, но неприемлемой реальности. Покладистость и почтительность составляли его, как сказал бы Васко, «надполье»; в подполье же он властвовал на манер Могамбо над миром куда более мрачным и адским, чем в любом приключенческом фильме.

Вскоре после переезда в Бомбей он нанес визит вежливости старику Сассуну, нынешнему главе влиятельнейшей еврейской семьи, некогда жившей в Багдаде, — семьи, члены которой якшались с английскими королями, были в свойстве с Ротшильдами и владычествовали в Бомбее на

протяжении ста лет. Патриарх согласился "принять его, но не дома, а в Форте, в штаб-квартире компании «Сассун и К°»; не как равный, а как новичок, как проситель-провинциал был допущен Авраам пред его светлые очи.

— Страна не сегодня-завтра будет свободная, — сказал ему старый бизнесмен с благосклонной улыбкой, — но вам надо усвоить, Зогойби, что Бомбей — закрытый город.

Сассун, Тата, Бирла, Редимани, Джиджибхой, Кама, Вадья, Бхаба, Гокулдас, Вача, Кэшонделивери — эти мощные компании держали город мертвой хваткой, контролируя драгоценные и индустриальные металлы, химию, текстиль и специи, и они отнюдь не собирались сдавать позиции. Фирма да Гама-Зогойби занимала вполне приличную нишу в последней из этих областей, и куда Авраам ни приходил, всюду его ждали чай или прохладительные напитки, сладости, любезные улыбки, а напоследок — вежливые, но недвусмысленно серьезные советы держаться в стороне от всех иных сфер, куда он мог бы бросить свой предпринимательский взор. Однако всего пятнадцать лет спустя, когда были обнародованы официальные данные о том, что полтора процента компаний страны владеют более чем

половиной всего частного капитала и что даже внутри этой полуторапроцентной элиты всего двадцать компаний доминируют над остальными, а внутри этой двадцатки имеются четыре супергруппы, контролирующие в сумме четверть акционерного капитала Индии, — тогда «Корпорация К-50 да Гама-Зогойби» уже занимала в общем списке пятое место.

Он начал с исторических штудий. Бомбейцы, надо сказать, все поголовно страдают некой расплывчатостью памяти; спроси любого, сколько лет он занимается тем или иным бизнесом, и он ответит: «Очень много лет». — «Понимаю, сэр, а давно построен ваш дом?» — «Давно. В старые времена». — «Ясно; а ваш прадедушка, когда он родился?» — «Ну, это совсем глубокая древность. Зачем вы спрашиваете? Прошло и быльем поросло».

Записи хранятся, перевязанные ленточками, в пыльных каморках, и никто никогда в них не заглядывает. Бомбей, сравнительно новый город в древней-древней стране, не испытывает интереса ко вчерашнему дню. «Поскольку сегодня и завтра — конкурентные области, — рассудил Авраам, — имеет смысл сделать первое вложение в то, чего никто не ценит; то есть в прошлое». Он

потратил много времени и денег на пристальное изучение видных семейств, на разнюхиванье их секретов. Изучая историю «хлопковой лихорадки», или «мыльного пузыря», 1860-х годов, он увидел, что многие магнаты в этот период дикой спекуляции понесли большие убытки и были чуть ли не разорены, вследствие чего потом их действия отличались чрезвычайной осторожностью и консерватизмом. «Поэтому в рисковых сферах, — предположил Авраам, — есть возможность прорыва. Приз достанется храброму». Он проследил сеть внешних и внутренних связей каждой крупной компании и понял, как там ведутся дела; он увидел также, какие из этих империй выстроены на песке. И когда в середине пятидесятых он столь эффектно прибрал к рукам торговый дом Кэшонделивери, который начинался как фирма, дающая деньги в рост, и за сто лет вырос в гигантское предприятие с обширными вложениями в банковское дело, земельные участки, суда, химическую промышленность и рыболовство, — это могло осуществиться потому, что он знал: старая парсская семья пришла в безнадежный упадок, «а когда процесс гниения зашел так далеко, — записал он в своем дневнике, — гнилой зуб нужно удалить немедленно,

иначе смертельная инфекция распространится на все тело». С каждым новым поколением семейство Кэшонделивери стремительно утрачивало деловую хватку, а нынешние два братца-плейбоя промотали в европейских казино колоссальные суммы и вдобавок имели глупость попасться на взятках, слишком уж неприкрыто пытаясь экспортировать методы индийского бизнеса на западные финансовые рынки, требующие несколько более нежного обращения (дело с трудом замяли). Все эти «скелеты» люди Авраама старательно извлекли из кладовок; и вот однажды он, как к себе домой, вошел в святая святых компании Кэшонделивери и средь бела дня принялся откровенно шантажировать двоих побледневших молодых (хотя и не первой молодости) людей, требуя немедленного выполнения его многочисленных и точно сформулированных условий. Упалджи Обеднелджи Кэшонделивери и Тонубхой Рукубхой Кэшонделивери, жалкие отпрыски некогда великого клана, были, казалось, чуть ли не счастливы продать первородство и освободиться тем самым от ответственности, которая была им явно не по плечу; «так, наверно, чувствовали себя упадочные персидские владыки перед вторжением исламских полчищ,» — не

раз говорил Авраам. [76]

Но мой отец не был воителем за святое дело — ничего подобного. Этот человек, который дома производил впечатление слабака и недотепы, стал на деле подлинным императором, Великим Моголом людских слабостей. Шокирует ли вас, если я скажу, что спустя несколько месяцев после переселения в Бомбей он уже торговал живым товаром? Меня, мой читатель, это шокировало. Мой отец, Авраам Зогойби? Авраам, чья история любви была так романтична и полна такой возвышенной страсти? УВЫ, он самый. Мой отец, которого я простил, хотя он не заслуживал прощения… Я уже много раз повторял, что с самого начала наряду с любящим мужем, безотказным покровителем и защитником выдающейся современной художницы существовал и другой, темный Авраам; человек, прокладывавший себе путь угрозами и принуждением, умевший вить веревки из строптивых моряков и владельцев газет. Этот Авраам постоянно имел сношения и заключал взаимовыгодные сделки с такими личностями — назовем их теневиками, — которые торговали запрещенным товаром вроде контра-

---

76 Примечания: 76
Намек на парсское происхождение семьи Кэшонделивери.

бандного виски и девочек с таким же усердием, с каким Тата и Сассуны занимались своим легальным бизнесом. Бомбей, как стало ясно Аврааму, был в те годы совершенно не похож на «закрытый город», о котором говорил старик Сассун. Для нещепетильного человека, готового к тому же идти на риск, — короче, для теневика — город был открыт шире некуда, и возможные доходы такого предпринимателя ограничивались лишь пределами его воображения.

Мы еще вернемся к внушавшему панический страх мусульманскому теневому боссу по прозвищу Резаный, чье настоящее имя я не дерзну доверить бумаге, довольствуясь этой мрачной кличкой, хорошо известной всему преступному миру города и, как мы увидим, далеко за его пределами. Пока скажу лишь то, что в результате альянса с этим господином Авраам получил «крышу», то есть защиту, совершенно необходимую при его методах работы; и в обмен на эту «крышу» мой отец стал, и скрытно оставался на протяжении всей своей долгой и неблагочестивой жизни, главным поставщиком новых девочек в дома, которыми весьма эффективно управляли люди Резаного, — в бордели на Грейт-роуд, Фолкленд-роуд, Форас-роуд и в Каматипуре.

— Как? Откуда? — УВЫ, увы, из южноиндийских храмов, в особенности же из святилищ в штате Карнатака, посвященных богине Келламме, которая, как видно, оказалась неспособна защитить своих несчастных юных молитвенниц… Известно, что в наш тяжкий век с его предрассудками, заставляющими предпочитать детей мужского пола, многие бедные семьи отдавали девочек в храмы особо чтимых божеств, будучи не в состоянии ни прокормить дочь, ни выдать ее замуж и надеясь, что она будет жить в святом месте на правах служанки или, если повезет, танцовщицы; тщетная надежда, увы, ибо во многих случаях во главе храмов стояли мужчины, непостижимым образом чуждые всякой нравственности, что делало их уступчивыми к предложениям наличных денег за юных девственниц, не совсем девственниц и совсем не девственниц, находящихся в их ведении. Так торговец пряностями Авраам, используя свои обширные связи на Юге, мог собирать урожай несколько иного рода, который в наисекретнейших своих приходно-расходных книгах он обозначал словами «Пряности жаркие высшей категории», а также, как я прочитал с некоторым недоумением, «Перчик чили сверхострый зелененький».

В столь же тайном сотрудничестве с Резаным Авраам Зогойби занялся торговлей тальком.

x x x

Кристаллический гидратированный силикат марганца, $Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$ — тальк. Когда Аурора за завтраком спросила Авраама, почему он решил стать специалистом по детским задницам, он объяснил это двойным выигрышем, который он будет получать, во-первых, из-за протекционистской государственной политики с ее запретительными тарифами на ввоз импортного талька, а во-вторых — благодаря демографическому взрыву, гарантирующему «попочный бум». Он с энтузиазмом распространялся о глобальных возможностях этой продукции, характеризуя Индию как единственную страну Третьего мира, способную без порабощения всемогущим американским долларом поспорить с Западным миром по части экономического прогресса и роста; он утверждал, что многие другие государства Третьего мира ухватятся за возможность покупать высококачественный тальк не за зеленую валюту. К тому времени, как он перешел к соображениям о вполне реальном скором захвате рынков, которые компания «Джонсон и Джон-

сон» привыкла считать своей вотчиной, Аурора перестала его слушать. А когда он принялся петь рекламную песенку на привязчивый мотив «Бобби Шафто», слова которой сочинил сам, моя мать закрыла уши руками.

— «Бэби Софто» — чистота, «Бэби Софто» — красота, — распевал Авраам.

— Делать или не делать тальк, решай сам, — закричала Аурора, — но сейчас же прекрати эту какофонию! Она мне уши дерет.

Пишу это и вновь удивляюсь нежеланию Ауроры видеть, как часто и как небрежно Авраам обманывал ее, удивляюсь тому, сколько всего Аурора принимала без лишних вопросов, — потому что он, разумеется, лгал, и белый порошок, в котором он действительно был заинтересован, шел отнюдь не из карьеров в Западных Гатах; он попадал в некоторые емкости, помеченные знаком «Бэби Софто», весьма прихотливым путем, включавшим ночные караваны грузовиков неизвестно откуда и широкий, систематический подкуп полицейских и других государственных служащих, осуществляющих контроль на дорогах субконтинента; и эти-то сравнительно немногие емкости, продаваемые за границу, дали за несколько лет доход, намного превысив-

ший прочие прибыли компании и позволивший провести широкую диверсификацию, — доход, который при всем том нигде не декларировался и не фигурировал ни в одной бухгалтерской книге за исключением сверхсекретной шифрованной книги книг, которую Авраам хранил глубоко запрятанной (возможно -в каком-нибудь глухом закоулке своей темной души).

Весь город, а может быть, и вся страна представляла собой большой палимпсест [77], надполье поверх подполья, белый рынок поверх черного; и если вся жизнь была именно такова, если невидимая реальность призрачно шевелилась под покровом видимой фикции, извращая все ее смыслы, как могла карьера Авраама быть иной? Как мог кто-либо из нас избежать этого мертвящего наложения? Как, связанные по рукам и ногам стопроцентной ложью окружающей действительности, увязшие в жирно намалеванном слезливо-арабском киче, могли мы проникнуть к подлинной, чувственной правде матери, утраченной нами под слоем краски? Как могли мы жить своей настоящей жизнью? Как могли мы не быть гротескными существами?

---

77 Примечания: 77

Палимпсест — рукопись на пергаменте поверх смытого или соскобленного текста.

Теперь, глядя назад, я вижу, что Васко Миранда в своей болтовне в ночь Независимости о коррупции, которая одна лишь способна помериться силами с богами, был неправ только в том, что дал слишком мягкие формулировки. И наверняка Авраам Зогойби прекрасно понимал, что пьяный выброс цветистого цинизма было со стороны художника явным преуменьшением.

— Твоя мать и ее компашка художников вечно жаловались, как трудно им, бедным, из ничего делать нечто, — вспоминал в глубокой старости Авраам, рассказывая мне о своих собственных художествах и веселясь от души. — И что, спрашивается, они такое делали? Картины! Но я, я — я целый город создал из ничего! Суди сам, какой фокус трудней. Твоя дорогая мамаша вытащила из шляпы много милых зверьков; а я зато — уж сразу Кинг Конга!

В течение первых двадцати примерно лет моей жизни новые участки земли — «нечто из ничего» — были отвоеваны у Аравийского моря с южной стороны бомбейской бухты Бэк-бей, и Авраам вложил в эту поднимавшуюся из волн анти-Атлантиду большие деньги. В то время было много разговоров о необходимости уменьшить давление на перенаселенный город посредством

ограничения объема и этажности строительства на новых, насыпных землях и создания второго городского центра на материке по ту сторону пролива. Авраму важно было, чтобы этот план провалился, -"иначе как я мог поддержать высокую цену недвижимости, в которую я вбухал столько денег?" — спросил он меня, разводя скелетоподобными руками и скаля зубы в улыбке, которая когда-то была обезоруживающей, но теперь, в полутьме его кабинета, высоко вознесенного над городскими улицами, делала его девяностолетнее лицо похожим на алчный череп.

Он нашел себе союзника, когда главой муниципальной корпорации стал Киран Колаткар («К.К.», или «Кеке») -маленький, круглый, темнокожий и пучеглазый политикан из Аурангабада, самый крутой из всех матерых заправил, когда-либо правивших Бомбеем. Колаткар был тем человеком, которому Авраам Зогойби мог объяснить принципы невидимости, те скрытые законы природы, которые не могут быть отменены видимыми законами людей. Авраам растолковал ему, как невидимые денежные средства проходят через цепочку невидимых банковских счетов и заканчивают путь, видимые и чистые

как стеклышко, на счете у хорошего друга. Он показал, как продолжительная невидимость города-грезы над водами может принести пользу тем хорошим друзьям, которые имели или приобрели по случаю долю в том, что до недавнего времени было невидимо, но теперь поднялось из моря, как некая Венера Бомбейская. Он показал, как легко будет убедить облеченных властью чиновников, в чьи обязанности входит отслеживание и контроль количества и этажности новых зданий в насыпной зоне, что они получат большие преимущества, потеряв дар зрения — «метафорически, конечно, мой милый, — это фигура речи, успокойся; не думай, что мы собирались кому-нибудь выкалывать глаза, как Шах-Джахан этому соглядатаю, который хотел раньше времени посмотреть на Тадж-Махал», — так что большие скопления новых зданий будут фактически невидимы для общества, они будут, так сказать, парить высоко-высоко в небесах. И невидимые эти здания — чудеса, да и только! — родят целые горы денег, они станут, может быть, самым доходным недвижимым имуществом на свете; нечто из ничего, волшебная сказка, и все хорошие друзья, которые помогут это сотворить, будут вознаграждены за труды.

Колаткар был сметливым учеником и даже внес собственное предложение. Что если все эти невидимые здания будут выстроены с помощью невидимой рабочей силы? Не будет ли это в высшей степени элегантным и экономически грамотным решением? «Естественно, я согласился, — рассказывал старик Авраам. — Этот головастый малыш Кеке попал в самую точку». Вскоре после этого городские власти издали распоряжение, согласно которому все лица, поселившиеся в Бомбее после последней переписи населения, объявлялись несуществующими. Вследствие этого город не нес никакой ответственности за их размещение и социальное обеспечение, что было большим облегчением для честных и реально существующих граждан, платившим налоги для поддержания нормальной жизни динамичного современного города. Нельзя, однако, отрицать, что для миллиона с лишним законодательно сотворенных призраков жизнь стала тяжелее. Тут-то и вступили в игру Авраам Зогойби и другие, кто успел вовремя включиться в грандиозный проект освоения насыпных земель, и великодушно протянули фантомам руку помощи, в огромных количествах нанимая их для работы на гигантских стройплощадках, по-

крывших всю новую землю до последнего клочка, и даже пойдя на то — о филантропы! — чтобы понемножку платить им за работу наличными. «Раньше никто никогда не платил привидениям, мы первые, — сказал, сипло хихикая, престарелый Авраам. — Но, естественно, мы не брали никаких обязательств на случай болезни или увечья. Это, если ты следишь за моей мыслью, было бы нелогично. В конце концов эти люди были не просто невидимки, их, согласно всем официальным документам, не было там вовсе».

Мы сидели в густеющих сумерках на тридцать первом этаже жемчужины Нью-Бомбея, шедевра архитектора И. М. Пей — небоскреба Кэшон-деливери. В окно я видел прорезающее тьму подсвеченное острие «башни К. К.» Авраам встал и открыл дверь. В проем полился яркий свет, звонкими арпеджио зазвучала музыка. Он ввел меня в гигантский застекленный сад-атриум, где росли деревья и растения из более умеренных, чем наша, климатических зон, — яблони, груши, роскошный налитой виноград — все под стеклом, при идеальной температуре и влажности, о чем заботилась система поддержания микроклимата, чья стоимость была бы невообразимой, не будь она невидимой; ибо, по счастливому стечению

обстоятельств, Аврааму ни разу никто не предъявил счета за электричество. В этом атриуме мы с ним увиделись в последний раз — с моим старым-престарым отцом, на которого я в свои тридцать шесть лет, тянувшие на все семьдесят два, все больше и больше становился похож; с моим нераскаявшимся отцом-змеем, который в отсутствие Аурoры и Бога взял над раем полную власть.

— Ну, теперь-то я рухлядь уже, — вздохнул он. — Все валится из рук. Какие могут быть фокусы, когда зрителям видны веревочки? К чертям! Я знал славные времена. Бери яблоко, угощайся.

12

Волей-неволей я рос во всех трех измерениях. Мой отец был крупный мужчина, но мне к десяти годам его пиджаки уже были узки в плечах. Я был небоскребом, свободным от всех законодательных ограничений, единоличным демографическим взрывом, мегалополисом, гигантом, у которого лопались рубашки и отлетали пуговицы.

— Ух, какой, — дивилась моя старшая сестра Ина, когда я достиг моего полного роста и веса. — Ты у нас мистер Гулливер, а мы твои лилипуточки.

Что было верно, по крайней мере, вот в каком отношении: если Бомбей стал моей личной не Радж-, но Лили-путаной [78], то мои большие размеры связали меня по рукам и ногам.

Чем дальше расширял я свои физические границы, тем ограниченней становились мои горизонты. Образование было проблемой. Многие мальчики из «хороших домов» Малабар-хилла, Скандал-пойнта и Брич-кенди начинали учиться

---

78 Примечания: 78
Раджпутана — историческая область в Индии.

у мисс Ганнери в заведении «Уолсингем хаус», где были детский сад и начальная школа с совместным обучением мальчиков и девочек; потом они переходили в «Кэмпион», или «Катидрал», или другую элитную школу для мальчиков. Но легендарная «Ганнер», то есть «канонирша», в своих знаменитых роговых очках с «крылышками» на манер «бэтмобиля» не поверила тому, что ей было сказано обо мне.

— Слишком большой для детского сада, — прохрипела она в конце собеседования, во время которого она невольно обращалась ко мне, ребенку трех с половиной лет, как к семилетнему. — А для начальной школы, к сожалению, недоразвит.

Моя мать была вне себя.

— Кто, интересно, у вас тогда учится? — возмутилась она. -Эйнштейны одни, что ли? Сплошь Альбертики и Альбертиночки? Полный класс эмцеквадратников?

Но знаменитая Ганнери была непреклонна, и моим уделом стало домашнее обучение. Чередой пошли учителя-мужчины, из которых мало кто задерживался более чем на несколько месяцев. Я не держу на них зла. Столкнувшись, к примеру, с восьмилетним мальчиком, который в

честь дружбы с художником В. Мирандой носил остроконечные вощеные усики, они, естественно, испарялись. Несмотря на все мои усилия выглядеть опрятным, аккуратным, послушным, скромным — обыкновенным, — я был для них невозможной диковиной; пока наконец не пригласили учительницу. О Дилли Ормуз, сладкопамятная! Она носила очки с толстыми стеклами и «крылышками», как мисс Ганнери; но у Дилли это были поистине ангельские крылья. Когда она пришла к нам в начале 1967 года в белом платьице и коротких носочках, с волосами, собранными в жиденькие хвостики, с прижатыми к груди книжками, близоруко мигающая и нервно-разговорчивая, она выглядела куда более по-детски, чем ваш покорный слуга. Но Дилли заслуживала того, чтобы вглядеться в нее пристальнее, ведь она тоже прятала свое истинное лицо под маской. Она носила туфли без каблука и чуть сутулилась, как все высокие девушки, стесняющиеся своего роста; но вскоре стала, когда мы оставались наедине, распрямляться — о эта щедрая бледная удлиненность, от небольшой головы до красивых, но таких крупных ступней! К тому же — и даже спустя столько лет чувственно-ностальгическое воспоминание об этом заставляет меня

жарко краснеть — она принялась потягиваться. Потягивающаяся Дилли — якобы для того, чтобы достать книжку, линейку или ручку, — являла мне, мне единственному, всю роскошь тела под белым платьем и скоро начала отвечать спокойным немигающим взором на мое бесстыдное пучеглазое разглядыванье. Миловидная Дилли — ибо когда мы оставались одни и она распускала волосы, когда она снимала очки, чтобы близоруко мигать своими тревожащими душу, глубоко посаженными, отрешенными глазами, с ее облика спадала пелена -долго и пристально смотрела на своего нового ученика, затем вздыхала.

— Десять лет, подумать только, — мягко сказала она, когда мы впервые остались вместе. — Детка, ты восьмое чудо света, точно тебе говорю.

И затем, вспомнив о своих обязанностях педагога, начала первый урок с того, что заставила меня выучить наизусть -"вытвердить", как она говорила, — список из семи древних и семи современных чудес света, отметив по ходу дела интересное сосуществование на Малабар-хилле меня лично (малыша-Колосса) и Висячих садов [79] — словно чудеса потихоньку начали концен-

79 Примечания: 79

В память о древних Висячих садах Семирамиды, считавшихся одним из чудес света, так называется парк на холме Малабар-хилл в Бомбее.

трироваться здесь, принимая индийские формы.

Мне представляется теперь, что в моей юной персоне, в этом наводящем страх монстре с душою ребенка, в смятении выглядывающей из красивого тела молодого мужчины (ибо, несмотря на мою руку, несмотря на все мое отвращение к себе и потребность в утешении, Дилли разглядела во мне красоту; ох уж эта красота, воистину она — проклятие нашей семьи!), моя учительница мисс Ормуз нашла для себя нечто освобождающее, почувствовав, что может распоряжаться мной как ребенком, и одновременно — тут я вступаю в деликатные сферы — обмениваться со мной прикосновениями как с мужчиной.

Не помню, сколько мне было лет (но, безусловно, я уже сбрил васкообразные усы), когда Дилли от простого любования моей наружностью перешла к робким на первых порах, но затем все более и более смелым ласкам. Мой душевный возраст был таким, когда подобные нежности принимаются как невинные знаки любви, по которой я испытывал истинно волчий голод; телесно же я был способен на вполне взрослые реакции. Не осуждайте ее, как не осуждаю я; я был ее чудом света, она была заворожена мной, вот и все.

Почти три года она приходила учить меня в

«Элефанту», и в течение всех этих тысячи и одного дня существовали ограничения, наложенные местом и риском быть застуканными на месте преступления. Не спрашивайте, прошу вас, как далеко зашли наши ласки; не заставляйте меня, вспоминая, вновь медлить у границ, для пересечения которых у нас не было паспортов! Память о том времени отзывается во мне спирающей дыхание болью, она заставляет сердце колотиться, это рана, которая не заживет никогда; ибо тело мое знало то, чего душа еще не знала, и хотя ребенок по-прежнему сидел, озадаченный, в темнице собственного тела, мои губы, язык, руки начали под умелым руководством Дилли действовать совершенно независимо от разума; и бывали благословенные дни, когда мы ощущали себя в безопасности или же то, что нами двигало, становилось слишком сильным, чтобы обращать внимание на риск, — и тогда ее руки, губы, груди, двигаясь, нажимая на мой пах, приносили мне отчаянное, обжигающее облегчение.

В иные дни она брала мою увечную руку и клала ее туда и сюда. Она была первым человеком, давшим мне в эти тайные миги возможность почувствовать себя полноценным… и к чему бы ни вели нас наши тела, исходящий от нее поток

сведений не иссякал. У нас не было любовной болтовни; битва при Серингапатаме и главные статьи японского экспорта — вот наше голубиное воркованье. Пока ее трепещущие пальцы поднимали температуру моего тела до немыслимых высот, она держала положение под контролем, заставляя меня повторять таблицу умножения на тринадцать или называть валентности химических элементов. Дилли была из тех, кому всегда есть что сказать, и она заразила меня разговорчивостью, которая до сего дня является для меня мощным источником эротической энергии. Когда я болтаю сам или попадаю в поле чужой болтовни, я нахожу это -как бы сказать — возбуждающим. Частенько в разгар bavardage [80] мне приходилось как бы невзначай класть руки себе на колени, чтобы скрыть некое вспучивание от собеседников, которые были бы им озадачены; или, скорее, им было бы весело. До сей поры я не хотел становиться причиной подобного веселья. Но теперь все должно быть и будет сказано; взбухавшая многоглаголанием пещеристая ткань моей жизни готова успокоиться навек.

Дилли Ормуз, когда мы впервые встретились,

---

80 Примечания: 80
Болтовни

была незамужней, лет двадцати пяти, а когда мы увиделись в последний раз — примерно на десять лет старше. Она жила со своей крохотной, старенькой и совершенно слепой матерью, которая весь день сидела на балконе и простегивала покрывала чуткими пальцами швеи, давно переставшими нуждаться в помощи глаз. Как такая маленькая, хрупкая женщина смогла родить столь крупную и чувственную дочь, недоумевал я, когда в тринадцать лет родители стали отправлять меня на уроки к Дилли, решив, что в этом возрасте мне полезно будет иногда покидать дом. Иногда я отпускал машину, махал на прощание шоферу и шел — вернее сказать, скакал — к ней вниз по холму, минуя прелестную старую аптеку на Кемпс-корнер — это место еще не превратилось тогда в нынешнюю духовную пустыню эстакад и бутиков, — а затем и «королевскую парикмахерскую», где главный цирюльник с заячьей губой предлагал помимо основных услуг еще и обрезание. Дилли жила в темных осыпающихся глубинах старого серого парсского дома, сплошь балкончики и завитушки, на Говалия-танк-роуд, за несколько домов от магазина Виджая, этого мистически-универсального торгового предприятия, где вы могли купить «время»,

служившее для полировки деревянной мебели, и «надежду», предназначенную для подтирания задницы. В семье Зогойби его называли магазином Джайи, прикидываясь, будто он назван в честь нашей бранчливой нянюшки мисс Джайи Хе, — она наведывалась туда покупать пакетики «жизни», содержавшие эвкалиптовые зубочистки, и «любви», которой она красила волосы… С колотящимся сердцем, испытывая прямо-таки экстаз, я входил в жилище Дилли, в эту маленькую квартирку, которая дышала обедневшим, но не лишившимся вкуса благородством. Стоявшее в гостиной пианино и фотографии на нем в серебряных рамках, изображавшие патриархов в фесках, похожих на перевернутые цветочные горшки, и кокетливую светскую красавицу, которая, как выяснилось, была не кто иная, как миссис Ормуз, — все это говорило о том, что семья знавала лучшие времена; как и эрудиция Дилли в области французского и латыни. Латынь я забыл, можно считать, напрочь, но то французское, что я помню, — язык, литературу, поцелуи, способы предохранения; влажные от пота радости cinq a sept [81] — всем этим, Дилли, я обязан тебе… Как

81 Примечания: 81
С пяти до семи вечера

бы то ни было, теперь двум женщинам приходилось зарабатывать частными уроками и шитьем покрывал. Это, возможно, объясняет, почему Дилли испытывала такой голод по мужчине и почему соблазнилась мальчиком-переростком; почему она вспрыгивала ко мне на колени, крепко обхватывала меня ногами и шептала, кусая мою нижнюю губу:

— Я очки сняла, ты понял, зачем? Затем, чтобы видеть только моего любимого, ничего кроме.

x x x

Она была моей первой любовницей, но думаю, что я не любил ее. Просто она заставила меня радоваться моему состоянию, радоваться внешней моей взрослости, опережавшей годы. Я был еще ребенком, но хотел ради нее нестись сквозь время со всей возможной скоростью. Ради нее я хотел быть мужчиной, настоящим мужчиной, а не симулякром, и если бы для этого потребовалось отдать еще больше из моего уже съежившегося жизненного промежутка, я с радостью согласился бы на эту сделку с дьяволом. Но когда после Дилли ко мне пришла настоящая любовь, великая и невозможная, как горько сетовал я на мой удел! С каким бешенством, с каким гневом тщился я

обуздать неумолимый галоп моих внутренних часов! Дилли Ормуз не поколебала во мне детской веры в собственное бессмертие — вот почему я так легкомысленно хотел поскорей распрощаться с детством. Но Ума, моя Ума, когда я любил ее, заставляла меня слышать шаги приближающейся Смерти, подобные ударам молнии; воистину мне был внятен тогда каждый свистящий взмах ее косы.

x x x

Я становился мужчиной в мягких, умелых, умных руках Дилли Ормуз. Но — здесь мне предстоит трудное признание, может быть, труднейшее из всех, сделанных до сих пор, -она была не первой притронувшейся ко мне женщиной. Так, во всяком случае, мне говорили, хотя должен отметить, что говорившая — мисс Джайя Хе, наша няня и жена одноногого Ламбаджана, державшая его под башмаком, — была лгунья и воровка.

В богатых семьях детей воспитывают бедные, и поскольку мои родители были с головой погружены в работу, я часто оставался в обществе одних лишь чоукидара и няни. И хотя мисс Джайя была цепкая, как коготь, хотя глаза ее были узкие, как клювы, а губы тонкие, как писк, хотя она была

острая, как лед, и властная, как не знаю что, — я был и остаюсь ей благодарным, потому что в свободное время она была бродячей птицей, любила путешествовать по городу с тем, чтобы ругать его, щелкать языком, поджимать губы и качать головой, глядя на его бесчисленные изъяны. В обществе мисс Джайи я ездил на трамваях и автобусах компании «БЕСТ» и, слушая ее сетования по поводу давки, втихую радовался всей этой спрессованной человечности, радовался людской близости, столь тесной, что никто не существовал отдельно и границы личности начинали размываться, — ощущение, которое испытываешь только в толпе или с любимой. С мисс Джайей я погружался в сказочный водоворот Кроуфордского рынка, чей фриз спроектировал отец Киплинга, где продавались живые и пластмассовые куры; с ней я входил в питейные заведения Дхоби Талао и посещал многоквартирные дома в трущобах Байкуллы (туда она брала меня в гости к своим бедным -лучше сказать, более бедным, чем она, — родственникам, которые, вконец разоряясь на пирожные и прохладительные напитки, принимали ее чуть ли не как королеву); с ней я ел

арбузы на причале Аполло Бандер и чаат [82] на морском берегу в Варли — и во все эти места с их горластыми обитателями, во все эти съедобные и несъедобные товары с их назойливыми продавцами, в неистощимый мой, избыточный Бомбей я влюбился беззаветно и на всю жизнь, как ни изощрялась мисс Джайя, давая волю своей неимоверной брюзгливости, изрекая осуждающие приговоры, не подлежащие обжалованию: «Дорогие больно!» (Куры). «Вонючий больно!» (Темный ром). «Ветхие больно!» (Трущобы). «Сухой больно!» (Арбуз). «Острый больно!» (Чаат).

И всегда, вернувшись домой, она смотрела на меня блестящими, возмущенными глазами и изрекала: «Ты, баба, счастливый больно у нас! В рубашке родился».

Однажды, на восемнадцатом году жизни — как раз, кажется, объявили чрезвычайное положение [83], — я пошел с ней на рынок Завери, где в маленьких, сплошь зеркально-стеклянных лавчонках, как обезьянки, сидели ювелиры, скупая и продавая на вес старое серебро. Когда мисс Джайя

---

82 Примечания: 82

Чаат — острое сухое лакомство.

83 Примечания: 83

Чрезвычайное положение в Индии было объявлено Индирой Ганди 26 июня 1975 г. и длилось до начала 1977 г.

вынула и протянула оценщику два массивных браслета, я тут же узнал в них материнские. Взгляд мисс Джайи пронзил меня, как копье; мой язык присох к небу, и я слова не мог вымолвить. Сделка вскоре была совершена, и мы вышли из лавки в круговерть улицы, где нужно было уворачиваться от тачек с кипами хлопка, завернутыми в джутовую мешковину и перетянутыми железной лентой, от передвижных лотков с бананами, манго, длинными рубахами, фотопленкой и ремнями, от кули с огромными корзинами на головах, от мотоциклистов, от велосипедистов, от внезапно открывшейся истины. Мы отправились домой, и только когда мы вышли из автобуса, няня заговорила со мной.

— Много всего больно, — сказала она. — В доме у нас. Всякого лишнего-ненужного. Я не отвечал.

— И людей, — сказала мисс Джайя. — Приходят. УХОДЯТ. Ложатся. Встают. Едят. Пьют. В гостиных. В спальнях. Во всех комнатах. Больно много народу.

Это, я понял, означало, что поскольку проконтролировать весь круг посетителей невозможно, никто никогда не сможет найти вора; если только я не проговорюсь.

— Ты молчать будешь, — сказала мисс Джайя,

выкладывая козырь. — Из-за Ламбаджана. Ради него.

x x x

Она была права. Я не мог предать Ламбаджана — ведь он научил меня боксировать. Он заставил сбыться пророчество моего потрясенного отца. Таким кулачищем ты кого угодно уложишь с одного удара.

В те дни, когда у Ламбаджана было две ноги и не было попугая, когда он еще не стал Долговязым Джоном Сильвером, он пускал в ход кулаки, зарабатывая добавку к скудному матросскому жалованью. В тех кварталах, где процветали азартные игры, где для затравки публике предлагали петушиные бои и потеху с медведями, он имел хорошую репутацию и получал приличные деньги, боксируя без перчаток. Вначале он хотел быть борцом, потому что в Бомбее борец мог стать настоящей звездой, как знаменитый Дара Сингх, но после ряда поражений он спустился в более грубый и примитивный мир уличных кулачных бойцов, где прослыл человеком, умеющим держать удар. У него был хороший послужной список; он потерял все зубы, но ни разу не был в нокауте.

Пока я был мальчиком, он раз в неделю приходил в сад «Элефанты», неся с собой длинные полосы ткани, которыми он обматывал мои левую и правую прежде, чем показать на свой небритый подбородок.

— Сюда, баба, — командовал он. — Сюда свою супербомбу сажай.

Так мы с ним обнаружили, что моя увечная правая -штука серьезная, что это рука-гиря, рука-торпеда. Раз в неделю я бил Ламбу в челюсть со всей силы, и сперва его беззубая улыбка как была на лице, так и оставалась.

— Бас? [84] — дразнил он меня. — Как перышком пощекотал. Мой попугай и то сильней бы врезал.

Через некоторое время, однако, он перестал улыбаться. Он по-прежнему подставлял челюсть, но теперь я видел, что он собирается для удара, призывает на помощь свои ресурсы боксера-профессионала… В мой девятый день рождения я нанес удар, и Тота шумно вспорхнул в воздух над распластанным на земле чоукидаром.

— Пюре из белых слонов! — проскрипел попугай, а я ринулся за садовым шлангом. Бедный Ламба лежал в отключке.

---

84 Примечания: 84

Бас — здесь: всего-то (хиндустани).

Придя в чувство, он опустил углы рта, изображая подчеркнутое уважение, потом сел и показал на свои окровавленные десны.

— Ударчик что надо, баба, — похвалил он меня. — Пора начинать учебу.

На ветку платана мы повесили наполненную рисом «грушу», и после незабываемых уроков Дилли Ормуз Ламбаджан дал мне свои уроки. Восемь лет мы с ним тренировались. Он научил меня стратегии боя и тому, что можно было бы назвать искусством поведения на ринге, будь у нас ринг. Он развил во мне чувство дистанции и особенно много внимания уделил защите.

— Не думай, что тебя ни разу не ударят, баба, и правая твоя тебе не поможет, когда в ушах птички зачирикают.

Ламбаджан был спарринг-партнер с уменьшенной, мягко говоря, подвижностью; но с каким поистине геркулесовым упрямством старался он компенсировать изначальную ущербность! Когда мы начинали работать, он отшвыривал костыль и принимался скакать по лужайке, как живая ходуля «пого».

Чем старше я становился, тем мощнее делалось мое оружие. Я начал невольно обуздывать себя, сдерживать силу удара. Я не хотел сшибать Лам-

баджана с ног слишком часто или бить слишком сильно. Я воображал, как чоукидар становится придурковатым, начинает заговариваться и забывать мое имя, и это заставляло меня бить слабей.

К тому времени, как мы с мисс Джайей пошли на рынок Завери, я был натренирован настолько, что Ламбаджан шепнул мне:

— Если хочешь настоящего боя, баба, шепни мне одно словечко.

Возможность и манила меня, и ужасала. Хватит ли пороху? Моя боксерская груша ведь сдачи давать не умела, а Ламбаджан был мой давний друг. Выскочит какой-нибудь двуногий верзила, кости и мышцы вместо риса и мешковины, и измолотит меня до полусмерти.

— Руки твои готовы, — сказал Ламбаджан, пожимая плечами. — Насчет нервов не знаю.

Разозлившись, я шепнул словечко, и мы в первый раз отправились в безымянные переулки центрального Бомбея. Ламба представил меня попросту как Мавра, и поскольку я пришел с ним, пренебрежительных замечаний было меньше, чем я ожидал. Но когда он объявил, что новому бойцу семнадцать с хвостиком, раздался громкий хохот, потому что всем зрителям было очевидно,

что я мужчина за тридцать, уже начинающий седеть, и что одноногий Ламба согласился тренировать меня только ради моего последнего шанса. Но помимо насмешек неожиданно послышались и возгласы одобрения:

— Может, он и ничего еще. Не молоденький, а какой красавчик.

Потом вышел мой противник, зверюга сикх с распущенными волосами и, по меньшей мере, с меня ростом, и кто-то небрежно сказал, что хотя парню только-только сравнялось двадцать, он уже угробил двоих в таких вот кулачных боях и его разыскивает полиция. Я почувствовал, что кураж мой иссякает, и посмотрел на Ламбаджана; он молча кивнул и плюнул на свое правое запястье. Я тоже плюнул на мою правую и шагнул навстречу боксеру-убийце. Он пошел прямо на меня, до краев полный самодовольства, поскольку считал, что с таким преимуществом молодости свалит старикана в два счета. Я представил себе мешок с рисом и вмазал. С одного удара он рухнул и провалялся на земле много дольше десяти секунд. Что касается меня — со мной случился астматический приступ такой силы, с такими задыханиями и градом слез, что, несмотря на победу, я усомнился в своих перспективах на

этом поприще. Ламбаджан, однако, отмахнулся от этих сомнений.

— Просто нервишки спервоначалу, — успокаивал он меня по пути домой. — Сколько раз я такое видал: парень после первого боя на землю валится, пена изо рта идет — неважно, выиграл или нет. Ты сам не знаешь, какое ты сокровище, -добавил он восторженно. — Не только убойный удар, но и ноги резвые. Плюс характер.

Даже синяка нет на теле, позже заметил он, и, что еще лучше, мы заработали целый ворох наличных денег, которые тут же поделили между собой.

Так что, конечно, я не мог наябедничать на жену Ламбы — их бы обоих уволили. Я не мог лишиться моего импресарио, человека, открывшего во мне дар… И когда мисс Джайя уверилась в своей власти надо мной, она стала пускать ее в ход открыто, воруя у меня на глазах и заботясь лишь о том, чтобы не делать этого слишком часто или слишком помногу, — то нефритовую шкатулочку, то золотую брошечку. Я видел, бывало, как Аурора и Авраам качают головами, обнаружив пропажу, но расчет мисс Джайи был верен: они с пристрастием расспрашивали слуг, но никогда не вызывали полицию, не желая ни отдавать свою

домашнюю челядь в нежные руки бомбейских органов правопорядка, ни отваживать от дома друзей. (А я задаюсь вопросом, не вспоминала ли Аурора свои давние мелкие хищения в доме на острове Кабрал, не вспоминала ли выброшенные в море статуэтки Ганеши? От «слишком много слонов» до «Элефанты» путь немалый; не увидела ли она в этих кражах упрек себе самой от себя юной, не почувствовала ли симпатию к неизвестному вору и солидарность с ним?)

В этот период краж мисс Джайя открыла мне тяжкую тайну моего младенчества. Мы с ней шли по Скандал-пойнт по ту сторону улицы от большого дома Чамчавала, и я, помнится, сделал замечание — чрезвычайное положение, надо сказать, только недавно вступило в силу — по поводу нездоровых отношений между госпожой Индирой Ганди и ее сыном Санджаем.

— Вся страна отдувается из-за проблем между матерью и сыном, — сказал я. Мисс Джайя, только что щелкавшая языком в знак неодобрения юной парочки, которая, взявшись за руки, шла по молу, теперь с отвращением фыркнула.

— Тебе в самый раз об этом судить, — сказала она. — Вся семейка. Извращенцы. Что сестры, что мать. Ты грудной был еще. Больно тошно.

Я не знал тогда и никогда не узнал, правду ли она говорит. Мисс Джайя Хе была для меня загадкой; она была настолько зла на свою горькую долю, что способна была на самую изощренную месть. Итак, допустим, это ложь, грязная ложь; но хочу открыть одну истину, пока я еще в настроении открывать истины. Я вырос с необычно вольным отношением к моему половому члену. Позвольте сообщить вам, что люди, бывало, хватали меня за него — да-да! — или иными способами, кто мягко, а кто настоятельно, требовали его услуг или указывали мне, как, где, с кем, каким образом и за сколько его использовать, и, как правило, я охотно слушался этих указаний. Это что, нормально? Думаю, не совсем, бегумы-сахибы… В других случаях этот самый член давал мне свои собственные указания и распоряжения, которые я тоже, как большинство мужчин, по возможности исполнял — с катастрофическими последствиями. Если мисс Джайя говорила правду, истоки такого поведения кроются в ранних ласках, на которые она столь мерзко намекала. Честно говоря, я вполне могу представить себе эти сцены, они не кажутся мне такими уж невероятными: мать забавляется с моим отросточком, пока кормит меня грудью,

или три сестры столпились у моей кроватки и по очереди тянут за смуглый хоботок. «Извращенцы. Больно тошно». Аурора, танцевавшая над толпами в день Ганапати, говорила о безграничности людской извращенности. Так что это могло быть. Могло. Могло.

О господи, что же у нас за семья такая была — как дружно все кидались в поток, несущийся к гибельному водопаду! Я говорил, что думаю об «Элефанте» тех дней как о рае, и это действительно так — но для постороннего человека мой дом куда больше мог смахивать на ад.

x x x

Не знаю, можно ли назвать моего двоюродного дедушку Айриша да Гаму посторонним человеком, знаю лишь то, что, когда в возрасте семидесяти двух лет он впервые в жизни приехал в Бомбей, он производил такое грустное и жалкое впечатление, что Аурора Зогойби узнала его только по бульдогу Джавахарлалу у его ноги. Единственным, что осталось от прежнего самодовольного денди-англофила, была некая ленивая избыточность речи и жестикуляции, которую я, непрестанно силясь обуздать крутящийся на удвоенной скорости проигрыватель моей жизни

и культивируя для этого в себе золотую медлительность, старался у него перенять. Он выглядел больным — глаза запавшие, небрит, истощен, — и я бы не удивился, если бы узнал, что к нему вернулся старый недуг. Но нет, он не был болен.

— Кармен умерла. — сказал он. (Пес тоже, конечно, был мертв, десятки лет прошли, как он издох. Но Айриш велел сделать из Джавки чучело, и к подушечкам его лап были прикреплены маленькие мебельные колесики, так что хозяин мог по-прежнему водить его на поводке.) Аурора сжалилась над ним и, отставив в сторону былые семейные дрязги, поселила его в самой роскошной гостевой комнате с самым мягким матрасом и одеялом, с самым лучшим видом на море и запретила нам хихикать над обыкновением Айриша разговаривать с Джавахарлалом, как будто он живой. В первую неделю двоюродный дедушка Айриш вел себя за столом очень тихо, словно бы не желая привлекать к себе внимание в опасении вызвать рецидив старой вражды. Ел он мало, хотя ему чрезвычайно нравились маринады «браганза» из лайма и манго, недавно буквально наводнившие город; мы старались на него не смотреть, но краем глаза видели, как старый джентльмен медленно поводит головой

из стороны в сторону, как будто что-то потерял.

Наезжая в Кочин, Авраам Зогойби изредка наносил короткие, вымученные визиты вежливости в дом на острове Кабрал, поэтому мы кое-что знали о поразительных событиях в этой почти отрубленной ветви нашей подверженной вечным ссорам семьи, и мало-помалу двоюродный дедушка Айриш рассказал нам эту печальную и красивую повесть во всех подробностях. Когда Траванкур-Кочин превратился в штат Керала, Айриш да Гама окончательно распрощался со своей тайной мечтой о том, что европейцы в один прекрасный день вернутся на Малабарский берег, и, удалившись от дел, ушел в затворничество, во время которого вопреки филистерству, которым отличался всю жизнь, взялся за чтение полного канона английской литературы, вознаграждая себя сливками старого мира за неаппетитные превратности истории. Моя двоюродная бабушка Кармен и Принц Генрих-мореплаватель, два других участника необычного домашнего треугольника, все больше и больше тяготевшие друг к другу, стали в конце концов закадычными друзьями и часто засиживались далеко за полночь, играя в карты по высоким, хоть и условным, ставкам. Спустя несколько лет Принц Генрих

достал тетрадку, где они записывали выигрыши, и полуулыбаясь, полусерьезно сказал Кармен, что она должна ему сумму, равную всему ее состоянию. Как раз тогда власть в штате перешла в руки коммунистов, о чем мечтал в свое время Камоинш да Гама, и акции Принца Генриха выросли параллельно с акциями нового правительства. Используя свои связи в кочинском порту, он выдвинул свою кандидатуру и с триумфом прошел в законодательное собрание штата фактически без всякой избирательной кампании. В тот самый вечер, когда он сообщил ей о своей новой должности, Кармен, взволнованная известием, вернула все свое потерянное состояние до последней рупии в покерном марафоне, кульминацией которого стал ее заключительный колоссальный выигрыш. Принц Генрих не раз говорил Кармен, что причиной ее неудач является неспособность вовремя свернуть игру, но на этот раз именно он был завлечен ею в ловушку; имея на руках четыре дамы, он взвинтил ставку до головокружительных высот, и, когда наконец она продемонстрировала ему своих четырех королей, он понял, что на протяжении всех этих проигрышных лет она тайком училась шулерскому искусству и что он пал жертвой самой

продолжительной жульнической комбинации за всю историю карточных игр. Вновь сделавшись бедняком, он зааплодировал ловкости ее рук.

— Бедным никогда не перехитрить богатых, поэтому в итоге они всегда проигрывают, — сказала она ему дружелюбно. Принц Генрих встал из-за карточного стола, поцеловал ее в макушку и с той поры посвятил всю свою деятельность, как во властных структурах, так и вне их, претворению в жизнь партийной образовательной программы, ибо только образование может помочь бедным опровергнуть вердикт Кармен да Гамы. И когда уровень грамотности в новообразованном штате Керала стал наивысшим в Индии — Принц Генрих сам зарекомендовал себя толковым учеником, — Кармен да Гама принялась издавать ежедневную газету, рассчитанную на широкие массы: на рыбаков в приморских деревушках, на рисоводов в селениях у заросших гиацинтами заводей. Она обнаружила в себе подлинный талант к практическому руководству, и газета приобрела огромную популярность в бедных слоях, к великому неудовольствию Принца Генриха, потому что, держась вроде бы нормальной левой линии, издание тем не менее уводило людей от партии, и когда в штате взяла верх антикоммуни-

стическая коалиция, Принц Генрих возложил за это вину на хитрый, змеиный листок Кармен не в меньшей степени, чем на политику центрального правительства.

В 1974 году бывший любовник Айриша да Гамы (их связь давно уже стала достоянием прошлого) отправился в Пряные горы в процветающий слоновий заповедник, куратором которого он сделался, — и там пропал. Услышав об этом в свой семидесятый день рождения, Кармен впала в истерику. Заголовки ее газеты, выросшие до гигантских размеров, кричали о грязной игре. Но доказательств не было; тело Принца Генриха так и не нашли, и спустя положенное время дело закрыли. Исчезновение человека, ставшего ее ближайшим другом и дружелюбнейшим противником, подкосило Кармен, и однажды ночью ей приснилось, что она стоит у озера, окруженного лесистыми холмами, и Принц Генрих манит ее к себе, сидя на диком слоне. «Никто меня не убивал, — сказал он ей. — Просто пора было сворачивать игру». Наутро Айриш и Кармен в последний раз сидели в своем саду на острове, и Кармен пересказала мужу сон. Поняв его смысл, Айриш опустил голову и не поднимал до той поры, пока не услышал, как разбилась, выпав из

безжизненных рук жены, чайная чашка.

x x x

Я пытаюсь представить себе, какое впечатление произвела «Элефанта» на двоюродного дедушку Айриша, когда он приехал с чучелом собаки и разбитым сердцем, в какое смятение повергла она его ослабевший дух. Как после отшельничества на острове Кабрал воспринял он ежедневное столпотворение chez nous [85], мощное "я" Ауроры, ее творческие запои, когда она скрывалась от нас на несколько дней кряду и выходила потом из мастерской сама не своя от истощения и усталости; моих трех сумасшедших сестер, Васко Миранду, нечистую на руку мисс Джайю, одноногого Ламбаджана с его Тотой, Дилли Ормуз с ее близорукой чувственностью? Как он воспринял меня?

Плюс постоянное мельтешенье художников, коллекционеров, галерейщиков, охотников до сенсаций, моделей, ассистентов, любовниц, голых натурщиц, фотографов, упаковщиков, торговцев драгоценностями, продавцов кистей и красок, американцев, бездельников, наркоманов,

---

85 Примечания: 85
Здесь: нашего дома (франц.).

профессоров, журналистов, знаменитостей и критиков, плюс бесконечные разговоры о «проблематичном Западе», о «мифе аутентичности», о «логике сновидения», о «томности» в обрисовке фигур Амантой Шер-Гил, об «экзальтации» и «инакомыслии» в работах Б. Б. Мукерджи, о «подражательном прогрессивизме» Соузы, о «кардинальной роли магического образа», о «притче», о соотношении «жеста» и «выявленного мотива», не говоря уже о жарких дискуссиях на темы «сколько», «кому», «персональная», «групповая», «в Нью-Йорке», «в Лондоне», плюс прибывающие и отбывающие вереницы картин, картин, картин… Ибо создавалось впечатление, что каждому художнику страны непременно нужно было совершить паломничество к дому Ауроры, чтобы показать свои работы и испросить ее благословения, — каковое дала она одному бывшему банкиру с его красочной «Тайной вечерей» в индийском стиле и в каковом, фыркнув, отказала одному бездарному саморекламщику из Нью-Дели, после чего пригласила его красивую жену-танцовщицу, с которой он приехал, на свой анти-ганапатийский ритуал и оставила художника наедине с его чудовищными полотнами… Не оказалась ли эта яркая избыточность слишком

уж избыточной для бедного старика Айриша? Если так, то не подтверждается ли этим наше предположение, что рай для одного может быть адом для другого?

Домыслы, и ничего больше. Истина заключалась отнюдь не в этом. Могу смело сказать, что двоюродный дедушка Айриш нашел в «Элефанте» не просто убежище. К своему и всеобщему изумлению он нашел там позднюю, нежную дружбу. Не любовь, пожалуй. Но все же «нечто». «Нечто», которое намного, намного лучше, чем «ничто», даже на склоне наших не слишком удавшихся лет.

Многие художники, являвшиеся, чтобы припасть к величественным стопам Ауроры, зарабатывали на жизнь другими профессиями и назывались у нас дома — перечислю лишь некоторых — Врач, Гинеколог, Радиолог, Журналист, Профессор, Сарангист [86], Драматург, Типограф, Музейщик, Джазист, Адвокат и Бухгалтер. Последний в этом списке — художник, который, несомненно, стал истинным творческим наследником Ауроры, — как раз и пригрел Айриша; тогда этому патлатому типу было лет

---

86 Примечания: 86
Саранги — индийский струнный инструмент.

сорок, и из-под его огромных очков со стеклами, размерами и формой напоминавшими два портативных телевизора, смотрели глаза столь невинные, что вы мигом начинали подозревать неладное. Понадобилось всего несколько недель, чтобы они с моим двоюродным дедушкой близко подружились. В тот год, который стал последним в его жизни, Айриш постоянно позировал Бухгалтеру и, думаю, стал его любовником. Картины теперь можно видеть в музеях, в первую очередь вспоминается необычайное полотно «Не всегда имеем, что желаем», 114x114 см, холст, масло, где показана людная бомбейская улица — возможно, Мухаммад-Али-роуд, — на которую с балкона второго этажа смотрит обнаженный Айриш да Гама, написанный в полный рост, стройный, как юный бог, но в каждой черточке своей фигуры несущий неисполненные, неисполнимые, невыраженные, невыразимые чаяния преклонного возраста. У ног его сидит старый бульдог; и — не знаю, возможно, мне просто чудится, что там, внизу, в толпе — да, да! — две крохотные фигурки на слоне с намалеванной у него на боку рекламой «Вимто» — может ли это быть? — да, несомненно, они! — Принц Генрих-мореплаватель и Кармен да Гама, машущие моему двоюродному дедушке,

чтобы тот поскорее шел к ним.

(Когда-то, давным-давно, были две фигурки в лодке, одна в свадебном платье, другая без, и была третья фигурка, одиноко лежащая в супружеской постели. Аурора обессмертила эту болезненную сцену; здесь, на картине Бухгалтера, те же три фигуры, несомненно, появились вновь. Только расположение их изменилось. Танец продолжился; превратился в танец смерти.)

Вскоре после завершения картины Айриш да Гама скончался. Аурора и Авраам совершили поездку на юг, чтобы похоронить его. Нарушив обычай тропиков, где людей поспешно препровождают к вечному сну, дабы их уход из мира не был отмечен смрадом, моя мать обратилась в «Похоронное бюро Махалакшми, части, т-во с огр. отв.» (девиз: «У-вас есть тело? Ну что ж, за дело!»), и Айриша перед путешествием обложили льдом, чтобы похоронить его на освященном семейном кладбище на острове Кабрал, где его сможет найти Принц Генрих-мореплаватель, если он когда-нибудь надумает спуститься на своем слоне с Пряных гор. Когда Айриш прибыл к последнему своему месту назначения и алюминиевый контейнер открыли, чтобы переложить его в гроб, он выглядел — так потом рассказы-

вала нам Аурора — «как большой лиловый кус мороженого». Брови у него заиндевели, и он был намного холодней, чем могильная земля.

— Ничего, дядюшка, — пробормотала Аурора во время похорон, на которых присутствовали только она и Авраам. — Там, куда ты отправляешься, тебя согреют в два счета.

Но это была всего-навсего беззлобная шутка. Прежние ссоры были давно забыты. Дом на острове Кабрал выглядел пережитком, анахронизмом. Даже комната, которую девочка-вундеркинд Аурора расписала во время своего «домашнего ареста», не вызвала у нее особенных чувств — ведь она много раз потом возвращалась к этим темам, варьируя на разные лады преследовавшие ее мифически-романтические мотивы, заставляя исторические, семейные, политические и фантастические образы тесниться и сталкиваться, подобно людям в толпе на вокзале Виктории или Черчгеит; возвращалась она и к своему особому видению Индии-матери, не деревенской мамаши в сентиментальном духе а-ля Наргис, но матери городов, столь же бессердечной и прельстительной, блистательной и мрачной, многоликой и одинокой, притягательной и отталкивающей, беременной и порожней, правдивой и вероломной,

как сам наш прекрасный, жестокий, неотразимый Бомбей.

— Мой отец думал, что я тут сотворила шедевр, — сказала она Аврааму, стоя с ним среди росписей. — Но видишь, это только первые шаги ребенка.

Аурора распорядилась, чтобы мебель в старом доме покрыли чехлами, а сам дом заперли. Она никогда больше не возвращалась в Кочин, и даже после ее смерти Авраам избавил ее от унизительного путешествия на юг в виде мороженой рыбы. Он продал старый дом, который после этого превратился в недорогую, постепенно ветшающую гостиницу для молодых туристов и для индийских ветеранов, приезжающих из Англии на скромную пенсию бросить последний взгляд на утраченный мир. В конце концов, кажется, дом рухнул. Жаль, что так случилось; но в то время я остался, думаю, единственным в нашей семье, кому было хоть какое-то дело до прошлого.

Когда умер двоюродный дедушка Айриш, все мы почувствовали, что настал поворотный момент. Ледяной, синий, он знаменовал собой конец поколения. Теперь пришла наша очередь.

x x x

Я решил больше не сопровождать мисс Джайю в ее вылазках в город. Но даже этого акта отстранения мне было недостаточно — память о рынке Завери продолжала кровоточить. В конце концов я пошел к воротам, где стоял Ламбаджан, и, жарко краснея от сознания, что я унижаю его, рассказал ему обо всем. Кончив, я посмотрел на него с трепетом. Ведь никогда раньше я не сообщал мужу, что его жена воровка. Может, он сейчас полезет драться за семейную честь, захочет убить меня на месте? Ламбаджан ничего не говорил, молчание, окутав его подобно облаку, распространялось вокруг, заглушая гудки такси, выкрики торговцев сигаретами, возгласы уличных мальчишек, игравших в битву воздушных змеев, обруч и «проскочи перед машиной», заглушая громкую музыку, доносившуюся из иранского ресторана «Извините», который находился чуть выше по Малабар-хиллу и был обязан своим неофициальным названием гигантской грифельной доске у входа, на которой было написано: Извините, у нас тут спертного не пьют,об адресах справок не дают, причисаться не заходят, гавядину не едят, не таргуются, не подают воды если не заказана

еда, журналы про политику и кино не продают, напитками не делятся, не курят, спичками и сигоретами не таргуют, по тилифону не звонят, свое не едят, про лошадей не говорят, долго не седят, не кричат, денег не разменивают, наконец, самое главное: громкость не уменьшают, так нам нравится и музыку не заказывают, милодии выбираем сами. Даже чертов попугай, казалось, с интересом ждал, что ответит чоукидар.

— В моем деле, баба, — сказал наконец Ламбаджан, — зевать не полагается. Один приходит с дешевыми камешками, наших женщин предостеречь надо. Другой несет плохие часы, ему от ворот поворот. Нищие, бадмаши, лафанги и все такое. Им тут нечего делать, вот работа моя. Стою, смотрю на улицу, если что — я тут как тут. Но теперь выходит, мне и на затылке нужны глаза.

— Ладно, забудь об этом, — сказал я смущенно. — Не сердись. Все в порядке.

— Ты, может, не знаешь, баба, что я человек богобоязненный, — продолжал Ламба, как будто не слыхал меня. — Стою, охраняю этот безбожный дом и ничего не говорю. Но у водоема Валкешвар и в храме Махалакшми, там мою простецкую рожу хорошо знают. Теперь мне надо идти с подношением к Господу моему Раме, чтобы он дал

мне еще пару глаз. А уши чтобы отнял, зачем мне такие пакости слушать?

После того, как я нажаловался ему на мисс Джайю, кражи прекратились. Ничего больше сказано не было, но Ламба сделал все, что нужно, и положил конец воровству. Подошло к концу и кое-что другое: Ламбаджан перестал меня тренировать, перестал скакать по лужайке на одной ноге, покрикивая: «Давай, давай, попугайчик, хочешь меня перышком пощекотать? Давай, лупи изо всех сил!» Больше он не предлагал отправиться со мной в переулок, где можно сразиться с самыми жестокими кулачными бойцами города. Решение вопроса о том, способны ли дыхательные трудности свести на нет мой природный боксерский талант, пришлось отложить на долгие годы. Наши с ним отношения стали крайне натянутыми и оставались таковыми до моего великого падения. А мисс Джайя Хе тем временем вынашивала план мщения, который ей вполне удалось провести в жизнь.

Так я проводил время в раю: наполненная жизнь, но лишенная дружбы. Не учась в школе, я тосковал по обществу сверстников; в этом мире, где внешность становится сущностью, где мы принуждены быть тем, чем кажемся, я быстро

превратился в почетного взрослого, с которым разговаривают и обращаются как с равным все без исключения, — в человека, изгнанного из своего мира. Как я мечтал о невинности — о детских играх в крикет на площади Кросс Майдан, о поездках на пляжи Джуху и Марве, о том, чтобы тянуть губы, передразнивая морских ангелов в аквариуме Тарапоревала, и сладко рассуждать с приятелями, каковы они могут быть на вкус; о шортах, о ремнях с пряжками в виде змеиной головы, о наслаждении фисташковым мороженым, о вылазках в китайские рестораны, о первых неумелых юношеских поцелуях; о воскресных утренних уроках плавания в Уиллингдон-клубе, где инструктор любил пугать учеников, укладываясь на дно бассейна и выпуская весь воздух из легких. Громадность окружающей ребенка жизни, ее могучие океанские гребни и провалы, ее союзы и предательства, ее мальчишеские восторги и беды -все это было мне заказано из-за моего роста и внешности. Моим уделом был рай искушенных. И все-таки я был там счастлив.

— Почему? Почему? Почему?

— Очень просто: потому что это был мой дом.

Да, я действительно был счастлив в диких зарослях его взрослых жизней, среди сестринских

невзгод и родительских странностей, которые воспринимались как вещи повседневные и обычные — и в некотором смысле воспринимаются так по сию пору, заставляя меня думать, что странна сама идея нормы, само представление о том, что у людей может быть нормальное, повседневное существование… Войдите в любой дом, хочу я возразить, и вы окажетесь в таком же жутком Зазеркалье, как наше. Возможно, так оно и есть; но может быть, этот взгляд составляет часть моей болезни, может быть, за этот — как бы сказать — извращенный диссидентский образ мыслей мне тоже надо благодарить матушку?

Мои сестры, наверно, сказали бы, что виновата она. О Ина, Минни, Майна моих давних лет! Как трудно им было тягаться с матерью! Они были красивы, но она была притягательней. Волшебное зеркальце на стене ее спальни никогда не отдавало пальму первенства более молодым. И она была умней, даровитей, могла пленить любого юного красавца, которого дочь осмелилась бы привести пред ее очи, могла опьянить его до такой степени, что девица лишилась бы малейших шансов; юноша, ослепленный моей матерью, в упор перестал бы видеть всяких там бедненьких Ини-Мини-Майни… Плюс еще ее

острый язык, плюс нежелание подставить плечо, чтобы можно было поплакаться, плюс долгие дни детства в сухих костлявых лапах мисс Джайи Хе… Аурора потеряла их всех, каждая из них нашла способ покинуть ее, хотя они любили ее страстно, любили сильнее, чем могла любить их она, любили крепче, чем, лишенные ее взаимности, чувствовали себя вправе любить себя самих.

Ина, наша старшая, от которой отвалилась половинка имени, была самой красивой из трех, но, боюсь, оправдывала данную ей сестрами кличку «Ина-дубина». На самом изысканном сборище в нашем доме Аурора, неизменно добрая и снисходительная мамаша, могла грациозно махнуть рукой в ее сторону и сказать гостям: «На нее только смотреть, говорить с ней бесполезно. У бедняжки с головой нелады». В восемнадцать лет Ина отважилась проколоть себе уши в ювелирном магазине братьев Джавери на Уорден-роуд и была, увы, вознаграждена за смелость инфекцией; мочки ее ушей вздулись гнойными опухолями, чему способствовало ее упрямство, заставлявшее ее вновь и вновь протыкать больные уши и вытирать гной. Дело кончилось курсом амбулаторного лечения в больнице, и весь этот прискорбный эпизод, длившийся три месяца, дал

матери новый повод для злых насмешек.

— Может, лучше было бы совсем их отрезать? — издевалась она. — Может, тогда что-нибудь бы там откупорилось? Потому что закупорка явная. Ушная сера там или не знаю еще что. Внешние формы — высший класс, но внутрь ничего не проходит.,

Неудивительно, что Ина и впрямь сделалась глуха ко всему, что говорила мать, и принялась соперничать с ней единственным, как она считала, доступным ей способом — используя свою внешность. По очереди она предлагала себя в качестве модели художникам-мужчинам из окружения Ауроры — Адвокату, Сарангисту, Джазисту, — и когда ее великолепная нагота являла себя в их мастерских во всем неотразимом блеске, гравитационное поле Ины немедленно их притягивало; подобно падающим с орбиты спутникам они обрушивались на ее мягкие холмы. После каждой победы она как бы случайно оставляла на виду у матери любовную записку или эротический набросок с натуры, как воин-апач, приносящий очередной скальп к вигваму вождя. Она вошла не только в мир искусства, но и в мир коммерции, став ведущей индийской манекенщицей и фотомоделью, украсив собой обложки таких изданий,

как «Фемина», «Базз», «Селебрити», «Патакха», «Дебонэр», «Бомбей», «Бомбшелл», «Сине блиц», «Лайфстайл», «Джентльмен», «Элеганца», «Шик», и соперничая славой с ярчайшими звездами «Болливуда». Ина стала безмолвной богиней секса, готовой показываться в самых что ни на есть эксгибиционистских костюмах, создаваемых молодыми бомбейскими модельерами новой формации, костюмах столь откровенных, что многие манекенщицы смущались и отказывались их носить. Не знавшая смущения Ина шла, покачивая бедрами, фирменной своей скользящей походкой и становилась королевой каждого показа. Ее лицо на журнальной обложке увеличивало спрос в среднем на треть; при этом она не давала интервью, отвергая все поползновения проникнуть в ее интимные тайны, как, например, цвет ее спальни, любимый киногерой или мотив, который она напевает, принимая ванну. Никаких автографов, никаких советов, как стать красивой. Она оставалась подчеркнуто отчужденной; с головы до пят девушка с Малабар-хилла, представительница высшего сословия, она позволяла людям думать, что позирует просто так, забавы ради. Молчание работало на ее шарм; оно заставляло мужчин, мечтая, достраивать ее

образ, заставляло женщин воображать себя в ее легких сандалиях или туфлях из крокодиловой кожи. В апогее чрезвычайщины, когда Бомбей жил почти обычной своей деловой жизнью, если не считать того, что все опаздывали на поезда, начавшие вдруг ходить по расписанию, когда бациллы общинного фанатизма распространялись подспудно и болезнь в гигантском городе еще не вспыхнула, — в это странное время Ина в результате опроса была признана первым образцом для подражания у молодых читательниц журналов, набрав вдвое больше голосов, чем госпожа Индира Ганди.

Но соперницей, которую она стремилась победить, была отнюдь не Индира Ганди, и все ее триумфы оставались бессмысленными, пока Аурора не брала наживку и не обрушивалась на дочь за распущенность и эксгибиционизм; пока наконец Ина не послала своей знаменитой матери эпистолярное доказательство связи — которая свелась, как потом выяснилось, к двум выходным дням в гостинице «Лорде сентрал» в Матеране — с Васко Мирандой. Это сработало. Аурора вызвала к себе старшую дочь, обозвала шлюхой и нимфоманкой и пригрозила выкинуть ее на улицу.

— Не беспокойся, — ответила Ина гордо. — Я

тебя избавлю от хлопот. Сама уйду.

Не прошло и суток, как она сбежала в Америку — в Нэшвилл, штат Теннесси, в столицу музыки «кантри» — с молодым плейбоем, который был единственным наследником остатков семейного состояния Кэшонделивери после того, как Авраам выкупил дело у его отца и дяди. Джамшеджи Джамибхой Кэшонделивери снискал себе славу в ночных клубах Бомбея под псевдонимом «Джимми Кэш» как поставщик музыкальной продукции в стиле, который он называл «восточным кантри», — то есть гнусаво-гитарных песен о ранчо, поездах, любви и коровах в специфическом индийском варианте. И вот они с Иной рванули на простор, на родину стиля «кантри» — людей посмотреть, себя показать. Она взяла сценический псевдоним Гудди -то есть Куколка — Гама (использование, хоть и в сокращенной форме, материнской фамилии указывает на то, что Аурора продолжала влиять на мысли и дела дочери); и произошло еще кое-что. Ина, чья немота стала легендарной, вдруг разинула рот и запела. Она возглавила ансамбль, в который вошли еще три певички-аккомпаниаторши и который, несмотря на лошадиные ассоциации, она согласилась назвать «Но-но-Джимми».

Через год Ина с позором вернулась домой. Ее вид ужаснул нас всех. Встрепанная, с грязными волосами и прибавившая семьдесят с лишним фунтов — Гама-то Гама, но теперь уже никакая не Куколка! В аэропорту при возвращении долго не могли поверить, что она и есть молодая женщина на фотографии в паспорте. С браком ее было покончено, и хотя, по ее словам, Джимми оказался чудовищем и «вы представить себе не можете, что он вытворял», мало-помалу выяснилось, что ее нарастающий эксгибиционизм и сексуальная всеядность в отношении голосистых поддельных ковбоев не нашли должного понимания у морализирующих теннессийских арбитров, решающих судьбы певцов, а также, разумеется, у ее мужа Джамшеда; вдобавок ко всему в ее голосе, когда она пела, неискоренимо звучал предсмертный писк удушаемой гусыни. Она тратила деньги с такой же свободой, с какой налегала на произведения американской кухни, и ее припадки ярости усиливались пропорционально габаритам ее тела. В конце концов Джимми дал от нее деру и, бросив «восточное кантри», взялся изучать право в Калифорнии.

— Помогите мне его вернуть, — умоляла она нас. — У меня есть план.

Родной дом — это место, куда ты всегда можешь вернуться, сколь бы ни были болезненны обстоятельства твоего ухода. Аурора не стала поминать разрыв длиною в год и заключила блудное дитя в объятия.

— Мы призовем этого подлеца к порядку, — утешала она плачущую Ину. — Только скажи, чего ты хочешь.

— Я хочу, чтобы он приехал, — рыдала она. — Если он будет думать, что я умираю, он, конечно, приедет. Отправьте ему телеграмму, что у меня подозревают… ну, не знаю. Что-нибудь не заразное. Сердечный приступ.

Аурора с трудом подавила улыбку.

— Может, лучше, — предложила она, обнимая непривычно дородную дочь, — какая-нибудь истощающая болезнь?

Ина не уловила насмешки.

— Что ты, мама, — проговорила она в Аурорино плечо. — Я не сбавлю вес так быстро. Не говори глупостей. Напишите ему, — ее лицо озарилось светом, — рак.

x x x

Теперь о Минни: в год, когда Ина была в Америке, она нашла свой собственный спасительный

путь. С сожалением должен сообщить вам, что наша милая Инамората, самая кроткая из женщин, ощутила в тот год «амор» не к кому иному, как к самому Иисусу из Назарета; к Сыну Человеческому и его Пресвятой Матери. Минни-мышка, которую так легко было повергнуть в смятение, которую наше домашнее разнузданное битничество то и дело заставляло в ужасе охать, ахать и закрывать рот ладонью, наша глазастая невинная мини-Минни, учившаяся на сестру милосердия у монахинь на Алтамонт-роуд, заявила о своем желании променять Аурору, мать свою по плоти, на Марию Благодатную, Матерь Божью, стать не сестрой, а Сестрой и пребывать отныне не в «Элефанте», а — в чьем же доме, в чьей же любви?

— Христа! — злобно кричала Аурора, которую я в первый раз видел такой рассерженной. — Вот, значит, как ты нам за все отплатила!

Минни залилась краской, и видно было, что она хочет одернуть мать, чтобы та не произносила имя Господа всуе, -но вместо этого она до крови закусила губу и отказалась принимать пищу.

— Пусть себе умирает, — сказала Аурора упрямо. — Лучше труп, чем монашка.

Шесть дней маленькая Минни не пила и не ела и наконец начала проваливаться в забытье,

все больше и больше сопротивляясь попыткам вернуть ее к жизни. Под давлением Авраама Аурора сдалась. Мне редко доводилось видеть мать плачущей, но на седьмой день она все-таки заплакала, исторгая слезы в отрывистых, судорожных рыданиях. Была вызвана сестра Иоанна из монастыря Девы Марии Благодатной -та самая сестра Иоанна, которая принимала все роды моей матери, — и она явилась, исполненная спокойной властности королевы-победительницы, словно Изабелла Испанская, вступающая в Альгамбру после капитуляции мавра Боабдила. Это была не женщина, а грузный старый корабль с белыми парусами вокруг головы и колышущимися волнами плоти под подбородком. Все в ее облике приобрело в тот день символический смысл; она была судном, на котором наша сестра должна отправиться в дальнее плавание. На верхней губе у нее была большая бородавка, похожая на узловатый пень и символизировавшая неподатливость истинной веры, а торчавшие оттуда жесткие стрелы волос указывали на муки, которые суждено испытывать в этом мире христианину.

— Благословен будь дом сей, — сказала она, — ибо отсюда невеста идет ко Христу.

Аурора Зогойби должна была употребить все

свои силы, чтобы сдержаться и не прикончить ее на месте.

Так Минни стала послушницей, и когда она пришла к нам в костюме Одри Хепберн из «Истории монахини», слуги окрестили ее — как бы вы думали? — Минни мауси. То есть мамочка; но было в самом звучании прозвища что-то неприятно-мышиное, словно диснеевские фигуры, нарисованные Васко Мирандой на стенах нашей детской, были каким-то образом в ответе за метаморфозу моей сестры. К тому же эта новая Минни, эта сдержанная, отстраненная, прохладная Минни с улыбкой Моны Лизы и набожным свечением устремленных в вечность глаз стала мне настолько же чужой, как если бы она перешла в иной биологический вид; стала ангелицей, марсианкой, двумерной мышкой. Ее старшая сестра, однако, вела себя так, будто в их отношениях ничто не изменилось, будто Минни, хоть она и завербовалась в армию другого государства, все равно обязана исполнять приказы Большой Сестры.

— Поговори с твоими монашками, — велела ей Ина. -Пусть положат меня к себе в лечебницу. — (Монахини на Алтамонт-роуд специализировались на двух противоположных концах

человеческой жизни, облегчая людям вхождение в этот грешный мир и выход из него.) — Мне в каком-нибудь таком месте надо быть, когда мой Джимми вернется.

Почему мы это сделали? Ведь мы все, должен вам сказать, участвовали в заговоре Ины; Аурора отправила «канцерограмму», Минни уговорила сестер на Алтамонт-роуд войти в положение и выделить Ине место, доказывая, что все, способное спасти высокую святыню брака, чисто в очах Господа. Телеграмма сработала, и, когда Джамшед Кэшонделивери прилетел в Бомбей, обман продолжился. Даже младшая сестра Майна, самый крепкий орешек из трех, недавно вступившая в бомбейскую коллегию адвокатов и появлявшаяся дома все реже и реже, — даже она не осталась в стороне.

Что же мы были за племя такое своевольное — мы, да Гама-Зогойби, — каждому непременно нужно было пойти не туда, куда шли все, застолбить свой собственный участок. После Авраамова бизнеса и Аурориной живописи — Инина профессионализация своей сексапильности и монашество Минни. Что касается Филомины Зогойби — от «Майны» она избавилась, как только смогла, и давно уже ничем не

напоминала чудо-девочку, подражавшую птичьему щебету, хотя мы с семейным упрямством продолжали бесить ее ненавистным прозвищем всякий раз, когда она наведывалась домой, — она сделала своей профессией то, к чему должна прибегнуть всякая младшая дочь, чтобы добиться внимания к себе; а именно, протест. Получив звание адвоката, она тут же заявила Аврааму, что вступила в радикальную чисто женскую группу, включающую в себя юристок, киножурналисток и активисток иного профиля, чья цель — разоблачение двойной аферы с невидимыми людьми и невидимыми небоскребами, на которой он так сказочно обогатился. Она смогла привлечь Кеке Колаткара и его приспешников из муниципальной корпорации к суду, этот знаменательный процесс длился долгие годы и потряс построенное Ф. У. Стивен-сом старое здание корпорации (— Когда построенное? -Давно. В старые времена.) до основания. В конце концов ей удалось засадить старого мерзавца Кеке за решетку; Авраам Зогойби, однако, к ярости его дочери, избежал подобной участи, поскольку после переговоров с налоговыми службами суд предложил ему соглашение. Он с улыбкой уплатил крупную сумму штрафа, дал свидетельские показания против

своего бывшего дружка, был взамен освобожден от судебного преследования и несколько месяцев спустя купил за бесценок великолепную «башню К. К.» у разваливающейся компании недвижимости, принадлежавшей осужденному политикану. И еще одно поражение потерпела Майна: хотя она смогла доказать существование невидимых зданий, ей не удалось этого в отношении невидимых рабочих, чьими руками они были возведены. По-прежнему считаясь фантомами, эти люди перемещались по городу как тени, но это были такие тени, которые поддерживали жизнедеятельность Бомбея — строили для него дома, доставляли ему товары, вычищали его испражнения, а потом просто и жутко подыхали, каждый в свой черед, незримо, испуская из призрачной глотки нереальную кровь посреди более чем реальных, равнодушных улиц подлого города.

Когда Ина легла в монастырскую лечебницу на Алтамонт-роуд и стала ждать возвращения Джимми Кэша, Филомина своим посещением сестры удивила нас всех. В то время повсюду звучала песня Лори Превин — до нас ведь многое доходит с опозданием, — в которой она с упреком спрашивала любимого, почему он готов бежать

на край света за каждой незнакомкой, а с ней жить не хочет… О нашей Филомине мы думали во многом так же. Вот почему ее забота о бедной Ине была так неожиданна.

Почему мы это сделали? Думаю, потому, что понимали, что в ней лопнула какая-то жилка, что она пытается использовать свой последний шанс. Потому, что всегда знали, что, хотя Минни самая миниатюрная, а Майна самая юная, именно Ина самая уязвимая из трех, что, оставив ей только половинку имени, родители обрекли ее на полусуществование, что все эти годы со своей нимфоманией и прочим она потихоньку сходила с ума. А теперь она уже тонула, и последней из соломинок, каковыми для нее всегда были мужчины, стал не бог весть какой блестящий Джимми Кэш.

Майна предложила встретить Джамшеда Кэшонделивери в аэропорту, доказывая, что с новоиспеченным студентом-юристом именно ей легче будет наладить контакт. Джамшед выглядел очень напуганным и очень юным, и по дороге в город, чтобы завязать разговор, она принялась рассказывать о своей деятельности, о «борьбе против фаллократии», о расследовании тайн невидимого мира и о попытках их жен-

ской группировки опротестовывать в судебном порядке прелести чрезвычайного положения. Она распространялась об охватившей большую часть страны атмосфере страха и о необходимости борьбы за демократию и права человека. «Индира Ганди, — заявила она, — потеряла право называться женщиной. Она втихомолку отрастила себе член». Целиком поглощенная тем, что было для нее важно, и убежденная в правоте своего дела, она не заметила, что Джимми Кэшу все больше и больше становится не по себе. Он не был большим интеллектуалом — учеба на юридическом шла у него со скрипом, — и, что еще более важно, в нем не было ни капли политического радикализма. Так что именно Майна начала путать Инины карты. Когда она сообщила ему, что она и ее сподвижницы со дня на день ожидают ареста, он всерьез начал думать, не спрыгнуть ли ему на ходу с машины и не рвануть ли обратно в аэропорт, пока знакомство с неблагонадежной свояченицей не вышло ему боком.

— Ина умирает от желания вас видеть, — сказала Майна в конце своего монолога и тут же густо покраснела, поняв свою оплошность. — Нет, не умирает, конечно, — судорожно поправилась она, испортив все еще больше. Воцарилась тиши-

на. — Ладно, черт, вот мы и приехали, — сказала она чуть позже. — Сейчас сами все увидите.

Минни поджидала их у дверей монастырской лечебницы, еще больше обычного похожая на Одри Хепберн, и пока они шли в палату, где маялась округлившаяся, как воздушный шар, Ина, она говорила о проклятии, адском пламени и супружеской верности до гробовой доски голосом одновременно серафическим и режущим, как осколок стекла. Джимми попытался ей втолковать, что они с Иной не заключали настоящего, священного, не разливаемого водой союза, что всего-навсего у них было пятидесятидолларовое гражданское бракосочетание на скорую руку в стиле «кантри» с полуночной церемонией в заведении «Совет да любовь» в Рино, штат Невада, что они поженились не под старинные или современные гимны, а под музыку Хенка Уильямса-старшего, стоя не у алтаря, а у «окрутежного столба»; что вместо священника был верзила в сомбреро, у которого на каждом боку висело по шестизарядному «кольту» с перламутровой ручкой, и что в тот самый миг, когда их объявили мужем и женой, ковбой в кожаных штанах наездника родео и шейном платке в горошек подкрался к ним сзади и с громогласным «Эгей!»

накинул на обоих и крепко стянул лассо, прижав к груди Ины свадебный букет желтых роз. Шипы оцарапали ее до крови.

Эти атеистические отговорки не произвели впечатления на мою сестру.

— Разве вам не ясно, — заявила она, — что этот пастух был посланцем Господа?

Разговор с Минни только усилил в нем желание бежать без оглядки, которое было возбуждено монологом Майны; затем, должен признать, непроизвольно внес свою лепту и я. Пока Минни и Джимми шли к палате Ины, я стоял в коридоре, прислонившись к стене, и мечтал. Когда перед моим мысленным взором появился молодой верзила-сикх, прущий на меня в забитом людьми переулке, я машинально плюнул на мою деформированную правую. Джамшед Кэшонделивери в страхе попятился, чуть не сбив с ног шедшую следом Майну, и тут я понял, что выгляжу как брат-мститель, вставший во весь свой гигантский рост, чтобы расправиться с мерзавцем, причинившим его сестре такие страдания. Я поднял руки к груди, чтобы протянуть их ему в знак дружелюбия, но ему показалось, что я принял боксерскую стойку, и он ринулся в палату, как ошпаренный, с выражением чистейшего ужаса

на лице.

Он резко затормозил, едва не налетев на саму Аурору Зогойби. Ина, лежавшая в постели за спиной у матери, издала серию охов и стонов; но Джимми смотрел только на Аурору. Блестящей женщине было в то время уже за пятьдесят, но годы лишь добавляли ей очарования; он застыл перед ней, как животное, попавшее в ослепительный свет надвигающихся фар, она безмолвно просквозила его мощным лучом взгляда и обратила в своего раба. Потом, когда трагифарс кончился, она признала, что не должна была этого делать, что ей следовало отойти в сторону и дать рассорившимся супругам шанс самим наладить свою непутевую жизнь.

— Теперь уже ничего не попишешь, — сказала она мне (я в этот момент ей позировал, и она рассуждала за работой). -Я просто хотела проверить, сможет ли такая старая клуша, как я, остановить молодого парня на полном ходу.

«Ничего не могла с собой поделать, — имела в виду моя скорпионка-мать. — Такова моя природа».

Ина, заслоненная Ауророй, стремительно теряла контроль над собой. Согласно разработанному ею отчаянному плану, она должна была убедить

Джимми в призрачности ее шансов на выздоровление, в том, что рак распространяется на весь организм, что он зловреден и проникающ, что затронуты лимфатические узлы и лечение, похоже, запоздало. Когда он в раскаянии припадет к ее ногам, она помаринует его несколько недель, делая вид, что проходит курс химиотерапии (ради любви она готова была голодать, пошла бы даже на то, чтобы истончились волосы). Наконец она объявила бы о своем чудесном исцелении, и они счастливо зажили бы вместе. Все эти расчеты перечеркнуло идиотское восхищение, с каким ее муж уставился на свою тещу.

В этот момент паническая тяга Ины к нему перешла в форменное безумие. Потеряв голову, она форсировала события, чем совершила непоправимую ошибку.

— Джимми, — вскрикнула она, — Джимми, это чудо, чудо! Ты приехал, и я уже здорова, я знаю, я чувствую, клянусь тебе, пусть сделают анализы, и ты увидишь! Джимми, ты меня спас, Джимми, только ты мог это сделать, это сила любви.

Тут он пристально на нее посмотрел, и всем нам видно было, как с его глаз спадает пелена. Он взглянул на каждого из нас по очереди, и ему стали ясны как день все наши уловки, стала ясна

правда, которую мы не могли больше скрывать. Несчастная Ина застонала и едва не лопнула от отчаяния.

— Ну и семейка, — сказал Джамшед Кэшонделивери. — Я диву даюсь. Абсолютно сдвинутые.

Он вышел из монастырской лечебницы, и они с Иной никогда больше не виделись.

x x x

Прощальный выпад Джимми оказался пророческим: унижение Ины знаменовало непоправимый сдвиг в нашей семейной истории. С того самого дня и весь последующий год она пребывала в состоянии помешательства, фактически впала в детство. Аурора поместила ее в расписанную Васко детскую, откуда она — как и все мы — некогда вышла; когда безумие усилилось, на нее стали надевать смирительную рубашку и стены обили мягким материалом, но Аурора ни в какую не хотела отправлять ее в психиатрическую больницу. Теперь, когда было уже поздно, когда Ина сошла с катушек, Аурора сделалась самой нежной матерью на свете — кормила дочь с ложечки, обмывала ее, как малое дитя, обнимала и целовала, как не обнимала и не целовала ее здоровую, дарила ей такую любовь, которая,

будь она предложена вовремя, могла бы дать Ине силы противостоять катастрофе, помутившей ее рассудок.

Вскоре после отмены чрезвычайного положения Ина умерла от рака. Внезапно развившаяся лимфома сожрала ее тело, как нищий — дармовое угощение. Только Минни, окончившая свой период послушничества и родившаяся заново как сестра Флореас — «Цветочно-фонтанное имя», фыркнула Аурора с презрением и тоской, — отважилась сказать вслух, что Ина накликала себе болезнь, что она сама избрала свою судьбу. Аурора и Авраам никогда не говорили о смерти Ины, почтив эту смерть молчанием, которое в свое время помогло их дочери стать знаменитой красавицей, а теперь стало безмолвием могилы.

Итак, Ина была мертва, Минни жила в монастыре, а Майну на короткое время посадили в тюрьму; ее арестовали в самом конце периода чрезвычайного положения, но вскоре, когда госпожа Ганди проиграла выборы, выпустили с изрядно упрочившейся репутацией. Аурора хотела сказать младшей дочери, как она ею горда, но каким-то образом не представилось случая, каким-то образом холод и резкость в обращении Филомины Зогойби с родными помешали матери

сказать ей о своей любви. Майна была в «Элефанте» редкой гостьей; оставался я.

x x x

Тектонический сдвиг нашего мира лишил нас еще одного человека. Дилли Ормуз была уволена. Мисс Джайя Хе, которую из нянь произвели в экономки, воспользовалась новым положением, чтобы совершить последнюю свою кражу. Из мастерской Ауроры она стащила три наброска углем, изображавшие меня маленького, на которых моя увечная рука претерпела чудесные превращения, став попеременно цветком, кистью художника и мечом. Мисс Джайя отнесла наброски к Дилли домой и сказала, что это подарок от «молодого сахиба». Потом нашептала Ауроре, что видела, как учительница их своровала, «и прошу прощения, бегум-сахиб, но отношение этой женщины к нашему мальчику не сказать, чтобы нравственное». В тот же день Аурора отправилась к Дилли, и рисунки, которые, заслоняя семейные портреты, стояли у милой женщины на пианино в серебряных рамках, мать сочла достаточным доказательством ее вины. Я пытался защитить Дилли, но если уж Аурора на кого-то имела зуб, никакая сила не могла ее смягчить.

— Так или иначе, — сказала она, — ты уже для нее слишком взрослый. Все, что мог, ты от нее взял.

Уволенная Дилли отвергла все мои поползновения — телефонные звонки, письма, цветы. Наконец я пришел к ее дому у магазина Виджая, но она меня не впустила, — лишь приотворила дверь и отказалась дать мне дорогу. Длинная полоса ее платья, непреклонный подбородок и близорукое морганье — вот и вся награда, какую я получил за мое потное путешествие.

— Иди своей дорогой, бедный ты мальчик, — сказала она. -Желаю тебе счастья на твоем трудном пути.

Такова была месть мисс Джайи Хе.

13

Большая серия картин Ауроры Зогойби, объединенных темой «мавра», отчетливо делится на три периода: «ранний», от 1957 до 1977 года, то есть от года моего рождения до года смерти Ины и выборов, лишивших власти госпожу Ганди; «величественный», или «высокий», от 1977 до 1981 года, когда были созданы ярчайшие, глубочайшие работы, с которыми имя моей матери связывают теперь в первую очередь; и, наконец, «темный», полотна которого, написанные после моего ухода из дома, отмечены печатью изгнанничества и отчаяния и включают в себя ее последний не оконченный и не подписанный шедевр — «Прощальный вздох мавра» (170x247 см, холст, масло, 1987 г.), в котором она, изобразив трагический миг изгнания Боабдила из Гранады, впервые с полной прямотой выразила свой взгляд на меня, ее единственного сына. В этой картине, при ее гигантских размерах предельно лаконичной и обнажающей суровые сущности, все сделано для того, чтобы выделить центральное лицо, лицо султана, из которого ужас, слабость, утрата и боль изливаются как сама кромешная тьма, лицо

человека в состоянии экзистенциальной муки, заставляющее вспомнить работы Эдварда Мунка. Эта вещь чрезвычайно далека от сентиментальной трактовки той же темы Васко Мирандой; но она тоже несет в себе тайну, эта «пропавшая картина», — и поразительно, что оба полотна, написанные Васко и Ауророй на одну тему, исчезли спустя несколько лет после смерти матери: одна была украдена из частной коллекции С. П. Бхаба, другая — прямо из галереи «Наследие Зогойби»! И еще, джентльмены и джентльменши: позвольте мне для вящей занимательности поведать вам, что в этой картине Аурора Зогойби в свои неспокойные последние дни скрыла пророчество о собственной смерти. (Судьба Васко, кстати, тоже переплетается с историей этих холстов.)

Записывая воспоминания о моей роли в материнских работах, я, естественно, понимаю, что человек, становящийся моделью для произведения искусства, может дать в лучшем случае субъективную, а зачастую болезненную или даже злобную трактовку произведения, на которое он слишком долго смотрел с изнаночной стороны. Что способен сказать кусок презренной глины о руках, придавших ему форму? Разве что: «Я там был». За годы позирования я тоже создал некий

портрет моей матери. Она смотрела на меня, я — на нее.

Я видел перед собой высокую женщину в заляпанной краской домотканой курте [87], доходящей до середины икр, поверх темно-синих широких парусиновых брюк, босиком, с кистями, торчащими во все стороны из собранных в пучок седых волос и превращающими ее в некую пародию на мадам Баттерфляй, исполняемую Кэтрин Хепберн или — да, да! — Наргис в какой-нибудь комической индийской версии, «Титли-бегум» [88] или вроде того: уже далеко не юную, уже не разряженную и не накрашенную и, само собой, вовсе не озабоченную отсутствием какого-то там Пинкертона. Она стояла передо мной в самой непритязательной из мастерских, где не было даже удобного стула, не говоря уже о кондиционере, так что в комнате было жарко и влажно, как в дешевом такси, и лишь под потолком вяло вращался вентилятор. Аурора всегда выказывала полнейшее пренебрежение к внешним условиям; так же, естественно, должен был вести себя я. Я сидел в указанном месте, в указанной позе и

---

87 Примечания: 87
Курта — свободная минная рубаха.

88 Примечания: 88
Титли-бегум — госпожа Бабочка (хиндустани).

взял за правило никогда не жаловаться на боли в моих тем или иным образом расположенных членах, пока мать не догадывалась спросить, нужно ли сделать перерыв. Выходит, частичка ее легендарного упорства, ее сосредоточенности, просочившись сквозь холст, перешла ко мне.

Меня единственного из детей она кормила сама. И это было существенно: хоть я и получил свою долю ее злоязычия, все же ее влияние на меня было менее разрушительным, чем на моих сестер. Может быть, сердце ее смягчилось из-за моего «недомогания», которое она никому не позволяла называть болезнью. Врачи давали моему несчастью то одно, то другое ученое имя, но когда мы, художница и модель, сидели у нее в мастерской, Аурора постоянно твердила мне, что я должен считать себя не жертвой неизлечимого преждевременного старения, а чудо-ребенком, путешественником во времени.

— Только четыре с половиной месяца в утробе, — напоминала она мне. — Дитя мое, у тебя просто получился очень быстрый разгон. Может, ты сорвешься с орбиты и махнешь из этой жизни в другое пространство-время. Может — кто знает? — в лучшее, чем наше.

В этих словах она ближе всего подошла к ве-

ре в жизнь после жизни. Возможно, принимая подобные гипотезы, она пыталась бороться со страхом, как ее, так и моим: представляла мой жребий как привилегию, подавала меня мне самому и окружающему миру как существо необычное, значимое, как сверхъестественную Личность, принадлежащую не этому месту и не этому времени, Личность, чье присутствие здесь накладывает отпечаток на жизнь окружающих и нынешнюю эпоху.

Что ж, я ей верил. Я нуждался в утешениях и рад был довольствоваться тем, что мне предлагали. Я ей верил, и это помогало. (Когда я узнал о лишней ночи в Дели после отказа от «Лотоса», я подумал, не пытается ли Аурора прикрыть супружескую неверность; но нет, вряд ли это было так. Мне кажется, она хотела силой материнской любви сделать мою полужизнь целой жизнью.)

Она кормила меня, и первые «мавры» были сделаны, пока я нежился у ее груди, — наброски углем, акварели, пастели и наконец большая работа маслом. Аурора и я достаточно кощунственно представляли там безбожную мадонну с младенцем. Моя увечная рука, ослепительно засияв, стала единственным источником света на картине. Ткань свободного платья Ауроры,

ниспадая складками, давала контрастную светотень. Небо над нами было цвета электрик. Может, на что-то в подобном роде рассчитывал Авраам Зогойби почти десять лет назад, подряжая Васко писать ее портрет; но нет, конечно, это полотно превосходило все, что Авраам когда-либо мог вообразить. Оно раскрывало истину об Ауроре, говоря о ее способности к сильной и беззаветной страсти, равно как и о ее привычке к самовозвеличению; оно показывало всю серьезность, всю глубину ее распри с миром, показывало ее решимость возвыситься над его несовершенствами, искупить их средствами искусства. Трагедия облеклась в одежды фантазии и была явлена глазу в ярчайшем освещении и роскошнейшей колористической гамме; это был настоящий самоцвет мифотворчества. Она назвала картину «Свет, освещающий тьму» [89].

— А почему бы и нет? — пожала она плечами, когда в числе прочих к ней обратился за разъяснениями Васко Миранда. -Мне, может, интересно делать религиозные вещи для безбожников.

— Тогда пусть у тебя всегда будет наготове билет до Лондона, — посоветовал он ей. — Потому

---

89 Примечания: 89
Аллюзия на евангельские слова (от Иоанна, 1, 5).

что в этой свихнувшейся на богах дыре никогда не знаешь, когда нужно будет рвать когти.

(Но Аурора над этим советом только посмеялась; под конец уехал из них двоих именно Васко.)

Пока я рос, она постоянно использовала меня как модель, и это постоянство тоже было знаком любви. Неспособная замедлить мои «обороты», она взамен переносила меня на холст, делясь со мной своим собственным бессмертием. Поэтому позвольте мне радостно воспеть ее на манер псалмопевца, ибо она была добра. Ибо вовек милость ее… И если мне предложат возложить перст — верней, всю уродливую от рождения кисть руки — на источник моей веры в подтверждение того, что несмотря на скорый рост, увечье и отсутствие друзей я провел счастливое детство в раю, я в конечном итоге сделаю это, я скажу, что радость моей жизни родилась в нашем сотрудничестве, в близости этих сеансов, когда она говорила со мной обо всем на свете, говорила ровным тоном, как на исповеди, о том, что было у нее на уме и на сердце.

Я узнал среди прочего, как она влюбилась в отца; узнал о великой чувственности, обуявшей моих родителей в один давний день в эрнаку-

ламском товарном складе, когда их бросило друг к другу и невозможное стало возможно. Больше всего я любил в родителях эту их страсть друг к другу, вернее, то, что она была у них когда-то (хотя с течением лет все трудней и трудней было разглядеть молодых пылких любовников в этих все более далеких друг от друга супругах). И, зная об их былой любви, я желал такой же любви для себя, я жаждал ее и, даже теряя себя в нежданной атлетической нежности Дилли Ормуз, я чувствовал, что она не то, чего я хочу; о, я желал, желал этого асли мирч масала [90], того, что заставляет тебя потеть сладкими бусинами кориандрового сока и дышать сквозь жалящие губы жгучим пламенем красного перца чили. Я желал их перечной любви.

И когда я обрел ее, я думал, что мать меня поймет. Когда мне нужно было ради любви сдвинуть гору, я думал, что мать мне поможет.

Увы всем нам; я ошибался.

x x x

Она знала, конечно, о храмовых девушках Авраама, знала с самого начала.

---

90 Примечания: 90
Настоящего жгучего перца (хиндустани).

— Если мужчина хочет иметь секреты, пусть не треплет языком во сне, — неопределенно бросила она однажды. — Я так устала от ночной болтовни твоего папаши, что сбежала из его спальни. Ламе, что ни говори, нужен отдых.

Глядя вспять на эту гордую, энергичную женщину, я слышу то, что скрыто за этими внешне малозначительными словами, — слышу признание в том, что она, отвергавшая все компромиссы, не спускавшая никому ничего, терпела Авраама, несмотря на слабости его плоти, из-за которых он не мог противиться искушению лично отведать переправляемый им с юга товар.

— Старики, — фыркнула она в другой раз, — всегда глядят на 6ачи, на молоденьких девочек. Особенно те, у кого много дочерей.

Первое время я по юным годам и невинности считал эти рассуждения частью ее вживания в сюжеты своих картин; но когда Дилли Ормуз разбудила во мне чувственность, я начал понимать, что к чему.

Меня всегда удивлял восьмилетний разрыв между рождением Майны и моим, и вот, когда понимание взметнулось пламенем в моей юностарой детской душе, я, который был лишен общества сверстников и поэтому с ранних лет

приучился использовать взрослый словарь без взрослого такта и самоконтроля, не мог не поделиться своим открытием:

— Вы перестали делать детей, — крикнул я, — потому что он путался с девками!

— Я тебе такую сейчас влеплю чапат, — взъярилась она, -что вся твоя наглая рожа будет синяя!

Последовавшая оплеуха не вызвала, однако, существенных изменений в цвете моего лица. Ее мягкость дала мне необходимое подтверждение.

Почему она никогда не ссорилась с Авраамом из-за его неверности? Я прошу вас принять во внимание, что при всем своем богемном свободомыслии Аурора Зогойби в глубине души была женщиной своего поколения, которое находило подобное поведение допустимым, даже нормальным для мужчины; поколения, чьи женщины подавляли в себе боль, скрывали ее под банальностями о звериной природе, в силу которой мужчине иногда требуется почесать, где чешется. Ради семьи, этого великого абсолюта, во имя которого можно перетерпеть все что угодно, женщины отворачивали глаза и завязывали свою беду в узелок на конце дупатты [91] или защел-

---

91 Примечания: 91
Дупатта — тонкий шарф.

кивали ее в шелковом кошелечке, как мелкие деньги или дверные ключи. К тому же Аурора знала, что Авраам ей нужен, нужен для того, чтобы она могла заниматься живописью и не думать ни о чем другом. Скорей всего, так оно и объяснялось — элементарно, скучно, обыденно.

(Замечание в скобках о супружеской покладистости: размышляя о решении Авраама отправиться на юг, когда Аурора поехала на север ради последней своей встречи с Неру и скандального отказа от «Лотоса», я подумал, что тут, возможно, именно отец играл роль покладистого мужа. Не лежала ли за его решением некая отдача долга, не таилась ли за ним зияющая пустота их брака, этого гроба повапленного, этой подделки? УСПОКОЙСЯ, о мавр, успокойся. Оба они уже недоступны для твоих обвинений; злость твоя бессильна, хоть бы и вся земля от нее содрогнулась.)

Как, должно быть, она ненавидела себя за эту трусливую, денежно-расчетливую дьявольскую сделку в мягком варианте! Ибо — поколение там или не поколение — мать, которую я знал, которую мне довелось узнать в ее спартанской мастерской, была не из тех, кто мирится с чем-либо из боязни нарушить статус-кво. Она любила

говорить, что на уме, выкладывать начистоту, резать правду-матку. И все же, когда рухнула ее великая любовь и она оказалась перед выбором между честной войной и жалким, эгоистическим миром, она заперла рот на замок и ни словом не выразила мужу свое недовольство. Только молчание росло между ними подобно тяжкому обвинению; он бормотал во сне, она разговаривала со мной в мастерской, и спали они раздельно. Только на один миг, после того, как на подъеме к пещерам Лонавлы его сердце едва не отказало, они смогли вспомнить, что у них было когда-то. Но реальность очень скоро взяла свое. Иногда я думаю, что они оба считали мое старение и мою увечную руку наложенным на них наказанием -уродливым плодом зачахшей любви, полужизнью, рожденной от половинчатого брака. Если и был у них какой-то призрачный шанс на новую близость, мое рождение прогнало этот призрак прочь.

Сперва я боготворил мать, потом ненавидел. Теперь, когда все наши истории окончены, я оглядываюсь назад и испытываю — по крайней мере вспышками — сочувствие к ней. Что, пожалуй, целительно — как для меня, так и для ее мятущейся тени.

Мощная страсть бросила Авраама и Аурору друг к другу; хилая похоть развела их. Все эти последние дни, пока я пишу о заносчивости Ауроры, о ее остроумии и язвительности, я слышу за громкими, сиплыми звуками этого спектакля печальную мелодию утраты. Она простила Авраама однажды — там, в Кочине, когда Флори Зогойби хотела забрать у нее нерожденного сына. В Матеране она попыталась — и, пытаясь, сотворила меня — простить его во второй раз. Но он не исправился, и третьего прощения уже не было… и все же она осталась. Она, которая потрясла до основания весь свой мир ради любви, теперь подавила в себе мятеж и приковала себя цепью к остывающему год от года браку. Неудивительно, что она стала так зла на язык.

А отец: если бы он вновь обратился к ней, забыв обо всех прочих, может быть, тогда она спасла бы его от пещеры Могамбо, от Кеке, и Резаного, и еще худших мерзавцев? Может быть, он, спрыснутый живой водой любви, выкарабкался бы из этой ямы?.. Нет смысла переписывать жизнь собственных родителей. Трудно даже записать ее, как она была; не говоря уже о моей собственной жизни.

x x x

В «ранних маврах» моя рука чудесным образом преображалась; нередко чудеса происходили и с туловищем. В одной из картин, называвшейся «Ухаживанье», я был мавр-мор-павлин, распустивший свой многоглазый хвост; своею же головой моя мать увенчала тело неряшливой, растрепанной павы. В другом полотне (мне тогда было двенадцать, а на вид, соответственно, двадцать четыре) Аурора перевернула наше родство, изобразив себя в виде молодой Элеоноры Маркс, меня — в виде ее отца Карла. "Мавр [92] и Тусси" иных зрителей изрядно шокировали: мать там смотрела на меня с юным дочерним обожанием, я же стоял в патриархальной позе, взявшись за отвороты сюртука, бородатый, настоящее пророчество о моем не столь уж далеком будущем.

— Если б ты был вдвое старше, чем выглядишь, а я вдвое моложе, чем на самом деле, я сгодилась бы тебе в дочери, — объяснила мать, которой было сорок с лишним, и я тогда был слишком юн, чтобы почувствовать в ее голосе что-либо помимо нарочитой легкости тона, которая могла

---

92 Примечания: 92
Мавр — домашнее прозвище Карла Маркса.

прикрывать нечто более диковинное. Это был не единственный наш двойной — и к тому же двусмысленный — портрет; она написала еще «К хладеющим устам», где изобразила себя мертвой Дездемоной, лежащей поперек кровати, меня — горестным Отелло, вонзившим в себя кинжал и клонящимся к телу любимой в последнем издыхании. Несколько пренебрежительно моя мать называла эти холсты маскарадными картинами, написанными из прихоти, для семейной забавы; неким подобием костюмированного бала. Но — как в случае со скандально известным изображением игрока в крикет, о котором я вскоре расскажу, — Аурора часто проявляла себя с самой иконоборческой, самой эпатирующей стороны в работах, сделанных как бы мимоходом; эротизм этих сильно электризованных картин, которых она не выставляла при жизни, вызвал после ее смерти ударную волну, только потому не переросшую в полномасштабное цунами, что ее, бесстыдницы, уже не было в наличии, чтобы еще больше провоцировать добропорядочных людей отсутствием не то что раскаяния, но даже малейшей тени сожаления.

После «Отелло», однако, характер цикла изменился: мать начала разрабатывать идею о

перенесении старинной истории Боабдила — «не в авторизованной, а в ауроризованной версии», как она сказала мне, — в наши края, причем роль последнего из Насридов в бомбейском воплощении предназначалась мне. В январе 1970 года Аурора Зогойби впервые поместила Альгамбру на Малабар-хилле.

Мне тогда было тринадцать, и я переживал первую волну упоения Дилли Ормуз. Работая над первым из «истинных» мавров, Аурора рассказала мне свой сон. Она стояла на «задней веранде» дребезжащего допотопного поезда в испанской ночи, и я спал у нее на руках. Вдруг она поняла -как понимают во сне, не услышав от кого-либо, а внутренне, с абсолютной уверенностью, — что если она бросит меня в темноту, если принесет меня в жертву мраку, то всю оставшуюся жизнь она будет неуязвима. «И знаешь, малыш, я довольно крепко задумалась». Потом она поборола искушение и уложила меня обратно в кроватку. Не нужно быть библеистом, чтобы понять, что она примерила на себя роль Авраама, и я в мои тринадцать, живя в семье художницы, был знаком по репродукциям с микеланджеловской «Пьетой» и поэтому схватил суть, по крайней мере, в главном.

«Спасибо тебе, мама», — сказал я. «Не стоит благодарности, -ответила она. — Пусть они там себе злобствуют».

Этот сон, подобно многим другим снам, стал явью; но Аурора, когда действительно настал ее авраамический час, сделала не тот выбор, что ей приснился.

Стоило гранадскому красному форту появиться в Бомбее, как на мольберте Ауроры все моментально переменилось. Альгамбра вскоре стала не совсем Альгамброй; к мавританской изысканности добавились элементы индийской архитектуры, могольские красоты дворцов-крепостей в Лели и Агре. Наш холм стал не совсем Малабар-хиллом, берег под ним был лишь отчасти похож на пляж Чаупатти, и Аурора населила эти края воображаемыми существами -чудовищами, слоноподобными богами, духами. Кромка воды, линия раздела между двумя мирами стала во многих картинах предметом ее главного внимания. Море она наполнила рыбами, затонувшими кораблями, русалками, сокровищами, водяными; а по берегу всякие местные людишки — карманники, сутенеры, жирные шлюхи, поддергивающие сари, чтобы не замочило волной, и прочие персонажи из истории, ее воображе-

ния, окружающей жизни и просто ниоткуда — толпами шли к воде, как реальные бомбейцы, гуляющие вечером у моря. И какие-то странные составные существа сновали туда-сюда через границу стихий. Часто она изображала кромку воды таким образом, что зрителю казалось, будто он смотрит на неоконченную картину, частично покрывающую другую картину. Но что находится вверху, а что внизу — суша или вода? Трудно было сказать наверняка.

— Пусть это зовется Мавристаном, — сказала мне Аурора. -Этот берег, этот холм, этот форт наверху. Подводные сады и висячие сады, смотровые башни и башни молчания. Место, где миры сталкиваются, вливаются и выливаются один из другого, притекают и утекают. Место, где воздуходышащий человек должен отрастить жабры, иначе он может потонуть; где водяное существо может напиться воздухом допьяна или задохнуться в нем. Две вселенные, два измерения, две страны, два сна врезаются друг в друга или накладываются друг на друга. Пусть это зовется Палимпстиной. А надо всем, там, во дворце — ты.

(Васко Миранда до конца своих дней был уверен, что она позаимствовала идею у него; что его

картина поверх другой картины была источником ее палимпсестов и что его плачущий мавр вдохновил ее на бесслезные изображения сына. Она этого не подтверждала и не отрицала. «Нет ничего нового под солнцем», — говорила она. И было в этих образах противостояния и взаимопроникновения земли и воды нечто от Кочина ее юности, где земля притворялась частью Англии, но омывалась Индийским океаном.)

Она была неукротима. Вокруг фигуры мавра в его крепости-гибриде она плела свои видения, в которых главенствовал именно образ переплетения, взаимопроникновения. В определенном смысле это были полемические картины, попытка создать романтический миф о плюралистической, составной нации, о нации-гибриде; арабская Испания понадобилась ей, чтобы пересоздать Индию, и этот земноводный пейзаж, в котором суша могла быть текучей, а вода сухой и каменистой, был ее метафорой — идеалистической? сентименталистской? — настоящего, а также будущего, на которое она надеялась. Поэтому — да, здесь была некая дидактика, но сюрреалистическое жизнеподобие образов, неподражаемое цветовое богатство, быстрота и мощь мазка заставляли забыть о наставлени-

ях, погрузиться в карнавал, не слушая криков зазывалы, танцевать под музыку, не вникая в слова песни.

Персонажи, столь многочисленные за стенами дворца, начали появляться и в его покоях. У матери Боабдила, старой воительницы Айши, естественно, было лицо Ауроры; но на этих ранних полотнах грядущие ужасы — завоевательные армии Фердинанда и Изабеллы — были почти неразличимы. На одной или двух картинах, если приглядеться, на горизонте виднелось копье с флажком; но в целом, пока длилось мое детство, Аурора Зогойби стремилась изобразить золотой век. Евреи, христиане, мусульмане, парсы, сикхи, буддисты, джайны толпились на балах-маскарадах у ее Боабдила, и самого султана она писала все менее и менее натуралистично, все чаще и чаще представляя его многоцветным арлекином в маске, этаким лоскутным одеялом; или, сбрасывая, как куколка, старый кокон, он оборачивался роскошной бабочкой, чьи крылья чудесным образом соединяли в себе все мыслимые краски.

По мере того, как «мавры» все дальше уходили в область мифа и притчи, мне становилось ясно, что позировать, в сущности, уже незачем; но мать настаивала на моем присутствии, говорила,

что я ей нужен, называла меня своим талис-мальчиком. И я был рад этому, потому что повесть, разворачивавшаяся на ее холстах, казалась мне в гораздо большей степени моей биографией, чем реальная история моей жизни.

x x x

В годы чрезвычайного положения, пока ее дочь Филомина сражалась против тирании, Аурора оставалась в своем шатре и работала; возможно, политическая ситуация была одним из стимулов к созданию «мавров», возможно, Аурора видела в них свой ответ на жестокости эпохи. Забавно, однако, что старая картина моей матери, которую Кеку Моди невинно включил в ничем, помимо ее участия, не примечательную выставку на темы спорта, произвела больший шум, чем все, на что была способна Майна. Картина, датированная 1960 годом, называлась «Поцелуй Аббаса Али Бека» и основывалась на реальном происшествии во время третьего матча по крикету между Индией и Австралией на бомбейском стадионе «Брейберн». Счет игр был 1:1, и третья встреча складывалась не в пользу Индии. Пятидесятка Аббаса (вторая у него за матч), заработанная на второй серии подач, принесла нашим ничью.

Когда он набрал пятьдесят очков, с северной трибуны, где обычно сидела солидная, респектабельная публика, сбежала хорошенькая девушка и поцеловала игрока с битой в щеку. Спустя восемь подач Аббаса, видимо, несколько рассредоточившегося, вывели из игры (принимающий — Маккей, подающий — Линдвалл), но матч к тому времени был спасен.

Аурора любила крикет — в те годы эта игра привлекала все большее число женщин, и молодые звезды вроде А. А. Бека становились столь же популярны, как полубоги бомбейского кинематографа, — и была на трибуне в момент захватывающего дух, скандального поцелуя, поцелуя двух этнически чуждых друг другу красивых людей, случившегося средь бела дня на битком набитом стадионе, причем в то время, когда ни один кинотеатр города не осмелился бы предложить публике столь возмутительное и провокационное зрелище. Ну так что ж! Моя мать была воодушевлена. Она ринулась домой и в одном продолжительном творческом порыве написала картину, преобразив в ней робкий «чмок», сделанный шалопайства ради, в полноценные объятия в стиле западного кино. Именно версия Ауроры, которую Кеку Моди незамедлительно

показал публике, а пресса растиражировала, осталась у всех в памяти; даже те, кто был в тот день на стадионе, начали говорить, неодобрительно покачивая головами, о преступной вольности, о бесстыдно-влажной бесконечности этого поцелуя, который, уверяли они, длился больше часа, пока наконец судьи не растащили забывшуюся парочку и не напомнили игроку о его долге перед командой.

— Такого нигде не увидишь, кроме как в Бомбее, — говорили люди с той смесью возбуждения и неодобрения, какую только скандал способен составить и взболтать как нужно. -Что за город распущенный, яар [93], ну и ну.

На картине Ауроры стадион «Брейберн» взволнованно сомкнулся вокруг двоих милующихся, вожделеющие трибуны взметнулись ввысь и нависли над ними, закрыв почти все небо, а среди зрителей виднелись кинозвезды с вытаращенными от изумления глазами (кое-кто из них и вправду был на матче), пускающие слюнки политиканы, бесстрастно-внимательные ученые, хлопающие себя по ляжкам и отпускающие сальные шуточки бизнесмены. Даже знаменитый

---

93 Примечания: 93
Яар — дружок, приятель (хиндустани).

«обыватель» — персонаж карикатуриста Р. К. Лакшмана — маячил на одном из дешевых мест восточной трибуны и выглядел шокированным на свой наивный, придурковатый манер. Так что картина приобрела всеиндийский размах, стала моментальным снимком, фиксирующим вторжение крикета в сердцевину национального самосознания и в то же время выражающим сексуальный бунт молодого поколения, что дало пищу яростным спорам. Явственный символический смысл поцелуя — переплетенные руки и ноги женщины и крикетиста в белой форме и щитках вызывали в памяти эротизм тантрических скульптур в храмах периода Чанделы в Кхаджурахо — был определен либеральными художественными критиками как «порыв Юности к Свободе, дерзкий вызов под самым носом у истеблишмента», а одним консервативным журналистом — как «непристойность, за которую картину следовало бы публично сжечь». Аббас Али Бек был вынужден заявить, что сам не целовал девушку; популярный спортивный обозреватель, писавший под псевдонимом А.Ф.С.Т., опубликовал остроумную заметку в его защиту, где советовал всяким там художникам впредь не совать свои длинные кисти в такие важные вещи,

как крикет; и спустя некоторое время скандал как будто поутих. Но в следующей серии матчей — на этот раз с Пакистаном -несчастный Али Бек набрал только 1, 13, 19 и 1, после чего был выведен из команды и больше за сборную не играл. Он стал мишенью для атак ядовитого молодого политического карикатуриста по имени Раман Филдинг, который в подражание былым ящерицам Ауроры помечал свои рисунки маленьким изображением лягушки, обычно делающей какое-нибудь ехидное замечание. Филдинг, уже получивший прозвище Мандук, то есть Лягушка, злобно и облыжно обвинил порядочного и щедро одаренного Али река в том, что он, будучи мусульманином, нарочно поддался пакистанцам. «И ему еще хватает наглости слюнявить наших индусских девушек-патриоток», — квакала сидящая в углу пятнистая лягушка.

Аурора, огорченная обвинениями в адрес Али Бека, забрала картину домой и долго потом не выставляла. Она оттого позволила вновь показать ее пятнадцать лет спустя, что для нее картина эта стала всего лишь безобидным напоминанием о прошлом с его курьезами. Спортсмен давно уже не выступал, и поцелуй больше не считался таким возмутительным актом, как в те недобрые

старые дни. Она не предвидела лишь одного: что Мандук, ставший теперь полноценным политиком коммуналистского толка, одним из основателей «Оси Мумбаи», партии индусских националистов, названной в честь бомбейской матери-богини и быстро приобретающей популярность среди бедного населения, вновь пойдет в атаку.

Он больше не рисовал карикатур, но в странном танце взаимного притяжения и отталкивания, в котором они кружились с тех пор с моей матерью, — для нее, надо помнить, слово «карикатурист» всегда было ругательным — он неизменно держал за пазухой увесистый камень. Он, казалось, не мог решить, чего ему хочется: то ли пасть на колени перед выдающейся художницей и светской дамой с Малабар-хилла, то ли столкнуть ее в грязь, в которой жил он сам; и, без сомнения, именно эта двойственность влекла великолепную Аурору к нему — к этому моту-калу, к этому толстому черномазому, олицетворявшему то, что внушало ей глубочайшее отвращение. Тяга к трущобам — наверно, наша семейная черта.

Фамилией своей Раман Филдинг, по слухам, был обязан прозвищу отца, который, будучи в детстве бомбейским беспризорником, страстно

любил крикет и, околачиваясь поблизости от спортклуба «Джимкхана», умолял всех и каждого дать ему шанс: "Ну пожалуйста, бабуджис, господа хорошие, дайте бедному пареньку ударить! Ну хоть мяч подать! Ладно, ладно — хоть на приеме постоять! Только один филдинг! " Крикетистом он был никудышным, но в 1937 году, когда открылся стадион «Брейберн», он устроился туда охранником, и по прошествии лет сноровка, с какой он вылавливал и выпроваживал безбилетников, привлекла внимание бессмертного Найюду, который узнал в нем мальчишку из «Джимкханы» и пошутил: «Ну что, только-один-филдинг, — ты, я вижу, цепко стал ловить». После этого его звали не иначе как Т. О. Филдинг, и он с гордостью сделал прозвище своей фамилией.

Сын его извлек из крикета совсем иные уроки (говорят, к сильному огорчению отца). Не для него скромная демократическая радость причастности к этому блаженному миру, пусть даже в подчиненной, второстепенной роли. Нет; в молодости он прожужжал друзьям все уши в питейных заведениях центрального Бомбея, разглагольствуя о чисто индусском происхождении игры.

— С самого начала парсы и мусульмане пыта-

лись украсть у нас крикет, — заявлял он. — Но когда мы, индусы, собрали наши команды воедино, мы, разумеется, всыпали им по первое число. Таким манером надо и всюду действовать. Слишком долго мы раскачивались и плясали под дудку всяких пришлых типов. Если мы организуемся, кто против нас устоит?

Это причудливое понимание крикета как глубоко общинной игры, исконно индусской, но постоянно находящейся под угрозой со стороны иных, чужеродных общин, легло в основу его политической философии, приведшей к созданию «Оси Мумбаи». Раман Филдинг даже хотел вначале назвать свое новое политическое движение в честь какого-нибудь знаменитого крикетиста-индуса — Армия Ранджи, Солдаты Манкада, — но все же предпочел богиню, которую называют поразному (Мумба-аи, Мумбадеви, Мумбабаи), с тем, чтобы придать своей энергичной, взрывчатой группировке как религиозную, так и региональную националистическую окраску.

Забавно, что именно крикет, самая индивидуалистическая из всех командных спортивных игр, стал основой жестко иерархической, неосталинистской внутренней структуры «Оси Мумбаи», или ОМ, как вскоре стали называть партию; к

примеру, — мне впоследствии довелось узнать это очень хорошо — Раман Филдинг создавал из преданных ему бойцов «команды» по одиннадцати человек, и в каждом таком маленьком взводе был «вожак», которому клялись беспрекословно подчиняться. Руководящий совет ОМ до сей поры носит название «первые одиннадцать». С самого начала Филдинг потребовал, чтобы его называли Капитаном.

Старое прозвище, бывшее в ходу, когда он рисовал карикатуры, теперь в его присутствии не звучало, но по всему городу можно было видеть знаменитое изображение лягушки — Голосуй за Мандука! — нарисованное на стенах или приклеенное к бамперам автомобилей. Что необычно для преуспевающего популистского лидера, он не терпел фамильярности. Поэтому в глаза его звали только Капитаном, за глаза — Мандуком. За пятнадцать лет, прошедшие между двумя его атаками на «Поцелуй Аббаса Али Бека», подобно человеку, приобретающему со временем черты своей любимой собаки, он воистину превратился в гигантское подобие этой, давно оставленной им, газетной лягушки. Он сидел, бывало, под магнолией в саду своей двухэтажной виллы в Лальгауме, пригороде Восточной Бандры, окру-

женный помощниками и просителями, подле заросшего лилиями пруда, среди десятков — буквально так! — статуй Мумбадеви, больших и малых; золотые лепестки, медленно падая, увенчивали головы статуй и самого Филдинга. Большей частью он глубокомысленно молчал; но время от времени, выведенный из себя неуместным замечанием какого-нибудь посетителя, разражался тирадой — желчной, злой, смертельной. Рассевшийся в своем приземистом плетеном кресле, с давящим на ляжки огромным животом, напоминающим туго набитый мешок взломщика, с толстыми губами, извергающими грубое кваканье, с обегающим рот быстрым остреньким язычком, с вылупленными лягушачьими глазами, жадно глядящими из-под кожистых век на скрученные наподобие цигарок пачки купюр, которыми трясущиеся от страха просители пытались его задобрить и которые он сладострастно катал между пухлыми маленькими пальцами прежде чем медленно расплыться в обнажающей красные от бетеля десны широкой ухмылке, — да, он воистину был Лягушачий король, Мандук-раджа, чьи приказы исполнялись беспрекословно.

К тому времени он уже решил отказаться от отцовского наследия и исключил историю про

«только один филдинг» из своего репертуара. Он начал вешать иностранным журналистам лапшу на уши, рассказывая о том, что отец его был образованный, культурный, начитанный человек, интернационалист, взявший фамилию Филдинг из преклонения перед автором «Тома Джонса».

— Вы пишете, что я ограниченный и зашоренный, — упрекал он журналистов. — Что я ханжа и слепой фанатик. А на самом деле у меня с детства был широчайший кругозор. Я, если хотите, человек плутовского склада.

Аурора узнала о том, что ее произведение вновь вызвало гнев этого влиятельного земноводного, когда из своей галереи на Кафф-парейд позвонил взволнованный Кеку Моди. ОМ объявила о своем намерении устроить поход на маленькую выставку Кеку, утверждая, что он бесстыдно демонстрирует порнографическое изображение сексуального насилия, чинимого мусульманским «спортсменом» над невинной девушкой-индуской. Возглавить поход и обратиться к собравшимся с речью намеревался сам Раман Филдинг. Полицейские присутствовали, но явно в недостаточном количестве; угроза бесчинств вплоть до поджога галереи была совершенно реальна.

— Подожди, — успокоила Кеку моя мать. -, Я знаю, как унять эту лягушатину. Дай мне ровно тридцать секунд.

Через полчаса поход был отменен. На спешно созванной пресс-конференции представитель «первых одиннадцати» зачитал заявление, где говорилось, что ввиду скорого наступления Гудхи Падва — праздника Нового Года у махараштрийцев — антипорнографический протест откладывается, дабы возможная вспышка насилия не омрачила радостного дня. Кроме того, прислушавшись к голосу народного негодования, галерея Моди согласилась убрать оскорбительную картину. Не выходя за порог «Элефанты», моя мать предотвратила надвигающийся кризис.

Нет, мама. Это была не победа. Это было поражение.

Первый разговор между Ауророй Зогойби и Раманом Филдингом был кратким и деловым. Она не стала просить Авраама сделать за нее грязную работу. Она позвонила сама. Я это знаю: я присутствовал при разговоре. Годы спустя я узнал, что телефонный аппарат на столе у Рамана Филдинга был не простой, а особый, американского производства; трубка была сделана в виде ядовито-зеленой пластмассовой лягушки, и вместо

звонка раздавалось кваканье. Я отчетливо вижу, как Филдинг прижимает лягушку к щеке и слушает идущий прямо из ее рта голос моей матери.

— Сколько? — спросила она. И Мандук назвал цену.

x x x

Я потому решил привести полностью историю с «Поцелуем Аббаса Али Бека», что вхождение Филдинга в нашу жизнь имело для последующих событий немалое значение; и еще потому, что Аурора Зогойби из-за изображенной ею сцены на крикетной площадке стала тогда, скажем так, слишком хорошо известна. Угроза насилия отступила, но показывать картину было нельзя — ее удалось спасти, лишь переместив в обширную «невидимую» часть города. Некий принцип подвергся эрозии; с холма, подпрыгивая, скатился камешек — плинк, плонк, планк. В последующие годы эрозия зайдет много дальше, и за маленьким камешком последует немало увесистых глыб. Аурора, впрочем, никогда не придавала «Поцелую» особенного значения ни в идейном, ни в художественном плане; для нее это была jeu d'esprit, творческая игра, мигом задуманная, легко исполненная. История эта

стала, однако, зловещим предзнаменованием, и я был свидетелем как ее раздражения из-за необходимости без конца защищать картину, так и ее гнева из-за легкости, с какой этот «муссон в стакане воды» отвлек внимание общественности от массива ее действительно значимых работ. По требованию печатных изданий ей приходилось глубокомысленно рассуждать о «подспудных мотивах», хотя в реальности были всего лишь прихоти, изрекать нравственные сентенции по поводу того, что было только (только!) игрой, и чувством, и развертывающейся, влекущей, непререкаемой логикой кисти и освещения. Ей надо было опровергать обвинения в социальной безответственности, выдвигаемые разнообразными «экспертами», и она сварливо цедила, что во все времена попытки взвалить на художников бремя социальных задач кончались провалом — тракторным искусством, придворным искусством, приторной мазней.

— За что я больше всего ненавижу ученых дураков, которые лезут из земли, как зубы дракона, — сказала она мне, яростно работая кистью, — так это за то, что они и меня делают ученой дурой.

Вдруг она обнаружила, что ее публично начали называть -в основном люди из ОМ, но не только

они — «художницей христианского вероисповедания»; один раз даже «этой христианкой, вышедшей замуж за еврея». Поначалу подобные формулировочки вызывали у нее смех; но вскоре она поняла, что смешного, в общем-то, мало. Как легко человеческая личность и жизнь, полная труда, действия, сближений и противостояний, может быть смыта под этим напором!

— Как будто, — сказала она мне, мимоходом используя крикетную метафору, — у меня нет ни одного очка на ихнем чертовом табло. — Или, в другой раз: — Как будто у меня не осталось ни гроша в ихнем чертовом банке.

Не забыв предостережений Васко, она отреагировала характерным для нее абсолютно непредсказуемым образом. Однажды в те темные годы в середине семидесятых — в годы, которые память рисует тем более темными, что их тирания нами почти не ощущалась, что на Малабар-хилле чрезвычайное положение было так же невидимо, как незаконно возведенные небоскребы и лишенные всяких прав бедняки, — она в конце долгого дня, проведенного нами вместе в мастерской, презентовала мне конверт, содержащий авиабилет в Испанию в один конец и паспорт на мое имя с испанской визой.

— Не забывай продлевать, — сказала она мне. — И билет, и визу, каждый год. Я-то уж никуда не побегу. Если Индира, которая всегда черной ненавистью меня ненавидела, захочет прийти по мою душу, она знает, где меня найти. Но тебе, может, и придется когда-нибудь последовать совету Васко. Только к англичанам не езди. Их мы уже нахлебались. Поищи себе Палимпстину; поищи свой Мавристан.

И привратнику Ламбаджану она тоже преподнесла подарок: черный кожаный ремень с ячейками для патронов и застегивающейся на клапан полицейской кобурой, в которой лежал заряженный пистолет. Она заставила его пройти курс стрельбы. Что касается меня, я спрятал ее подарок; и впоследствии из суеверия неизменно возобновлял и билет, и визу. Я держал заднюю дверь открытой и знал, что меня постоянно ждет готовый к вылету самолет. Я начал отлипать от родины. Как, впрочем, и многие другие. После периода чрезвычайщины люди стали смотреть на вещи другими глазами. До чрезвычайщины мы были индийцы. После нее мы стали христианско-еврейской семьей. Планк, плонк, плинк.

XXX

Ничего не случилось. Никакой толпы у наших ворот, никаких офицеров с ордером на арест, исполняющих роль ангелов-мстителей Индиры. Ламба не вынимал пистолета из кобуры. Задержали из всех нас одну Майну, но только на несколько недель, и в тюрьме с ней обращались бережно и разрешали свидания, книги и еду из дома. Чрезвычайное положение кончилось. Жизнь шла своим чередом.

Ничего не случилось — и случилось все. В раю стряслась беда. Ина умерла, и, вернувшись домой после похорон, Аурора написала картину из цикла «мавров», в которой граница между сушей и морем перестала быть проницаемой. Она превратилась в резко прочерченный зигзагообразный разлом, куда осыпалась земля и утекала вода. Едоки манго и мандаринов, глотатели ярко-голубых сиропов такой сахаристости, что от одного взгляда на них начинали болеть зубы, конторские служащие в закатанных брючках с дешевыми башмаками в руках и босые влюбленные, гуляющие по некоему подобию пляжа Чаупатти у подножия холма, увенчанного мавританским дворцом, — все разом вскрикивали,

чувствуя, как подается песок под ногами, как их утягивает в трещину вместе с пляжными воришками, светящимися неоном киосками и учеными обезьянками в солдатских формах, вытягивавшимися по стойке «смирно», чтобы развлечь гуляющих. Все они сыпались в зазубренный мрак, смешиваясь там с морскими лещами, медузами и крабами. Даже вечерняя дуга Марин-драйв с ее банальным, словно из искусственного жемчуга, ожерельем огней изменяла свою форму, искажалась; эспланаду тянула к себе пропасть. И, сидя в своем дворце на вершине холма, мавр-арлекин смотрел на разыгравшуюся внизу трагедию, бессильный, вздыхающий, прежде времени постаревший. Рядом стояла полупрозрачная фигура умершей Ины, Ины до Нэшвилла, Ины в самом расцвете своей влекущей красоты. Эта картина, названная «Мавр и призрак Ины смотрят в пропасть», впоследствии рассматривалась как первая из работ «высокого периода», из этих наэлектризованных, апокалиптических полотен, куда Аурора вложила все свое отчаяние от смерти дочери, всю свою материнскую любовь, слишком долго не получавшую выражения; но также и свой всеобъемлющий, пророческий страх Кассандры за судьбу страны, досаду и гнев

из-за прогорклого вкуса того, что, по крайней мере, в Индии ее мечты было когда-то сладким, как сироп из тростникового сахара. Все это было в картинах — и ревность тоже.

— Ревность? Чья, к кому, к чему?

Случилось все. Мир переменился. Появилась Ума Сарасвати.

14

Женщина, которая преобразила, возвысила и опрокинула мою жизнь, вошла в нее на ипподроме Махалакшми на сорок первый день после смерти Ины. Было воскресное утро в начале зимнего прохладного сезона, и по давнему обычаю («Насколько давнему?» — спросите вы, и я отвечу по-бомбейски: «Очень-очень давнему. Со старых времен».) лучшие люди города встали рано и заняли место породистых, напружиненных местных скакунов — как в паддоке [94], так и на беговой дорожке. В этот день не было никаких скачек; глаза и уши воображения различали лишь проносящиеся тени призрачных жокеев с их выгнутыми спинами в ярких рубашках, лишь потустороннее эхо копыт, что простучали в прошлом и простучат в будущем, лишь замирающее ржание разгоряченных коней, лишь перекатывающийся шелест брошенных старых программок Коула — о бесценный кладезь сведений о лошадиных шансах! — и все это только угадывалось, как закрашенная картина, под еженедельным зре-

94 Примечания: 94
Паддок — выгон для лошадей на ипподроме.

лищем rus in urbe [95] с вереницей сильных мира сего, пестрящей зонтиками от солнца. Иные бегом в спортивных туфлях и шортах, с младенцами за спиной, иные прогулочным шагом, с тросточками и в соломенных шляпах — аристократы рыбы и стали, графы ткани и морских перевозок, лорды финансов и недвижимости, князья суши, моря и воздуха, и рядышком их дамы, кто с ног до головы в шелках и золоте, кто по-спортивному, с конским хвостиком или розовой головной повязкой, пересекающей высокий лоб как королевская диадема. Одни, добежав до финиша, смотрели на секундомер, другие с достоинством проплывали мимо старой трибуны, как входящие в гавань океанские лайнеры. Здесь налаживали партнерство, законное и не очень; здесь заключали сделки и ударяли по рукам; здесь городские матроны высматривали молодежь и строили для нее брачные планы, а юноши и девушки тем временем переглядывались и что-то решали сами для себя. Здесь собирались семьи, здесь устраивали встречи могущественнейшие городские кланы. Власть, деньги, родство и желание — таковы были, скрытые под простыми радостями для-

---

95 Примечания: 95
Деревни в городе (лат.) — цитата из «Эпиграмм» Марциала.

щегося час-другой оздоровительного моциона вокруг старого ипподрома, движущие силы субботне-воскресных гуляний в Махалакшми, этих безлошадных скачек на социальном поле, дерби без стартового пистолета и фотофиниша, но с немалым количеством разыгрываемых призов.

В то воскресенье, через шесть недель после смерти Ины, мы сделали попытку сплотить ряды понесшей урон семьи. Аурора в элегантных брюках и белой льняной блузке с вырезом, демонстрируя семейную солидарность, шла под руку с Авраамом, который в свои семьдесят четыре года, с белой гривой и величественной осанкой, выглядел самым что ни на есть патриархом — уже не бедным родственником среди грандов, а влиятельнейшим грандом из всех. Начало дня, однако, не предвещало ничего хорошего. По пути в Махалакшми мы захватили с собой Минни — точнее, сестру Флореас, — которую из сострадания начальство освободило от утренней службы в монастыре Девы Марии Благодатной. Минни сидела рядом со мной на заднем сиденье в чепце и монашеском одеянии, перебирала четки и шептала свои славословия, напоминая, подумалось мне, Герцогиню из «Алисы» — намного миловидней, конечно, но такая же непреклонная; или

шуточную игральную карту, смесь джокера с пиковой дамой.

— Прошлой ночью мне приснилась Ина, — сказала Минни. — Она велела вам передать, что очень счастлива в Раю и что музыка там бесподобна.

Аурора, побагровев, сжала губы и вскинула голову. Минни в последнее время начали посещать видения, хотя мать не слишком этому верила. К моей набожной Герцогине-сестре можно было, пожалуй, применить слова самой Герцогини о ее ребенке: «...дразнит вас наверняка, нарочно раздражает» [96].

— Не огорчай мать, Инамората, — сказал Авраам, и теперь пришла Миннина очередь нахмуриться, потому что это имя принадлежало прошлому и не имело ничего общего с существом, которым она стала, с гордостью монастыря Девы Марии Благодатной, с самой самоотверженной из сестер, с безропотной исполнительницей любой работы, с ревностнейшей из поломоек, с добрейшей и внимательнейшей из сестер милосердия и вдобавок — словно бы расплачиваясь за прежние преимущества — с носительницей самого гру-

96 Примечания: 96

Л. Кэрролл, «Алиса в стране чудес», стихотворение в переводе Д.Г.Орловской.

бого нижнего белья во всем ордене, которое она сшила себе сама из старых джутовых мешков, пропахших кардамоном и чаем и заставлявших ее нежную кожу вспухать длинными красными полосами, пока мать-настоятельница не объяснила ей, что чрезмерное умерщвление плоти есть не что иное, как форма гордыни. После этого выговора сестра Флореас перестала облачаться в мешковину, но зато начались видения.

Лежа в своей келье на деревянной доске (с кроватью Минни давно распрощалась), она удостоилась посещения некоего бесполого ангела с головой слона, который в резких выражениях заклеймил низкую нравственность бомбейцев, сравнивая их с жителями Содома и Гоморры и грозя им наводнениями, засухами, взрывами и пожарами в течение приблизительно шестнадцати лет; и еще приходила говорящая черная крыса, посулившая напоследок чуму. Явление Ины было событием гораздо более личным, и если прежние рассказы о видениях заставляли Аурору опасаться за разум Минни, теперешние ее слова привели мать в ярость — в немалой степени, возможно, из-за того, что призрак Ины недавно появился в ее живописи, но также из-за общего ощущения, развившегося у нее после

смерти дочери, — ощущения, которое в те параноидальные, неустойчивые годы разделяли с ней многие, — что за ней следят. Привидения входили в жизнь нашей семьи, пересекая границу между метафорами искусства и наблюдаемыми фактами повседневной жизни, и Аурора, выведенная из равновесия, искала убежища в гневе. Но тот день должен был стать днем семейного единения, и моя мать прикусила язык, что было для нее нехарактерно.

— Она говорит, что там и еда отменная, — проинформировала нас Минни. — Сколько хочешь амброзии, нектара и манны, и никакой опасности потолстеть.

К счастью, от Алтамонт-роуд было всего несколько минут езды до ипподрома Махалакшми.

И вот Авраам с Ауророй шли под руку, как не ходили уже много лет, Минни, наш семейный херувим, семенила за ними по пятам, а я тащился поодаль, опустив голову, чтобы не смотреть людям в глаза, держал правую руку глубоко в кармане брюк и от стыда ковырял ногами землю; поскольку, разумеется, слышал шепот бомбейских матрон и хихиканье молодых красавиц и потому что знал, что, Идя слишком близко к

Ауроре, которая, несмотря на седину, выглядела в свои пятьдесят три не более чем на сорок пять, ваш покорный слуга, в двадцать лет выглядевший на сорок, любому случайному прохожему мог показаться кем угодно, но только не ее сыном. «Гляньте-ка… от рождения… урод… какая-то специфическая болезнь… я слыхала, его держат взаперти… такой позор для семьи… говорят, почти полный идиот… и единственный сын у несчастного отца». Так сплетня масляным своим языком смазывала колесо скандала. У нас не дождешься снисхождения к телесному изъяну. К душевной болезни, конечно, тоже.

В каком-то смысле, наверно, они были правы, эти ипподромные шептуньи. В каком-то смысле я был социальным уродом, отрезанным своей природой от повседневности, ставшим волею судьбы для всех чужаком. Разумеется, я никогда и ни в коей мере не считал себя умным человеком. В силу моего необычного и, по общепринятым меркам, совершенно недостаточного образования я стал неким информационным барахольщиком, гребущим к себе все, что блестит, из фактов, изречений, книг, искусства, политики, музыки и кино и вдобавок развившим в себе некое умение прихотливо раскладывать эти жалкие черепки

и манипулировать ими так, что они начинают играть и переливаться. Пустая порода или бесценные самородки из золотой жилы моего уникального богемного детства? Предоставляю другим об этом судить.

Нет сомнений, что по причинам внеучебного порядка я слишком долго, гораздо дольше, чем следовало, был привязан к Дилли. О поступлении в колледж не могло быть и речи. Я позировал матери, а отец обвинял меня в том, что я без толку растрачиваю жизнь, и настаивал, чтобы я начал работать в семейном бизнесе. Давно прошли те времена, когда кто-либо — за исключением Ауроры — осмеливался перечить Аврааму Зогойби. В свои семьдесят с лишним он был силен, как бык, мускулист, как борец, и, если не считать прогрессирующей астмы, здоров, как любой из молодых людей в шортах, совершающих пробежку по ипподрому. Его сравнительно скромное происхождение было забыто, а старая фирма Камоинша да Гамы «К-50» выросла в гигантский организм, получивший на деловом жаргоне название «Корпорация Сиоди». «Сиоди» — это была аббревиатура: сио-ди, C.O.D., Cash-on-delivery, Кэшонделиверы, и Авраам всячески поощрял использование этого имени. С его помощью сти-

ралось старое — то есть память о пришедшей в упадок и разрушенной империи некогда могучих Кэшонделивери — и утверждалось новое. Автор биографического очерка в деловом справочнике назвал Авраама «мистером Сиоди» и охарактеризовал его как «блестящего нового предпринимателя, возглавившего компанию Кэшонделивери», после чего некоторые деловые партнеры начали ошибочно обращаться к нему «Сиоди-сахиб». Авраам обычно не давал себе труда их поправлять. Он начал накладывать поверх своего прошлого новый слой краски… С годами на манер палимпсеста менялся и его отцовский облик — уходил в прошлое человек, гладивший мое новорожденное тельце и произносивший сквозь слезы слова утешения. Теперь он стал суровым, далеким, опасным, холодным и не терпящим возражений. Я склонил голову и безропотно согласился поступить на низшую должность в отдел маркетинга, торговли и рекламы частной компании с ограниченной ответственностью «Бэби Софто Тэлкем Паудер». После этого мне пришлось совмещать сидение в мастерской Ауроры со службой. Но к моему позированию, равно как и к детскому тальку, я еще вернусь. Что же касается женитьбы, то моя увечная рука — гандикап,

помеха на ипподроме, где шли скачки без гандикапа, — воистину была неким привидением на матримониальном пиру, заставлявшим юных леди брезгливо морщиться, напоминавшим им обо всем, что есть в жизни безобразного, тогда как они, высокородные, хотели видеть в ней только прекрасное. Фу, мерзость! Отвратительная кульгя. (По поводу ее отдаленного будущего скажу лишь, что, хотя Ламбаджан показал мне некие возможности моей твердой, как дубинка, правой, я еще не осознал своего истинного призвания. Меч еще дремал в моей руке.)

Нет, я не был своим среди этих чистокровок. Несмотря на мои былые путешествия с Джайей Хе, нашей вороватой экономкой, я был в их городе чужаком — Каспаром Хаузером [97], Маугли. Я мало что знал об их жизни и, что еще хуже, не хотел знать больше. Ибо, хоть я и не принадлежал к их элитному табуну, в двадцать лет я столь стремительно набирал опыт, что мне стало казаться, будто время поблизости от меня начало двигаться с моей, удвоенной скоростью. Я больше не чувствовал себя юношей, зашитым в старую

97 Примечания: 97

Каспар Хаузер — молодой человек неизвестного происхождения, слабо владеющий речью и почти не знакомый с цивилизацией; обнаружен в Нюрнберге в 1828 г.

-или, если пользоваться языком городских кожевников, обработанную под старину — оболочку. Мой внешний, зримый возраст просто стал моим возрастом.

Так, по крайней мере, я думал — пока Ума не открыла мне правду.

Аурора устроила так, что в Махалакшми к нам присоединился Джамшед Кэшонделивери, которого смерть бывшей жены неожиданно повергла в глубокую депрессию и который вследствие этого вылетел с юридического факультета. Недалеко от ипподрома находится Брич Кенди, или Грейт Брич, — Большая Брешь, в которую в определенное время года устремлялась океанская вода, заливая лежащие за ней низины; подобно тому, как Большая Брешь была заделана дамбой Хорнби Веллард, строительство которой, согласно надежным источникам, было окончено около 1805 г., точно так же брешь, образовавшуюся между Джимми и Иной, должна была посмертно заделать — так решила Аурора -дамба ее непреклонной воли.

— Здравствуйте, дядюшка, тетушка, — сказал Джимми Кэш, скованно поджидавший нас у финишной черты и изобразивший на лице кривую улыбку. Вдруг выражение его лица изменилось.

Глаза расширились, кровь совсем отлила от его и без того бледных щек, нижняя челюсть отвисла.

— На что это вы так вытаращились? — удивленно спросила Аурора. — Будто вам призрак рукой помахал.

Но завороженный Джимми не отвечал, продолжая молча пялиться.

— Привет, семейка, — прозвучал из-за наших спин иронический голос Майны. — Ничего, что я подругу привела?

x x x

У каждого из нас, гулявших в обществе УМЫ Сарасвати по круговой дорожке ипподрома Махалакшми, сложилось в то утро свое представление о ней. Мы узнали кое-какие факты: ей двадцать лет, она — блестящая студентка факультета искусств университета Бароды, где ее уже высоко оценила так называемая «бародская группа» художников и где известный критик Гита Капур написал восторженный отзыв о ее гигантском каменном изваянии Нанди, великого быка индуистской мифологии, сделанном по заказу «однофамильца» — крупного биржевика, финансиста и миллиардера В. В. Нанди, «крокодила» Нанди собственной персоной. Капур

сравнил ее скульптуру с работой безымянных мастеров, создавших в восьмом веке монолитное чудо размером с Парфенон — храм Кайлаш в величайшей из пещер Эллоры; однако Авраам Зогойби, услышав об этом во время прогулки, разразился характерным своим хохотом, похожим на бычий рев:

— У этого зеленого зубастого Вэ-Вэ никакого стыда нет! Бык Нанди, говорите? Лучше бы слепой крокодил из какой-нибудь речки на севере.

По рекомендации подруги Ума появилась в гуджаратском отделении Объединенного женского фронта против роста цен — в крохотной, переполненной людьми комнатушке обшарпанного трехэтажного дома около Центрального вокзала, из которой Майна и ее соратницы в борьбе против коррупции и за гражданские и женские права, образовавшие «Группу ДКНВС» — по первым буквам лозунга «Долой коррупцию, насилие, власть сытых», но также называемую насмешниками и недоброжелателями «Дамы, которые наверняка вместе спят», — совершали вылазки против полудюжины Голиафов. Она говорила о своем восхищении творчеством Ауроры, но также и о том, сколь важны усилия, предпринимаемые группами активисток, подобными Майниной:

например, выявление случаев сожжения невест [98], создание женских патрулей для предотвращения изнасилований и многое другое. Своим энтузиазмом и эрудицией она очаровала мою сестру, чей скептицизм был хорошо известен; этим объясняется ее присутствие на нашем маленьком семейном междусобойчике на беговой дорожке ипподрома Махалакшми.

Вот, собственно говоря, и все, что мы о ней узнали. Поистине замечательно было то, что за время утренней прогулки в Махалакшми новая знакомая ухитрилась по нескольку минут поговорить с каждым из нас наедине и что когда она ушла, скромно сказав, что уже отняла слишком много времени от нашего семейного отдыха, у каждого осталось свое, весьма категоричное суждение о ней, и эти суждения полностью и непримиримо противоречили друг другу. Сестре Флореас Ума показалась женщиной, от которой духовность истекает, как широкая река: она воздержанна и дисциплинированна, она — великая душа, устремленная к конечному единению всех религий, чьи различия, по ее убеждению, раство-

---

98 Примечания: 98

Имеется в виду убийство невесты с инсценировкой самосожжения, совершаемое родственниками, неспособными дать за ней положенное приданое.

рятся в благословенном сиянии божественной истины; а по мнению Майны она, напротив, была твердой, как железка (наилучший комплимент в устах нашей Филомины), убежденной секуляристкой-марксисткой-феминисткой, чья неутомимая преданность делу заставила Майну снова почувствовать вкус к борьбе. Авраам Зогойби отверг оба эти взгляда, назвав их «несусветной чушью», и превознес до небес острую как бритва финансовую сметку УМЫ и ее владение новейшими методами заключения сделок. А Джамшед Кэшонделивери, который смотрел на нее открыв рот и вылупив глаза, потом шепотом признался, что она — живое воплощение великолепной покойной Ины, Ины, какой она была до тех пор, пока ее не погубили нэшвиллские гамбургеры, «но только, — вырвалось у Джимми, который как был, так и остался дураком, — Ины с певучим голосом и с головой на плечах». Дальше он начал рассказывать, как они с УМОЙ зашли на минутку за трибуну и там девушка спела ему песенку в стиле «кантри» сладчайшим голосом, какой он когда-либо слышал; но тут терпение Ауроры Зогойби лопнуло.

— Сегодня у всех что-то ум зашел за разум! — рявкнула она. — Но для вас, дорогой Джимми,

это, боюсь, необратимо. Вы мне надоели! Проваливайте эк-дам — немедленно, — и чтобы больше мы вас не видели.

Мы оставили Джимми стоящим в паддоке с помутневшими, как у оглушенной рыбы, глазами.

Аурора не приняла Уму с самого начала; она одна уходила с ипподрома со скептической усмешкой на губах. Я должен это подчеркнуть: она ни разу, ни на миг не поддалась чарам молодой женщины, хотя та, с ее подчеркнуто скромной оценкой своих художественных талантов, была благоговейно-красноречива, говоря о достижениях моей матери, которую она никогда ни о чем не просила. После своего триумфа на выставке «Документа» в 1978 году в Касселе, когда за ней начали охотиться самые крупные дилеры Лондона и Нью-Йорка, она позвонила Ауроре из Германии и кричала ей в трубку сквозь шорох международного пространства:

— Я заставила Касмина и Мэри Бун пообещать, что вас они выставят тоже! В противном случае, сказала я им, моих вещей вам не видать!

Она явилась среди нас, как «богиня из машины», и обратилась к нашим сокровенным сущностям. Только безбожная Аурора осталась к ней глуха. Через два дня Ума робко пришла в

«Элефанту», но Аурора заперлась в своей мастерской. Что было, мягко говоря, невежливо и не по-взрослому. Желая загладить материнскую грубость, я вызвался показать Уме наши владения и с горячностью заявил:

— Наш дом для вас всегда открыт — приходите, когда вам вздумается!

Того, что Ума сказала мне в Махалакшми, я не передавал никому. Во всеуслышание она заявила, смеясь:

— Ну, раз уж тут ипподром, значит, нужно устроить бега!

Она скинула с ног сандалии, схватила их левой рукой и понеслась по дорожке, длинными развевающимися волосами прочерчивая за собой сноп линий, подобных тем, что в комиксах обозначают скорость, или похожих на след реактивного лайнера. Я, конечно, ринулся за ней; ей и в голову не могло прийти, что я останусь стоять. Она была резвая бегунья, резвее меня, и в конце концов мне пришлось сдаться, потому что моя грудь начала ходить ходуном и свистеть. Задыхаясь, я прислонился к белым перилам, прижимая к груди обе руки, чтобы унять спазм. Она вернулась и положила свои ладони на мои. Когда мое дыхание успокоилось, она легко погладила мою

увечную правую и еле слышно сказала:

— Этой рукой вы сметете все, что встанет у вас на пути. Под ее защитой я бы чувствовала себя в безопасности.

Она взглянула мне в глаза и добавила:

— Там, внутри у вас, прячется юноша. Я вижу, как он на меня смотрит. Что за сочетание, яар. Душа юноши и облик зрелого мужчины — должна сознаться, что всю жизнь ищу именно это. Жарче и острей, ей-богу, ничего не бывает.

Значит, вот оно, сказал я себе изумленно. Это пощипывание слез, этот комок в горле, этот набухающий жар в крови. От моего пота пошел запах перца. Я почувствовал, как мое "я", мое подлинное "я" хлынуло, вздымаясь, из дальних уголков моего существа в самую сердцевину. Теперь я не принадлежал никому, но в то же время принадлежал, всецело, неизменно и навеки, — ей.

Она отняла руки; у перил стоял влюбленный в нее мавр.

x x x

Утром того дня, когда Ума пришла к нам впервые, моя мать решила написать меня обнаженным. Нагота не была для нашего кружка чем-то особенным; за прошедшие годы многие

художники и их друзья позировали друг другу в чем мать родила. Не так давно туалет для гостей в «Элефанте» был украшен стенной росписью Васко Миранды, изображавшей его самого и Кеку Моди в котелках и больше ни в чем. Кеку был все такой же тощий и долговязый, Васко же, человек небольшого роста, сильно расплылся по причине успеха, многолетнего пьянства и беспорядочной жизни. Главный интерес фрески состоял в том бросающемся в глаза обстоятельстве, что мужчины словно бы поменялись пенисами. У Васко он был чрезвычайно длинный и худощавый, похожий на белую сосиску пепперони, а высокий Кеку, напротив, демонстрировал темный коренастый член весьма внушительного диаметра. Оба, однако, божились, что в действительности все так и есть.

— У меня — кисть художника, у него — бочонок с золотом, — объяснял Васко. — Иначе и быть не может.

Именно Ума Сарасвати дала фреске имя, сохранившееся за ней навсегда.

— Лорел и Хардон [99], — хихикая, сказала она,

99 Примечания: 99

Намек на Лорела и Харди, пару американских комических актеров — «тонкого и толстого». В то же время «хардон» (hard-on) означает по-английски «эрекция».

и название закрепилось.

После осмотра «Лорела и Хардона» я поймал себя на том, что рассказываю Уме о живописных «маврах» и о плане матери написать «обнаженного мавра». Она внимательно слушала мой исполненный гордости рассказ об участии в творчестве матери, а потом вдруг просквозила меня своей мощной улыбкой, словно выпустив из светло-серых глаз два лазерных луча.

— Не следует вам в вашем возрасте показываться маме голышом, — покачала она головой. — Когда мы познакомимся лучше, я запечатлею вашу красоту в чужеземном каррарском мраморе. Я сделаю из вашей руки-дубинки великолепнейшую конечность на свете — не хуже, чем непомерно большая лапа микеланджеловского Давида. До той поры, мистер мавр, извольте блюсти себя для меня.

Вскоре она ушла, не желая беспокоить великую художницу в ее рабочие часы. Несмотря на это свидетельство чуткости и такта, у моей себялюбивой матери не нашлось для нашей новой знакомой ни единого доброго слова. Когда я сказал ей, что не смогу позировать для ее новой картины, потому что много времени должен тратить на работу в торгующей тальком фирме

«Бэби Софто», мать взорвалась.

— Не пудри только мне мозги своим тальком! Эта маленькая удильщица уже подцепила тебя на крючок, а ты, как глупая рыба, думаешь, что это она с тобой играет. Очень скоро ты будешь пыхтеть на суше, а потом она зажарит тебя в топленом маслице с имбирчиком, чесночком, перчиком, тминчиком, а может, и картошечки еще положит в качестве гарнира.

Она захлопнула дверь мастерской у меня перед носом, навсегда преграждая мне туда путь; больше она не просила меня позировать.

Картина, названная «Обнаженный мавр смотрит на явившуюся Химену», была столь же точно выстроена, как веласкесовские «Менины» с их изысканной игрой взглядов и углов зрения. В одном из покоев Аурориной сказочной Малабарской Альгамбры на фоне стены с прихотливым геометрическим узором стоял голый мавр, весь расписанный цветными ромбами. Позади него на подоконнике окна-бойницы виднелась хищная птица из Башни Молчания, а рядом с этим зловещим проемом был прислонен к стене ситар [100], чей дынный лакированный корпус грызла

100 Примечания: 100

Ситар — индийский музыкальный инструмент, напоминающий лютню.

мышь. Слева от мавра стояла его грозная мать, султанша Айша-Аурора в черном струящемся одеянии, и держала перед его нагим телом зеркало в человеческий рост. Отражение в зеркале было написано с великолепным натурализмом — не арлекин, не Боабдил, просто я. Но покрытый ромбами мавр не смотрел на себя в зеркале, потому что справа от него в дверях стояла прекрасная молодая женщина — разумеется, Ума, но преображенная, испанизированная, Ума в образе Химены, приводившая на ум Софию Лорен из фильма «Сид», словно ее, эту Химену, вырвали из истории о Родриго де Биваре и перенесли без всяких объяснений в гибридный мир мавра, — и много было диковин между ее широко разведенных, зовущих рук — сферы из золота, птицы в драгоценных каменьях, крохотные человечки, волшебно парящие в ослепительном сиянии.

Материнская ревность из-за первой настоящей любви сына исторгла у Ауроры этот крик боли, эту картину, где попытка матери открыть сыну глаза и помочь ему увидеть себя самого во всей простоте проваливается из-за отвлекающих трюков чародейки; где мышь грызет спящую музыку, а стервятник терпеливо ждет поживы. С тех самых пор, как умирающая Изабелла Химена да

Гама объединила в своем лице Сида Кампеадора и Химену, дочь ее Аурора, поднявшая уроненный Беллой факел, считала себя, как и мать, одновременно героем и героиней. Теперешняя же расстановка фигур — то, что мавр получил роль Чарльза Хестона, а женщина с лицом УМЫ была наречена вторым именем моей бабушки, — было чуть ли не признанием поражения,– метафорой собственной смертности. Уже не Аурора, изображенная вдовствующей старухой Айшей, смотрится в волшебное зеркало; теперь там отражается мавр Боабдил. Но настоящим волшебным зеркалом были, конечно, его (мои) глаза; и это магическое стекло, несомненно, нашептывало мне, что чародейка в дверях прекрасней всех на свете.

Написанная, как и многие другие зрелые «мавры», в многослойной манере старых европейских мастеров и важная для истории живописи, поскольку впервые в этом цикле появляется образ Химены, картина, как я тогда думал, показывала, что в конечном счете искусство и жизнь — вещи совершенно разные; что нечто, ощущаемое художником как истина, — например, эта история о злодейском умыкании, о красотке, явившейся, чтобы оторвать сына от матери, — вовсе не обя-

зано иметь хоть какое-то отношение к событиям и чувствам людей в реальном мире.

Ума была вольная птица; прилетала и улетала, когда ей было угодно. Ее отъезды в Бароду разрывали мне сердце, но она не позволяла мне навещать ее там.

— Ты не должен видеть мою работу, пока я для тебя не готова, — сказала она. — Хочу, чтобы ты сражен был мной, а не тем, что я делаю.

Ибо вопреки всем вероятностям, по царственной прихоти красоты она, которая могла выбирать, положила глаз на этого глупого увечного старообразного юнца и шепотом сулила ему в скором будущем все земные наслаждения.

— Потерпи, — говорила она. — Потерпи, невинный мой, ведь я богиня и потому знаю, что у тебя на сердце, и я дам тебе все, чего ты жаждешь, и больше того.

"Потерпи самую малость, — просила она, не объясняя, почему, но мое недоумение смывалось лирической волной ее обещаний. — И потом до гробовой доски я буду твоим зеркалом, другим "я" твоего "я", равной тебе, твоей царицей и твоей рабыней".

Меня, надо сказать, удивляло, что в иные из своих приездов в Бомбей она не давала мне о себе

знать. Однажды из монастыря позвонила Минни и сказала трепетным голосом, что Ума была у нее и спрашивала, как язычница может прийти к жизни во Христе.

— Я думаю, она обязательно придет ко Христу, — сказала сестра Флореас, — и к пресвятой Богоматери. — Тут я, кажется, фыркнул, после чего голос Минни зазвучал странно и отчужденно. — Да, именно так. Ума, добрая душа, сказала мне, как ее печалит то, что дьявол имеет над тобой такую власть.

И Майна, в свой черед, — Майна, от которой в жизни не дождешься звонка! — позвонила, чтобы рассказать о захватывающем шествии бок о бок с моей любимой в первой шеренге на политической демонстрации, благодаря которой были на время спасены от разрушения призрачные лачуги невидимых бедняков, занимавшие дорогостоящую землю недалеко от Кафф-парейд с его небоскребами. По ее словам, Ума чуть ли не возглавила марш обитателей лачуг и сочувствующих, зажигательно распевая с ними вместе: «Мы сожгли мосты — чего бояться?» Внезапно Майна призналась -Майна, от которой в жизни не дождешься признания! — что у нее создалось об Уме вполне определенное представление: она

— лесбиянка. (Филомина Зогойби ни с кем не откровенничала относительно своей собственной сексуальной ориентации, но было доподлинно известно, что она ни разу не подпустила к себе мужчину; приближаясь к тридцати годам, она непринужденно говорила, что «пока в девицах — такой уж у меня склад». Но теперь, может быть, Ума Сарасвати узнала о ней больше.)

— Знаешь, а мы довольно близки стали, — изумила меня Майна новым признанием, в котором детскость странно соединилась с вызовом. — Наконец можно с кем-то устроиться в уютном гнездышке и протрепаться ночь напролет -бутылка рома, курева пара пачек, что еще надо. От сестричек ведь всегда прок был нулевой.

Что это еще за ночи? Когда? В конуре, где жила Майна, даже лишний стул мудрено было поставить, не то что матрас положить; как, интересно, они там устраивались?

— Ты, я слыхала, по ней слюнки пускаешь, — прозвучал из трубки сестрин голос, и то ли это была сверхчуткость любви, то ли меня просто хотели предостеречь: — Братишка, позволь дать тебе совет: не надейся, у тебя нет никаких шансов. Поищи, петушок, другую. Эта предпочитает курочек.

Я не знал, что думать по поводу этих звонков, тем более что мои звонки Уме в Бароду оставались без ответа. На съемках рекламного телеролика для фирмы «Бэби Софто», когда рядом со мной гукали сразу семь щедро присыпанных тальком младенцев, я был настолько погружен в мои внутренние борения, что не смог исполнить порученную мне простейшую задачу, а именно: проследить с помощью секундомера, чтобы мощные «солнечные лампы» не светили на детей дольше одной минуты из каждых пяти, — и был выведен из забытья только руганью операторов, визгом матерей и воплями малышей, начавших поджариваться и покрываться волдырями. Полный стыда и смущения, я бросился вон из студии и увидел Уму, сидящую на крылечке и поджидающую меня.

— Пойдем поедим досы [101], яар, — сказала она. — Я с голоду умираю.

И, конечно же, за едой она дала всему совершенно разумное объяснение.

— Я же хотела тебя узнать, — говорила она с глазами, полными слез. — Поразить хотела тем, как я стараюсь все выведать. Приблизиться хоте-

---

101 Примечания: 101

Доса — южноиндийское блюдо: свернутые трубочкой лепешки с начинкой.

ла к твоим родичам — стать им как своя рубашка или даже ближе. Ну, так мотай на ус, что у нашей бедненькой Минни от религии крыша поехала: я по дружбе ее спросила о том, о сем, так она, святенькая, все поняла по-своему. Мне, значит, прямой путь в монашки! Чушь собачья. А насчет дьявола, так это я пошутила просто. Я хотела сказать, если Минни за божью команду, то за кого тогда мы с тобой и все вообще нормальные люди — выходит, за дьявола?

И все время мое лицо покоилось в ее ладонях, она гладила мне руки, как в нашу первую встречу; такую любовь излучало ее лицо, такую боль из-за моих сомнений в ней…

— А Майна? — упорствовал я, чувствуя себя чудовищем из-за того, что допрашиваю такое любящее, такое преданное создание.

— Ну была, была я у нее. Чтоб ей угодить, пришла на демонстрацию. И пела — почему не петь, если есть голос? Что из этого?

— А уютное гнездышко?

— О Господи! УЖ если ты, несмышленыш, хочешь знать, кто действительно дама для дамского употребления, то гляди не на меня, а на свою твердокаменную сестрицу. Переночевать в одной постели — это не значит ровным счетом ничего,

в колледже девушки сплошь и рядом так спят. Но уютное гнездышко — это, прости за откровенность, сексуальная греза твоей Филомины. Я вообще-то очень зла. Пытаешься подружиться, так тебя объявляют святошей и лгуньей, плюс ко всему я, оказывается, твою сестру лишила невинности. Да что же вы за люди такие? Как ты не видишь, что я ради любви все делала?

Крупные слезы звучно шлепались на ее пустую тарелку: душевная боль не испортила ей аппетита.

— Не надо, пожалуйста, не надо, — виновато бормотал я. -Я никогда… никогда больше…

Ее улыбка, воссиявшая сквозь слезы, была такой яркой, что мне представилось, будто вот-вот я увижу радугу.

— Может быть, пришло время, — прошептала она, — доказать тебе, что я гетеросексуальна на все сто.

x x x

И еще ее видели с самим Авраамом Зогойби: она уплетала большие сандвичи у бортика бассейна в клубе «Уиллингдон», а потом вежливо проиграла старику партию в гольф.

— Она, эта Ума твоя, была настоящее чудо, —

говорил он мне годы спустя в своем поднебесном раю, возведенном И. М. Пеи. — Такая умница, такое оригинальное мышление, да еще эти пытливые глаза — не глаза, а бассейны. Ничего подобного не видел с тех самых пор, как в первый раз посмотрел на твою мать. Уму непостижимо, сколько я ей всего наболтал! Моим собственным детям ведь было наплевать — вот тебе, например, единственному сыну! — а старику надо перед кем-то выговориться. Я бы ее тут же на работу взял, но она сказала — искусство важнее всего. А сиськи -боже ты мой! Каждая с твою голову. — Он неприятно хихикнул, после чего небрежно извинился, не потрудившись придать своему тону хоть малую толику искренности. — Сказать по правде, сынок, женщины всю жизнь были моей слабостью. — Вдруг на его лицо набежала туча. — Мы с тобой потеряли твою милую мамочку, потому что оба заглядывались на других, — пробормотал он.

Банковские аферы глобального масштаба, биржевые операции на ультрамогамбическом уровне, многомиллиардные сделки по оружию, тайная торговля ядерными технологиями с хищением информации из компьютеров и мальдивскими Матами Хари, нелегальный вывоз

антиквариата вплоть до символа страны, до самого четырехголового Сарнатхского льва… что из этого «теневого» мира, что из своих грандиозных достижений открыл мой отец Уме Сарасвати? Что, например, он рассказал ей об определенных экспортных сделках, касающихся белого порошка от фирмы «Бэби Софто»? В ответ на мой вопрос он только покачал головой. — Не так много, думаю. Не знаю. Может, все. Я ведь, кажется, разговариваю во сне.

x x x

Но я забегаю вперед. Ума поведала мне о партии в гольф с моим отцом, высоко отозвавшись о его ударе — «В его возрасте, и никакой, совершенно никакой дрожи в руках!» -и о внимании, проявленном им к девушке из провинции. Мы стали встречаться в скромных гостиничных номерах в Колабе или у пляжа Джуху (пользоваться шикарными пятизвездочными заведениями было рискованно — слишком много там было видеоглаз и аудиоушей). Но больше всего мы любили «номера для отдыха» при вокзале Виктории и Центральном вокзале; именно в этих прохладных, чистых, затемненных, анонимных комнатах с высокими потолками началось мое

путешествие по раю и аду.

— Поезда, — сказала однажды Ума Сарасвати. — Все эти поршни, сцепки. Сразу тянет на любовь, правда?

Как мне рассказать о наших соитиях? Даже сейчас, после всего, что было, вспоминаю и содрогаюсь от острого томления по утраченному. Помню эту нежность, эту внезапную свободу, это ощущение откровения; будто вдруг плоть распахнет в тебе некую дверь, и через нее хлынет нежданное пятое измерение — целая вселенная с ее планетными кольцами, с ее хвостатыми кометами. С вихревыми галактиками. Со взрывами солнц. Но превыше всяких слов, превыше всякого изъяснения — чистая телесность, скользящие руки, напряженные ягодицы, выгнутые спины, взлеты и опадания, нечто не имеющее смысла вне себя и придающее смысл всему, краткое звериное делание, ради которого на все — на все что угодно — можно было пойти. Я не могу представить себе — нет, даже сейчас мне не хватает силы воображения, -что такая страсть, такая глубина могла быть поддельной. Не могу поверить, что она лгала мне тогда, в ту минуту, говоря о лязганье поездов. Нет, не верю; да, верю; не верю; верю; нет; нет; да.

Была некая смущавшая меня подробность. Однажды Ума, моя Ума, когда уже близился Эверест нашего наслаждения, сияющий пик нашего восторга, прошептала мне на ухо, что одна вещь ее печалит.

— Твоей мамочкой я восхищаюсь; а она, она совсем меня не любит.

Задыхаясь, пребывая совсем в иных мирах, я попытался ее разуверить: «Любит, что ты». Но Ума — вся в поту, порывисто дыша, судорожно толкаясь своим телом в мое, — повторила то же самое.

— Нет, милый мой мальчик. Не любит. Билькуль — совершенно.

Должен признать, что в ту минуту мне было не до выяснений. Грубость сама собой слетела с моего языка: " Ну, так вставите тогда ей ". — «Что ты сказал?» — " Я сказал, вставить ей. Мамаше моей, по рукоятку. О… " Она оставила эту тему, перейдя к более насущному. Ее губы зашептали мне о другом: «Ты хочешь этого, милый мой, и этого, сделай же, сделай, ты можешь, если хочешь, если ты хочешь». — " О Господи, да, я хочу, я сделаю, да, да… О… "

Такие разговоры лучше вести самому, чем читать или подслушивать, поэтому я здесь оста-

новлюсь. Но приходится сказать — и, говоря, я заливаюсь краской, — что Ума постоянно возвращалась к враждебности моей матери, так что это словно бы стало частью возбуждавшего ее ритуала.

— Она ненавидит меня, ненавидит, скажи мне, что с этим делать…

На это я должен был отвечать определенным образом, и, каюсь, весь охваченный желанием, я отвечал, как требовалось: " Трахнуть ее. Трахнуть суку безмозглую ". А Ума: «Как? Милый мой, милый, как?» — « Спереди, сзади, вдоль и поперек „. -“О, ты можешь, мой сладкий, мой единственный, если хочешь, если ты только скажешь, что этого хочешь». — "О Господи, да. Я хочу. Да. О, Господи ".

Так в минуты моего величайшего счастья я сеял семена беды — беды для меня, для моей матери и для нашего славного дома.

x x x

Мы все, за одним исключением, любили Уму в то время, и даже не любившая ее Аурора смягчилась; ибо, появляясь в нашем доме, Ума привлекала туда моих сестер, и мое лицо тогда недвусмысленно сияло восторгом. При всей

невнимательности, отличавшей Аурору как мать, она все же оставалась матерью и поэтому несколько умерила свою неприязнь. Кроме того, она серьезно относилась к творчеству, и после того, как Кеку Моди побывал в Бароде и вернулся восхищенный работами девушки, великая Аурора еще больше растаяла. Ума как почетная гостья была приглашена на одну из редких теперь вечеринок в «Элефанте».

— Таланту, — заявила мать, — все прощается. Ума польщенно потупила глаза.

— А посредственности, — добавила Аурора, — ничего не полагается. Ни одной пайсы, ни одной каури [102], вообще ничего. Эгей, Васко, — что скажешь на это?

Васко Миранда, которому перевалило за пятьдесят, был теперь нечастым гостем в Бомбее; когда он появлялся, Аурора не тратила времени на любезности и обрушивалась на его «вокзальное искусство» с ядом, который удивлял даже в этой язвительнейшей из женщин. Вещи самой Ауроры мало куда вывозились. Что-то купили крупные европейские музеи — амстердамский муниципальный, галерея Тейт, — но Америка

---

102 Примечания: 102
Пайса, каури — мелкие разменные монеты.

оставалась непроницаема для ее искусства, если не считать Гоблеров из Форт-Лодердейла, штат Флорида, чей коллекционерский пыл дал столь многим индийским художникам средства к существованию; поэтому, возможно, материнским тирадам добавляла остроты еще и зависть.

— Ну, чем теперь потчуешь транзитных авиапассажиров, а, Васко? — осведомлялась она. — Небось, на эскалаторах все пятятся назад, чтоб получше рассмотреть твои росписи. А смена часовых поясов? Как она влияет на восприятие искусства?

Под градом ее стрел Васко только вяло улыбался и опускал голову. Он теперь обладал громадным состоянием в иностранной валюте и не так давно избавился от всех своих квартир и мастерских в Лиссабоне и Нью-Йорке с тем, чтобы построить подобие замка в холмах Андалусии, на каковой проект, по слухам, он готов был израсходовать больше, чем составлял в сумме доход всех художников Индии за всю их жизнь. Эта байка, которую он не опровергал, только увеличила неприязнь к нему в Бомбее и добавила ярости атакам Ауроры Зогойби.

Он неимоверно раздался в поясе, его усы превратились в двойной восклицательный знак на

манер Дали, его сальные волосы были разделены на пробор над самым левым ухом и приклеены к лысому, блестящему напомаженному темени.

— Неудивительно, что ты до сих пор в холостяках, — дразнила его Аурора. — Второй подбородок женщина еще может стерпеть, но у тебя, дорогой мой, целый зоб вырос.

В кои-то веки издевки Ауроры пришлись в тон мнению большинства. Время, которое благотворно сказалось на банковском счете Васко, жестоко обошлось с его репутацией в Индии, равно как и с его телом. Несмотря на множество заказов, оценка его работ стремительно и неуклонно падала, их считали пошлыми и поверхностными, и хотя Национальный музей в свое время купил пару его ранних вещей, подобного не случалось уже много лет. Картины эти хранились в запаснике. Для взыскательных критиков и художников нового поколения Миранда был отыгранной картой.

Чем выше восходила звезда УМЫ Сарасвати, тем ниже опускалась тускнеющая звезда" Васко; но когда Аурора выгнала его вон, он сохранил за собой последнее слово.

Сотрудничество между Васко и Ауророй на манер Пикассо и Брака так и не состоялось; убедившись в эфемерности его таланта, она пошла

своим путем, оставив ему мастерскую в «Элефанте» только ради памяти о былых годах и, возможно, еще потому, что ей нравилось иметь его под рукой как предмет для насмешек. Авраам, который всегда на дух не переносил Васко, показал Ауроре вырезки из иностранных газет, откуда явствовало, что В. Миранда неоднократно обвинялся в хулиганстве и едва не был депортирован как из Соединенных Штатов, так и из Португалии; а также что ему пришлось пройти ряд лечебных курсов в психиатрических больницах, антиалкогольных центрах и реабилитационных клиниках для наркоманов по всей Европе и Северной Америке.

— Избавься наконец от этого кривляки и шарлатана, -упрашивал ее Авраам.

Что до меня, я помнил многое, чем Васко меня одарил, когда я был маленьким испуганным ребенком, и я все еще любил его за это, хотя и видел, что его демоны выиграли внутреннюю битву с тем, что в нем было светлого. Васко, пришедший к нам в тот же вечер, что и Ума, был похож на пузатого клоуна и воистину являл собой печальное зрелище.

Ближе к концу, когда алкоголь ослабил в нем тормоза, его понесло.

— К чертям всю вашу бражку! — кричал он. — Скоро отбываю к себе в Бененхели, и если у меня не зайдет совсем ум за разум, не вернусь никогда. — Потом принялся петь без склада и лада. — До свиданья, фонтан Флоры, — начал он. -Прощай, Хутатма-чоук. — Он остановился, поморгал и покачал головой. — Нет. Не то. До свиданья, Марин-дра-айв. Прощай, улица вождя Субхас Чандра Бо-о-ос.

(Много лет спустя, когда я тоже приехал в Испанию, я вспомнил неоконченную песенку Васко и даже пропел нечто подобное про себя.)

Ума Сарасвати подошла к этому тоскующему, беспокойному человеку, положила руки ему на плечи и поцеловала его в губы.

Что произвело на него неожиданное действие. Вместо того, чтобы почувствовать благодарность, — а многие в нашей гостиной, включая меня, были бы счастливы оказаться на его месте — Васко ополчился на Уму.

— Иуда, — сказал он. — Знаем-знаем. Из тех, что веруют в Господа-предателя Иуду Христа. Как же, как же, мисс. Видал вас в той церкви.

Ума отошла, залившись краской. Я бросился ее защищать.

— Не надо выставлять себя дураком, — сказал я

Васко, и он побрел прочь, высоко задрав нос; чуть позже мы услышали, как он с шумом свалился в бассейн.

— Вот и ладно, — сказала Аурора оживленно. — Теперь давайте сыграем в «Три персоны, семь грехов».

Это была ее любимая комнатная игра. Подкидывая монетку, определяли пол и возраст трех воображаемых «персон», после чего, вынимая из шляпы бумажки, назначали каждой смертный грех, в котором она «виновна». Собравшиеся должны были сымпровизировать историю, в которой действовали три грешника. В тот вечер персонами были Старая женщина, Молодая женщина и Молодой человек; из грехов им достались, соответственно, Гневливость, Тщеславие и Похоть. Едва бумажки были вытянуты, как Аурора, быстрая, как всегда, и, может быть, в большей степени, чем она желала показать, испытавшая воздействие мини-урагана в исполнении Васко, крикнула:

— У меня готово!

— Ой, расскажите! — восхищенно захлопала в ладоши Ума.

— Ладно, таким, значит, образом, — сказала Аурора, глядя в упор на юную почетную гостью. —

Гневливая старая королева обнаруживает, что ее сын, похотливый дурак, соблазнен ее молодой и тщеславной смертельной врагиней.

— Замечательная история, — сказала Ума, лучась безмятежной улыбкой. — Вот это да. Наваристый бульон. Прелесть.

— Ваша очередь, — обратилась к ней Аурора, улыбаясь так же широко, как она. — Что происходит потом? Как поступить гневливой старой королеве? Может быть, ей прогнать любовников с глаз долой? Разъяриться по-настоящему и дать им хорошего пинка?

Ума задумалась.

— Этого недостаточно, — ответила она. — Мне кажется, тут нужно более радикальное решение. Потому что соперница, эта тщеславная молодая претендентка, если с ней не покончить вовремя, не устроить ей фантуш, то есть попросту ее не укокошить, уж обязательно свергнет гневливую старую королеву. Наверняка! Ей нужен будет похотливый молодой принц целиком и полностью, плюс все королевство; и она слишком горда, чтобы делить трон с его мамашей.

— И что вы в таком случае предлагаете? — спросила Аурора льдисто-учтивым голосом среди внезапно наступившей тишины.

— Убийство, — сказала Ума, пожав плечами. — Несомненно, эта история не имеет иной развязки. Так или иначе, кто-то должен погибнуть. Либо белая королева возьмет черную пешку, либо та дойдет до последней горизонтали, превратится в черную королеву и возьмет белую. Другого финала я здесь не вижу.

На Аурору это произвело впечатление.

— Ума, дочка моя, а вы, оказывается, скрытная. Почему вы не сказали мне, что уже играли в эту игру?

x x x

«Вы, оказывается, скрытная…» Мою мать не покидала мысль, что Уме есть что таить.

— Заявляется ниоткуда и цепляется к нашей семье, как ящерица-чипкали, — беспрестанно тревожилась Аурора, хотя в свое время ее нимало не тревожило столь же неясное прошлое Васко Миранды. — Кто ее родственники? Кто ее друзья? Что у нее была за жизнь?

Я рассказал об этих сомнениях Уме, когда тени от больших лопастей потолочного вентилятора в «номерах для отдыха» гладили ее обнаженное тело, а ветерок от него сушил ее любовный пот.

— Уж с твоей-то семьей мне трудно тягаться

по части секретов, — ответила она. — Прости меня. Мне совсем не хочется плохо говорить о твоих близких, но разве у меня одна сумасшедшая сестрица уже в могиле, другая разговаривает с крысами в монастыре, а третья норовит развязать пояс на пижаме у подруги? И еще: чей, спрашивается, отец вот по это место в грязных делишках и несовершеннолетних красотках? И чья мать — прости меня, мой любимый, но ты должен это знать — чья мать сейчас имеет не одного, не двоих, а троих любовников?

Я сел в постели.

— Кто это тебе нашептал? Кто тебе дал выпить этот змеиный яд, которым ты вся насквозь пропиталась?

— Да это всем известно, — сказала Ума, обнимая меня. -Бедный мой софто. Ты думаешь, она богиня с крылышками. Весь город об этом толкует. Номер первый — Кеку Моди, этот недоумок-парс, номер второй — жирный мошенник Васко Миранда, а хуже всех номер третий — ублюдок Мандук. Раман Филдинг! Этот банчод!. Сукин сын! Мне очень жаль, но у дамы просто-напросто дурной вкус. Некоторые даже шушукаются о том, что она будто бы совратила своего родного сына, — да, бедный невинный малыш, ты еще не знаешь,

как злы бывают люди, — но я на это отвечаю, что нет, всему есть предел, уж тут я могу сама поручиться. Так что, видишь, твое доброе имя теперь в моих руках.

Это дало повод для нашей первой настоящей размолвки, но даже защищая Аурору, я в глубине души чувствовал справедливость Уминых обвинений. Собачья преданность Кеку не могла остаться без награды, и приправленное издевками долготерпение Ауроры в отношении Васко получало смысл в контексте связи, пусть даже и сходящей на нет. После того, как они с Авраамом перестали спать в одной постели, где ей было искать утешения? Талант и величие изолировали ее; сильные женщины всегда отпугивают мужчин, и мало кто из бомбейцев мог отважиться на ухаживание. Это объясняло Мандука. Грубый, физически сильный, безжалостный, он был как раз одним из тех немногих, кто не испытывал перед Ауророй никакого трепета. Столкновение из-за «Поцелуя Аббаса Али Бека» должно было возбудить его; он принял от нее взятку и мог захотеть — так, по крайней мере, мне представлялось — в отместку завоевать ее. Мысленным взором я видел влечение, смешанное с отвращением, которое она, вероятно, испытывала к этому ре-

ально могущественному порождению сточных канав, к этому дикарю, к этому исчадью трущоб. Если ее муж предпочитал красоток с Фолкленд-роуд, то она, Аурора Великая, могла отомстить ему, позволив Филдингу лапать и мять свое тело; да, я видел, что это должно было возбуждать ее, выпуская на волю присущую ей самой дикость. Может быть, Ума была права, и моя мать была подстилкой Мандука.

Неудивительно, что она начала проявлять параноидальные черты, предполагая, что за ней следят; такая сложная тайная жизнь, так много можно потерять, если это станет явным! Знаток живописи Кеку, упадочно-западнический В. Миранда и коммуналистская жаба; добавьте сюда теневой мир денег и черного рынка, в котором существовал Авраам Зогойби, и вы получите полный портрет того, что моя мать действительно любила, все румбы ее внутреннего компаса, отраженные в ассортименте мужчин. Глядя сквозь эту призму на ее творчество, можно, пожалуй, назвать его отвлечением от тяжких реальностей ее характера; изящным покровом, наброшенным на грязную лужу ее души.

Я в моем смятении почувствовал, что плачу и в то же время набухаю. Ума заставила меня

лечь на спину, оседлала меня и стала целовать, осушая слезы.

— Неужели все знают, кроме меня? — спросил я. — Майна? Минни? Все?

— Перестань думать о сестричках, — сказала она, двигаясь медленно, нежно. — Всех-то ты, бедный мой, любишь, ничего-то тебе не нужно, кроме любви. Если бы еще ты был им так же дорог, как они тебе! Но послушал бы ты, что они о тебе говорят. Такое! Ты не знаешь, какие битвы я из-за тебя с ними выдержала.

Я заставил ее остановиться.

— Что ты говоришь? Что ты говоришь мне?

— Бедный, маленький мой, — произнесла она, прильнув ко мне. Как я боготворил ее; как счастлив был из-за того, что в нашем предательском мире у меня есть ее зрелость, ее спокойствие, ее практический ум, ее сила, ее любовь!

— Бедный злосчастный Мавр. Теперь я буду твоей семьей.

15

Картины неуклонно теряли цвет, пока не остались только черный и белый, да еще изредка оттенки серого. Мавр теперь стал абстрактным персонажем, с головы до пят покрытым чередующимися черными и белыми ромбами. Айша, мать, была черна; Химена, возлюбленная, — ослепительно бела. На многих полотнах изображались любовные сцены. Мавр и его дама любили друг друга в самых разных местах. Они покидали дворец и бродили по городским улицам. Выискивали дешевые гостиницы и лежали обнаженные в комнатах с закрытыми ставнями над лязганьем поездов. Айша, мать присутствовала на всех картинах: то стояла за шторой, то подглядывала в замочную скважину, то взлетала по воздуху к окну, за которым нежились влюбленные. Черно-белый мавр неизменно смотрел на свое белое сокровище и отворачивался от черной родительницы; однако составлен он был из них обеих. И теперь уже у дальнего горизонта всегда явственно виднелись войска. Цокали копытами кони, поблескивали копья. Год от года армии придвигались все ближе и ближе.

Но Альгамбра высится незыблемо, убеждал мавр любимую. Наша твердыня — как наша любовь — выстоит против любого врага.

Он был сотворен из черною и белого. Он был живым примером единства противоположностей. Но Черная Айша тянула в одну сторону, Белая Химена — в другую. Они начали раздирать его надвое. Черные ромбы, белые ромбы падали из трещины, как слезы. Он вырывался из рук матери, приникал к Химене. А когда армии подошли к подножью холма, когда белые полки сконцентрировались на пляже Чаупатти, фигура в черном плаще с капюшоном выскользнула из крепости и сбежала вниз по склону. Изменническая рука сжимала ключи от ворот. Одноногий стражник, увидев фигуру, отдал ей честь. Это был плащ его возлюбленной. У подножья холма изменница сбросила его. Ослепительно-белая, она стояла и держала в предательской руке ключ от судьбы Боабдила.

Она отдала его осаждающим крепость войскам, и ее белизна влилась в их белизну.

Дворец пал. Его облик истаял — в белизну.

x x x

В возрасте пятидесяти пяти лет Аурора Зогойби

позволила Кеку Моди организовать большую ретроспективную выставку ее работ в музее Принца Уэльского; это был первый случай, когда музей почтил такой выставкой здравствующего художника. Нефрит, фарфор, статуи, миниатюры, старинные ткани — все это почтительно потеснилось, давая место картинам Ауроры. Выставка стала заметным событием в жизни Бомбея. Приглашающие на нее афиши висели повсеместно. (Аполло Бандер, Колаба-козуэй, фонтан Флоры, Черчгейт, Нариман-пойнт, Сивил-лайнз, Малабар-хилл, Кемпс-корнер, Уорден-роуд, Махалакшми, Хорнби Веллард, Джуху, Сагар, Санта-Крус. О благословенная мантра моего утраченного города! Эти места уплыли от меня навсегда; осталась лишь память. Прошу простить меня, если я поддаюсь искушению посредством простого называния вызвать их пред мои отрешенные очи. Книжный магазин Таккера, кафе «Бомбелли», кино «Эрос», улица Педдер-роуд. Ом мани падме хум… [103]) Отовсюду на тебя смотрели стилизованные буквы А. З. — с хлопающих на ветру плакатов, со страниц газет и журналов. Вернисаж, на котором присутствовали все до единого влиятельные

103 Примечания: 103

Эти слова составляют известную буддийскую мантру, т.е. священное изречение.

лица города, ибо игнорирование такого события было равносильно социальной смерти, вылился в подобие коронации. Аурора была увенчана, восславлена, засыпана цветочными лепестками, льстивыми словами и подарками. Весь город склонился, дабы коснуться ее ступней.

Даже Раман Филдинг, всесильный босс «Оси Мумбаи», явился, мигая жабьими глазками, и отвесил почтительный поклон.

— Пусть все видят, что мы делаем для меньшинств, — изрек он. — Кого мы сегодня чествуем — разве индуса? Разве одного из наших крупных индуистских художников? Нет, но пусть оно так и будет. В Индии каждая общность должна иметь свое место, свои возможности для досуга — для творчества и всего прочего — каждая общность. Христиане, парсы, джайны, сикхи, буддисты, евреи, магометане. Мы не отрицаем этого. Это тоже часть идеологии «Рам раджья», принцип правления Всемогущего Рамы. Только когда другие общности посягают на наши индуистские святыни, когда меньшинство хочет диктовать свою волю большинству, тогда мы говорим, что малое должно немножко посторониться и уступить дорогу великому. На живопись это тоже распространяется. Я сам был в молодости художником.

И со знанием дела могу сказать, что искусство и творчество тоже должны служить национальным интересам. Мадам Аурора, поздравляю вас с открытием этой почетной выставки. А насчет того, какое искусство останется в веках — интеллектуально-элитарное или популярное в массах, благородное или декадентское, скромное или напыщенное, возвышенное или низкопробное, духовное или порнографическое, — вы, я уверен, согласитесь, — он ухмыльнулся, предваряя шутку, — что на этот вопрос только «Тайме» в состоянии ответить.

На следующее утро «Таймс оф Индиа» (бомбейское издание) и все другие газеты города на видных местах напечатали репортажи о торжественном открытии, сопровождаемые пространными обзорами представленных работ. Этими обзорами на долгой и славной художнической карьере Ауроры да Гама-Зогойби был фактически поставлен крест. Привыкшая за долгие годы и к безудержной хвале, и к жестоким нападкам на почве эстетики, политики и морали, слышавшая в свой адрес обвинения в высокомерии, нескромности, непристойности, вторичности и даже — как в случае с картиной «Uper the gur gur the annexe the bay dhayana the mung the dal

of the laltain» по мотивам Манто — в скрытых пропакистанских симпатиях, моя мать была стреляной птицей; но она и подумать не могла, что ее объявят, попросту говоря, анахронизмом. Тем не менее, вследствие одного из тех резких и сбивающих с толку сдвигов, какими меняющееся общество сигнализирует о перепаде в настроениях, тигры искусствоведческой братии, светло горящие и исполненные устрашающей симметрии, [104] дружно набросились на Аурору Зогойби и заклеймили ее как «салонную художницу», чуждую и даже враждебную духу времени. В тот же день на первых полосах всех газет сообщалось о роспуске парламента вследствие распада коалиционного правительства, сменившего у власти Индиру Ганди после периода чрезвычайщины; авторы некоторых редакционных статей сыграли на контрасте в судьбах двух издавна враждебных друг другу женщин. «Заря Ауроры меркнет, — гласил заголовок на первой странице „Тайме“, — а у Индиры новый рассвет».

Тем временем в галерее «Чемоулд», которой покровительствовала семья Ганди, происходил первый бомбейский показ произведений моло-

---

104 Примечания: 104
Измененная цитата из стихотворения Уильяма Блейка «Тигр».

дого скульптора УМЫ Сарасвати. Центром экспозиции была группа из семи грубо-шарообразных каменных изваяний с небольшими выемками вверху, наполненными ярко окрашенными порошками — ярко-красным, ультрамариновым, шафранным, изумрудным, пурпурным, оранжевым, золотым. Работа, озаглавленная «Сущность материнства: перемены и улучшения в постсекуляристскую эпоху», год назад произвела фурор на выставке «Документа» в Германии и только что вернулась на родину, побывав в Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Те же отечественные критики, что расправились с Ауророй Зогойби, объявили Уму — «молодую, красивую и глубоко верующую» — новой звездой индийского искусства.

Все это были, конечно, сенсационные события; но я испытал от этих двух выставок потрясение более личного свойства. Впервые увидев работы УМЫ — ведь она по-прежнему не разрешала мне приезжать в Бароду, где была ее мастерская, — я также впервые узнал, что она религиозна. Посыпавшиеся теперь интервью, где она заявляла о своей истовой вере во Всемогущего Раму, меня просто сразили. Несколько дней после открытия выставки она отказывалась встречаться со

мной, ссылаясь на занятость; когда она наконец согласилась свидеться в «номерах для отдыха» на вокзале Виктории, я спросил, почему она скрывала от меня такую важную часть своей души.

— Ты ведь называла Мандука ублюдком, — напомнил я ей. — А теперь газеты полны твоими высказываниями, которые звучат как музыка для его ушей.

— Я не говорила тебе, потому что религия — личное дело, -ответила она. — А я, как ты знаешь, чересчур, может быть, оберегаю свое личное. И я действительно считаю, что Филдинг — бандит, скотина и гад, потому что он пытается превратить мою любовь к Раме в оружие против «моголов» -то есть мусульман, кого же еще. Но, милый мой мальчик, -она никак не хотела отказаться от этих ласкательных выражений, хотя в 1979 году, через двадцать два года после моего рождения, телу моему было сорок четыре, — пойми, что если ты принадлежишь к крохотному меньшинству, то я — дитя огромной индийской нации и как художница не могу с этим не считаться. Я должна сама прийти к моим корням, познать вечные истины. Бас, мистер, это не касается; совершенно не касается. К тому же, если я такая фанатичка, тогда скажите на милость, сэр, что я делаю здесь?

Последнее звучало убедительно.

Аурора, глухо затаившаяся в «Элефанте», смотрела на все иначе.

— Извини меня, но эта твоя девица — самая амбициозная личность из всех, кого я знаю, — сказала она мне. — Даже близко никого нет. Чует, как меняется ветер, и поворачивается в нужную сторону. Погоди еще; через две минуты она будет стоять на трибуне ОМ и изрыгать проклятия. — Тут ее лицо потемнело. — Думаешь, я не знаю, как она старалась изо всех сил провалить мою выставку? — произнесла она мягким голосом. — Думаешь, я не проследила ее связи с теми, кто издевался надо мной в газетах?

Это было чересчур; это было недостойно. Аурора в опустевшей мастерской — ибо все «мавры» находились в музее Принца Уэльского — смотрела на меня глубоко запавшими глазами поверх нетронутого холста, и кисти падали на пол из ее пучка волос, как стрелы, летящие мимо цели. Я стоял в дверях и кипел от злости. Я пришел драться — потому что ее выставка тоже была для меня личным потрясением; до ее открытия я не видел этих монохромных полотен, на которых ромбовидно-клетчатый мавр и его белоснежная Химена любили друг друга под взглядами его

черной матери. Выпад против УМЫ — довольно абсурдный, подумал я в бешенстве, со стороны тайной любовницы Мандука — дал мне повод ринуться в атаку.

— Мне очень жаль, что они разнесли твои картины в пух и прах! — кричал я. — Даже если бы Ума хотела что-нибудь подстроить, как бы она смогла? Как ты не видишь, насколько она смущена тем, что ее хвалят, а тебя ругают? Бедняжке так стыдно, что она даже не смеет показываться! С самого начала она тебя боготворила, а ты в ответ льешь на нее грязь! Твоя мания преследования перешла все границы! А что касается прослеживания связей — что, по-твоему, я должен думать, глядя на эти картины, на которых изображена ты, шпионящая за нами? С каких пор ты стала этим заниматься?

— Берегись этой женщины, — тихо сказала Аурора. — Она лгунья и сумасшедшая. Она ящерица-кровосос, и не тебя она любит, а кровь твою. Она высосет тебя, как манго, а косточку выбросит.

Я был в ужасе.

— Ты больна, что ли?! — заорал я. -Тебе нужно лечиться, у тебя с головой не в порядке!

— Нет, я здорова, сын мой, — сказала она еще

мягче. — А вот с той женщиной дело обстоит иначе. Больная, или дурная, или то и другое вместе. Не мне определять. Что до моего соглядатайства, тут признаю себя виновной по всем статьям. Некоторое время назад я попросила Дома Минто разузнать правду о твоей таинственной подружке. Сказать, до чего он докопался?

— Дома Минто? — Услышав это имя, я остановился на полном ходу. С таким же успехом она могла сказать: «Эркюля Пуаро», «Мегрэ» или «Сэма Спейда». Она могла сказать: «инспектора Гхоте» или «инспектора Дхара». Все слышали это имя, все читали «Тайны Минто», грошовые книжки-страшилки, описывающие разные случаи из практики этого великого бомбейского сыщика. В пятидесятые годы о нем было снято несколько фильмов, в последнем из которых рассказывалось о его роли в знаменитом преступлении (ибо когда-то действительно существовал «реальный» Минто, который «реально» работал частным детективом), совершенном капитаном Сабармати, знаменитым индийским военным моряком, который выстрелил в свою жену и ее любовника, убив мужчину и серьезно ранив женщину. Не кто иной, как Минто, обнаружив их любовное гнездышко, дал разгневанному ка-

питану адрес. Глубоко опечаленный убийством и тем, как изобразили в фильме его самого, старик -ибо уже тогда он был в возрасте и хромал — ушел на покой и позволил сочинителям разгуляться на всю катушку, создать героическую детективную суперсагу из дешевых книжек в бумажных переплетах и радиосериалов (а в последнее время — также из кинематографических римейков, безумно дорогих и со звездным актерским составом, основанных на второсортной продукции пятидесятых) и превратить его из дряхлого пенсионера в легендарное существо. Что, спрашивается, делает в моей жизни этот приключенческий персонаж?

— Да, настоящего Дома Минто, — сказала Аурора не без тепла в голосе. — Ему уже за восемьдесят. Кеку мне его разыскал.

О, Кеку, Еще один твой воздыхатель. О, милый Кеку его мне разыскал, а он просто невозможно милый, милый старикан, и задала же я ему работку.

— Он был в Канаде, — продолжала Аурора. — От дел отошел, жил с внуками, скучал, отравлял молодым жизнь как мог. Потом вдруг выясняется, что капитан Сабармати вышел из тюрьмы и помирился с женой. Вот ведь как бывает. В тех

же краях, в Торонто, там они зажили себе мирно и счастливо. И тогда, Кеку говорит, у Минто полегчало на душе, он вернулся в Бомбей и взялся вновь за работу пат-а-пат — немедленно. Мы с Кеку большие его поклонники. Дом Минто! В те времена он был лучший из лучших.

— Чудненько! — сказал я, насколько мог, саркастически. Но мое сердце, должен признать, мое грошово-пугливое сердце бешено колотилось. — И что же, скажи на милость, этот болливудский Шерлок Холмс разнюхал о женщине, которую я люблю?

— Она замужем, — ответила Аурора сухо. -И в настоящее время забавляется не с одним, не с двумя — с тремя любовниками. Желаешь видеть снимки? Глупый Джимми Кэш, вдовец нашей бедной покойной Ины; твой глупый папаша; и ты, мой глупый павлин.

x x x

— Слушай внимательно, второй раз не буду повторять, -сказала она мне до этого в ответ на мои настойчивые расспросы о ее прошлом. Она родилась в уважаемой, хоть и достаточно бедной брахманской семье в штате Гуджарат и очень рано осиротела. Ее мать, страдавшая депрессией,

повесилась, когда Уме было двенадцать, а отец, школьный учитель, обезумев от горя, совершил самосожжение. От нужды Уму спас добрый «дядюшка» — на самом деле никакой не дядюшка, а сослуживец отца, — который платил за ее обучение, требуя взамен сексуальных услуг (так что и не «добрый» тоже).

— С двенадцати лет, — рассказывала она. — И до недавнего времени. Дай я себе волю, я всадила бы нож ему в глаз. Вместо этого я молилась о том, чтобы Бог его покарал, и просто терпела. Понял теперь, почему я не хочу говорить о прошлом? Больше никогда о нем не спрашивай.

Версия Дома Минто, как мне ее изложила мать, звучала несколько иначе. Выходило, что Ума родом не из Гуджарата, а из Махараштры — другой половины бывшего штата Бомбей — и жила в Пуне, где ее отец был крупным полицейским чином. С детства она проявляла исключительные художественные способности, и родители, всячески стараясь их развивать, дали ей подготовку, позволившую получить стипендию в университете, где все сошлись во мнении, что девушку ждет блестящее будущее. Вскоре, однако, стали у нее проявляться признаки сильного душевного расстройства. Хотя теперь, когда она стала попу-

лярной фигурой, люди уже не хотели или боялись говорить о ней начистоту, Дом Минто после тщательных выяснений узнал, что три раза она соглашалась пройти интенсивный медикаментозный курс, предписанный для предотвращения ее неоднократных срывов, но все три раза бросала лечение, едва начав. Ее способность быть совершенно разной в обществе разных людей — становиться тем, что данному мужчине или данной женщине (чаще мужчине) должно было показаться наиболее привлекательным, — превышала всякое разумение; это был актерский талант, доведенный до точки помешательства. Мало того; она выдумывала чрезвычайно яркие, длинные и подробные истории якобы из своей жизни и упрямо настаивала на их истинности, даже когда ей указывали на внутренние противоречия в ее россказнях или на подлинные факты. Возможно, она уже утратила представление о своей «реальной» личности, независимой от этих ролей, и ее внутреннее смятение начало переходить границы ее самое и заражать, как инфекция, всех, с кем она вступала в общение. Например, в Бароде она не раз распространяла зловредную ложь об абсурдно пылких романах, которые будто бы случались у нее с теми или иными преподава-

телями и даже писала их женам письма, излагая в них подробности воображаемых половых сношений, что становилось причиной семейных драм и разводов.

— Она потому не разрешала тебе приезжать к ней в университет, — сказала мне мать, — что все ее там, как чуму, ненавидят.

Ее родители, узнав о ее психической болезни, бросили ее на произвол судьбы — довольно распространенная реакция, как мне было известно. Никто там не повесился и не сжег себя — эти свирепые фантазии были порождением гнева дочери (довольно законного, впрочем). Насчет развратного «дядюшки»: как утверждали Минто и Аурора, Ума после того, как ее отвергла семья, — вовсе не в двенадцать лет, как она мне сказала! — быстренько пристроилась к жившему в Бароде старому знакомому отца, отставному помощнику полицейского инспектора по имени Суреш Сарасвати, грустному пожилому вдовцу, которого молодая красотка с легкостью подбила на скоропалительный брак, поскольку после отречения родителей она отчаянно нуждалась в респектабельном статусе замужней женщины. Вскоре после женитьбы старика разбил инсульт («Догадываешься, что было причиной? — вопро-

шала Аурора. — Или сказать? Может, картинку нарисовать?»), и теперь он влачил жалкое полусуществование, парализованный и бессловесный, на попечении самоотверженного соседа. Молодая жена улепетнула со всем, что у него было, и даже не оглянулась. Теперь в Бомбее она разгулялась по-настоящему. Привлекательность УМЫ и убедительность ее актерства достигли вершины.

— Ты должен разорвать ее чары, — сказала мне мать. -Иначе ты погиб. Она как ракшаса из «Рамаяны», — ты опомниться не успеешь, как она обглодает твои бедные косточки.

Минто потрудился на славу, Аурора показала мне документы — свидетельства о рождении и браке, конфиденциальные медицинские заключения, полученные путем обычного подмасливанья и без того скользких чиновников, и прочее, и прочее, — что практически не оставляло сомнений во всех важнейших частностях. И все же сердце мое отказывалось верить.

— Нет, ты ее не понимаешь, — доказывал я матери. — Ладно, допустим, она лгала про родителей. Будь у меня такие родители, я бы тоже лгал. Может быть, этот бывший полицейский Сарасвати не такой ангел, как ты пытаешься представить. Но дурная? Больная? Демон в человеческом об-

лике? Мама, я думаю, тут примешиваются чисто личные факторы.

Вечером я сидел у себя в комнате один и куска не мог взять в рот. Было ясно, что мне предстоит выбор. Если я выберу Уму, мне придется порвать с матерью — может быть, навсегда. Но если я приму доводы Ауроры — а в тишине моей спальни я не мог не чувствовать их сокрушительной силы, — то я почти наверняка обреку себя на жизнь без близкой женщины. Сколько лет у меня еще осталось? Десять? Пятнадцать? Двадцать? Смогу ли я совладать со своей странной, темной судьбой в одиночку, не имея рядом возлюбленной? Что для меня важней — любовь или истина?

Но если верить Ауроре и Минто, она не любит меня, она просто великая актриса, пожирательница страстей, обманщица. Мигом я осознал, сколь многие мои суждения о своей семье основывались на том, что говорила Ума. У меня закружилась голова. Пол стал уходить из-под ног. Правда ли все это про Аурору и Кеку, про Аурору и Васко, про Аурору и Рамана Филдинга? Правда ли, что мои сестры дурно отзываются обо мне за глаза? А если нет, то это означает, что Ума — о любимая моя! — сознательно старалась опорочить моих родных, чтобы втереться между ними и

мною. Отказаться от своей собственной картины мира и впасть в полную зависимость от чьей-то еще — не означает ли это в буквальном смысле сойти сума? В этом случае — если использовать слова Ауроры — из нас двоих я был больной. А прелестница Ума — дурная.

Столкнувшись со свидетельством существования недоброй воли, с тем, что под личиной любви в мою жизнь вошла некая чистая зловредность, столкнувшись с утратой всего желанного в жизни, я забылся. И темные сны потекли во мне кругами, словно кровь.

x x x

На следующее утро я сидел на террасе «Элефанты» и смотрел на сверкающий залив. Повидаться со мной пришла Майна. По просьбе Ауроры она помогала Дому Минто в его разысканиях. Выяснилось, что в отделении «Объединенного женского фронта против роста цен» в Бароде никто с УМОЙ Сарасвати знаком не был и о ее правозащитной деятельности не знал..

— Так что даже рекомендация была фальшивая, — сказала Майна. — Получается, братишка, что на этот раз мать попала в яблочко.

— Но я люблю ее, — сказал я беспомощно. — Не

могу не любить. Не могу, и все.

Майна села подле меня и взяла меня за левую руку. Она заговорила таким мягким, таким не своим голосом, что я невольно стал вслушиваться.

— Мне тоже она жутко нравилась сначала. Но потом все пошло хуже некуда. Не хотела тебе говорить. Не мое дело вроде как… Да ты бы и не стал слушать.

— Что слушать-то?

— Один раз она явилась после того, как была с тобой, -сказала Майна, отводя взгляд. — И давай откровенничать, как ты и что ты. Ладно. Не важно. В общем, сказала, ей не нравится с тобой. Еще много чего наплела, но — к чертям. Не важно теперь. Потом про меня стала рассуждать. Одним словом, психованная. Я послала ее подальше. С тех пор мы не разговариваем.

— Она сказала, что это ты, — вяло произнес я. — В смысле… к ней приставала.

— И ты поверил, — вскинулась Майна, потом быстро чмокнула меня в лоб. — Еще бы ты не поверил. Что ты вообще обо мне знаешь? О том, кто мне нравится, что мне нужно? Ты от любви ополоумел совсем. Бедный простофиля. Хоть теперь за ум берись.

— То есть бросить ее? Так вот взять и бросить?

Майна встала, зажгла сигарету, закашлялась — глубоким, больным, судорожным кашлем. К ней опять вернулся ее резкий боевой голос, ее перекрестно-допрашивающий голос юриста и борца с коррупцией, ее громкоговорящий агитационный инструмент протеста против убийств девочек, против изнасилований и сожжения вдов. Она была права. Я ничего не знал о том, каково ей приходится, чего ей стоит сделанный ею выбор, чьи руки могли бы дать ей утешение и почему мужские руки порой внушают женщине страх, и ничего больше. Она моя сестра, но что из того? Я даже по имени ее не зову.

— Какие, собственно, проблемы? — пожала она плечами и, уже направляясь к выходу, взмахнула дымящейся сигаретой. — Вот эту дрянь куда тяжелей бросать. УЖ поверь мне на слово. Так что отвыкай давай от стервозы и вдобавок радуйся, что не куришь.

x x x

— Так и знала, что они постараются нас разлучить. С самого начала знала.

Ума переехала в квартиру с видом на море на восемнадцатом этаже небоскреба на Кафф-парейд рядом с «Президент-отелем» и недалеко от

галереи Моди. Она стояла на балкончике, театрально разгневанная, на весьма оперном фоне мятущихся кокосовых пальм и обильных струй внезапно хлынувшего дождя; тут же, конечно, затрепетала ее чувственная, полная нижняя губа, тут же дождем полились слезы.

— И твоя родная мать тебе говорит — что с твоим отцом! — извини меня, это просто мерзко. Фу! И еще Джимми Кэшонделивери! Этот придурочный гитар-вала с порванной струной! Ты прекрасно знаешь, что с первой же встречи на ипподроме он вообразил, что я — некая аватара твоей сестры. С той поры бегает за мной с высунутым языком, как собака. И я, оказывается, с ним сплю? Так, с кем еще? Может, с Мирандой? С одноногим чоукидаром? Думают, я вообще стыд потеряла?

— Но то, что ты рассказывала про свою семью. И про «дядюшку».

— Что дает тебе право знать обо мне все? Ты настырно лез в мое прошлое, и я не хотела рассказывать. Бас. Довольно.

— Но ты сказала неправду, Ума. Твои родители живы, а дядюшка — не дядюшка, а муж.

— Это была метафора. Да! Метафора моей несчастной жизни, моей боли. Если бы ты любил

меня, ты бы понял. Если бы ты любил меня, то не зачислил бы меня в люди третьего сорта. Если бы ты любил меня, ты перестал бы трясти своей идиотской лапой и положил бы ее сюда, ты закрыл бы свою милую пасть и придвинул бы ее сюда, ты занялся бы тем, чем занимаются любовники.

— Нет, Ума, это не метафора была, — сказал я, отступая к выходу. — Это была ложь. И страшнее всего то, что ты не отличаешь одно от другого.

Пятясь, я вышел за дверь и захлопнул ее, словно прыгнул с балкона на эти дикие пальмы. Да, именно так переживалось: как падение. Как самоубийство. Как смерть.

Но и это тоже была иллюзия. До настоящего еще оставалось два года.

x x x

Я держался долгие месяцы. Жил дома, ходил на работу, стал специалистом по части маркетинга и рекламы талька «бэби софто», и довольный отец даже назначил меня начальником соответствующего отдела. Мелькали дни пустого календаря. В «Элефанте» произошли перемены. После катастрофы с ретроспективной выставкой Аурора наконец решилась вышвырнуть Васко вон. Осуществила она это в ледяной манере. Ау-

рора дала ему понять, что с годами стала больше ценить тишину и одиночество, и Васко, холодно кивнув, сказал, что не замедлит освободить мастерскую. Если это конец многолетнего романа, думал я, то конец в высшей степени пристойный и вежливый; однако от арктической стужи меня пробрала дрожь. Васко пришел ко мне попрощаться, и вдвоем мы наведались в диснеевскую детскую, где давно никто не жил и с которой все началось.

— Вот и все, ребята [105], — сказал он. — Пора Васко Миранде подаваться на Запад. Воздушный замок буду возводить.

Он едва не тонул в наплывах своей же плоти и выглядел, как жаба, как карикатурное отражение Рамана Филдинга в комнате смеха; рот его был болезненно искривлен. Он контролировал срой голос, но я заметил блеск обиды в его глазах.

— Ты, наверно, догадался, что она была моим наваждением, — промолвил он, поглаживая восклицательные стены (Бух! Бац! Плюх!). — Точно так же, как была, остается и будет твоим. Может быть, когда-нибудь ты захочешь это признать. Тогда приезжай. Милости прошу, пока иголка не

---

105 Примечания: 105

Слова, которыми поросенок Порки неизменно заканчивал очередной мультфильм.

добралась до моего сердца.

Я долго — годы — не вспоминал о блуждающем острие в теле Васко, о его осколке льда из владений Снежной Королевы; и теперь подумал, что нынешнему, обрюзгшему Васко угрожает скорей уж не иголка, а банальный инфаркт. Вскоре он уехал в Испанию и никогда больше не возвращался.

Аурора распрощалась также со своим агентом. Она уведомила Кеку, что считает его лично ответственным за «рекламно-представительский провал» своей выставки. УХОД Кеку был шумным: он в течение месяца ежедневно появлялся у наших ворот и тщетно упрашивал Ламбаджана впустить его; он посылал цветы и подарки, которые ему возвращали обратно; он писал слезные письма, которые выбрасывали непрочитанными. Аурора сказала ему, что больше не намерена выставлять свои работы и поэтому необходимость в галерее отпадает. Но безутешный Кеку был уверен, что она предпочла ему его смертельных противников из галереи Чемоулд. Он пытался поговорить с ней по телефону (но Аурора не брала трубку, когда он звонил), слал телеграммы (их она с отвращением жгла), даже пробовал действовать через Лома Минто (сыщик оказался

подслеповатым стариком в синих очках и с лошадиными челюстями, как у французского комика Фернанделя; Аурора велела ему не передавать посланий Кеку). Я невольно вспоминал обвинения УМЫ. Если моя мать сейчас избавилась от двоих любовников, то как насчет Мандука? Дала ли она ему тоже отставку, или он теперь полновластный хозяин ее сердца?

Ума, Ума. Я так по ней тосковал. Я переживал настоящую наркотическую ломку, ночью ощущал, как ее фантомное тело шевелится под моей увечной рукой. Однажды, когда я засыпал (уныние не мешало моему крепкому сну), мне пригрезилась сцена из старого фильма с Фернанделем, в которой, не зная, как будет по-английски «женщина», он рисует руками в воздухе изгибы женской фигуры.

Во сне я превратился в его собеседника.

— А, понятно, — кивнул я. — Бутылка кока-колы.

Мимо, покачивая бедрами, прошла Ума. Фернандель, проводив ее глазами, ткнул большим пальцем в направлении ее удаляющихся ягодиц.

— Моя бутылка кока-колы, — сказал он с законной гордостью.

x x x

Повседневная жизнь. Аурора изо дня в день работала, но меня больше не допускала в мастерскую. Авраам бывал занят допоздна, и когда я однажды спросил его, почему я так надолго задержался в мире детских задниц, — я, которому отпущено так мало времени! — он ответил:

— Слишком уж многое в твоей жизни шло быстрей, чем нужно. Теперь полезно будет чуть затормозиться.

Проявляя молчаливую солидарность, он перестал играть в гольф с УМОЙ Сарасвати. Может быть, ему теперь тоже недоставало ее разнонаправленных чар.

Тишина в раю; тишина и боль. Госпожа Ганди вернулась к власти и сделала сына Санджая своей правой рукой, чем доказала, что в делах государственных моральные принципы не играют никакой роли — только родственные отношения. Мне вспомнились «индийские вариации» Васко Миранды на тему теории относительности Эйнштейна: Все относительно — то есть все благодаря родственным отношениям. Искривляется не только луч света, но и все остальное. Ради добрых отношений можно искривите точку,

искривите истину, искривите критерии назначения на должность, искривите закон, "^"равняется «эм», умноженному на «ка квадрат», где «дэ» — династия, «эм» — общая масса родственников, а «ка», конечно, коррупция, которая является единственной мировой постоянной, — ведь в Индии даже скорость света меняется в зависимости от накладных расходов и скачков напряжения в сети. Отъезд Васко сделал тишину еще более глубокой. Старый дом с его закоулками казался оголенной сценой, по которой шаркающими призраками бродили истощенные, отыгравшие свое актеры. Или, может быть, они играли теперь на других сценах и только в этом доме царила тьма.

Я не преминул заметить — более того, какое-то время это занимало большую часть моих мыслей, пока я бодрствовал, — что случившееся в некотором смысле стало поражением плюралистской философии, в которой мы все были воспитаны. Ибо не кто иной, как плюралиста Ума с ее множеством "я", с ее бесконечной изобретательностью, с ее отношением к действительности как к чему-то чрезвычайно податливому и пластичному — не кто иной, как она оказалась тухлым яйцом; и откатила ее прочь именно Аурора, которая всю жизнь была сторонницей многообразия в

противовес единству, а теперь с помощью Минто обнаружила некие фундаментальные истины и воспылала праведным гневом.

История моей любви превратилась таким образом в горькую притчу, иронический смысл которой сполна и со смаком оценил бы Раман Филдинг — ведь в ней полюсы добра и зла поменялись местами.

В это мертвое время в начале восьмидесятых меня поддержал Эзекиль, наш лишенный возраста повар. Словно чувствуя потребность обитателей дома хоть в какой-то радости, он начал осуществлять новую гастрономическую программу, где соединял консерватизм с новизной и щедрой рукой сдабривал их надеждой. Перед отправлением в страну «бэби софто» и после возвращения домой я все чаще и чаще заглядывал на кухню, где он, обросший седоватой щетиной, сидел на корточках, беззубо ухмыляясь и оптимистически подкидывая в воздух паратхи — хрустящие лепешки.

— Веселей! — хихикал он мудро. — Присядь на минутку, баба-сахиб, и мы тут с тобой состряпаем счастливое будущее. Перетрем и смешаем специи, почистим чесночок, отсчитаем кардамонные зернышки, истолчем имбирчик, нагреем

топленого маслица для будущего и кинем туда все пряности, чтоб запах дали. Веселей! Успехов в делах для сахиба, вдохновения в работе для мадам, а для вас — красавицу-невесту! Сготовим прошлое вместе с настоящим, и как раз выйдет завтра.

Так я научился готовить «мясную саблю» (рубленое мясо барашка со специями в картофельном тесте) и курицу «кантри кэптен»; мне открылись тайны тушеных креветок, «тиклгамми», «дхопе» и «динь-динь». Я стал мастером «балчау» и научился стряпать «каджу». Я освоил приготовление «кочинского деликатеса» — сочного и пикантного джема из розовых бананов. И, странствуя по тетрадкам повара, все глубже и глубже погружаясь в эту приватную вселенную папайи, корицы и тмина, я действительно почувствовал, что укрепляюсь духом, — не в последнюю очередь потому, что Эзекилю удалось приобщить меня после долгого перерыва к прошлому моей семьи. Из его кухни я переносился в давно ушедший Кочин, где патриарх Франсишку мечтал о Тама-лучах" и откуда Соломон Кастиль сбежал в дальние моря, чтобы возникнуть потом на голубых плитках синагоги. Меж строк его одетых в изумрудные обложки тетрадей я видел Беллу, сражающуюся с

бухгалтерией семейного бизнеса, и в магических ароматах его кулинарии я чуял запах эрнакулам-ского склада, где юная девушка познала любовь. И пророчество Эзекиля начало сбываться. Когда вчерашний день у тебя в животе, будущее пред-ставляется в гораздо лучшем свете.

— Добрая еда, — склабился Эзекиль, причмоки-вая языком. — Питательная еда. Пора нарастить какое-никакое брюшко. Мужчина без животика не имеет вкуса к жизни.

x x x

23 июня 1980 года Санджай Ганди, попыта-вшись сделать мертвую петлю над Нью-Дели, нырнул к своей гибели. Последовал период неста-бильности, во время которого меня тоже понесло навстречу беде. Через несколько дней после смерти Санджая я узнал, что Джамшед Кэшон-деливери погиб в автомобильной катастрофе по дороге к озеру Поваи. Его пассажиркой, которая каким-то чудом была выброшена из машины и отделалась небольшими царапинами и ушиба-ми, оказалась блестящая молодая скульпторша Ума Сарасвати — ей, как утверждали, погибший собирался сделать предложение у озера, славя-щегося своей красотой. Через сорок восемь часов,

согласно газетам, мисс Сарасвати выписалась из больницы, и друзья отвезли ее домой. Вполне понятно, что она продолжала испытывать сильное горе и психологический шок.

Весть о случившемся с УМОЙ вновь выпустила на волю все чувства, которые я так долго старался упрятать поглубже. Два дня я боролся с собой, но когда узнал, что она снова у себя дома на Кафф-парейд, я сказал Ламбаджану, что иду прогуляться в Висячие сады, и, свернув за угол, тут же взял такси. Ума открыла мне — она была в черных колготках и свободной, завязанной спереди японской рубашке-кимоно. У нее был испуганный, загнанный вид. Казалось, внутренние гравитационные силы в ней ослабли и она превратилась в рыхлое скопление частиц, вот-вот готовых разлететься во все стороны.

— Ты сильно расшиблась? — спросил я.

— Закрой дверь, — сказала она. Когда я опять повернулся к ней, она уже развязала тесемки рубашки, и та упала к ее ногам. — Смотри сам.

После этого все преграды между нами рухнули. Мощь того, что соединяло нас, только выросла после разлуки.

— Ох, мой, — бормотала она, когда я гладил ее моей искореженной правой рукой. — Да, да, так.

Ох, мой-мой. — И позже: — Я знала, что ты не перестал любить меня. Я не перестала. Я сказала себе: горе нашим врагам. Кто встанет у нас на пути, будет сметен.

Ее муж, призналась она, за это время умер.

— Если я такая скверная, то почему он завещал мне все? Когда он заболел, он стал всех со всеми путать и думал, что я служанка. Поэтому я организовала уход за ним, а сама уехала. Если это плохо — значит, я плохая.

Я с легкостью дал ей индульгенцию. Нет, что ты, милая, что ты, жизнь моя, ты лучше всех на свете.

На теле у нее не было ни единой царапины.

— Вот гады газетчики, — сказала она. — Я даже в его сволочной машине не была. Ехала в своей, мне потом надо было еще в другое место. Значит, у него этот дурацкий «мерседес», — как очаровательно она исковеркала это слово: мездиииз! — а у меня мой новый «судзуки». И на этой паршивой дороге чокнутый плейбой устраивает гонки. На этой самой дороге, где и грузовики, и автобусы с кайфующими водителями, и ослиные, и верблюжьи повозки, и бог знает что еще. — Она заплакала; я стал утирать ей слезы. — Ну что я могла сделать? Я просто ехала как благоразумная

женщина и кричала ему — не надо, убавь газ, осторожно! Но у Джимми всегда в голове винтиков не хватало. Что тебе сказать? Он полетел сломя голову, потом стал обгонять по встречной полосе, там поворот, за ним корова, ему нужно объехать, слева моя машина, он съезжает с дороги вправо, впереди тополь [106]. Халас. Конец.

Я попробовал было вызвать в себе жалость к Джимми, но не смог.

— Газеты пишут, вы собирались пожениться. Она метнула в меня яростный взгляд.

— Ты никогда ни на вот столько меня не понимал. Джимми — чепуха. Для меня ты один имеешь значение.

Мы встречались так часто, как только могли. Я скрывал наши свидания от домашних, и, как видно, Аурора перестала пользоваться услугами Дома Минто — она ничего не заподозрила. Прошел год; больше года. Счастливейшие пятнадцать месяцев в моей жизни. «Горе нашим врагам!» Боевой клич Умы стал нашим «здравствуй» и «до свидания».

Потом умерла Майна.

От чего? Конечно же, от удушья. Она пришла на

---

106 Примечания: 106

Смысл инцидента становится понятен, если учесть, что в Индии левостороннее движение.

химический завод в северной части города, чтобы проверить сведения о дурном обращении администрации с многочисленными работницами — главным образом женщинами из трущобных районов Дхарави и Парель, — и вдруг в непосредственной близости от нее произошел небольшой взрыв. Выражаясь бесчувственным языком официального отчета, была нарушена герметичность емкости, содержавшей опасное для здоровья вещество. Практическим следствием этой разгерметизации был выброс в атмосферу существенного количества газа, называемого «метил изоцианат». Майна от взрыва потеряла сознание, получив смертельную дозу газа. В официальном отчете никак не объяснялась задержка с вызовом медицинской помощи, хотя там перечислены сорок семь пунктов, по которым завод нарушил непреложные правила безопасности. Местным медикам также досталось за медлительность в оказании помощи Майне и ее соратницам. Хотя в машине Майне сделали инъекцию тиосульфата натрия, она скончалась, не доехав до больницы. Он умерла в страшной агонии, выкатив глаза, захлебываясь неудержимой рвотой, судорожно хватая воздух, пока яд пожирал ее легкие. Две женщины из ДКНВС, бывшие там вместе с ней,

тоже погибли; еще три выжили, но их здоровье понесло серьезный ущерб. Никаких компенсаций уплачено не было. В ходе расследования пришли к выводу, что инцидент произошел вследствие умышленного нападения на Майну и ее группу «неизвестных лиц», и поэтому завод не несет ответственности. Всего за несколько месяцев до гибели Майне удалось наконец отправить Кеке Колаткара в тюрьму за махинации с недвижимостью, но никаких доказательств того, что арестованный политикан имеет отношение к убийству, найти не удалось. Авраам, как я уже сказал, отделался штрафом… послушайте, ведь Майна была его дочь. Его дочь. Понятно?

Понятно.

— Горе нашим… — Ума осеклась, увидев мое лицо, когда я пришел к ней после похорон Филомины Зогойби.

— Хватит, — прорыдал я. — Хватит уже горя. Пожалуйста. Моя голова лежала у нее на коленях. Она гладила мои седые волосы.

— Ты прав, — сказала она. — Пора упрощать. Твои мама с папой должны принять нас, они должны склониться перед нашей любовью. Тогда мы поженимся, и ура. Нам с тобой лафа навсегда, и еще одна творческая личность в семье.

— Она не согласится… — начал я, но Ума приложила к моим губам палец.

— Должна согласиться.

Когда Ума была в таком настроении, противиться ей было невозможно. Наша любовь — императив, уговаривала меня она; наша любовь требует себе места под солнцем и имеет на то право.

— Когда я это объясню твоим родителям, они поймут. Им что, не нравятся мои убеждения? Ничего. Ради нашей любви я приду к ним — сегодня же приду! — и покажу им, что они ошибаются.

Я протестовал, но вяло. Слишком мало времени прошло. Их сердца сейчас полны Майной, возражал я, для нас там нет места. Она отмела все мои доводы. Во всяком сердце есть место для свидетельств любви; подлинная любовь смывает все постыдное — к тому же теперь, когда мистера Сарасвати больше нет, какие пятна остаются на нашей любви помимо того, что Ума — вдова, а не девственница? Родителям нечего нам противопоставить. Как могут они мешать счастью их единственного сына? Сына, который с рождения несет такую ношу?

— Сегодня же, — повторила она сурово. — А ты просто жди здесь. Я пойду и уговорю их.

Она вскочила с постели и начала одеваться. Перед уходом прикрепила к поясу «уокмен» и надела наушники.

— Насвистывай за работой, — улыбнулась она, вставляя кассету. Я был в ужасе.

— Удачи, — сказал я громко.

— Ничего не слышу, — ответила она и ушла. Оставшись один, я вяло удивился, зачем ей «уокмен», когда в машине есть прекрасная звуковая система. Наверно, поломка, подумал я. В этой чертовой стране ничто долго не работает.

Она вернулась после полуночи, полная любви.

— Я действительно думаю, что все будет в порядке, — прошептала она. Я лежал в постели и не спал; напряжение превратило мое тело в перекрученную сталь.

— Ты уверена? — спросил я, домогаясь новых подтверждений.

— Они не исчадия ада, — мягко ответила она, ложась подле меня. — Все выслушали и, я уверена, поняли суть.

В эту минуту я почувствовал небывалый прилив жизненных сил, и мне почудилось, будто моя исковерканная, бесформенная правая рука разглаживается и превращается в нормальную кисть — в ладонь, фаланги пальцев, костяшки

суставов. Охваченный радостью, я, кажется, даже пустился в пляс. Черт возьми, я правда пустился в пляс — и еще орал, пил, исступленно любил. Воистину она оказалась моей чародейкой и совершила невозможное. Мы скользнули в сон, сплетенные воедино. В полузабытьи я расслабленно промямлил:

— А где твой «уокмен»?

— Ублюдочный аппарат, — прошептала она. — Вечно мял мне ленту. Выкинула его в урну по дороге.

x x x

Когда я наутро явился домой, Авраам и Аурора с темными лицами стояли в саду плечом к плечу и ждали меня.

— Что случилось? — спросил я.

— С этой минуты, — сказала Аурора Зогойби, — ты нам больше не сын. Уже предприняты все необходимые шаги для лишения тебя наследства. У тебя есть один день, чтобы собрать вещи и уехать. Мы с твоим отцом не желаем тебя больше видеть.

— Я полностью поддерживаю твою мать, — произнес Авраам Зогойби. — Ты нам противен. Убирайся с глаз долой.

(Прозвучали и другие резкие слова — громче, чем эти, и многие из них сказал я. Не буду их здесь приводить.)

x x x

— Джайя? Эзекиль? Ламбаджан? Объяснит мне кто-нибудь, в чем дело? Что происходит?

Все молчали. Аурора заперлась у себя, Авраам уехал на работу, его секретарям было велено не соединять меня с ним по телефону. Наконец мисс Джайя Хе расщедрилась на три слова:

— Ты бы собирался.

x x x

Ровно никаких объяснений — ни факту моего изгнания, ни жестокости, с какой оно было совершено. Такое чрезвычайное наказание за это, с позволения сказать, «преступление»! Всего лишь за то, что я без памяти влюбился в женщину, которая не нравится моей матери! Быть отсеченным, как сухая ветвь, от семейного древа по такой банальной — нет, по такой чудесной причине… Нет, этого недостаточно. Я ничего не понимал. Я знал, что другие люди — большинство людей — живут в этом царстве родительского абсолютизма; ведь в мире «чувствительных» фильмов

дешевые сцены с изгнанием непутевых детей тиражировались бесконечно. Но мы-то не были таковы; и, безусловно, этот край свирепых иерархий и древних моральных непреложностей не был моей родиной, подобным сюжетам не должно было найтись места в сценарии нашей жизни! Тем не менее очевидно было, что я ошибаюсь, ибо произошло нечто, не подлежащее обжалованию. Я позвонил Уме и сообщил ей новость, а потом, не имея выбора, подчинился воле судьбы. Врата рая распахнулись, Ламбаджан отвел глаза в сторону. Я проковылял наружу — сбитый с толку, неуклюжий, растерянный. Я был никто, ничто. Все, что я знал, стало бесполезно, да я теперь и не знал ничего толком. Я был выхолощен, лишен силы, я был — банальное, но, увы, подходящее определение -растоптан. Меня лишили милости, и ужас этого события разбил вселенную, как зеркало. Мне казалось, что я тоже разбит; что я падаю на землю, падаю не в моем собственном обличье, а тысячей мелких осколков стекла.

После падения: я подошел к двери УМЫ Сарасвати с чемоданом в руке. Она открыла мне — глаза красные, волосы всклокоченные, слова и жесты безумные. Мелодрама в староиндийском стиле вырвалась на поверхность нашей обман-

чиво эмансипированной жизни, грубая истина проломила тонкую, ярко раскрашенную фанеру лжи. Ума ударилась в крикливые сожаления. Ее внутренняя гравитация катастрофически ослабла; воистину она стала рассыпаться на части.

— О Господи… Если бы я только знала… Но как они могли, это что-то доисторическое… из старых времен… Я думала, они цивилизованные люди… Я думала, это мы, дураки религиозные, так поступаем, а не вы, современная светская публика… О Господи, пойду к ним опять, сейчас же пойду, поклянусь, что никогда тебя не увижу…

— Нет, — сказал я, все еще вялый и оглушенный. — Пожалуйста, не ходи. Ничего больше не делай.

— Тогда я сделаю единственное, чего ты не можешь мне запретить! — завопила она. — Я убью себя. Я сегодня, сейчас это сделаю. Я сделаю это из любви к тебе, чтобы ты был свободен. Тогда они примут тебя обратно.

Она, должно быть, непрерывно взвинчивала себя после моего звонка. Теперь она была драматически невменяема.

— Ты сумасшедшая, — сказал я.

— Я не сумасшедшая! — крикнула она сумасшедшим голосом. — Не называй меня сумасшед-

шей. Вся твоя семья называет меня сумасшедшей. Я не сумасшедшая. Я просто люблю. Ради любви женщина способна на великие дела. Мужчина ради любви тоже мог бы многое сделать, но я не прошу этого. Я не жду великих дел ни от тебя, ни от какого другого мужчины. Я не сумасшедшая, это любовь у меня сумасшедшая — понял? И закрой, ради бога, эту чертову дверь!

x x x

Она начала пылко молиться; в ее глазах рдела кровь. В маленьком святилище Рамы в углу гостиной она зажгла лампу и стала описывать ею в воздухе судорожные круги. Я стоял в густеющих сумерках подле моего чемодана. Она всерьез, думал я. Это не игра. Это действительно происходит. Это моя жизнь, наша жизнь, и таковы ее очертания. Таковы ее подлинные очертания, очертания всех очертаний, которые становятся видимы только в момент истины. И когда этот момент настал, на меня навалилось всей своей тяжестью глухое отчаяние. Я понял, что у меня нет больше жизни. Она отнята у меня. Будущее, которое повар Эзекиль обещал мне состряпать на кухне, оказалось химерой. Что мне делать? Что выбрать — нищенскую жизнь или миг послед-

него, высшего величия? Хватит ли мне мужества принять смерть ради нашей любви и тем самым обессмертить ее? Сделаю ли я это ради Умы? Сделаю ли я это ради себя?

— Я это сделаю, — промолвил я вслух. Она поставила лампу и повернулась ко мне.

— Я знала, — сказала она. — Бог мне это открыл. Что ты храбрый мужчина, что ты любишь меня и потому, конечно, отправишься со мной в этот путь. Ты не такой трус, чтобы отпустить меня одну.

x x x

Она всегда чувствовала, что соединена с жизнью непрочными узами, что может прийти время, когда ей придется их развязать. Поэтому с детства, как идущий на битву воин, она носила свою смерть с собой. На случай плена. Смерть, спасающую от бесчестья. Она вышла из спальни со стиснутыми кулаками. Разжав ладони, показала мне две белые таблетки.

— Молчи, не спрашивай, — сказала она. — Мало ли что может найтись в доме у полицейского.

Она потребовала, чтобы я встал на колени рядом с ней перед изображением бога.

— Я знаю, что ты не веришь. Но уж не противь-

ся — ради меня.

Мы преклонили колени.

— Чтобы доказать тебе, как сильно я тебя люблю, — сказала она, — чтобы ты, наконец, увидел, что я никогда не лгала, я проглочу первая. Если ты меня любишь, проглоти вслед за мной немедленно — немедленно, потому что я буду ждать. О возлюбленный мой.

В этот миг что-то во мне повернулось. Я почувствовал внутреннюю преграду, отказ.

— Нет! — крикнул я и попытался выхватить у нее таблетку. Таблетка упала на пол. С визгом Ума рванулась к ней — я тоже. Мы стукнулись лбами.

— Ой, — сказали мы вместе. — Ох-хо…

Когда в голове у меня прояснилось, обе таблетки лежали на полу. Я потянулся к ним, но из-за головокружения и боли смог ухватить только одну. Ума завладела второй и устремила на нее какой-то новый, расширенный взгляд, охваченная новым ужасом, словно ей неожиданно задали страшный вопрос, на который она не знает, как отвечать.

Я сказал:

— Нет, Ума, нет. Нельзя. Это безумие. Ее вновь как ужалило.

— Не говори мне о безумии! — крикнула она. — Хочешь жить — живи. Этим докажешь, что никогда меня не любил. Докажешь, что ты лжец, шарлатан, фигляр, шулер, манипулятор, обманщик. Не я — ты. Ты тухлое яйцо, дрянь, дьявол. Вот! А мое яйцо свежее.

Она проглотила таблетку.

По лицу ее прошло выражение громадного и неподдельного изумления, тут же сменившегося бессилием. Потом она рухнула на пол. В ужасе я склонился над ней, стоя на коленях, и в ноздри мне ударил запах горького миндаля. Лицо умирающей, казалось, претерпевало вереницу мгновенных перемен, как бегло листаемая книга, словно она отпускала на волю одно за другим все свои бесчисленные "я". И напоследок пустая страница, и никого больше нет рядом.

Нет, я не умру — я уже это решил. Я положил вторую таблетку в карман брюк. Кто бы она ни была, что бы она ни была — доброе или злое создание, или и то, и другое, или ни то, ни другое — я любил ее, отрицать это невозможно. Мне сейчас лишить себя жизни — значит не обессмертить мою любовь, а обесценить ее. Поэтому я останусь жить, буду знаменосцем нашей страсти, докажу своей жизнью, что любовь — это больше,

чем кровь, больше, чем стыд; и даже больше, чем смерть. Я не умру ради тебя, моя Ума, я буду жить ради тебя. Как бы безрадостна ни была эта жизнь.

В дверь позвонили. Я сидел в полутьме рядом с телом УМЫ. Стали громко стучать. Я не шелохнулся. Раздался грубый крик: «Открывайте! Полиция».

Я встал и отпер дверь. Коридор был плотно набит синими форменными рубашками и шортами, темнокожими худыми икрами и шишковатыми коленками, бамбуковыми палками в крепко стиснутых кулаках. Инспектор в фуражке нацелил пистолет прямо мне в лицо.

— Вы Зогойби, да? — спросил он громовым голосом. Я подтвердил это.

— То есть шри [107] Мораиш Зогойби, начальник отдела маркетинга частной фирмы с ограниченной ответственностью «Бэби Софто Тэлкем Паудер»?

— Да.

— Тогда на основании имеющейся информации я арестую вас по обвинению в контрабанде наркотиков и требую именем закона пройти без

---

107 Примечания: 107
Господин (хиндустани).

сопротивления вниз к нашей машине.

— Наркотиков? — переспросил я беспомощно.

— Препирательства запрещены, — проревел инспектор, тыча пистолетом мне в нос. — Задержанный обязан беспрекословно подчиняться указаниям органов правопорядка. Марш вперед.

Я вяло шагнул в мосластую толпу. И только тут инспектор увидел распростертое на полу женское тело.

Часть третья. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОМБЕЙ

16

На улице, о которой я никогда не слыхал, я стоял в наручниках перед зданием, которого никогда не видал, зданием такого размера, что все мое поле зрения занимала бескрайняя стена, лишенная каких-либо деталей, за исключением маленькой железной двери, расположенной чуть вправо от меня, — точнее, двери, которая казалась маленькой, не больше мышиной норки, на фоне окружавшей ее жуткой громады серого камня. Подталкиваемый дубинкой полицейского, я покорно шел к этой двери от автомобиля без окон, на котором меня увезли от страшного места, где умерла моя возлюбленная. Я пересек безмолвную и пустую улицу, недоумевая: ведь улицы в Бомбее никогда не безмолвствуют и никогда, никогда не пустуют; здесь не бывает «ночного затишья» — так, по крайней мере, я раньше думал. Приблизившись к двери, я увидел, что на самом деле она огромна, что она высится передо мной, как врата собора. Как же необъятна должна быть стена! Она простиралась, она нависала над нами, заслонив собой грязную луну. Сердце у меня упало. Переезд почти не помнился. Скованный наручниками

в темноте, я потерял всякое чувство направления и времени. Где это я теперь? Что кругом за люди? То ли это действительно полицейские, арестовавшие меня по подозрению в торговле наркотиками, а теперь еще и в убийстве, — то ли я случайно перескочил с одной из страниц, с одной из книг моей жизни на другую; в жалком моем, растерзанном состоянии позволил водящему по строкам пальцу соскользнуть с привычной повести в этот чужой, диковинный, непостижимый текст, который, оказывается, лежал внизу? Да; что-то в этом роде, какое-то недоразумение.

— Я не преступник! — закричал я. — Что у меня общего со всей этой уголовщиной? Ошибка какая-то!

— Оставь идиотские надежды, говнюк, — ответил инспектор. — Здесь многие чудища уголовного мира, многие громилы и страхолюды превратились в тени теней. Нет никакой ошибки, бандюга! Заходи давай! Вонища внутри неимоверная.

С лязгами и стонами громадная дверь отворилась. Тут же уши мои наполнились адским воем:

— У-у-у! Ой-ой-ой! Ах-ха! Вай! Эге-е-ей!

Инспектор Сингх бесцеремонно толкнул меня в спину.

— Ну-ну-ну, левой-правой, раз-два! Пошевеливайся, олух царя подземного! На тот свет, считай, попал.

По тускло освещенным коридорам, пропахшим выделениями и сожалениями, муками и разлуками, меня вели люди, щелкающие бичами, с головами диких зверей и с ядовитыми змеями вместо языков. Инспектор не то ушел, не то сам превратился в одного из этих чудовищных гибридов. Я пробовал задавать зверям вопросы, но их возможности общения не простирались дальше физических действий. Пинки, тычки, даже удар бича, ожегший мне лодыжку, — такова была сумма их ответов. Я перестал спрашивать и двигался все дальше в тюремную глубь.

После долгой ходьбы путь мне преградил человек с головой бородатого слона, и в руке он держал железный полумесяц, позвякивающий ключами. Крысы почтительно сновали у его ног.

— В это место попадают такие вот, как ты, безбожники, -сказал человек-слон. — Здесь поплатишься за все твои грехи. Мы обработаем тебя так, как тебе и не снилось.

Мне было приказано раздеться донага. Голого, дрожащего в жаркой ночи, меня затолкали в камеру. Дверь — нет, не дверь, а вся жизнь, весь

прежний способ существования -захлопнулась. Я ошеломленно стоял во мраке.

Одиночное заключение. Вонь, усиливаемая жарой, была невыносима. Комары, солома, мерзкие лужи, и всюду, во тьме, — тараканы. Шагнешь — хрустят под голой ступней. Стоишь неподвижно — лезут вверх по ногам. Судорожно нагнувшись, чтобы стряхнуть их, я провел волосами по стене моей черной клети. Тут же тараканы посыпались мне на голову, побежали по спине. Я чувствовал их на животе, в волосах лобка. Я стал дергаться, как марионетка, шлепать себя руками, вопить. Это было начало — начало обработки.

Утром в камеру проник тусклый свет, и тараканы затаились до следующей ночи. Я не спал ни минуты; борьба со зловредными тварями отняла все мои силы. Я рухнул на ворох соломы, который должен был служить мне постелью, и крысы метнулись оттуда в разные стороны. В двери распахнулось окошечко.

— Скоро будешь ловить этих рыжих хрустиков себе на прокорм, — захохотал Надзиратель. — Даже вегетарианцы приходят к этому под конец; а ты, сдается мне, никогда от мясца не отказывался.

Иллюзия слоновьей головы создавалась, как я

теперь видел, капюшоном его плаща (хлопающие уши) и трубкой кальяна (хобот). Этот тип был не мифическим Ганешей, а отъявленным негодяем и садистом.

— Где я нахожусь? — спросил я. — Я ни разу в жизни не был на этой улице.

— Лорды-сахибы, известное дело, — презрительно проговорил он, пустив длинную струю ярко-красной бетельной слюны в направлении моих босых ног. — Живут в городе и знать ничего не знают про его сердцевину, про тайну его. Для тебя она была невидима, но теперь-то мы тебе зрение прочистим. Ты — в центральном Бомбее, в бомбейской центральной. Здесь брюхо города, его кишки. Поэтому, естественно, здесь много говна.

— Я хорошо знаю центральный Бомбей, — попытался я возразить. — Вокзалы, ларьки, базары. Я не видел ничего подобного.

— А с какой это стати город будет казать себя любому засранцу, ублюдку и пидарасу? — проревел человек-слон. -Ты слепой был, теперь разувай глазки.

Параша, миска с баландой, быстрое сползание к полной деградации — избавлю вас от подробностей. Айриш, Камоинш да Гама, а впоследствии и моя мать изведали прелести англо-индий-

ских тюрем; но это самобытное постимперское учреждение лежало далеко за пределами всего, что могло им пригрезиться. Это была не просто тюрьма; это была школа. Голод, истощение, издевательство и отчаяние — хорошие учителя. Я быстро усвоил их уроки — осознал свою вину, никчемность, брошенность всеми, кого мог назвать близкими. Я получил по заслугам. Все получают по заслугам. Я сидел, привалившись спиной к стене, уронив голову на колени и сцепив руки вокруг лодыжек; тараканы беспрепятственно ползали по всему моему телу.

— Это еще что, — утешал меня Надзиратель. — Погоди, скоро болезни начнутся.

Это уж обязательно, думал я. Трахома, воспаление внутреннего уха, авитаминоз, дизентерия, инфекции мочевыводящих путей. Малярия, холера, туберкулез, тиф. И я слыхал про новую заразу, у которой нет еще имени. Она косит шлюх -говорят, они сперва превращаются в ходячие скелеты, а потом подыхают, но сутенеры из злачных мест Каматипуры скрывают это. Тут мне, правда, контакт со шлюхой не грозит.

Из-за комариных укусов и тараканов мне начало казаться, что моя кожа отлипает от тела, как мне давным-давно снилось. Но в нынешнем

варианте сна вместе с кожей я лишался всех составных частей моей личности. Я становился никем, ничем; точнее сказать — тем, что из меня хотели сотворить. Я превращался в то, чем меня обзывал Надзиратель, что чуяли мои ноздри, к чему с растущим вожделением приглядывались крысы. Я превращался в тухлятину.

Я пытался уцепиться за прошлое. Я искал виновных в моем горьком несчастье и винил больше всех мать, которой отец не в силах был сказать «нет». — Ибо что это за мать, если она готова без всякой серьезной причины уничтожить своего ребенка, своего единственного сына? — Не мать, а чудовище!

Мы вошли в эпоху чудовищ — калиюгу, когда косоглазая, кровавоязыкая Кали [108], наша бешеная богиня, носится повсюду в губительном танце. — И помни, о Беовульф, что мать Гренделя [109] еще страшней, чем он сам… Ах, Аурора, как легко ты обратилась к детоубийству, с какой ледяной стремительностью ты решилась отправить

---

108 Примечания: 108

Кали — в индуистской мифологии одна из ипостасей Леви (Дурги), жены Шивы. Посвященный ей храм Калигхата (Калькутта), дал название бенгальской столице (ред.).

109 Примечания: 109

Беовульф, Грендель — герои англосаксонского эпоса.

свою плоть и кровь на последнее издыханье, извергнуть сына из атмосферы материнской любви и бросить в безвоздушное пространство, где язык его распухнет, глаза вылезут из орбит и он умрет ужасной смертью!

— Лучше бы ты искрошила меня в младенчестве, мама, -прежде, чем я с моей рукой-дубинкой вырос в этого молодого старика. У тебя всегда был к этому вкус — к пинкам и толчкам, к шлепкам и тычкам. Смотри, под твоими ударами смуглая кожа ребенка начинает играть радужными кровоподтеками, похожими на бензиновые пятна. УХ, как он вопит! Сама луна бледнеет от этих воплей. Но ты безжалостна и неутомима. А когда он уже весь ободран, превращен в массу без оболочки, в существо без четких границ, тогда твои руки смыкаются у него на горле, и мнут, и жмут; воздух вырывается из его тела сквозь все отверстия, он пердит собственной жизнью, как ты, мама, однажды пернула и выпустила его в жизнь… и вот уже в нем остался один только вздох, один последний колышущийся пузырек надежды…

— Вах, вах! — воскликнул Надзиратель, выводя меня из забытья, полного жалости к себе; я понял, что думал вслух.

— Убери свои большие уши, слонище! — взвыл я.

— Называй меня как хочешь, — отозвался он дружелюбно.

— Твоя судьба уже написана.

Я снова обмяк, привалился к стене и закрыл голову руками.

— Доводы обвинения ты изложил, — сказал Надзиратель. -Впечатляюще, брат. Сила. Но где защита? Мать имеет право на ответное слово — так, нет? Кто будет адвокатом?

— Тут не зал суда, — ответил я, ощущая тошнотворную пустоту, которая пришла на смену гневу. — Если у нее есть своя версия, пусть излагает где хочет.

— Превосходно, превосходно, — сказал Надзиратель с шутовским довольством. — Так держать! Ты у меня тут главное развлечение. Первоклассное. Браво, мистер. Браво-брависсимо.

И я думал о безумной любви, обо всех amours fous в семье да Гама-Зогойби. Я вспоминал Камоинша и Беллу, Аурору и Авраама, вспоминал бедную Ину, удравшую со своим американо-индийским красавчиком Кэшонделивери. Я даже присоединил к ним Минни-Инаморату-Флореас, экстатически влюбленную в Иисуса Христа. И,

само собой, я бесконечно, как ребенок, расчесывающий больное место, размышлял о нас с УМОЙ. Я цеплялся за нашу любовь, просто за то, что она была у нас, хотя некие внутренние голоса не умолкая порицали меня за связь с УМОЙ как за вопиющую ошибку. «Отпусти ее, — предлагали голоса. — Хотя бы сейчас, после всего, обрежь эту нить». Но все равно мне хотелось верить тому, чему верят все любящие: что любовь сама по себе -пусть даже неразделенная, неудачная, сумасшедшая — лучше, чем любая альтернатива. Я цеплялся за любовь, которую представлял себе смешением душ, переплетением, торжеством всего нечистокровного, открытого, ищущего — лучшего в нас — над всем, что есть в нас обособленного, беспримесного, строгого, догматического, чистого; я цеплялся за любовь как триумф демократии, как победу компанейского Множества, не считающего человека островом, над скупой, замкнутой, дискриминирующей Единичностью. Я культивировал в себе взгляд на безлюбье как на высокомерие, ведь разве не они, нелюбящие, считают себя совершенными, всевидящими, всезнающими? Любить — значит отказаться от всесилья и всеведения. Мы влюбляемся слепо, как падаем в темноту; ибо любовь

есть прыжок. Закрыв глаза, мы летим со скалы в надежде на мягкое приземление. Ох, не всегда оно мягкое; и все же, говорил я себе, все же, пока ты не прыгнул, ты еще не родился на свет. Прыжок есть рождение, даже если он кончился смертью, битвой за белые таблетки, запахом горького миндаля на бездыханных губах любимой.

«Нет, — возражали голоса. — Любовь твоя и мать твоя погубили тебя»,,

Я еще дышал, но дышал с трудом; астма свистела и клокотала в легких. Когда я задремывал, мне странным образом снилось море. Всю жизнь раньше я, засыпая, слышал шум волн, происходящий от столкновения водной и воздушной стихий, и мои сновидения выдавали тоску по этому плещущему звуку. Иногда море было сухим — скажем, из золота. Иногда это был полотняный океан, прочно пришитый к земле по береговой линии. Иногда земля казалась порванной страницей, море — другой страницей, выглядывающей снизу. Эти грезы говорили мне то, чего я не хотел слушать: что я сын моей матери. И вот однажды я пробудился от очередного водного сна, в котором, спасаясь от неизвестных преследователей, я вышел к темному подземному морю, и женщина в саване велела мне п лыть пока не задохнусь, ибо

только тогда я доберусь до единственного берега, где всегда буду в безопасности, до берега мечты; и я подчинился ей со всею охотой, я плыл из всех сил, пока не отказали легкие; и когда они наконец лопнули, когда океан хлынул внутрь меня, я проснулся с судорожным вздохом и увидел подле себя невозможную фигуру одинокого пирата с попугаем на плече и картой сокровищ в руке.

— Вставай, баба, — сказал Ламбаджан Чандивала. — Пошли искать твое счастье, мало ли где оно может быть.

x x x

Эта бумага была не картой сокровищ, а самим сокровищем — предписанием о моем немедленном освобождении. Не пропуском для искателей счастья, а нежданным счастьем. Она доставила мне чистую воду и чистую одежду. Слышно было, как поворачиваются ключи в замках и как завистливо беснуются другие заключенные. Надзиратель — слоноподобный хозяин этого крысиного общежития, этой переполненной тараканьей гостиницы — куда-то подевался; мне прислуживали льстивые, почтительные шестерки. Пока я шел к выходу, звероголовые демоны не тыкали в меня своими трезубцами и

не улюлюкали вслед, шевеля змеиными языками. Открывшаяся передо мной дверь была обычного размера; стена была просто стеной. Снаружи меня ждал не ковер-самолет и даже не старый наш водитель Хануман за рулем летучего «бьюика» — нет, обычное черно-желтое такси с надписью мелкими белыми буквами на черном приборном щитке: "Заложено в Международный банк «Хазана». Мы ехали по знакомым улицам, над которыми реяли знакомые послания от производителей ботинок «метро» и санитарных трусиков «стейфри»; с рекламных щитов и неоновых вывесок меня манили домой сигареты «ротманс» и «чарминар», мыло «бриз» и «рексона», мебельный лак «время», туалетная бумага «надежда», зубочистки «жизнь» и краска для волос «любовь». Ибо не было никаких сомнений в том, что мы едем на Малабар-хилл, и единственной тучкой на почти безоблачном небе была необходимость вновь прокрутить в голове старые мысли о раскаянии и прощении. Родительское прощение, ясное дело, у меня имеется; но должен ли я, возвращаясь, принести им в дар мое раскаяние? Блудному сыну дали кусок откормленного теленка, на него излили любовь, хотя он не сказал, что сожалеет о содеянном. Горькие пилюли раскаяния застряли

у меня в горле; как и все в моем роду, я был щедро одарен упрямством. К чертям, нахмурился я, в чем мне каяться? Примерно на этой стадии моих размышлений я обнаружил, что мы едем на север — не к родительскому лону, а от него; так что это было не возвращение в рай, а дальнейшее падение.

Я возбужденно затараторил: «Ламба, Ламба, скажи ему» Ламбаджан держался невозмутимо. Отдохни, расслабься, баба.

Пережить такое, это кто угодно занервничает. Но в противовес спокойствию Ламбаджана попугай язвительно надсаживал глотку. Сидя на полочке под задним окном, Тота презрительно верещал. Я сполз вниз на моем сиденье и, закрыв глаза, отдался воспоминаниям. Инспектор обследовал труп УМЫ и обыскивал меня. Из моего кармана он извлек белый прямоугольник.

— Это что такое? — спросил он, приблизившись вплотную (он был ниже меня почти на голову) и чуть ли не уткнувшись усами в мой подбородок. — «Пепперминт» для свежего дыхания?

Я что-то беспомощно залепетал о двойном самоубийстве.

— Заткнись! — оборвал меня инспектор и разломил таблетку надвое. — Проглотишь — по-

смотрим.

Это меня протрезвило. Я не мог заставить себя разомкнуть губы; инспектор совал половину таблетки мне в рот. «Но я тогда умру, добрый господин, нас тут двое будет лежать».

— Просто получится, что мы нашли два трупа, — сказал инспектор, словно констатируя факт. — Любовная история с печальным концом.

Читатель, я сопротивлялся как мог. Меня схватили за руки, за ноги, за волосы. Миг спустя я лежал на полу подле тела УМЫ, которое рьяные ребята в шортах отпихивали в сторону. Мне приходилось слышать о гибели людей во время того, что эвфемистически называлось «столкновениями с полицией». Инспектор взял меня за нос и сжал… Долго ли можно обходиться без воздуха? И когда я уступил неизбежному, раз! Таблетка у меня во рту.

Но — как вы догадались — я остался жив. Вместо миндальной горечи я ощутил на языке сахарную сладость. Я услышал слова инспектора:

— Сукин сын дал ей смертельную дозу, а себе оставил конфетку. Что ж, выходит, убийство! Банальщина неимоверная.

И вдруг инспектор превратился в Харри Джамсета Рама Сингха, смуглого набоба из Бханипура,

а люди в шортах сделались толпой школьников, крутых сорванцов. Они хорошо меня скрутили, эти крутые, взяли за руки, за ноги и поволокли в лифт. И по мере того, как действовала таблетка — а на меня все вообще действовало вдвое быстрее, — окружающее стало меняться.

— Эгей, вы! — вопил я, конвульсивно дергаясь в крепнущих объятиях галлюциногена. — У-у-у, я сказал — отваливайте!

Погнавшись за белым кроликом, провалившись в Страну Чудес, увидев мух размером с лошадь-качалку, девочка должна была выбирать — пить или не пить, есть или не есть; спроси Алису, как поется в старой песне. А моя Алиса, моя Ума сделала свой выбор, сказавшийся отнюдь не на ее росте; и умерла, и не могла уже ни на что ответить. Не задавай вопросов — не услышишь неправды. Можно выбить это на ее могильном камне. Как мне понять эти две таблетки, убивающую и опьяняющую? Хотела ли моя любимая, погибнув сама, отправить меня в царство грез с тем, чтобы я вышел оттуда живым? Или она хотела увидеть мою смерть сквозь цветные очки наркотика? Трагическая героиня? Убийца? Или, каким-то непостижимым образом, то и другое вместе? Тайну свою Ума Сарасвати унесла в мо-

гилу. Сидя в заложенном в банк такси, я думал о том, что никогда ее не знал и теперь уже никогда не узнаю. Она умерла, умерла потрясенная, а я уцелел, я рождаюсь для новой жизни. Она заслуживает моего великодушия, по крайней мере, сомнения, и всех добрых чувств, какие я могу в себе отыскать. Я открыл глаза. Бандра. Мы в Бандре.

— Кто это подстроил? — спросил я Ламбаджана. — Что за фокусы?

— Тс-с, баба, — успокаивающе произнес он. — Скоро сам увидишь.

В саду своей лальгаумской виллы под тенью магнолии Раман Филдинг стоял в соломенной шляпе, темных очках и белой форме крикетиста. Он сильно взмок и держал в руке тяжелую биту.

— Класс, — гортанно проквакал он. — Чистая работа, Боркар.

«Кто такой Боркар?» — на секунду задумался я, но потом увидел, как Ламбаджан салютует ему, и понял, что я давно забыл настоящее имя этого искалеченного матроса. Итак, Ламба оказался тайным бойцом ОМ. Он говорил мне когда-то о своей религиозности, и я смутно помнил, что он родился в какой-то деревне в штате Махараштра, но теперь я с постыдной ясностью увидел, что

не знаю о нем ничего существенного, просто не давал себе труда поинтересоваться. Мандук подошел к нам и похлопал Ламбаджана по плечу.

— Вот настоящий воин-маратх, — сказал он, дыша бетелем мне в лицо. — Дивный город Мумбаи, Мумбаи маратхов — так, Боркар?

Он осклабился, и Ламбаджан, стоявший навытяжку, насколько это было возможно с костылем, с готовностью согласился:

— Сэр капитан сэр.

Написанное на моем лице недоумение позабавило Филдинга.

— А ты думал, чей это город? — спросил он. — Вы там на Малабар-хилле попиваете себе соду-виски и толкуете о демократии. А у ваших ворот стоят наши люди. Тебе кажется, ты все-все о них знаешь, но у них своя жизнь, и тебе они про нее никогда не расскажут. Кому вы нужны, богатые безбожники?

Сукха лакад ола зелата. А, ты ведь по-нашему не понимаешь. «Когда загорается сухая палка, все вокруг вспыхивает». Когда-нибудь этот город — не поганый англизированный Бомбей, а город Мумбаи, названный в честь великой нашей богини, — вспыхнет огнем наших идей. Тогда Малабар-хилл сгорит дотла, и наступит Рам раджья

— власть Рамы.

Он посмотрел на Ламбаджана.

— Ты просил, и я много чего сделал. Обвинение в убийстве снято, и принята версия самоубийства. Что касается наркотиков, органы займутся крупными бадмашами, а не этой мелкой сошкой. Теперь ты мне растолкуй, ради чего я старался.

— Сэр капитан сэр. — И старый чоукидар повернулся ко мне. — Ну-ка вмажь мне, баба. Этого я не ожидал.

— Что ты сказал?

— Он глухой, что ли? — нетерпеливо хлопнул в ладоши Филдинг.

Лицо Ламбаджана стало чуть ли не умоляющим. Я понял, что он пошел на риск, поставил себя в уязвимое положение, чтобы вызволить меня из тюрьмы; что и он поставил на карту все, лишь бы Мандук заступился за меня в высоких сферах. Теперь выходило, что я должен вернуть ему долг и спасти его от неприятностей, оправдав его похвалы.

— Как тогда, помнишь, баба? — упрашивал он. — Сюда, сюда бей.

Он показывал на свой подбородок. Я перевел дыхание и кивнул.

— Ладно.

— Сэр разрешите пересадить попугая сэр, — сказал Ламба.

Филдинг нетерпеливо махнул рукой и опустился, колыхаясь, как тесто, в огромное, но все равно жалобно заскрипевшее оранжевое плетеное кресло у поросшего лилиями пруда. Столпившиеся кругом статуи Мумбадеви с интересом смотрели на происходящее.

— Язык не прикуси, Ламба, — сказал я и ударил. Он упал как подкошенный и распластался у моих ног без сознания.

— Неплохо, — проквакал довольный Мандук. — Он говорил, что этот твой крученый кулак бьет не хуже кувалды. А что? Похоже на правду.

Ламбаджан медленно приходил в себя, осторожно трогал челюсть.

— Все в порядке, баба, — были его первые слова. А Мандука вдруг прорвало, как с ним часто случалось.

— Знаешь, почему это нормально, что ты его ударил? -кричал он. — Потому что я так сказал. А почему я мог так сказать? Потому что я хозяин его тела и его души. А как я их заимел? Позаботился о его родичах. Ты вот даже не знаешь, сколько их там у него в деревне. А я много лет уже плачу за учебу детей, за докторов и лекарства. Авраам

Зогойби, старик Тата, С. П. Бхаба, Крокодил Найди, Кеке Колаткар, Бирла, Сассуны, даже сама мать Индира — они думают, что они наверху, но им дела нет до простого люда. Скоро маленький человек им покажет, как они ошибаются. — Я стремительно терял интерес к этому разглагольствованию, но тут в его голосе зазвучали интимные нотки. — А тебя, дружок мой Кувалда, я, считай, спас от смерти. Теперь все, теперь ты мой зомби.

— Чего вы от меня хотите? — спросил я, но, спрашивая, уже знал не только чего он хочет, но и как я к этому отношусь. Когда я нокаутировал Ламбаджана, что-то, спавшее во мне всю жизнь, вышло наконец наружу, что-то, чье пленение до той поры означало неполноту, апатию, пассивность во всевозможных видах и чье высвобождение я пережил теперь с раскрепощающей радостью. Я понял в тот миг, что мне не надо больше жить подготовительной, временной жизнью, не надо быть тем, что продиктовано наследственностью, воспитанием и несчастьем, — что я могу наконец-то стать собой, собой подлинным, чей секрет кроется в этой деформированной конечности, которую я так долго прятал и кутал. Хватит! Теперь я выхвачу ее с гордостью, как меч. Отныне я

— мой кулак; я буду не Мавром, а Кувалдой.

А Филдинг говорил — говорил быстро, зло. «Знаешь, кто такой есть твой папаша в его небоскребе Сиоди? Вышвырнуть вон единственного сына — это каким же надо быть бессердечным подлецом! А что тебе известно про мусульманского уголовного босса по кличке Резаный?»

Я признался в своем неведении. Мандук пренебрежительно махнул рукой.

— Узнаешь, все скоро узнаешь. Наркотики, терроризм, мусульмане-моголы, компьютерные ракетные системы, махинации банка «Хазана», ядерное оружие. Хай Рам! Это ж надо, как вы, инородцы, всегда вместе держитесь. Как объединяетесь против нас, индусов, а мы, добренькие такие, недооцениваем угрозу. Но теперь твой папаша отправил тебя ко мне пинком под зад, и ты все-все-все узнаешь. Я и про роботов тебе расскажу, про разработку современных высокотехнологичных киберов, которых запрограммируют нападать на индусов и убивать их. И про детей расскажу, про армию инородческих младенцев, которые займут колыбели наших детишек и слопают их пищу. Вот каковы их планы! Но эти планы провалятся. Здесь Инду-стан — страна индусов. Мы сломаем ось Зогойби-Ре-

заный, чего бы это ни стоило. Мы их на колени поставим. Ну так что, мой зомби, моя кувалда: за нас ты или против нас, за правое дело или за левые доходы? С нами ты или нет?

Без колебаний я шагнул навстречу судьбе. Не дав себе времени задуматься, как могут быть связаны обвинения Филдинга в адрес Авраама и предполагаемые любовные отношения Мандука с госпожой Зогойби; не оглядываясь на прошлое; охотно, даже радостно — я ринулся вперед. Куда ты послала меня, мать моя, — во тьму, туда, где не видно меня, — я иду по своей воле. Клички, которые ты дала мне, — отверженный, бродяга, неприкасаемый, чужак, злодей — я прижимаю к груди и делаю своей неотъемлемой частью. Проклятье твое да будет мне благословением, и ненависть, которую ты выплеснула мне в лицо, я буду пить, как любовный напиток. Опозоренный я водружу на себя мой стыд и назову его гордостью — понесу его, Аурора Великая, как алый герб на груди. Я низвергаюсь с твоего холма, но не как падший ангел, нет. Мое падение не Люциферово, а Адамово. Я падаю, чтобы стать мужчиной. Я счастлив, что падаю так.

— Сэр мой капитан сэр.

Мандук издал зычный радостный возглас и

стал выкарабкиваться из кресла. Ламбаджан — Боркар — шагнул вперед и подал ему руку.

— Так, так, — сказал Филдинг. — Хорошо, кувалда твоя без дела не останется. А какие еще таланты?

— Сэр кулинария сэр, — ответил я, вспомнив счастливые часы на кухне с Эзекилем и его тетрадями. — Англо-индийский суп с пряностями, южноиндийское мясо с кокосовым молоком, каурма по-могольски, кашмирский чай с пряностями, «шелковый» кебаб; рыба по-гоански, баклажаны по-хайдарабадски, рис с простоквашей по-бомбейски и так далее. Если вам нравится, даже розовый соленый чай.

Восторгу Филдинга не было границ. Было ясно, что он любитель покушать.

— Выходит, ты настоящий универсальный игрок, — сказал он, хлопнув меня по спине. — Посмотрим, годишься ли ты для ответственных матчей, можно ли тебя поставить на ключевую шестую позицию и закрепишься ли ты на ней. Хами, Уолтере, Рави Шастри, Капил Лев. — (Индийские крикетисты совершали в это время турне по Австралии и Новой Зеландии.) — Для такого парня в моей команде всегда есть место.

x x x

Моя служба у Рамана Филдинга началась с того, что он назвал «испытательным сроком» в его домашней кухне, к большому неудовольствию его постоянного повара Чхаггана Одним Кусом Пять — верзилы с торчащими вкривь и вкось зубами, который, казалось, носил в огромном рту переполненное надгробьями кладбище.

— Чхагга-баба, он свирепый у нас, — восхищенно сказал Филдинг, знакомя меня с ним и объясняя его прозвище. -Однажды, когда боролись, откусил у противника пальцы на ноге, все сразу.

Чхагган хмуро посмотрел на меня, являя собой в этой чистенькой кухне невообразимо косматую фигуру с жирными пятнами на одежде, и, зловеще бормоча, принялся точить большой нож.

— Ну, теперь-то он присмирел, — басил Филдинг. _ Правду говорю, Чхагго? Ну перестань, перестань дуться. Нового повара следует принять как брата. Или нет. — Он посмотрел на меня из-под тяжелых век. — Боролся-то с ним как раз его братец. Ох уж эти пальцы! Точь-в-точь тефтельки маленькие, если бы не грязные ногти.

Я вспомнил давнюю байку Ламбаджана о

том, как сказочный слон откусил ему ногу, и подивился, сколько же гуляет по городу всяких невероятных историй о потере конечностей — историй, исходящих как от субъектов, так и от объектов ампутации. Я похвалил Чхаггана за образцовую чистоту на кухне и сказал персоналу, что не потерплю снижения стандартов. Любовь к опрятности нас роднит, заявил я, умалчивая о неприглядной внешности зубастого повара; еще роднит нас, добавил я про себя, постоянное ношение оружия. У него клыки, у меня кувалда; одно другого стоит, решил я. Я улыбнулся ему сладко, как только мог.

— Сэр нет проблем сэр, — бойко отрапортовал я хозяину. — Мы великолепно поладим.

Готовя Мандуку еду, я узнал о кое-каких особенностях этого человека. Я понимаю, что сейчас пошла мода на мемуары вроде записок личного слуги Гитлера, и многие этим недовольны — дескать, не надо очеловечивать бесчеловечное. Но дело-то в том, что вовсе они не бесчеловечны, эти Мандуки, эти маленькие Гитлеры, и человечность их лучше всего указывает на нашу общую вину, вину человечества в человеческих преступлениях; ибо если бы они были просто чудовищами и вопрос сводился бы к бесчин-

ствам Кинг Конга или Годзиллы, пресекаемым с помощью самолетов, то все остальные были бы оправданы.

А я не хочу оправданий для себя лично. Я сделал выбор и жил своей жизнью. Все! Хватит об этом! Продолжаю рассказ.

Одной из многих неиндусских черт Филдинга была любовь к мясной пище. Ягнятина (которая была бараниной), баранина (которая была козлятиной), кима [110], курица, шашлык — он был просто ненасытен. Парсы, христиане и мусульмане Бомбея, которых во многих других отношениях он всей душой презирал, часто заслуживали его горячее одобрение за свою невегетарианскую кухню. И это было не единственное противоречие в характере этого яростного, чуждого логике человека. Он воздвиг и всячески поддерживал популистский, обывательский фасад, но дом его был полон древних фигур Ганеши и Шивы Натараджи, бронзовых статуй периода Чанделы, раджпутских и кашмирских миниатюр, что выдавало подлинный интерес к высокой культуре Индии. Бывший карикатурист когда-то учился в художественной школе, и хотя он никогда бы не

110 Примечания: 110
Кима — индийское мясное блюдо.

признался в этом публично, влияние ее порой давало себя знать. (Я ни разу не спрашивал Мандука о моей матери, но если она действительно была с ним близка, стены его дома говорили об одной из возможных причин этой близости. Хотя говорили они и о другом — они опровергали расхожий тезис об облагораживающей роли искусства. Мандук обладал всеми этими статуями и картинами, но его нравственный состав был весьма низкого свойства, что, скажи ему кто-нибудь об этом, дало бы ему, вероятно, лишний повод для гордости.)

Что касается малабар-хиллских «сливок общества», они тоже не были ему столь безразличны, как он желал показать. Мое происхождение льстило ему; сделать Мораиша Зогойби, единственного, пусть даже и отвергнутого сына могущественного Авраама своим персональным человеком-кувалдой — это возбуждало, это было пикантно. Он поселил меня в своем доме в Бандре, и в его обращении со мной иногда ощущалась особая теплота, которой не удостаивался больше ни один его служащий; порой даже проскальзывало уважительное «аап» -индусское «вы» — вместо привычного повелительного «ту». К чести моих сослуживцев должен отметить, что

они не выказывали при мне недовольства этим моим особым положением; мне же, вероятно, не делает чести, что я принимал все как должное — ванную с горячей и холодной водой, подарки типа лунги и курта-пайджама [111], предложения выпить пива. Воспитанный в роскоши сохраняет ее у себя в крови.

Что интересно — это какой почет оказывала Филдингу бомбейская знать. Посетители шли потоком — из Эверест-хауса и Канченджанга-хауса, из Дхаулагири-бхавана [112] и Нанга-Парбатбхавана, из Манаслу-билдинга и с других сверхвожделенных, сверхнебоскребных гималайских вершин Малабар-хилла. Самые юные, самые холеные, самые модные котики и кошечки наших городских джунглей приходили понежиться в его лальгаумские угодья, и все они были голодны, но отнюдь не мои угощения их привлекали; они ловили каждое слово Мандука, жадно лакали каждый слог из его уст. Он был против профсоюзов, за штрейкбрехеров, против работающих

111 Примечания: 111

Лунги — набедренная повязка; курта-пайджама — широкие брюки и свободная рубаха до колен.

112 Примечания: 112

Бхаван — дом (хиндустани).

женщин, за обычай сати [113], против бедности, за богатство. Он был против городских «иммигрантов», в число которых он включал всех не говорящих на маратхи, даже тех, кто родился в Бомбее, и за «коренных жителей», включая тех маратхиязычных, которые приехали не далее как вчера. Он был против коррумпированного Конгресса (И) и за «прямое действие», подразумевавшее создание полувоенных отрядов в поддержку его политических целей и налаженную систему подкупа. Он отвергал марксистское понимание классовой борьбы как движущей силы общества и выдвигал взамен индуистское представление о вечной неизменности каст. Из цветов национального флага он был за индуистский шафран и против мусульманской зелени. Он рассуждал о золотом веке «до чужеземных вторжений», когда добрые индусы и индуски могли наслаждаться свободой. «Ныне наша свобода, наша исконная сущность погребена под тем, что выстроили захватчики. Эту исконную сущность мы должны извлечь из-под наслоений чужеземных империй».

Подавая Мандуку и его гостям пищу моего соб-

---

113 Примечания: 113

Сати — самосожжение вдовы на погребальном костре мужа.

ственного приготовления, я впервые услышал о существовании списка священных мест, где родились те или иные индуистские божества и где потом мусульманские завоеватели нарочно воздвигли свои мечети; они выстроили их даже не только на местах рождения древних богов, но и там, где были их загородные резиденции, любовные гнездышки, излюбленные торговые и питательные точки. Где теперь божеству провести вечер в приличной обстановке? Все лучшие места осенены минаретами и луковичными куполами. Это не дело! У богов тоже есть свои права, им нужно обеспечить традиционный образ жизни. Захватчики должны убраться.

Любознательные молодые львы и львицы с Малабар-хилла рьяно соглашались. Кампания за божественные права, ура! Вот это класс, вот это отпад. Но когда они начинали с хиханьками да хаханьками издеваться над индийской исламской культурой, покрывшей на манер палимпсеста лик Матери Индии, Мандук вставал с места и рявкал на них так, что они вжимались в спинки кресел. Потом он принимался нараспев читать газели, наизусть декламировать стихи на урду — Фаиза, Джоша, Икбала — и распространяться о красоте мертвого города Фатехпура Сикри и

великолепии Тадж-Махала, освещенного луной. Да, не так уж прост он был.

Женщины порой появлялись, но это было не самое для него важное. Их привозили ночью, он мял их и слюнявил, но без большого интереса. Его возбуждала власть, а не секс, и женщины нагоняли на него скуку, как ни старались они его растормошить. Должен сказать, что не обнаружил даже намека на его встречи с моей матерью, и мои наблюдения говорили о том, что их связь была очень короткой, если вообще была.

Он предпочитал общество самцов. В иные вечера, собрав группу амбалов в шафранных головных повязках из молодежной организации ОМ, он устраивал импровизированную мужскую мини-олимпиаду. Состязались в армрестлинге, борьбе на ковре, отжиманиях; затевали комнатные боксерские бои. Разгоряченные пивом и ромом, ребята достигали состояния потной, драчливой, хриплой и ближе к концу обессиленной наготы. В эти минуты Филдинг выглядел подлинно счастливым. Скинув лунги с цветочным узором, он блаженствовал среди своих боевиков, оглаживал себя, чесался, рыгал, пердел, шлепал себя по ляжкам и ягодицам.

— Как попрем — все лягут! — вопил он в дио-

нисийском восторге. — Сукины дети! Мы — один кулак!

Я приходил, когда меня звали, и от одного ночного поединка к другому слава Кувалды росла. Потные скользкие тела молодых соратников валились на пол, и открывался счет. (Собравшиеся олимпийцы, стоя вокруг неровным квадратом, хором кричали: «Девять!.. Десять!.. Готов!!») Одним Кусом Пять был, соответственно, чемпионом среди борцов.

Поймите, я не хочу сказать, что Мандук совсем не вызывал у меня тошноты и отвращения, — просто я научился их преодолевать. Я связал мою судьбу с его звездой. Я отверг старое, потому что оно отвергло меня, и не было никакого смысла переносить в новую жизнь старые вкусы и оценки. Я тоже буду таким, решил я; стану как он. Я внимательно изучал Филдинга. Надо говорить, как он говорит, делать, как он делает. Он — мой новый путь, мое будущее. Его нужно исследовать, как исследуют дорожную карту.

Шли недели, месяцы. Мой испытательный срок в какой-то момент кончился; я прошел некую тайную проверку. Мандук вызвал меня в свой кабинет — тот самый, с зеленым телефоном-лягушкой. Входя, я увидел перед собой фигуру столь

ужасающую, столь удивительную, что в просветлении страха я вдруг понял, что так и не покинул этот фантастический город, центральный Бомбей или бомбейский централ, куда я был брошен после ареста на Кафф-парейд и откуда, как я наивно думал, Ламбаджан вывез меня на заложенном в банк такси.

Это был человек, но человек отчасти металлический. В левую сторону его лица была каким-то образом вделана большая стальная пластина, и одна его рука тоже была гладкая и блестящая. Железный нагрудный доспех, как до меня постепенно дошло, был все же не частью тела, а элементом маскарада, усиливавшим впечатление от жуткого киборга с металлической щекой и рукой. Это был имидж.

— Скажи «намаскар» [114] нашему Сэмми Хазаре, достославному Железяке, — проговорил Мандук, сидевший в кресле за письменным столом. — Он — вожак твоих одиннадцати. Снимай давай колпак повара, надевай спортивные шмотки и выходи на поле.

---

114 Примечания: 114
Намаскар — здравствуй (хиндустани).

x x x

Серия «мавров в изгнании», или «темных мавров», рожденная страстной иронией и рвущей душу болью, давшая впоследствии пищу спорам и несправедливым обвинениям в очернительстве, цинизме, даже нигилизме, стала крупнейшим достижением Ауроры Зогойби в последние годы ее жизни. В этих вещах она отказалась не только от темы дворца на холме и морского берега, преобладавшей в более ранних картинах, но и от чистой живописи как таковой. Почти каждое произведение серии содержало элементы коллажа, и со временем эти элементы стали доминирующими. Объединяющая фигура героя-рассказчика, фигура Мавра, обычно присутствовала, но чем дальше, тем больше он приобретал черты бродяги, окруженного сломанными, пришедшими в негодность, выброшенными вещами, которые часто были настоящими обломками ящиков или жестянками из-под топленого масла, прикрепленными к холсту и раскрашенными. Обращает на себя внимание то, что принявший новый облик султан Боабдил отсутствует на открывающей серию поворотной работе большого цикла «мавров» — диптихе, озаглавленном «Смерть

Химены», в левой части которого могучая, ликующая толпа несет женский труп, привязанный к деревянной метле, как в день праздника Ганапати несут к воде фигуру оседлавшего крысу бога Ганеши. В правой половине диптиха толпа уже разбрелась, и изображен только участок береговой кромки, где среди сломанных муляжей, пустых бутылок и мокрых газет лежит мертвая женщина, синяя и раздувшаяся, все еще привязанная к палке, лишенная и красоты, и достоинства, перешедшая в разряд мусора. Когда Мавр появляется вновь, это происходит в чрезвычайно прихотливом антураже, на некой человеческой свалке, вызывающей в памяти хибары и импровизированные навесы городских бездомных, громадные соты бомбейских трущоб. Здесь все представляет собой коллаж — хижины, на которые пошли всяческие обломки, ржавое рифленое железо, обрывки картона, сучковатые куски выброшенного волнами на берег дерева, мятые автомобильные двери, ветровое стекло оставленного без присмотра «форда-темпо»; многоквартирные дома, сложенные из ядовитого дыма, из водопроводных кранов, становящихся причиной смертельных схваток между женщинами за право очереди (например, индуски

против евреек из общины Бене-Израиль), из керосиновых самосожжений, из непосильной квартплаты, собираемой с неслыханной жестокостью бандами «братков» и патанов [115]; и жизни людей под давлением, которое чувствуешь сполна только в самом низу кучи, становятся такими же композитными и лоскутными, как их жилища: вот осколок мелкого воровства, вот черепок проституции, вот обрывок нищенства; а у сохранивших остатки самоуважения -чистка ботинок, бумажные гирлянды, дешевые серьги, плетеные корзинки, рубашки пайса-за-шов, кокосовое молоко, присмотр за автомобилями и брикеты карболового мыла. Но Аурора, никогда не ограничивавшаяся простым репортажем, продвинула свое видение на несколько шагов дальше: в ее работах сами люди были составлены из отбросов, были коллажами из всего, в чем город уже не нуждался — из оторванных пуговиц, сломанных автомобильных дворников, обрывков ткани, обгоревших книг, засвеченной фотопленки. Они бродили, выискивая себе, что подвернется; роясь в огромных кучах частей человеческого тела, подбирали себе недостающие

115 Примечания: 115
Патаны — афганская народность.

конечности, и тут было не до разборчивости, что есть, то есть, и многие довольствовались, скажем, двумя левыми ступнями или, отчаявшись найти ягодицы, ставили себе на их место пухлые отрезанные женские груди. Мавр стал обитателем невидимого мира, мира духов, мира несуществующих людей, и Аурора последовала за ним туда, сделав невидимое видимым силой своей художнической воли. И сама фигура Мавра: одинокий, лишенный матери, он окунулся в порок и был изображен существом теневого мира, погрязшим в преступлениях и бесчинствах. В этих поздних картинах он совершенно утратил свою прежнюю метафорическую роль объединителя противоположностей, знаменосца плюрализма, он перестал быть символом — пусть даже весьма условным — новой нации и превратился вместо этого в олицетворение распада. Аурора явно пришла к выводу, что идея смешения, гибридизации, скрещивания культур, которая на протяжении большей части ее творческой жизни была для нее ближе к понятию Бога, чем что бы то ни было, на деле оказалась подверженной порче и чреватой тьмой не меньше, чем светом. В этом «черном Мавре» идея гибридности была переосмыслена, и он стал — не побоюсь сказать — бодлеровским

цветком зла:

> *...Aux objets repugnants nous trouvons des appas;*
>
> *Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas,*
>
> *Sans horreur, a travers des tenebres qui puent [*[116]*].*

И не только зла, но и бессилья; ибо он превратился в беглеца, в преследуемого, его стали осаждать и мучить призраки прошлого, и тщетно он прятался от них и гнал их прочь. Мало-помалу он сам обрел потусторонние черты, стал ходячим призраком и начал погружаться в абстракцию, отдал грабителям свои ромбы и алмазы, утратил последние остатки былого великолепия; принужденный нести военную службу в дружине какого-то мелкого князька (здесь, что любопытно, Аурора верна реальной биографии султана Боабдила), низринутый с высот царской власти к положению простого наемника, он быстро сде-

---

116 Примечания: 116

Цитата из «Вступления» к «Цветам зла» Ш. Бодлера (Перевод Эллиса):

> *И, смело шествуя среди зловонной тьмы,*
> *Мы к Аду близимся, но даже в бездне мы*
> *Без дрожи ужаса хватаем наслажденья.*

лался составным существом, столь же жалким и безымянным, как те, среди которых он обретался. Гора мусора росла, росла и наконец погребла его.

Снова и снова Аурора обращалась к диптиху; в правых половинах она представила нам серию страдальческих, безжалостных, пугающе обнаженных поздних автопортретов, где есть влияние Гойи и Рембрандта, но гораздо больше дикого эротического отчаяния, которое трудно сравнить с чем-либо в мировом искусстве. Аурора-Айша сидела одна подле адской хроники сыновних падений и ни разу не пролила слезинки. Ее лицо отвердело, стало каменным, но глаза засветились невыразимым ужасом — словно ее до глубины души поразило то, на что она глядела, что стояло перед ней, то есть там, где стоит обычно зритель картины, — словно сам человеческий род открыл ей свое тайное и отвратительное лицо, обратив тем самым в камень ее старческую плоть. «Портреты Айши» производили тяжкое, угнетающее впечатление.

Не раз Айша возникала в контексте двухуровневой темы призраков-двойников. Призрак-Айша преследовала мусорного Мавра; а позади Айши-Ауроры порой виднелись нечеткие прозрачные фигуры — одна женская и одна мужская,

с пустотой вместо лиц. Была ли эта женщина Умой-Хименой, или это была сама Аурора? А призрак-мужчина — это был я? То есть Мавр? А если не я, то кто? В этих «призрачных» или «двойных» портретах Айша-Аурора выглядит — или мне чудится? — затравленной, как Ума, когда я пришел к ней после гибели Джимми Кэша. Нет, не чудится. Я знаю этот взгляд. Она выглядит так, словно сейчас развалится на части. Так, словно ее преследуют.

x x x

А она на этих картинах преследовала меня. Точно она была ведьма на скалистом утесе, высматривающая меня внутри своего хрустального шарика и поглаживающая крылатую обезьянку. Потому что воистину я перемещался по темным местам — с той стороны луны, позади солнца, — которые она сотворила в своих работах. Я жил в ее фантасмагориях, и очами воображения она видела меня отчетливо. Хотя и не абсолютно четко: было такое, чего она не могла вообразить, чего даже ее проникающий всюду взгляд не в силах был увидеть.

В самой себе она проглядела снобизм, который выразился в этом ее презрительном гневе,

проглядела страх перед невидимым городом, проглядела свою малабар-хиллскую спесь. С какой ненавистью обрушилась бы на себя теперешнюю та прежняя, радикальная Аурора, королева националистов! Дать повод сказать, что на склоне лет она стала еще одной grande dame Малабар-хилла, прихлебывающей чай и с неудовольствием оглядывающей бедняка у своих ворот…

А во мне она проглядела то, что в этих ирреальных сферах, в компании человека-железяки, зубастого чудища и трусливой лягушки (ибо Мандук определенно был трусом — он никогда сам не участвовал в жестоких делах, на которые нас посылал) я впервые за мою длинно-краткую жизнь обрел ощущение собственной нормальности, радость от того, что во мне нет ничего особенного, чувство общности с людьми вокруг — а ведь это определяющие свойства родного дома.

Есть одна истина, которую знал Раман Филдинг, на которой тайно зиждилась его власть: люди жаждут вовсе не гражданской и социальной нормы — нет, они жаждут возмутительного, невероятного, буйного, того, что способно выпустить на волю нашу дикую мощь. Мы ищем возможности открыто проявить наше тайное.

Так-то, мама: живя среди страшных людей,

творя страшные дела, я без всяких волшебных башмаков нашел дорогу домой.

x x x

Готов признать: мощь моих ударов почувствовали на себе многие. Я доставлял насилие ко многим дверям, как почтальон доставляет почту. Я делал, что требовалось и когда требовалось, — делал грязную работу и находил в ней удовольствие. Рассказывал ли я, с каким трудом, преодолевая собственную природу, я учился делать все левой рукой? Что ж: теперь я наконец могу быть правшой, могу в моем новом, полнокровном бытии извлечь из кармана доблестную руку-кувалду, и пусть она свободно пишет историю моей жизни. Моя дубинка неплохо мне послужила. Очень быстро я стал одним из первых боевиков ОМ, наряду с Железякой Хазаре и Чхагганом Одним Кусом Пять (который, как и следовало ожидать, тоже был универсалом, чьи таланты не ограничивались кухней). Команда Хазаре, его одиннадцать — мы трое и еще восемь громил, таких же отчаянных и свирепых, — десять лет не знала себе равных и считалась командой команд в иерархии ОМ. Так что помимо чистого наслаждения игрой распоясавшихся сил были еще

поощрения за отличные результаты и мужская радость сплоченного товарищества.

Способны ли вы понять восторг, с каким я окунулся в простоту моей новой жизни? Ибо так оно и было; я упивался ею. Наконец-то, говорил я себе, немного непосредственности; наконец именно то, для чего ты рожден. С каким облегчением прекратил я многолетние бесплодные попытки достичь нормальности, с какой радостью явил миру свое сверхъестество! Можете ли вы вообразить, сколько злости накопилось во мне из-за всех ограничений и эмоциональных сложностей прежнего существования — сколько отвращения к высокомерию мира, к подслушанным женским смешкам, к издевкам учителей, сколько невысказанного гнева из-за тесноты одинокой, по необходимости замкнутой, лишенной друзей и в конце концов разбитой матерью вдребезги жизни? Теперь вся накопившаяся ярость взрывалась в моем кулаке, как порох. Шарррааххх! О, не сомневайтесь, джентльмены и бегумы: я знал, кого надлежит отдубасить и отметелить, знал как и знал почему. И спрячьте-ка ваше неодобрение! Б самый темный угол, куда солнце и не заглядывает! Пойдите в кино и убедитесь, что больше всего криков восторга ныне достается не любов-

нику и не положительному герою — нет, не им, а молодчику в черной шляпе, который стреляет, рубит, колет, который изничтожает любого, кто встает у него на пути! О, бэби. От насилия сейчас млеют. Оно желанно.

В первые годы я был занят подавлением грандиозной забастовки текстильщиков. Меня включили в летучий отряд мстителей в масках под командованием Сэмми Хазаре. После того, как власти вмешивались и разгоняли очередную демонстрацию дубинками и слезоточивым газом, — а в те годы по всему городу шли митинги, организованные партией Камгар Агхади и профсоюзом текстильных рабочих Гирни Камгар, руководимыми доктором Даттой Самантом, -боевые группы ОМ брали на заметку отдельных демонстрантов, неотступно преследовали их, загоняли в угол и избивали до полусмерти. Мы придавали первостепенное значение виду наших масок и в конце концов отказались от обликов тогдашних звезд Болливуда, предпочтя старинную традицию бродячих актеров «бахурупи» («хамелеонов»), в подражание которым мы обзавелись лицами львов, тигров и медведей. Выбор оказался удачным: представая мифическими мстителями, мы пробуждали в забастовщиках

древние страхи. Стоило нам только появиться, как рабочие с воплями разбегались по темным переулкам, где мы настигали их и давали им урок на всю жизнь. Интересным для меня побочным результатом этих дел стало знакомство с новыми крупными районами города: в 1982-83 годах я изучил, наверно, все улочки в Уорли, Пареле и Бхиванди, гоняясь за профсоюзным шлаком, агитаторскими отбросами и коммунистической накипью. Я употребляю эти слова не в уничижительном, а, если хотите, в техническом смысле. Ибо во всяком производстве возникают свои отходы, которые должны быть убраны, спущены, слиты, чтобы могла возникнуть качественная продукция. Забастовщики — пример таких отходов. Мы от них избавлялись. В конце забастовки на ткацких фабриках было на шестьдесят тысяч меньше рабочих, чем в начале, и промышленники наконец смогли провести модернизацию. Мы вычистили всю грязь и получили в результате новенькую, современную, механизированную текстильную индустрию. Так объяснил все это Мандук мне лично.

Если другие больше били ногами, я предпочитал работать рукой. Моей невооруженной правой я охаживал людей с методичностью метронома

— как выбивают ковры, как лупят мулов. Безжалостно, как идет время. Я не разговаривал. Удары говорят сами за себя, у них свой особый язык. Я избивал людей и днем, и ночью, порой молниеносно, валя их наземь одним движением руки-кувалды, порой без излишней спешки, обрабатывая правой мягкие и чувствительные места, внутренне гримасничая в ответ на вопли несчастных. Высшим шиком при этом было сохранять лицо нейтральным, бесстрастным, пустым. Те, кого мы били, не смотрели нам в глаза. На определенной стадии они переставали издавать звуки, словно мирясь с нашими кулаками, каблуками, дубинками. Они тоже становились бесстрастными, незрячими.

Человек, подвергшийся серьезному избиению (давным-давно это интуитивно постиг во сне Оливер д'Эт), меняется необратимо. Его отношение к собственному телу и разуму, к внешнему миру становится иным как в очевидных, так и в глубоко скрытых проявлениях. Некое самоуважение, некая идея свободы выбиты из него навсегда, если с ним работал профессионал. Вколачивается обычно отрешенность. Жертва — как часто я это наблюдал! — отрешается от того, что происходит, ее сознание как бы парит в вышине.

Человек глядит на себя вниз — на свое бьющееся в конвульсиях тело, на свои ломающиеся конечности. Потом он никогда полностью в себя не вернется, и все предложения войти в более крупное, коллективное образование — профсоюз, к примеру, — будут отвергнуты.

Удары по различным зонам тела воздействуют на разные участки души. Долгая обработка ступней, к примеру, влияет на смех. Кого так били, никогда уже не будет смеяться.

Только тот, кто смирится с неизбежным, примет его по-мужски, как должное, — только тот, кто поднимет вверх руки, признает свою вину, скажет свое mea culpa [117], — только он сможет извлечь из пережитого нечто ценное, нечто положительное. Только он сможет сказать: «Будет хотя бы впредь наука».

Подобное происходит и с избивающим: он меняется. Избивая человека, испытываешь экзальтацию — совершается откровение, вселенная распахивает заповедные врата. Разверзаются бездны. Мы видим поразительные вещи. Мне порой открывались прошлое и будущее разом. Удержать воспоминание об этом было невозмож-

---

117 Примечания: 117
Буквально: моя вина (лат.).

но. Под конец работы образы таяли. Но я помнил, что видение было. Что-то произошло. Это меня обогащало.

Наконец мы прикончили-таки забастовку. Я был удивлен тем, как много на это ушло времени, как верны были рабочие шлаку, отбросам и накипи. Но, как сказал нам Раман Филдинг, забастовка текстильщиков была для ОМ испытательным полигоном, она закалила нас, сплотила наши ряды. На очередных муниципальных выборах партия доктора Саманта получила лишь горстку мест, а ОМ — более семидесяти. Маховик стал раскручиваться.

А рассказать вам, как по запросу одного землевладельца-феодала мы нагрянули в деревню близ гуджаратской границы, где вокруг домов высились яркие и душистые холмы свежесобранного красного перца, и подавили бунт женщин-работниц? Нет, лучше не буду: вашим чувствительным желудкам этого острого блюда не переварить. Рассказать, может быть, как мы разделались с этими несчастными — с неприкасаемыми, или хариджанами, или далитами [118], зовите их как

118 Примечания: 118

Хариджаны («дети бога») — название, данное неприкасаемым Махатмой Ганди. Далиты («задавленные») — общественное движение среди неприкасаемых.

хотите, которые по глупости решили, что могут спастись от кастовой системы, подавшись в ислам? Описать способ, каким мы поставили их на место? Или, может быть, вы предпочтете историю о том, как Хазаре и его одиннадцать были вызваны, чтобы исполнить древний обычай сати, и как в одной деревне мы заставили молодую вдову взойти на погребальный костер мужа?

Нет, нет. Довольно того, что уже сказано. Шесть лет тяжких полевых работ принесли богатую жатву. ОМ получила политическую власть над городом; Мандук был теперь мэром. Даже в сельской глубинке, где идеи, подобные Филдинговым, раньше никогда не были популярны, пошли разговоры о грядущем царстве Всемогущего Рамы и о том, что все «моголы» страны должны получить урок, подобный тому, что был преподан текстильщикам. События более крупного масштаба тоже сыграли свою роль в той кровавой игре следствий, в которую превращается теперь наша история. В золотом храме укрывались вооруженные люди, храм был атакован и вооруженные люди убиты; вследствие чего вооруженные люди убили премьер-министра страны; вследствие чего толпы людей, как вооруженных, так и невооруженных, прокатились по столице, убивая невинных граж-

дан, не имевших ничего общего с теми, первыми вооруженными людьми, если не считать тюрбана; вследствие чего люди, подобные Филдингу, которые говорили о необходимости приструнить национальные меньшинства и подчинить всех и каждого любовно-строгой власти Рамы, получили дополнительную поддержку и вошли в силу.

…И мне рассказывали, что в день гибели госпожи Ганди -той самой госпожи Ганди, которую она ненавидела и которая отвечала ей полной взаимностью, — моя мать Аурора Зогойби заплакала горькими слезами…

Победа, она и есть победа: в ходе избирательной кампании, которая привела Филдинга к власти, организации текстильщиков поддержали кандидатов ОМ. Первое дело — дать людям почувствовать твердую руку…

…И если порой меня вдруг рвало без явной причины, если все мои сны были адскими, что из того? Если я испытывал постоянное и растущее ощущение, что меня преследуют — может быть, хотят отомстить, — я отгонял мысли об этом. Они принадлежали моей старой жизни, этой ампутированной конечности; я не хотел иметь ничего общего с этими колебаниями, с этой слабостью. Я просыпался весь в поту посреди кошмарного сна,

вытирал лоб платком и опять засыпал.

Ума преследовала меня в этих снах, мертвая и ужасная в смерти, Ума со всклокоченными волосами, белыми глазами и раздвоенным языком, Ума, превратившаяся в ангела мести, адская Дездемона, не дающая покоя мне, Мавру. Спасаясь от нее, я вбегал в ворота неприступной крепости, захлопывал их, оглядывался — и вновь оказывался снаружи, а она в воздухе, надо мной и позади меня, Ума с вампирскими клыками размером со слоновьи бивни. И опять передо мной вырастала крепость, отворенные ворота предлагали мне убежище; и опять я вбегал, захлопывал их за собой и оказывался все равно под открытым небом, беззащитный, в полной ее власти. «Ты ведь знаешь, как строили мавры, — шептала она мне. — Мозаичная архитектура, чередование жилых помещений и двориков: сад, комната, опять сад, опять комната и так далее. Но ты отныне приговорен к открытым местам. Не надейся укрыться в доме — а снаружи буду поджидать тебя я. По всем бесчисленным дворикам тебя прогоню». И она подлетала ко мне, разинув свою ужасную пасть.

К чертям детские глупые страхи! — Так стыдил я себя, пробуждаясь от кошмаров. Я мужчина

и должен вести себя по-мужски — идти своим путем и быть за все в ответе. И если в течение этих лет и мне, и Ауроре Зогойби временами казалось, что за нами следят, то причина тому была чрезвычайно проста и прозаична — поскольку так оно и было. Как я узнал уже после смерти матери, Авраам Зогойби год за годом держал нас под наблюдением. Он любил владеть всей информацией. И, вполне охотно делясь с Ауророй большей частью того, что знал о моих похождениях, — будучи, таким образом, источником материала для «изгнаннических» картин; вот вам и хрустальные шарики! — он не считал нужным уведомлять ее, что она у него тоже под колпаком. С годами они так далеко разошлись, что были едва в пределах слышимости друг друга и обменивались лишь малозначащими фразами. Так или иначе, Дом Минто, теперь почти уже девяностолетний, но вновь возглавляющий лучшее частное сыскное агентство города, по заданию Авраама приглядывал за нами обоими. Но пусть Минто немного потерпит. Мисс Надья Вадья ждет своего выхода.

x x x

Женщины у меня бывали, не буду отрицать.

Крохи со стола Филдинга. Припоминаю Смиту, Шобху, Рекху, Урваши, Анджу, Манджу и других. Плюс немалое количество особ неиндусского происхождения — слегка потасканные Долли, Мария, Гуриндер и так далее, ни одна из которых надолго не задерживалась. Иногда по приказу Капитана я выполнял «спецзадания» — ездил, как девушка по вызову, развлекать ту или иную богатую скучающую матрону, предлагая ей интимные услуги в обмен на пожертвования в партийную кассу. Когда мне самому давали деньги, я не отказывался. Мне не было разницы. Филдинг хвалил меня за «недюжинный талант» в этой работе.

Но к Надье Вадье я не прикоснулся ни разу. Надья Вадья — это было совершенно иное. Она была королева красоты — Мисс Бомбей и Мисс Индия 1987 года и, позднее в том же году, — Мисс Мира. Не в одном журнале проводилась параллель между этой стремительно вспыхнувшей семнадцатилетней звездой и угасшей, оплаканной Иной Зогойби, на которую Надья Вадья, как утверждалось, была очень похожа. (Я, правда, сходства не усматривал; но по этой части я всегда был туповат. Когда Авраам Зогойби сказал, что в Уме Сарасвати есть нечто от юной Ауроры -пятнадцатилетней девушки, в которую он

столь судьбоносно влюбился, — это прозвучало для меня полнейшим откровением.) Филдинг возжаждал Надью — высокую Надью-валькирию с походкой воительницы и голосом, как хрипловатый телефонный звонок, серьезную Надью, пожертвовавшую часть своих призовых денег детским больницам и заявившую, что станет врачом, когда ей надоест делать мужчин всего земного шара больными от желания, — возжаждал больше, чем кого-либо еще в этом мире. У нее было то, чего ему недоставало и без чего, он знал, в Бомбее ему будет не обойтись. У нее был блеск. И она в глаза назвала его жабой на одном светском приеме; значит, была девушкой с характером, и ее следовало приручить.

Мандук хотел обладать Надьей, хотел повесить ее себе на руку, как трофей; но Сэмми Хазаре, самый верный из его офицеров, — уродливый Сэмми, получеловек, полужестянка, — допустил грубый промах, влюбившись в нее.

Что до меня, женская любовь перестала меня интересовать. Честно. После УМЫ что-то во мне перегорело, какую-то пробку на щитке выбило. Не столь уж редких хозяйских подачек и «спецзаданий» мне было вполне достаточно; эти дамы легко возникали и легко исчезали. Возраст тоже

играл свою роль. Когда мне было тридцать, мое тело тянуло на все шестьдесят, и притом не самые бодрые шестьдесят. Годы накатывали на мои дряхлеющие дамбы и затопляли низины моего существования. Нелады в дыхательной системе достигли такой степени, что мне пришлось отказаться от участия в летучих рейдах. Уже было не до погонь в трущобных переулках и не до преследований на лестницах многоквартирных домов. О долгих чувственных ночах также не могло быть и речи; тогда уже я был способен в лучшем случае на один раз. Заботливый Филдинг предоставил мне работу в своем личном секретариате и ту из своих наложниц, что была наименее склонна к атлетическим играм… Но Сэмми, который был на десять лет старше меня по календарному возрасту, но на двадцать моложе телом, Железяка Сэмми все еще был способен на нежные мечты. Там никаких дыхательных проблем; на ночных олимпиадах Мандука он делил с Чхагганом Одним Кусом Пять лавры чемпиона по силе легких (задержка дыхания, стрельба крохотными дротиками из длинной металлической трубки, задувание свечей и тому подобное).

Хазаре был христианином из Махараштры и вошел в команду Филдинга не по религиозным,

а по регионалистским причинам. О, у нас у всех были причины — у кого личные, у кого идеологические. Причины всегда найдутся. Ими торгуют на любой толкучке, на любом воровском базаре, и не поштучно, а десятками. Причины дешевы, как рецепты политиканов, они сами так и сыплются с языка: я сделал это ради денег — мундира — товарищества -семей — расы — нации — веры. Но того, что движет нами на самом деле, — того, что заставляет нас бить руками и ногами, заставляет убивать, заставляет побеждать врагов и наши собственные страхи, — этого не выразишь купленными на базаре словами. Наши моторы сложно устроены, и работают они на темном топливе. Сэмми Хазаре, к примеру, был помешан на бомбах. Взрывчатка, которой он уже принес в жертву кисть руки и половину челюсти, была его первой любовью, и речи, которыми он пытался — пока безуспешно — убедить Филдинга в политических выгодах от серии взрывов на ирландский манер, были столь же страстны, как речи Сирано, обхаживающего Роксану. Но если первой любовью Железяки были бомбы, то второй стала Надья Вадья.

Возглавляемая Филдингом бомбейская муниципальная корпорация устроила девушке

пышные проводы в испанский город Гранаду на финальный конкурс красавиц. На этом вечере Надья, вольнолюбивая парсская прелестница, при работающих телекамерах вмазала закоренелому реакционеру Мандуку по первое число («Шри Раман, я лично думаю, что вы не столько лягушка, сколько жаба, и вряд ли вы превратитесь в принца, если я вас поцелую», — так она ответила во всеуслышание на его произнесенное неловким шепотом приглашение на приватный тет-а-тет) и, дабы усилить впечатление, намеренно обратила свои чары на его отчасти металлического телохранителя (напарником Сэмми был я, но меня она не удостоила вниманием).

— Скажите мне, — промурлыкала она парализованному Сэмми, которого прошиб пот, — выиграю я или нет?

Сэмми лишился дара речи. Он побагровел и издал булькающий звук. Надья Вадья серьезно кивнула, словно услыхала нечто чрезвычайно мудрое.

— Когда я готовилась к конкурсу «Мисс Бомбей», — с хрипотцой в голосе пожаловалась она трепещущему Сэмми, — мой друг сказал мне: «Надья Вадья, посмотри, какие там красавицы, не думаю я, что ты выиграешь». Но видите — я

выиграла!

Под ее безжалостной улыбкой Сэмми пошатнулся.

— Потом, когда я пошла на конкурс «Мисс Индия», — с придыханием продолжала Надья, — мой друг вновь сказал: «Надья Вадья, посмотри, какие там красавицы, не думаю я, что ты выиграешь». Но видите — я опять выиграла!

Большая часть присутствующих подивилась святотатству этого, с позволения сказать, «друга» и нашла естественным, что он не приглашен вместе с Надьей Вадьей на этот прием. Мандук пытался сохранять хорошую мину после того, как его обозвали жабой; а Сэмми — тот просто-напросто изо всех сил старался не хлопнуться в обморок.

— Но теперь-то будет конкурс «Мисс Мира», — надув губки, сказала Надья. — Я открываю журнал, смотрю на цветные снимки тамошних красавиц и говорю себе: «Надья Вадья, не думаю я, что ты выиграешь».

Она выжидающе смотрела на Сэмми, требуя у него опровержения, — а Раман Филдинг, забытый и отчаявшийся, стоял рядом болван-болваном.

Сэмми вдруг понесло.

— Не переживайте, мисс! — выпалил он. — Вы

слетаете в Европу бизнес-классом, увидите незабываемые вещи, познакомитесь с мировыми знаменитостями. Вы великолепно себя покажете и не уроните нашего национального флага. Да! Я убежден на все сто. А насчет победы, мисс, вы не переживайте. Что там за жюрики-жулики заседают? Для нас — для всех в Индии — вы уже сегодня и навсегда победительница.

Это была самая длинная речь в его жизни.

Надья Вадья притворилась разочарованной.

— О-о, — протянула она, отстраняясь и разбивая вдребезги его неискушенное сердце. — Значит, вы тоже не думаете, что я выиграю?

После того, как Надья Вадья покорила мир, про нее сложили песенку:

Ты всех нас свела с умадья,
Весь мир от тебя в отпадья,

Прекрасная Надья Вадья!
Не девушка ты, а кладья.

Я защищать тебя радья,
Люблю тебя крепко, Надья.

Люди распевали ее не переставая, и больше всех, конечно, Железяка. «Я защищать тебя ра-

дья» — эта строка казалась ему вестью небес, предсказанием судьбы. Я даже слышал, как эти слова на исковерканный мотив звучали из-за дверей Мандукова кабинета; после своей победы Надья Вадья стала символом нации, чем-то вроде статуи Свободы или Марианны, знаменем нашей гордости и веры в себя. Я видел, как все это действовало на Филдинга, чьим амбициям уже были тесны границы города Бомбея и штата Махараштра; он отдал пост мэра своему соратнику по ОМ и начал думать о выходе на общегосударственный уровень — при этом хорошо было бы иметь рядом с собой Надью Вадью. «Люблю тебя крепко…» Раман Филдинг, этот отвратительно неугомонный человек, поставил перед собой новую цель.

Подошло время празднеств Ганапати. К тому же исполнялось сорок лет со дня провозглашения независимости, и контролируемая ОМ муниципальная корпорация устраивала самый пышный Ганеша Чатуртхи из всех, что когда-либо были. Верующие с муляжами бога тысячами съезжались на грузовиках из окрестных мест. По всему городу были развешаны шафранные полотнища с лозунгами ОМ. Рядом с пляжем Чаупатти, почти у самого моста, возвели специальную трибуну для особо важных персон; Раман Филдинг

пригласил новую Мисс Мира как почетную гостью, и из уважения к празднеству она приняла приглашение. Так что первая часть его замысла как бы исполнилась — она стояла рядом с ним и смотрела, как громилы из ОМ едут мимо на грузовиках, машут сжатыми кулаками и мечут в воздух цветные порошки и цветочные лепестки. Филдинг салютовал им вытянутой вверх рукой; Надья Вадья, увидев нацистское приветствие, отвернулась. Но Филдинг в тот день был в настоящем экстазе; когда шум людского месива достиг почти оглушительной силы, он обернулся ко мне — я стоял позади него рядом с Железякой Сэмми, притиснутый к задним перилам заполненной людьми маленькой трибуны, — и проревел во всю глотку:

— Самое время за твоего папашу браться! Нам и Зогойби, и Резаный теперь по зубам, и все остальные. Ганапати Баппа морья! Кто против нас устоит?

Охваченный похотью власти, он взял парализованную ужасом Надью Вадью за изящную длинную руку и поцеловал ее в ладонь.

— Вот, я целую Мумбаи, я целую Индию! — выкрикнул он.

— Смотрите все, я целую планету!

Ответ Надьи Вадьи потонул в реве толпы.

x x x

Вечером того дня я узнал из теленовостей, что моя мать упала и разбилась насмерть во время своего ежегодного богоборческого танца. Словно похвальба Филдинга начала оправдываться: ее смерть ослабляла Авраама и усиливала Мандука. В репортажах по радио и телевидению я ощущал нотки горестного раскаяния, как будто журналисты, обозреватели и критики сознавали, какую жестокую несправедливость вынесла эта яркая, гордая женщина, как будто они чувствовали свою ответственность за мрачное отшельничество ее последних лет. И, разумеется, в первые дни и месяцы после гибели Аурoры звезда ее засияла ярче, чем когда-либо, люди кинулись менять оценки и превозносить ее работы с бесившей меня поспешностью «скорой помощи». Если она заслуживает этих похвал сейчас, значит, она заслуживала их всегда. Я не знал женщины с таким же сильным характером, не знал женщины, столь же ясно понимающей, кто она и что она, — но она была уязвлена, и слова, которые, будь они сказаны вовремя, возможно, исцелили бы ее, прозвучали слишком поздно. Аурора да

Гама-Зогойби, 1924-1987. Даты сомкнулись над ней, как морская вода.

На картине, которую нашли у нее на подрамнике, был изображен я. В своей последней работе, названной «Прощальный вздох мавра», она вернула мавру всю его человеческую сущность. Он уже не был ни абстрактным арлекином, ни мусорным коллажем. Это был портрет ее сына, скитающегося в лимбе, как бродячая тень; портрет человеческой души в аду. А позади сына — мать, она сама, уже не на другой створке диптиха, а воссоединенная с несчастным султаном. Не осуждающая — плачь же, как женщина, — но испуганная, протягивающая к нему руку. Это тоже было запоздалое раскаяние, это было прощение, плодами которого я уже не мог воспользоваться. Я потерял ее, и картина только усилила боль потери.

Мама, мама. Теперь я знаю, почему ты отреклась от меня. Моя великая покойная мамочка, моя облапошенная родительница, моя дуреха.

17

Владыка не подполья, но надкрышья — несгибаемый, упорствующий, всевластный — клекочущий в смехе, угнездившийся в поднебесном висячем саду, богатый сверх безумных мечтаний любого богача, Авраам Зогойби в восемьдесят четыре года тянулся к бессмертию, длинноперстый, как утренняя заря. Всегда боявшийся безвременной смерти, он дожил до глубокой старости; Аурора умерла первая. Его здоровье улучшалось с годами. Он по-прежнему прихрамывал и испытывал трудности с дыханием, но сердце его билось сильнее, чем когда-либо после Лонавлы, взгляд стал зорче, слух острее. Он смаковал пищу, словно пробовал все впервые, и в бизнесе его нюх был безошибочен. Подтянутый, бодрый духом, крепкий физически, активный сексуально, он уже обрел свойства божества, уже высоко взмыл над людской массой и, разумеется, над утесом Закона. Не для него извилистые словопрения, установленные процедуры, бумажная волокита. Ныне, после падения Ауроры, он возжелал отвергнуть смерть как таковую. Порой, оседлав высочайшую иглу в огромной яркой подушечке

южного Бомбея, он дивился своей судьбе, переполнялся чувством, смотрел вниз на освещенное луной море и словно бы видел под его переливчатой маской разбитое тело жены посреди угрюмых крабьих перебежек, звяканья раковин и ярких ножевых рыбьих взмахов — целый буфет разобранных по сортам столовых принадлежностей, режущих на ломтики ее гибельное море. Не для меня, — решал он. — Я только начал жить.

Когда-то на южном побережье он увидел себя как часть Красоты, волшебного кольца, второй половинкой которого была своевольная юная красавица. Он страшился за эту хрупкую прелесть, столь уязвимую перед лицом земных, морских и человеческих мерзостей. Как давно это было! Две дочери и жена умерли, третья дочь отправилась к Иисусу, а старомолодой сын — в ад. Как давно блистала его красота, которая сделала его любовным заговорщиком! Как давно неосвященные обеты обрели законность благодаря силе их желания, подобно тому, как спрессованный тяжкими эрами уголь превращается в светоносный алмаз! Но она отвернулась от него, его возлюбленная, она не выполнила свою половину сделки, а он потерял себя в своей половине. Во всем, что было мирского, что было от земли и

природы вещей, искал он возмещения за утрату возвышенного, преображающего, бесконечного, чего он вкусил в любви. Теперь, когда она ушла, оставив весь мир в его руках, он кутался в его великолепие, как в золотой плащ. Назревают войны — он выйдет из них победителем. Виднеются новые берега — он возьмет их приступом. Он не повторит ее судьбу.

Ее удостоили государственных похорон. Он стоял в соборе у ее открытого гроба и обдумывал пути будущих обретений. Из трех опор жизни, какими являются Бог, семья и деньги, у него была только одна, а нуждался он как минимум в двух. Минни пришла проститься с матерью, но выглядела что-то слишком уж радостной. Благочестивые радуются смерти, — думал Авраам, — для них это врата в чертог Божьей славы. А на самом деле там пустая каморка. Бессмертие — здесь, на земле, и за деньги его не купишь. Бессмертие — в династии. Мне нужен мой блудный сын.

x x x

Обнаружив записку от Авраама Зогойби, аккуратно засунутую под мою подушку в доме Рамана Филдинга, я впервые понял, насколько возросла мощь моего отца. «Знаешь, кто такой есть твой

папаша в его небоскребе?» -спросил меня как-то Мандук прежде, чем разразиться бешеной тирадой об антииндусских роботах и всем таком прочем. Найденная под подушкой записка заставила меня задуматься о том, сколько еще всего скрыто от глаз: здесь, в святая святых подпольного мира, небрежно продемонстрировав длину своих рук, Авраам дал мне понять, что будет страшным противником в предстоящей войне миров, войне подполья с надкрышьем, священного с безбожным, Бога с Маммоной, прошлого с будущим, канавы с небом — в смертельной схватке полюсов власти, во время которой я, Надья Вадья, Бомбей и сама Индия окажемся стиснутыми и беспомощными, как пылинки меж двумя слоями краски.

«Ипподром, — гласила записка, написанная его рукой. -Паддок. Перед третьим заездом». Сорок дней прошло с тех пор, как в мое отсутствие, под гром пушечного салюта, похоронили мать. Сорок дней — и вот оно здесь, это волшебным образом доставленное и донельзя банальное послание, эта увядшая оливковая ветвь. «Не пойду, разумеется», -подумал я с предсказуемой злостью. Но столь же предсказуемо и тайком от Мандука я отправился.

На ипподроме Махалакшми дети играли в анкх мичоли (прятки), лавируя между ногами густо стоящих взрослых. Вот, думал я, кто мы друг для друга, разделенные границей поколений. Понимают ли звери джунглей, какова подлинная природа деревьев, меж которыми проходит их повседневное существование? В родительском лесу, среди его мощных стволов мы прячемся и играем; но какие деревья здоровые, а какие больные, в чьих кронах живут добрые, а в чьих злые духи — этого нам знать не дано. Не знаем мы и самой великой тайны: что когда-нибудь мы станем такими же древесными, как они сейчас. А деревья, чью листву мы поедаем, чью кору грызем, с грустью вспоминают, что раньше они были зверями, карабкались, как белки, и прыгали, как олени, пока однажды не остановились, призадумавшись, и не вросли ногами в землю, не пустили корни и не покрыли зеленью свои качающиеся головы. Они помнят это как факт; но живую реальность их фаунских лет, чувственный опыт хаотической свободы память их восстановить не в силах. Они помнят это как шелест в их собственной листве. «Я не знаю отца, — думал я у паддока перед третьим заездом. — Мы чужие друг другу. Он не узнает меня, когда увидит, и

слепо пройдет мимо».

Что-то — маленький пакет — вдруг сунули мне в руку. Кто-то торопливо прошептал: «Мне нужен твой ответ, чтобы перейти к дальнейшему». Мужчина в белом костюме и белой панаме вошел в людской лес и скрылся из виду. Дети кричали и возились у моих ног. Вот он я, готовый ли, нет ли…

Я разорвал пакет. Предмет, который там был, я видел раньше, он висел у моей УМЫ на поясе. Эти наушники когда-то украшали ее милую голову. «Вечно мял мне ленту. Выкинула его в урну». Значит, еще одна ложь; еще одна игра в прятки. Я видел, как она от меня убегала, как лавировала в людской чаще с пронзительным кроличьим визгом. Что бы я обнаружил, наткнись я на нее? Я надел наушники, удлинив их по размеру моей головы. Там была кнопка play. Не хочу играть, подумал я. Не люблю такие игры.

Я нажал кнопку. В уши мне полился мой собственный голос, напоенный ядом.

Вы знаете, что есть люди, которые утверждают, будто побывали в плену у инопланетян и подверглись там несказанным пыткам и мучительным экспериментам — лишению сна, операциям без анестезии, беспрерывному щекотанию подмы-

шек, перечным клизмам, продолжительному прослушиванию китайской оперы? Скажу вам, что, кончив слушать кассету, вставленную в «уокмен» Умы, я чувствовал себя так, словно вырвался из лап такого вот неземного чудища. Мне представилось некое подобие хамелеона, холоднокровная ящерица из космических далей, способная принимать облик человека, мужчины или женщины по своему желанию, с одной, совершенно определенной целью — творить как можно больше бед, потому что беды составляют ее главный рацион — рис, чечевицу, ее хлеб насущный. Ссора, разрыв, несчастье, катастрофа, горе — вот излюбленные кушанья в ее меню. Она явилась среди нас как сеятельница тревог, как раздувательница войны, видящая во мне (какой же дурак! какой безмозглый осел!) плодородную почву для своих чумных семян. Мир, спокойствие, радость были для нее бесплодной пустыней — ибо, не собрав зловонного своего урожая, она умерла бы с голоду. Она питалась нашими раздорами и крепла на наших неурядицах.

Даже Аурора — Аурора, которая видела правду с самого начала, — в конце концов не устояла. Без сомнения, для УМЫ тут был своего рода спортивный интерес: этой великой хищнице больше

всего хотелось поймать самую неуловимую дичь. Ее слова, что бы она ни сказала, на мою мать не подействовали бы. Зная это, она воспользовалась моими словами — моими злыми, ужасными, подсказанными похотью непристойностями. Да, она все их записала, не погнушалась; и как хитро она завлекла меня в эту ловушку, заставив меня произносить роковые фразы в полной уверенности, что это нужно ей, что это ее возбуждает! Я не оправдываю себя. Слова были мои, произнес их я. Кто поумней, прикусил бы язык. Полный любви к ней, помня о враждебности матери, я говорил сперва гневно, потом — желая утвердить верховенство половой любви над материнско-сыновней привязанностью; у меня, выросшего в доме, где разговор то и дело приправляло острое словцо, грубости спокойно слетали с языка. И я все повторял и повторял эти темные бормотанья, потому что в минуты близости она, моя возлюбленная, просила меня — о, как часто просила! -чтобы я их произносил якобы ради лечения — о коварная! о гнусно-коварная! — ее уязвленной гордости. В разгар любви ваша любимая просит у вас поддержки; нуждаясь в чем-то, она нуждается также, чтобы вы нуждались в том же самом, — разве вы ей откажете? Может, конечно,

и откажете. Я не знаю ваших секретов и не хочу их знать. Но, возможно, вы не откажете. Да, скажете вы, любимая моя, да, мне тоже это нужно, да, нужно.

Я говорил это в предвкушении любовного акта и во время его. И это тоже было частью задуманного Умой обмана, промежуточным звеном ее интриги.

Две стороны по сорок пять минут избранных отрывков нашей любви, записанных на этой злосчастной кассете с постоянно звучащим на фоне глухих толчков и шорохов отвратительным лейтмотивом. Вставить ей. Да, я хочу. Хочу, о Господи. Трахнуть мою мамашу. Трахнуть ее. Трахнуть суку безмозглую. Каждое хриплое слово — как ржавый гвоздь в разбитое сердце Ауроры.

Представив мне свой вояж ненависти паломничеством любви, тварь выбрала момент, когда Аурора и без того была глубоко потрясена смертью Майны. В тот вечер она дала моим родителям кассету, это была единственная цель ее приезда, и я могу только догадываться, каковы были их ужас и боль, могу только рисовать эту сцену в воображении: Аурора всю ночь сидит сгорбившись на фортепьянной табуретке в ее оранжевой с золотом гостиной, старый Авраам стоит у стены,

беспомощно обхватив себя руками, и в сумрачном дверном проеме — испуганные взгляды слуг, трепещущих у края картины, как пальцы.

А наутро, когда я поднялся с ее постели, Ума знала уже, что ждет меня дома, — угрюмые пепельные лица в саду и рука, указывающая на ворота: уходи, убирайся отсюда вон и не возвращайся никогда. Когда я в смятении вернулся к ней, тут она превзошла себя! Какой устроила спектакль! Но теперь я знал все до конца. Никаких сомнений в пользу подозреваемой. Ума, возлюбленная моя предательница, ты готова была вести игру до конца; готова была убить меня и наблюдать мою смерть сквозь наркотический дурман. Потом, разумеется, ты объявила бы о моем трагическом самоубийстве: «Такой тяжелой семейной ссоры этот бедный мягкосердечный человек вынести не смог. К тому же гибель сестры…» Но вмешался фарс — резкое движение, клоунское столкновение лбами, и тогда, великая актриса и азартная женщина, ты решила доиграть сцену до конца с шансами пятьдесят на пятьдесят; и вытянула плохой жребий. Даже абсолютное зло имеет свою впечатляющую сторону. Снимаю, леди, перед вами шляпу, и доброй ночи.

Опять этот кроличий визг; повис на секун-

ду в воздухе и затих. Словно какое-то древнее зловредство, неспособное вынести свет истины, рассеялось в прах… нет, не буду позволять себе подобных фантазий. Она была женщина, рожденная женщиной. Будем смотреть на нее так… Больная или дрянная? Теперь уже этот вопрос трудностей не вызывает. Отвергнув все сверхъестественные теории (гостья из космоса, визгливая вампирша-крольчиха), я также не намерен считать ее безумной. Космические ящерицы, неумирающие кровососы и психически больные избавлены от нравственного суда, а Ума такой суд заслужила. Она была инсан (человек), а вовсе не insane (сумасшедшая).

Ведь это тоже присуще нам, людям. Мы сеятели ветров, пожинатели бурь. Есть среди нас такие — не ино-, а инсанопланетяне — что жиреют на опустошении; что не могут жить без регулярной подпитки бесчинствами. Такова была и моя Ума.

Шесть лет! Шесть Аурориных, двенадцать Мавровых лет потеряно. Моя мать умерла в шестьдесят три года; я тогда выглядел на шестьдесят. Нас могли бы принять за брата и сестру. Мы могли бы стать друзьями. «Мне нужен твой ответ», — сказал отец на бегах. Да, он вправе на него рассчитывать. Это должна быть бесхитрост-

ная правда: все как есть про Уму и Аурору, про Аурору и меня, про меня и Уму Сарасвати, мою ведьму. Я должен буду выложить все и отдать себя на его суд. Как там говорил Юл Бриннер в «Десяти заповедях», одетый по фараоновской моде (довольно соблазнительная короткая юбочка)? «Так и записать. Так и сделать».

x x x

Потом была и вторая записка, засунутая мне под подушку невидимой рукой. Там были инструкции и ключ, отпиравший некую служебную дверь с тыльной стороны небоскреба Кэшонделиверии и дверь особого лифта, поднимавшего сразу в пентхаус на тридцать первом этаже. Там произошло примирение, были даны и приняты объяснения, сын припал к отцовской груди, порванные узы восстановились.

— Ох, сынок, не помолодел ты.

— И ты, папа, и ты.

Был ясный вечер, поднебесный сад и разговор, какого мы не вели до тех пор никогда.

— Мальчик мой, ничего от меня не скрывай. Я и так все знаю. У меня всюду есть глаза и уши, и мне известны твои поступки и проступки.

И прежде, чем я начал оправдываться, — его

поднятая рука, его клекочущий смешок.

— Я рад, — сказал он. — УХОДИЛ от меня мальчик, вернулся мужчина. Теперь мы можем потолковать как мужчины о мужских делах. Раньше ты любил мать сильней, чем меня. Я не виню тебя. Со мной было то же самое. Но теперь пришло время любить отца; точней сказать, пришло наше с тобой время. Я хочу попросить тебя стать со мной заодно и думаю поговорить открыто о многих тайных вещах. В моем возрасте возникает вопрос о доверии. Мне нужно выговориться, отпереть замки, раскрыть секреты. Надвигаются большие события. Этот Филдинг, кто он такой? Букашка. Самое большее — Плутон подполья, а мы знаем по рисункам Миранды в твоей детской, кто такой Плутон. Глупый пес в ошейнике. А может, не пес, а лягушка.

Пес, кстати, у него был. В особом углу парящего атриума — чучело бульдога на колесиках.

— Надо же, сохранил, — изумился я. — Это же Джавахарлал дяди Айриша.

— Сохранил на память. Иногда выгуливаю на этом вот поводке по этому вот садику.

Дальше — опасность.

Согласившись работать отныне на отца, знать то, что он знает, и помогать ему в его предпри-

ятиях, я согласился пока остаться на службе у Филдинга. И вот, переметнувшись от хозяина к отцу, я вернулся в дом хозяина. И рассказал Мандуку — ибо он был не дурак — часть правды. «Я рад положить конец семейной ссоре; но на мой выбор это не влияет». Филдинг, которого я расположил в свою пользу шестилетней безупречной службой, проглотил это; но взял меня на заметку.

Я знал, что теперь он будет за мной следить. Моя первая оплошность станет последней. Я — участок поля сражения, думал я, участок поля сражения в сволочной войне между ними.

Когда мои товарищи по команде, мои боевые соратники услышали, какая у меня случилась радость, Чхагган пожал плечами, словно говоря: «Ты никогда и не был одним из нас, богатый мальчишка. Ты не индус и не маратх. Всего лишь повар с интересной родословной и увесистым кулаком. Ты пришел к нам, чтобы потешить свою кувалду. Извращенец! Еще один психопат, искатель мордобоя, — тебе плевать было на наше дело. Теперь твой класс, твоя родня пришли, чтобы забрать тебя обратно. Надолго ты тут не задержишься. Что тебе у нас делать? Ты уже слишком стар, чтобы драться».

Но Сэмми Хазаре, Железяка, бросил на меня взгляд. Да такой, что я мигом понял, чья рука подкладывала записки мне под подушку и кто здесь человек моего отца. Христианин Сэмми, соблазненный евреем Авраамом.

Берегись, о Мавр, шепнул я себе. Близится битва, и в ней само грядущее будет поставлено на кон. Берегись, а то как бы тебе не лишиться твоей глупой башки.

x x x

Позже в своем поднебесном саду Авраам рассказал мне, как часто за эти долгие годы Аурора порывалась протянуть мне руку прощения и, отменяя свой изгоняющий жест, поманить меня домой. Но потом вспоминала мой голос, мои непроизносимые слова, которые нельзя было сделать непроизнесенными, и ожесточала свое материнское сердце. Когда я это услышал, потерянные годы начали терзать меня, не отступая ни днем, ни ночью. Во сне я изобретал машины времени, которые позволили бы мне вернуться вспять за грань ее смерти; пробудившись, я приходил в ярость оттого, что это оказывалось только сном.

После нескольких месяцев тоски и подавленно-

сти я вспомнил про портрет моей матери работы Васко Миранды и подумал, что хотя бы в такой малости я могу попробовать вернуть ее себе, — не в краткой жизни, так в долговечном искусстве. Конечно, среди ее собственных работ было множество автопортретов, но утраченная картина Миранды, скрытая под другим изображением и проданная, лучше всего, как представлялось мне, выражала судьбу матери, которую я утратил, и жены, которую утратил Авраам. Если бы мы могли обрести картину вновь! Это было бы ее новое рождение в облике молодой женщины; это была бы победа над смертью. Взволнованный, я поделился своей идеей с отцом. Он нахмурился.

— Ты про эту картину. — Однако его непримиримость за долгие годы потеряла остроту. Я увидел, как его лицо осветилось желанием. — Но она давным-давно уничтожена.

— Не уничтожена, — возразил я. — Скрыта под другой картиной. «Автопортрет в виде Боабдила, прозванного Неудачником (эль Зогойби), последнего султана Гранады, покидающего Альгамбру. Или Прощальный вздох мавра». Под этим слезливым всадником, который просится на конфетную коробку и который, как мама сказала, сделан на уровне базарной мазни. Соскоблить его — потеря

небольшая. И мы получим мамин портрет.

— Соскоблить, говоришь.

Я почувствовал, что идея надругательства над картиной Миранды, да еще над такой картиной, в которой Миранда присвоил нашу семейную легенду, нашла отклик в сердце старого Авраама, сидящего в своем логове.

— А это возможно?

— Думаю, да, — сказал я. — Есть ведь специалисты. Хочешь, я поинтересуюсь?

— Но картина принадлежит Бхаба. Думаешь, старый шельмец продаст?

— Все зависит от цены, — ответил я. И, вбивая последний гвоздь, добавил: — Какой бы он ни был шельмец, он все же не такой шельмец, как ты.

Авраам хихикнул и взял телефонную трубку.

— Зогойби, — назвался он ответившему секретарю. — Си-Пи на месте? — И несколько секунд спустя: — Эгей, Си-Пи. Чего это ты прячешься от старых приятелей?

Потом, начав переговоры, он произнес — почти пролаял -несколько фраз, в которых жесткое стаккато тона разительно противоречило употребляемым словам — мягким, завивающимся словам, полным лести и почтения. Потом внезапный обрыв, словно на полном ходу заглох

автомобильный мотор; и Авраам повесил трубку, удивленно вскинув брови.

— Украдена, — сказал он. — Несколько недель назад. Украдена из его частного дома.

x x x

Из Испании пришла весть, что легендарный (и становящийся с возрастом все более эксцентричным) художник В. Миранда, родом из Индии, ныне живущий в андалусском городке Бененхели, получил телесное повреждение при попытке исполнить диковинный трюк — изобразить взрослую слониху с исподу. Это полуголодное цирковое животное, взятое им напрокат на один день за немыслимые деньги, должно было по бетонному скату взойти на возвышение, специально сооруженное для этой цели знаменитым (и непредсказуемым в своей темпераментности) сеньором Мирандой, а затем встать на сверхпрочный стеклянный лист, под которым старый Васко расположил свой мольберт. Дабы запечатлеть это сногсшибательное событие, в Бененхели съехалось множество журналистов и телевизионщиков. Однако слониха Изабелла, хоть и была привычна ко всем видам шутовства, демонстрируемого на трех аренах разом, вдруг проявила

такую чувствительность и стыдливость, что отказалась участвовать в действе, которое иные местные комментаторы окрестили «подпольным актом» и "подбрюшным вуайеризмом [119]" и в котором, на их взгляд, ярко отразились своеволие и испорченность, эгоистический аморализм и абсолютная бесполезность искусства как такового. Итак, художник с круто загнутыми кверху усами вышел из своего палаццо. Одет он был с абсурдностью, в которой проявлялось то ли расчетливое стремление совмещать несовместимое, то ли просто его безумие: на нем были тирольские короткие брючки и вышитая рубашка, а из шляпы торчала веточка сельдерея. Изабелла, дойдя до середины ската, встала как вкопанная, и никакими усилиями ассистенты не могли сдвинуть ее с места. Художник хлопнул в ладоши:

— Слониха! Подчинись!

В ответ на это слониха, презрительно попятившись вниз по скату, наступила Васко Миранде на левую ступню. Самые консервативные из местных жителей, собравшихся поглазеть на спектакль, имели наглость зааплодировать.

После этого инцидента Васко захромал, как

119 Примечания: 119

Вуайеризм — навязчивая тяга к тайному подглядыванию за сексуально возбуждающими объектами.

в свое время Авраам, но во всех иных отношениях их пути продолжали расходиться — так, во всяком случае, должно было представляться стороннему взгляду. Провал слоновьей затеи никоим образом не остудил пыла его старческих безумств, и вскоре, благодаря уплате существенных пожертвований в фонд муниципальных школ, он получил разрешение возвести в честь Изабеллы громадный и уродливый фонтан с кубистскими слонами, струящими воду из хоботов и балансирующими в неком подобии балетного па на левой задней ноге. Фонтан был выстроен в центре площади недалеко от резиденции Васко, так называемой «малой Альгамбры», и площадь, к ярости местных старожилов, была переименована в «Площадь слонов». Собираясь в близлежащем баре, названном в честь дочери покойного диктатора «Ла Карменсита», старики, исходя ностальгическим гневом, вспоминали, что изуродованная площадь называлась раньше «Плаза де Кармен Поло» в честь супруги каудильо — в честь ее имени и во имя ее чести, оскверненной ныне этим толстокожим вторжением; во всяком случае, так единодушно утверждали негодующие патриархи. В старые дни, напоминали они друг другу, Бененхели был любимым

андалусским городком генералиссимуса, но прежние дни стерты ныне беспамятным демократическим настоящим, для которого все, что было вчера, — только мусор, от которого нужно поскорей избавиться. И, как хотите, совершенно невыносимо, что этот чудовищный слоновий фонтан презентовал им иностранец, индиец, которому в любом случае если уж так необходимо было пакостить, то следовало делать это не в Испании, а в Португалии в силу традиционной лузитанофилии лиц гоанского происхождения. Что прикажете делать с этими художниками, позорящими доброе имя Бененхели, привозящими сюда своих женщин, насаждающими здесь распущенность и чужеродные верования, — ибо хотя этот Миранда и называет себя католиком, известно ведь, что все уроженцы Востока в душе язычники?

Старая гвардия винила Васко Миранду во всех произошедших в Бененхели переменах, и если бы вы попросили этих местных жителей указать момент, когда все начало рушиться, они назвали бы идиотский день слоновьего действа, ибо этот некрасивый, но широко освещавшийся бурлескный эпизод привлек к Бененхели внимание человеческих отбросов всего света, и за несколь-

ко лет это в прошлом тихое селение, бывшее излюбленным южным местом отдыха свергнутого Вождя, превратилось в гнездо странствующих бездельников, не помнящих родства паразитов и всевозможного отребья. Сержант Сальвадор Медина, начальник гражданской гвардии Бенен-хели и ярый противник притока новых жителей, высказывал свое мнение о них любому, кто хотел его услышать, и многим из тех, кто не хотел.

— Средиземное море, которое древние называли Mare Nostrum, гибнет от грязи, — возглашал он. — Теперь скоро и земля — Terra Nostra — будет вся загажена.

Васко Миранда, желая задобрить начальника гвардии, дважды посылал ему в качестве рождественских подарков деньги и напитки, но Медина был непоколебим. Он лично приносил купюры и выпивку обратно к дверям Васко и однажды заявил ему:

— Мужчины и женщины, которые покидают родину, — это не люди в полном смысле слова. То ли чего-то не хватает в их душах, то ли что-то лишнее туда проникло, дьявольское семя какое-то.

После этого оскорбления Васко Миранда укрылся за высокими стенами своей затейливой

крепости и зажил жизнью затворника. Его никогда больше не видели на улицах Бененхели. Те, кого он нанимал в услужение (в то время многие молодые мужчины и женщины мигрировали в южную Испанию, тоже затронутую безработицей, из экономически неблагополучных областей Ламанчи и Эстремадуры, желая получить работу в ресторанах, в отелях или в домах в качестве прислуги; поэтому труд такого рода был в Бененхели столь же легкодоступен, как в Бомбее), говорили о некоторых устрашающих странностях его поведения: периоды гробового молчания и отрешенности сменялись у него припадками болтовни на невразумительные, иной раз даже совсем бредовые, темы и ошеломляющими откровениями о самых интимных подробностях своей весьма пестрой жизни. У него бывали грандиозные запои и приступы черной меланхолии, когда он горько сетовал на жесточайшие обстоятельства жизни, особенно упирая на свою любовь к некой Ауроре Зогойби и на свой страх перед «потерянной иголкой», которая якобы неостановимо продвигается к его сердцу. Однако он щедро и аккуратно платил, поэтому слуги от него не уходили.

В конечном счете жизнь Васко, может быть,

не так уж сильно отличалась от жизни Авраама. После смерти Ауроры Зогойби оба они стали затворниками: Авраам — в своей высокой башне, Васко — в своей; оба они пытались заглушить боль утраты новой деятельностью, новыми затеями, сколь бы дурно от них ни пахло. И оба они, как мне предстояло узнать, считали, что видели ее призрак.

x x x

— Она тут появляется. Я ее видел.

Авраам, сидя в своем поднебесном саду с чучелом собаки, признался в том, что его посещают видения, тем самым впервые в жизни, после долгих лет крайнего скептицизма в этом вопросе, позволив словам о жизни после смерти слететь со своего безбожного языка.

— Не позволяет мне подойти; покажется и скроется за деревьями.

Призраки, как дети, любят играть в прятки.

— Она не успокоилась. Я знаю — не успокоилась. Что мне сделать, чтобы она обрела покой?

Я-то видел, что не успокоился сам Авраам, что он не может привыкнуть к мысли о ее смерти.

— Может быть, ее работы должны получить пристанище, — предположил он, после че-

го был составлен грандиозный юридический документ о «Наследии Зогойби», согласно которому все произведения Ауроры, являвшиеся ее собственностью, — то есть сотни и сотни вещей! — безвозмездно передавались государству при условии, что в Бомбее будет выстроен музей, где все это должным образом будет храниться и выставляться. Однако после побоищ в Мируте, после индуистско-мусульманских столкновений в Олд-Дели и других местах искусство не было предметом первостепенного внимания правительства, и коллекция, за исключением нескольких шедевров, выставленных в Национальной галерее в Дели, томилась без движения. Контролируемые Мандуком городские власти Бомбея вовсе не жаждали выделять деньги, которые отказалась предоставить казна центрального правительства.

— Тогда к чертям всех политиканов! — возмутился Авраам. — Помогай самому себе — вот наилучшая политика из всех.

Он нашел другие источники финансирования; в проект согласились вложить деньги стремительно идущий в гору банк «Хазана» и биржевой гигант В. В. Нанди, чьи набеги на мировые валютные рынки по масштабу приближались к

соросовским и становились легендарными, тем более что осуществлялись они из Третьего мира.

— Крокодил Нанди становится героем постколониальной эпохи для нашей молодежи, — сказал мне Авраам, хихикая над превратностями судьбы. — Он объединил сразу два лозунга: «Империя наносит ответный удар» и «Обогащайтесь».

Нашли первоклассное здание — один из немногих сохранившихся старинных парсских особняков на Камбалла-хилл (— Давно построен? — Давно. В старые времена.) — и хранителем музея была назначена Зинат Вакиль, блестящая молодая женщина-искусствовед и поклонница творчества Ауроры, уже выпустившая в свет весьма солидное исследование могольских тканей. Доктор Вакиль тут же взялась за составление полного каталога и одновременно начала работу над критической монографией «Остранение страны: диалогика эклектизма и конфликтность аутентичности у А. З.», в которой впервые указала на истинное, центральное место в ее творчестве цикла «мавров», включая ранее никем не виденные поздние работы; этой книгой она многое сделала для того, чтобы Аурора заняла свое место в рядах бессмертных.

Галерея «Наследие Зогойби» открылась для

публики спустя всего три года после трагической кончины Ауроры; само собой, последовали кое-какие неизбежные, хоть и недолгие, споры, например, по поводу ранних «мавров», иным показавшихся инцестуальными, — этих «картин-пантомим», которые она с такой легкостью написала много лет назад. Но высоко-высоко в небоскребе Кэшонделивери по-прежнему разгуливал ее призрак.

Теперь Авраам начал высказываться в том смысле, что ее смерть произошла отнюдь не в результате несчастного случая, как решили все. Промокая платком слезящийся глаз, он однажды сказал нетвердым голосом, что те, кто погиб из-за подлости людской, не успокаиваются прежде, чем сведут счеты. Авраам все глубже и глубже увязал в трясине суеверий и явно был не в состоянии примириться со смертью Ауроры. В обычных обстоятельствах я был бы потрясен его капитуляцией перед тем, что он неизменно называл шаманством; но меня тоже крепко держала в своих объятиях навязчивая идея. Моя мать умерла — и все же мне нужно было преодолеть разрыв. Если она была мертва окончательно, необратимо, то между нами не могло быть примирения — только эта грызущая, властная тоска, эта

неисцелимая рана. Поэтому я не противоречил Аврааму, когда он распространялся о призраках в его висячих садах. В глубине души я даже надеялся -да, да! — что вдруг услышу позвякиванье ее ножных браслетов с бубенчиками и шелест платья где-то за кустом. Или, еще лучше, что вернется мать моих излюбленных времен, с пятнами краски на одежде и кистями, торчащими из волос, небрежно собранных в высокий пучок.

И даже когда Авраам заявил, что попросил Дома Минто возобновить частное расследование ее смертельного падения — да, не кого иного, как Минто, слепого, беззубого, катаемого в кресле на колесиках, глухого и здравствующего почти уже на сотом году жизни только благодаря диализу, постоянным переливаниям крови и своему ненасытному, неуменьшающемуся любопытству, которое вознесло его на вершину профессиональной лестницы! — даже тогда я ничего ему не возразил. Я подумал: пусть старик делает, что ему нужно для успокоения своей растревоженной души. К тому же, должен сказать, не так уж просто было перечить Аврааму Зогойби, этому безжалостному скелету. Чем большим доверием он ко мне проникался, чем шире открывал передо мной свои банковские книжки, свою тайную

бухгалтерию и свое сердце, тем более глубокий страх я испытывал.

— Филдинг, кто же еще, — выкрикивал он свои подозрения Дому Минто в саду, созданном архитектором Пеи. — Моди побоку, у этого кишка тонка. Разберитесь с Филдингом. Мой Мавр вам окажет любую помощь, какая потребуется.

Мне становилось все более страшно. Если Раман Филдинг — не важно, виновен он или нет — заподозрит, что я шпионю за ним с тем, чтобы собрать данные для обвинения в убийстве, то мне несдобровать. Тем не менее я не мог отказать Аврааму, моему вновь обретенному отцу. Нервничая, я не удержался и в конце концов задал ему бестактный вопрос: с какой стати Мандук?.. Что у него за мотив, что за обида была?..

— Малыш хочет знать, почему я эту поганую лягушку подозреваю, — проревел Авраам Зогойби между взрывами жуткого хохота; старый немощный Минто в приливе веселья хлопнул себя по ляжке. — Может, он думает, его мамаша была святая, один только скверный папаша 6мл заблудшей овцой. А она ведь мало какие штаны оставляла без внимания, верно говорю? Только вот внимание ее обычно недолго длилось. Пнуть лягушку — дело опасное: во всем аду нет ярости

подобной [120]. Что и требовалось, к чертям, доказать.

Два жутко хохочущих старика, обвинения в супружеских изменах и убийстве, бродящий призрак — и я. Я барахтался, не чувствуя дна под ногами. Но бежать было некуда, прятаться было негде. Надо было делать дело — и точка.

— Не беспокойтесь, большой отец, — прошептал Минто, глядя сквозь синие очки; голос у него был настолько же мягкий, насколько у Авраама — зычный. — Считайте, что этот Филдинг уже четвертован, выпотрошен и повешен.

x x x

Дети воображают себе отцов, переиначивая их сообразно своим детским нуждам. Реальный, подлинный отец — бремя, вынести которое способны лишь немногие сыновья.

Согласно расхожему мнению тех лет, банды (главным образом мусульманские), которые контролировали организованную преступность города и каждая из которых управлялась своим дада, или боссом, были ослаблены их традици-

---

120 Примечания: 120

«Во всем аду нет ярости подобной» — перефразировка хрестоматийной цитаты из трагедии «Невеста в трауре» английского драматурга Уильяма Конгрива (1670-1729).

онной неспособностью образовать более или менее постоянный синдикат или объединенный фронт. Однако мой личный опыт службы в ОМ — службы, во время которой я работал в беднейших кварталах города, вербуя друзей и заручаясь их поддержкой, — говорил иное. Я начал видеть намеки и ощущать косвенные указания на нечто скрытое и настолько пугающее, что никто не осмеливался говорить об этом вслух, — на какой-то тайный слой под видимой поверхностью. Я сказал Мандуку, что банды, похоже, все-таки объединились и что, может быть, у них даже есть теперь один местный capo di tutti capi [121] мафиозного толка, взявший в свои руки весь городской рэкет, — но он безжалостно меня высмеял.

— Ты знай вышибай зубы, Кувалда, — издевался он. — Что глубоко лежит, оставь глубоким умам. Единство требует дисциплины, а у нас на этот товар монополия. Эти пердуны будут выяснять друг с другом отношения до скончания времен.

Но теперь своими собственными ушами я услышал, как Дом Минто назвал моего отца самым большим дада из всех. Могамбо! И я сразу понял, что это правда. Авраам был прирожден-

---

121 Примечания: 121
Главарь всех главарей (итал.).

ный руководитель, мастер переговоров, делец из дельцов. Он играл по высочайшим ставкам; молодым человеком готов был поставить на карту даже своего нерожденного сына. Да, верховное командование действительно существовало: мусульманские банды объединил кочинский еврей. Истина почти всегда исключительна, причудлива, невероятна, и она почти никогда не нормальна, почти никогда не выводится из холодных расчетов. Люди, в конце концов, заключают такие союзы, какие им нужны. Они готовы следовать за вождями, которые могут вести их в желаемом направлении. Мне пришло в голову, что верховенство моего отца над Резаным и его сподвижниками означает мрачную, полную иронического смысла победу секуляризма, глубоко укорененного в индийской почве. Сама природа этого цинично-корыстного межобщинного альянса опровергает выдвинутую Мандуком идею теократии, согласно которой одна определенная ветвь индуизма должна главенствовать над всеми прочими народами и общинами Индии, покорно склоняющими побитые головы.

Васко сказал это еще много лет назад: коррупция — единственная сила, которая может противостоять фанатизму. То, что в его устах

прозвучало как поношения пьяницы, Авраам Зогойби превратил в живую реальность, в союз лачуги и небоскреба, в безбожную бандитскую армию, способную принять бой и одолеть любую силу, какую выставит божья команда.

Возможно.

Раман Филдинг уже совершил грубую ошибку, недооценив противника. Не повторит ли ее Авраам Зогойби? Были кое-какие настораживающие признаки. «Букашка, — называл он Мандука. — Глупый пес в ошейнике».

Что если каждая из сторон пойдет на другую войной, думая, что врага легко будет победить? И что если каждая из сторон просчитается? Что тогда?

Армагеддон?

x x x

В результате расследования дела о наркотиках и фирме «Бэби Софто» с Авраама Зогойби — как он во время одного из наших уединенных «брифингов» сам сказал мне с широкой бесстыдной улыбкой — правоохранительными органами были сняты все обвинения.

— Чист, как младенец, — похвалялся он. — Совершенно непричастен. Если враги хотят меня

свалить, им потребуется гораздо больше усилий.

В том, что экспортные операции компании «Софто» по продаже талька использовались как прикрытие для куда более выгодных операций по переправке за границу белого порошка иного рода, не было никаких сомнений; однако, несмотря на все старания следователей из отдела по борьбе с торговлей наркотиками, доказать, что Авраам знал о какой бы то ни было незаконной деятельности, не представлялось возможным. Некоторые второстепенные сотрудники компании (из отделов упаковки и транспортировки) действительно, как выяснилось, получали деньги от наркосиндиката, но на каком-то этапе расследование просто-напросто уперлось в глухую стену. Авраам хорошо позаботился о семьях посаженных за решетку людей (он часто говорил: «С какой стати за отцовские делишки должны расплачиваться детишки?»), и в конце концов дело было закрыто без того, чтобы пострадал кто-либо из китов, которых многие (и в первую очередь — контролируемая филдинговской «Осью Мумбаи» городская корпорация) заранее объявили преступниками. Всех поразило то обстоятельство, что наркобарон по кличке Резаный остался на свободе. Предположили, что он нашел убежище

где-то в районе Персидского залива. Но Авраам Зогойби сообщил мне нечто другое.

— Дураки бы мы были, если б не могли устроиться со всяким там въездом-выездом! — кричал он. — Разумеется, наши ребята пересекают границу в любом направлении, когда им это нужно. И сотрудники отдела по борьбе с торговлей наркотиками — тоже люди. На зарплату им трудно прожить. Ну как тебе объяснить? Богатые люди должны быть щедрыми. Филантропия — наш долг.

Noblesse oblige [122].

Победа Авраама в деле о «Бэби Софто» была ударом для Филдинга, который постоянно понуждал меня выкачивать из отца сведения о деятельности, связанной с наркотиками. Но выкачивать не было необходимости. Авраам, который жаждал открыть мне свое сердце, сказал прямо, что победа далась не без потерь, которые будут чувствоваться еще долго. Прежний маршрут переправки «талька» был перекрыт, поэтому под пристальным наблюдением полицейских следователей пришлось срочно разрабатывать новую, более рискованную схему.

---

122 Примечания: 122
Положение обязывает (фр.).

— Первоначальные вложения были просто устрашающими, — признался он. — Но что делать? Бизнесмен должен держать слово, а у меня были обязательства.

Резаный и его люди работали день и ночь, прокладывая новый маршрут, главный отрезок которого проходил по пыльным просторам Качского Ранна [123] (что вызвало необходимость подкупа чиновников не только в штате Гуджарат, но и в Махараштре). Небольшие лодки должны были подвозить «тальк» к ожидающим их торговым судам. Новый путь был длинней и опасней старого.

— Это все так, временно, — сказал Авраам. — Мы теперь поищем друзей среди чиновников, ведающих авиаперевозками.

Я поднимался вечерами в его поднебесный стеклянный рай, и он рассказывал мне свои змеиные истории. В каком-то смысле они напоминали мне волшебные сказки: гоблинские саги нынешнего дня, повествование о делах, выходящих за всякие рамки, ведшееся обыденным, банальным, деловым тоном дежурного складского управляющего. (Так вот что имел в виду мой

123 Примечания: 123

Качский Ранн, Большой и Малый — солончаки на западе Индии и в Пакистане.

свирепый отец, говоря, что завалит себя работой, чтобы пережить утрату! Вот каким способом он утихомиривал боль!)… Оружие играло во всем этом немалую роль, хотя зафиксированные в документах виды деятельности его громадной корпорации ничего подобного не предусматривали. Знаменитая скандинавская фирма, торгующая оружием, вела переговоры о поставке в Индию ряда наименований своей приличной по качеству, элегантной по дизайну и губительной по действию на людей продукции. Денежные суммы, о которых шла речь, были слишком велики, чтобы иметь какой-либо смысл, и как обычно бывает с такими Каракорумами капитала, некоторые периферические денежные глыбы порой отрывались от основного массива и начинали катиться вниз по склону горы. Необходимо было аккуратно распорядиться этими кувыркающимися глыбами с приличествующей случаю выгодой для участников переговоров. А участвовали в них люди чрезвычайно рафинированные, чья деликатность категорически воспрещала им лично заниматься уборкой этого булыжного мусора и переправкой его на свои банковские счета. Лаже тень подозрения в бесчестности не могла коснуться этих высоких имен! — Так что, — ска-

зал Авраам с усмешкой, — всю грязную работу делаем мы, и многие камешки оседают в наших карманах.

Оказалось, что Авраамова корпорация «Сиодикорп» — под таким названием ее теперь повсеместно знали — была главным акционером Международного банка «Хазана», который к концу восьмидесятых стал первым финансовым учреждением Третьего мира, способным потягаться с крупнейшими западными банками по части активов и деловых операций. Авраам с блеском вдохнул новую жизнь в достаточно чахлое банковское дело, которое перешло к нему от братьев Кэшонделивери, и, благодаря связи с МБХ, превратил его в одно из чудес Бомбея.

— Старые дни, когда для инвалидных экономик приходилось налаживать систему обхода доллара, ушли в прошлое, -заявил мой отец. — Хватит, наигрались в сентиментальную кооперацию «Юг-Юг», хватит этой болтовни. Подавайте мне больших боссов! Доллар, немецкая марка, швейцарский франк, иена — милости просим! Мы теперь их побьем на их же собственном поле.

Однако, при всей нашей новообретенной откровенности, прошло несколько лет, прежде чем Авраам Зогойби признал, что под этим сияющим

монетаристским фасадом скрывается слой секретной деятельности — все тот же неизбежный тайный мир, который находился, ожидая разоблачения, подо всем, что я когда-либо знал. — И если реальность нашего бытия такова, что за иллюзией-майей нашего незнания скрывается столь много тайных правд, то почему, в конце концов, не рай и не ад? Почему не Бог и не дьявол со всеми их священно-проклятыми причиндалами? Если так много разоблачений, то почему не Откровение? — Прошу вас, не надо. Сейчас не время рассуждать на теологические темы. На повестке дня — терроризм и секретные ядерные разработки.

Среди крупнейших клиентов МБХ было некоторое количество частных лиц и организаций, чьи имена и названия фигурировали в самых черных полицейских списках всех стран свободного мира; таинственным образом эти лица имели в свободном мире полную свободу — переезжали с места на место, садились на самолеты, посещали отделения банков и пользовались медицинским обслуживанием в любой стране по своему выбору, ни капли не боясь ареста или какого-либо давления. Их теневые счета велись в особых компьютерных файлах, огражденных

от несанкционированного доступа паролями, программными «бомбами» и прочими впечатляющими защитными средствами; теоретически до этих файлов было совершенно невозможно добраться с главного компьютера. Но эти меры предосторожности выглядели детской забавой, а сомнительные клиенты — сущими ангелами в сравнении со средствами защиты и составом участников самого грандиозного предприятия МБХ, а именно — финансирования тайного и широкомасштабного производства «для некоторых богатых нефтью стран и их идеологических союзников» ядерного оружия. Воистину рука Авраама стала неимоверно длинной. Если где-нибудь появлялся запас должным образом обогащенного урана или плутония, банк «Хазана» отщипывал себе часть; если вдруг случайно в одном из периферийных государств, возникших после недавнего распада Советского Союза, на рынке оказывалась ракетная система доставки дальнего радиуса действия, деньги МБХ приходили в движение и незримыми извилистыми путями, проползая под коврами, проникая сквозь стены, попадали в конце концов в руки продавца. Так что теперь Авраамов невидимый город, возведенный невидимыми людьми для невидимых дел,

приближался к своему апофеозу. В нем создавалась невидимая бомба.

В мае 1991 года более чем видимый взрыв в Тамилнаде причислил мистера Раджива Ганди к списку членов его семьи, павших от рук убийц, и Авраам Зогойби (чьи решения были иногда столь непостижимо темны, что казалось, он сам знает, что сходит с ума) выбрал именно этот ужасный день для «брифинга», на котором он раскрыл мне факт существования тайного термоядерного проекта. В этот миг что-то во мне переменилось. Это была непроизвольная перемена, не связанная с усилием воли или сознательным выбором, произошедшая сама собой глубоко в недрах моего "я". Я внимательно слушал излагаемые им подробности (глобальная проблема, заметил он, с которой проект столкнулся в настоящее время, заключается в необходимости приобретения чрезвычайно быстродействующего суперкомпьютера, способного выполнять сложные расчеты доставки боеголовок, без чего ракеты не могут попадать точно в цель; во всем мире существует не более двух дюжин таких компьютеров системы VAX с плавающей десятичной точкой, работающих со скоростью примерно семьдесят шесть миллионов операций в секунду, и двадцать из них находятся

в Соединенных Штатах, то есть остаются всего три или четыре, один из которых — возможно, тот, который, по имеющимся сведениям, принадлежит японцам, — должен быть либо приобретен подставной фирмой, столь неуязвимой, что она обойдет все немыслимо сложные препятствия, мешающие такой сделке, либо украден, после чего сделан невидимым и контрабандным путем доставлен пользователю по невероятно сложной цепочке, включающей коррумпированных акцизных чиновников, фальшивые транспортные накладные и одураченных инспекторов), но, слушая его, я внимал также внутреннему голосу, выражающему абсолютный, категорический отказ. Как я отказался принять смерть, уготованную мне Умой Сарасвати, так теперь я увидел, что уже шагнул за границу, очерчивающую требования семейной верности. Другая верность, к моему удивлению, возобладала во мне. К удивлению, потому что, в конце концов, я ведь вырос в «Элефанте», обитатели которой намеренно обрубили все общинные связи; в стране, все жители которой инстинктивно блюдут двойную верность — своей земле и своей религии, — я был воспитан как человек без веры и человек ниоткуда — и, можно сказать, гордился этим. Поэтому,

обнаружив, что намерен воспротивиться моему страшному, неумолимому отцу, я ощутил острое изумление.

— ...И если нас засекут на этой контрабанде, — говорил он, — то все программы помощи, привилегии благоприятствуемой нации и прочие межправительственные экономические договоренности полетят к чертовой матери.

Я сделал вдох и сказал:

— Я думаю, ты знаешь, кого именно и где именно эта бомба должна разнести на гораздо большее число кусочков, чем несчастного Раджива?

Лицо Авраама стало каменным. Он был лед и огонь одновременно. Он был Господом в своем раю, и я, его любимое творение, только что прикрылся запретным фиговым листком стыда.

— Я бизнесмен, — изрек он. — Беру то, что есть. Иегова. Я есмь Сущий.

— Как ни странно, — сказал я этому теневому Иегове, этому Всенижнему, этой черной дыре в небесах, моему папаше, — прости меня, но я вдруг почувствовал, что я еврей.

x x x

В то время я уже не работал на Мандука; так что Чхагган, вероятно, был прав — кровь в моих

жилах оказалась для меня важнее, чем кровь, которую мы пролили вместе. Не я — Филдинг выразил мнение (надо сказать, в достаточно благосклонной форме), что нам пора расставаться. Он, скорее всего, понимал, что я не могу быть его шпионом в лагере моего отца, и, вполне возможно, чувствовал, что сведения могут течь через меня в противоположном направлении. К этому я должен добавить, что кабинетная работа была для меня не особенно желанна; ибо, хотя тяге к аккуратности моих юношеских лет, моему стремлению быть как все вполне соответствовала скромная механическая работа, которую мне надлежало исполнять, мое тайное "я", моя подлинная, дикая, аморальная натура яростно бунтовала против повседневной рутины. Что еще делать с одряхлевшим громилой, с состарившимся кулачным бойцом, как не отправить его в отставку?

— Шел бы ты на покой, — сказал Филдинг, потрепав меня рукой по затылку. — Заслужил, заслужил.

Я задумался о том, означает ли это, что он решил оставить меня в живых. Или же, напротив, в самом ближайшем будущем нож Железяки или зубы Чхаггана Одним Кусом Пять пройдутся по

моему горлу. Я распрощался со всеми и ушел. Убийц ко мне не подослали. Тогда — нет. Но ощущение, что за мной следят, не покидало меня.

Надо сказать, что в 1991 году стратегические планы Мандука уже были в большей степени связаны с широким религиозно-националистическим движением, чем с первоначальной, привязанной к конкретному месту платформой «Бомбей для маратхов», которая привела его к власти. Филдинг тоже вступал в союзы — с националистическими партиями сходной ориентации, с полувоенными организациями, со всей «буквенной лапшой» авторитарных аббревиатур: БДП, РСС, ВХП [124]… На этой новой стадии деятельности ОМ я уже был им не нужен. Зинат Вакиль из «Наследия Зогойби» (где я с некоторых пор проводил немалую часть своего времени, странствуя по сотворенным матерью фантастическим мирам, воссоздавая себя на пути приключений, которые вообразила для меня Аурора), умница Зини, державшаяся левых взглядов и не знавшая о моих связях с Мандуком, относилась к риторике по по-

124 Примечания: 124

Бхаратия Джаната Парти, Раштрия Сваямсевак Сангх, Вишва Хинду Паришад — крупные организации националистического направления. Лидер БДП Атал Бихари Ваджпайи стал в 1998 г. премьер-министром Индии.

воду «Рам раджья» с глубочайшим презрением.

— Уши вянут от этой ахинеи, — негодовала она. — Во-первых: вот религия, где люди поклоняются тысяче и одному богу, и вдруг они одного-единственного бога назначают главным боссом. А как быть, к примеру, с Калькуттой, где Раму не шибко почитают? И храмы Шивы теперь, выходит, не годятся для молитвы? Чушь собачья. Во-вторых: в индуизме отнюдь не одна, а много священных книг, и вдруг остается Рамаяна, и только Рамаяна. А куда делась Бхагавадгита? Куда делись все пураны? Как они смеют все искажать? Те еще шуточки. И в-третьих: индуизм не требует от людей совместной молитвы, но как без нее эти типы смогут собирать толпы, которые им позарез нужны? И вот изобретается массовая пуджа и объявляется, что это единственный способ проявить подлинное, первосортное религиозное чувство. Один воинственный бог, одна книга и владычество толпы — вот во что они превращают индуистскую культуру с ее многоголовой красотой, с ее миролюбием.

— Вы марксистка, Зини, — заметил я. — Вечная песня всей вашей братии: Истинное Учение и его искажения в реальных условиях. Вы думаете, индусы, сикхи и мусульмане никогда раньше не

резали друг друга?

— Я постмарксистка, — поправила она меня. — И что бы ни было верно или неверно в социалистических учениях, нынешнее их политиканство — воистину нечто новенькое.

Раман Филдинг нашел немало неожиданных союзников. Помимо «буквенной лапши», были еще богатей с Малабар-хилла, разглагольствующие на своих званых обедах о том, что «меньшинствам надо преподать хороший урок» и «кое-кого надо поставить на место». Правда, это были люди, которых он специально обхаживал; неким даром небес, однако, выглядело то, что на одном лишь вопросе о противозачаточных средствах он заработал поддержку мусульман и, что еще более удивительно, монахинь из «Марии Благодатной». Индуистов, мусульман и католиков, стоявших на грани жестокого межобщинного конфликта, мгновенно объединила общая ненависть к презервативу, колпачку и пилюле. Моя сестрица Минни — сестра Флореас — была, само собой, одним из активнейших борцов против последней триады.

После провала попытки ввести насильственное ограничение рождаемости в середине семидесятых планирование семьи постоянно было в

Индии болезненным вопросом. Недавно, однако, возникло новое движение за маленькие семьи под лозунгом: «Хам до хамаре до», то есть: «Нас двое, и у нас двое». Пользуясь этим, Филдинг начал свою кампанию запугивания. Агитаторы ОМ шли в трущобы и многоквартирные дома, где жили индусы, и говорили им, что мусульмане отказываются брать на себя подобные обязательства.

«Если нас двое, и у нас двое, а их двое, и у них десять раз по двое, то скоро их станет больше, чем нас, и они сбросят нас в море!» Идею о том, что три четверти миллиарда индусов могут быть сметены детьми ста миллионов мусульман, парадоксальным образом подкрепляли выступления многих мусульманских имамов и политических лидеров, которые намеренно преувеличивали численность индийских мусульман с тем, чтобы повысить собственную значимость и вселить в общину уверенность в своих силах; эти же деятели постоянно указывали, что мусульмане — гораздо лучшие бойцы, чем индусы. «Пусть будет хотя бы шесть индусов на одного нашего! — кричали они на митингах. — Хоть чуть-чуть будет похоже на драку. Хоть немного повоюем прежде, чем трусы-индусы побегут наутек». Теперь в этой

сюрреалистической числовой игре произошел новый поворот. Католические монахини принялись маршировать по трущобам центрального Бомбея и вонючим переулкам Дхарави, громко протестуя против ограничения рождаемости. Никто не трудился упорнее, никто не спорил яростнее, чем наша милая сестра Флореас; но в какой-то момент ее убрали с передовой линии, потому что другая монахиня случайно услышала, как она объясняет объятым ужасом жителям трущоб, что у Господа есть свои способы контроля над численностью Его стада и что, согласно ее видениям, в ближайшем будущем многие из ее слушателей, так или иначе, умрут из-за надвигающихся мятежей и болезней. «Я и сама скоро отправлюсь на небо, — говорила она сладким голосом. — О, как я предвкушаю этот день».

x x x

Я стал семидесятилетним стариком в первый день 1992 года, в возрасте тридцати пяти лет. Библейский возраст -всегда зловещий рубеж, тем более в стране, где ожидаемая продолжительность жизни заметно ниже срока, отпущенного Ветхим Заветом; и для вашего покорного слуги, которого каждые шесть месяцев неизменно ста-

рили на целый год, этот момент заключал в себе особую, дополнительную пикантность. Как легко человеческий разум «нормализует» ненормальное, с какой быстротой немыслимое становится не только мыслимым, но обыденным, не стоящим того, чтобы о нем помыслить! — Так мое «заболевание», едва оно было признано неизлечимым, неизбежным и еще всевозможными «не», которые я не в состоянии теперь припомнить, быстро начало превращаться в обстоятельство столь скучное, что я даже не мог заставить себя надолго задержаться на нем мысленно. Кошмар моей уполовиненной жизни стал всего-навсего Фактом, а что можно сказать о Факте помимо того, что он имеет место?

— Ибо можно ли спорить с Фактом, сэр? — Никоим образом!

— Можно ли растягивать его, ужимать его, осуждать его, просить у него прощения? — Нет; поступать так — чистейшей воды глупость. — Как же тогда нам подступиться к столь непреклонной, столь абсолютной Данности? — Сэр, ей дела нет до того, подступаетесь вы к ней или оставляете ее в покое; следовательно, лучше принять ее как она есть и жить дальше.

— А разве Факты никогда не изменяются? Разве

старые Факты никогда не замещаются новыми наподобие лампочек, наподобие туфель, и кораблей, и всех прочих вещей под солнцем?

— Послушайте: если такое происходит, это означает одно — что это попросту никакие не Факты, что это только Позы, Видимости и Подделки. Подлинный Факт — не горящая Свеча, вяло истаивающая в лужицу воска; и не Электрическая Лампочка с хрупкой недолговечной нитью, столь же короткоживущая, как летящий на нее Мотылек. И не из банальной обувной кожи он сделан, и течи в нем не будет. Он светит! Он шагает! Он плывет! — Да! -

На веки вечные.

После моего тридцать пятого — или семидесятого — дня рождения я, так или иначе, не мог отмахиваться от великого Факта моей жизни с помощью таких патентованных словечек, как кисмет, карма или судьба. Он начал воздействовать на меня посредством болезней и госпитализаций, которыми я не буду занимать внимание брезгливого и нетерпеливого читателя; скажу лишь, что они поставили меня лицом к лицу с реальностью, от которой я столько лет отводил глаза. Мне недолго осталось жить. Эта простая истина горела, когда я ложился спать,

на изнанках моих век, написанная пламенными буквами; о ней первой я вспоминал, когда просыпался. До этого дня тел дожил. Будешь ли ты здесь завтра? Увы, мой брезгливый и нетерпеливый друг: сколь позорно, сколь негероично это ни выглядит, я начал жить, ежеминутно ощущая страх смерти. Это была зубная боль, от которой не помогали ни успокаивающее масло, ни гвоздика.

Одним из последствий моего романа с медициной стала физическая невозможность совершить то, на что я, впрочем, давно потерял всякую надежду, — а именно, стать отцом и тем самым облегчить, если не сбросить вовсе, бремя моего сыновства. Это фиаско так разозлило Авраама Зогойби, который на девяностом году жизни был здоровей, чем когда-либо, что он не счел нужным прикрыть раздражение даже тончайшим слоем сочувствия или заботы.

— Только это мне и было от тебя нужно, — брызжа слюной, проговорил он у моей постели в больнице «Брич-кенди». — Теперь выясняется, что я не получу ни шиша.

Наши отношения стали холодней после того, как я отказался участвовать в тайных операциях банка «Хазана», особенно в тех, что были связаны с производством так называемой «исламской

бомбы».

— Тебе только ермолки не хватает, — издевался надо мной отец. — И филактерии [125]. Может, нужны уроки иврита и билет до Иерусалима в один конец? Только мигни. Кстати, к твоему сведению, многие наши кочинские евреи жалуются на дискриминацию на твоей разлюбезной заморской родине.

Авраам, предатель своего народа, повторял теперь в пугающем, грандиозном масштабе свой давний проступок, когда он повернулся спиной к матери и общине и кинулся из еврейского квартала в католические объятия Ауроры. Авраам, черная дыра Бомбея. Я видел его в оболочке тьмы, видел некой коллапсирующей звездой, тем сильней притягивавшей к себе мрак, чем больше становилась ее масса. Ни один луч света не мог вырваться из его силового поля. Он давно уже начал внушать мне опасения; теперь эти опасения сменились ужасом, соединенным с жалостью, — смесь, описать которую я не в силах.

Повторю еще раз: я не ангел. Я держался в

---

125 Примечания: 125

Филактерии (тфилн, тефиллин; от др.-евр. «тефила» — молитва) — переписанные от руки на пергаменте стихи из Торы, находящиеся в двух ящичках, которые прикрепляются кожаными ремнями на лбу и левом предплечье молящегося иудея (прим. ред.).

стороне от дел МБХ, но империя Авраама была велика и на девять десятых не доступна постороннему глазу. Я не сидел без работы. Я тоже стал обитателем верхних этажей небоскреба Кэшон-деливери и испытывал немалое беззаконное наслаждение от того факта, что я — сын своего отца. Но через некоторое время после того, как проявились мои телесные немощи, стало ясно, что Авраам в поисках опоры обращает взгляды к другим лицам, и в особенности — к Адаму Браганзе, не по годам шустрому восемнадцатилетнему юноше с ушами то ли как у Бэби Дамбо [126], то ли как тарелки спутникового телевидения «Стар-тиви», к Адаму Браганзе, так быстро взлетевшему в табели о рангах «Сиодикорп», что странно, как он не погиб от кессонной болезни.

«Мистер Адам», как я мало-помалу понял из полуночных бесед с отцом, который продолжал исповедоваться мне в многоразличных грехах своей долгой жизни, был молодой человек с удивительно пестрым прошлым. По всей видимости, он был внебрачным сыном бомбейского хулигана и бродячей фокусницы из Шадипура, штат Уттар-Прадеш, и на некоторое время его

126 Примечания: 126

Бэби Дамбо — слоненок с большими ушами из диснеевского мультфильма.

неофициально усыновил один житель Бомбея, который числится пропавшим без вести и считается погибшим после своего таинственного исчезновения четырнадцать лет назад, во время чрезвычайного положения 1974-1977 годов, когда он, как утверждали, стал жертвой насилия со стороны карательных органов. С тех пор мальчик воспитывался в розовом небоскребе на Брич-кенди у двух пожилых дам, христианок из Гоа, которые разбогатели на волне успеха своих популярных маринадов «браганза». Он взял у престарелых дам фамилию Браганза, а когда они отошли в мир иной, завладел и фабрикой. Вскоре после этого, в свои семнадцать лет обладая такой элегантностью в одежде и гладкостью речи, какие не снились и вдвое старшим сотрудникам фирм, он явился в «Сиодикорп» в поисках капитала для расширения производства, рассчитывая вывести легендарные маринады и чатни [127] на мировой рынок под более броской торговой маркой «БРА». На модернизированной наклейке, образец которой он принес показать сотрудникам Авраама, красовался призыв: «БРАть, БРАть и БРАть!»

Эти слова смело можно было считать девизом

---

127 Примечания: 127

Чатни — индийская кисло-сладкая фруктово-овощная приправа.

самого чудо-юноши. В мгновение ока он продал свое дело Аврааму, который немедленно увидел громадный экспортный потенциал новой продукции, особенно в странах со значительной прослойкой индийцев-иммигрантов. Так наш малец-удалец приобрел капитал, дававший независимость; однако во время первой же встречи с патриархом, с самим мистером Зогойби он произвел на моего отца такое сильное впечатление своим знанием как новейших теорий бизнеса и менеджмента, так и новых технологий в области коммуникаций и информации, только-только начавших врываться в индийскую экономику, что Авраам мигом ввел его в «семейство Сиоди» на вице-президентском уровне, сделав сферой его ответственности технические инновации и корпоративную психологию. Небоскреб Кэшон-деливери загудел от новых идей мальчишки, очевидным образом основанных на изучении им практики бизнеса в Японии, Сингапуре и других странах тихоокеанского побережья, которое он называл «мировой столицей третьего тысячелетия». Его директивы быстро стали легендарными. Вот типовой образчик: «Для оптимизации использования человеческого фактора решающее значение имеет активизация чувства локтя».

Поэтому сотрудников «поощряли» (читай — принуждали) проводить вместе минимум двадцать минут в неделю, собираясь небольшими группами по десять-двенадцать человек и стоя в обнимку. Поощрялось также ежемесячное представление начальству письменной «оценки» сильных и слабых сторон в работе коллег — из-за чего компания превратилась в скопище лицемерных (внешне братски-обнимучих, втайне злобно-колючих) стукачей. «Мы будем слушающей корпорацией, — объявил нам Адам. — То, что вы говорите, будет нами воспринято». О да, эти уши не уставали воспринимать. Никакое зло, никакая мерзость не могли миновать их бездонных глубин. «Всякая крупная организация есть неоднородная смесь вредителей, стражей порядка и здравых людей, — гласил один из меморандумов Адама. — Руководство ожидает, что вредители с вашей помощью будут выявлены»(курсив мой.) Старику Аврааму это нравилось бесконечно.

— Современная эпоха, — говорил он мне. — Язык тоже должен быть современным. Что люблю, то люблю! Молоко на губах не обсохло, а замашки крутого парня! Гляди, как все у него забегали.

Мои собственные замашки крутого парня были

несколько иного свойства; возможно, по мнению Авраама, они устарели — и, в любом случае, все это для меня было уже в прошлом. Я не мог пойти и отдубасить молодого Адама Браганзу. Я держал язык за зубами; и улыбался. Это был новый Адам в новом эдеме. Мой отец пригласил молодчика в свой поднебесный атриум, и спустя всего лишь месяцы -да какое там, спустя недели! дни! — компания «Сиодикорп» начала переориентироваться на компьютеры и, само собой, также на кабели, волоконную оптику, принимающие тарелки, спутники и всевозможные средства телекоммуникации; и угадайте, кто командовал этим новым парадом?

— Мы создадим в мировой экономике наш собственный ареал, — сиял Авраам, не упуская случая ввернуть новое словцо. — Что за серость деревенская у нас повсюду с этими разговорами о владычестве Рамы! Не Рам раджья, а RAM раджья [128] — вот каким козырем мы по ним ударим!

«Не Рама, а RAM». С самого начала мне видна была склонность этого юнца к лозунгам. Авраам был прав. Вот оно, будущее. Пришло поколение,

---

128 Примечания: 128

RAM (random access memory) — компьютерная память с произвольной выборкой.

которое «наследует землю» [129], для которого тревоги стариков ничего не значат; поколение, помешанное на всем новом, говорящее на странном, кодированном, бесстрастном языке будущего, совершенно не похожем на наши мелодраматические перечно-жаркие восклицания. Неудивительно, что Авраам, неистощимый Авраам обратил к Адаму свое лицо. Это было рождение новой эпохи в Индии, когда деньги, как и религия, в стремлении к удовлетворению своих желаний сбрасывали всяческие маски и оковы; время похотливых, голодных, алчных до жизни, а отнюдь не истраченных и не опустошенных.

Я чувствовал себя отыгранной картой; рожденный слишком быстро, рожденный с изъяном, увечный, я стремительно состарился и, старея, постоянно давал волю своей злобе. Теперь мое лицо было обращено в прошлое, к утраченной любви. Когда я поворачивался и глядел вперед, я видел поджидающую меня Смерть. Смерть, над которой Авраам по-прежнему спокойно смеялся, могла забрать сына вместо бессмертного отца.

— Ну чего ты такой несчастный, смотреть противно, -сказал Авраам Зогойби. — Что тебе нужно

129 Примечания: 129

Обыгрываются евангельские слова: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Матф. 5, 5).

— это жена. Добрая женщина сотрет с твоего лба заботу. Мое предложение: мисс Надья Вадья. Что скажешь?

x x x

Надья Вадья!

Весь год, пока она была официальной Мисс Мира, Раман Филдинг не давал ей покоя. Он пытался снискать ее расположение, заваливая ее цветами, радиотелефонами, видеокамерами и микроволновыми печами. Она отсылала все это ему обратно. Он приглашал ее на светские приемы, но после памятного дня Ганапати она отвергала все приглашения. О страсти Филдинга к Надье Вадье поведал стране «Кусака» — известный светский обозреватель газеты «Миддей», прямой потомок писавшего под тем же псевдонимом журналиста, который рассказал в «Бомбей кроникл» о «Гама-радиации» и тем самым положил конец блестящей научной карьере моего прадеда Франсишку да Гамы. После теперешней публикации отказ Надьи Вадьи лечь под Мандука стал для определенной категории бомбейцев символом сопротивления в более широком смысле; ее отказ приобрел героические, политические черты. Появились карикатуры. В городе, которым Фил-

динг, по его собственным словам, «правил как своим личным автомобилем», упорство Надьи Вадьи было знаком того, что существует и другой, свободный Бомбей. Она давала развернутые интервью. Не целую лягушек, заявляет Надья… Впредь наука для Мандука! Надья берет уроки бокса -что-то будет!… Потехе не было конца.

Потом произошли две вещи.

Первое: Филдинг, терпение которого лопнуло, решил чуток припугнуть строптивую королеву красоты; вследствие чего, впервые за долгое время его безусловного владычества в ОМ, там произошел бунт, который возглавил Сэмми Хазаре и единодушно поддержали все вожаки «команд», силами которых проводились «особые операции» ОМ. Железяка привел депутацию к Филдингу, сидевшему в своем кабинете с телефоном-лягушкой. «Сэр неспортивно сэр», — таковы были слова Хазаре, полные горького упрека. Мандук уступил, но после этого стал смотреть на Сэмми таким же взглядом, как на меня, когда я рассказал о моем примирении с отцом. И это было не зря, потому что Сэмми изменился. В недалеком будущем он будет вытолкнут из своей пожизненной ниши игрока второго эшелона и принужден силой событий и своих личных сердечных бурь

сыграть в грандиозной драме, которая пока только репетировалась, выдающуюся роль.

Второе: Надья Вадья перестала быть правящей Мисс Мира. Уже были избраны и новая Мисс Индия, и новая Мисс Бомбей. Надья Вадья стала достоянием прошлого. Ее песня уже не звучала ни по радио, ни на новом телеканале «Масала телевижн», ставшем индийским вариантом «Эм-ти-ви», -кому нужны низвергнутые королевы? В медицинский колледж Надья Вадья так и не поступила, друг, о котором она когда-то упомянула, испарился, со сценической карьерой ничего не вышло. Деньги в Бомбее кончаются быстро. В восемнадцать лет Надья Вадья была бывшей знаменитостью — брошенной, барахтающейся, беспомощной. В этот момент Авраам Зогойби сделал свой ход. Он предложил ей и ее овдовевшей матери роскошную квартиру в южном конце Колаба-козуэй и щедрую стипендию впридачу. Для переговоров Надья Вадья уже не была в сильной позиции, но гордости своей она не потеряла. Когда она посетила Авраама в «Элефанте», чтобы обсудить его предложение, — и насколько же быстро новость об этом через Ламбаджана Чандивалу, двойного агента у наших ворот, достигла ушей Мандука! в какую ярость

она привела злобного босса! — она говорила с большим достоинством.

— Я думаю внутри себя: Надья Вадья, а что этот щедрый господин хочет получить в обмен на такое благодеяние? Может быть, что-то такое, чего Надья Вадья не может дать даже великому Аврааму Зогойби?

На Авраама ее слова произвели впечатление. Он ответил, что такому предприятию, как «Сиодикорп», нужно иметь располагающее общественное лицо.

— Поглядите на меня, — хихикнул он. — Разве я не жуткий старик? И люди, когда они думают про нашу компанию, представляют себе вот этого сумасшедшего старого дурака. А теперь, если вы согласитесь, они будут представлять себе вас.

Так-то и вышло, что Надья Вадья стала лицом компании «Сиодикорп»; она появлялась и в телероликах, и на рекламных щитах, и лично, открывая многочисленные престижные мероприятия, проводимые со спонсорским участием корпорации, — фешенебельные празднества, однодневные международные соревнования по крикету, съезды рекордсменов из Книги Гиннесса, выставку «Третье тысячелетие», чемпионат мира по борьбе. Так-то и вышло, что она была

избавлена от нищеты и вновь сделала общественным достоянием свою незапятнанную красоту. Так-то и вышло, что Авраам Зогойби одержал еще одну победу над Раманом Филдингом и что песня о Надье Вадье, записанная в новой версии, с притопами и прихлопами, вернулась в «горячий список» популярных клипов на «Масала-телевижн» и взлетела на вершину хит-парада.

Надья Вадья и ее мать Фадья Вадья переехали жить в квартиру на Колаба-козуэй, и на стену их гостиной Авраам повесил единственную картину Ауроры Зогойби, которую Зинат Вакиль все еще не могла выставить в галерее на Камбалла-хилле, — картину, на которой красивая юная девушка целует красивого юного крикетиста с той живописной страстью, которая вызвала в свое время такое негодование. В свое время.

— Ой, какая прелесть, — воскликнула Надья Вадья и захлопала в ладоши, когда Авраам лично снял покрывало с «Поцелуя Аббаса Али Бека». — Надья Вадья и Фадья Вадья любят крикет — правда, Фадья Вадья?

— Истинная правда, Надья Вадья, — сказала Фадья Вадья. -Крикет — королевский спорт.

— Ой, ну и глупышка же ты, Фадья Вадья, — возразила Надья Вадья. — Королевский спорт — это

лошадки. Фадья Вадья должна это знать. Надья Вадья знает.

— Любуйтесь на здоровье, дочка, — сказал Авраам Зогойби, целуя перед уходом Надью в макушку. — Но прошу вас: немножко больше почтения к вашей маме.

Он ни разу даже пальцем ее не тронул, всегда вел себя как безукоризненный джентльмен. И вдруг ни с того ни с сего предложил ее мне, словно она была его с головы до пят -презент, игрушечная невеста.

Я ответил Аврааму, что приду к Надье и ее матери и поговорю о его предложении. В квартире, расположенной в колабском небоскребе, меня ждали две насмерть перепуганные женщины. Надья Вадья была разряжена, как подарочная кукла, — брильянты на крыльях носа и все прочее.

— Ваш отец был так добр к нам, — выпалила Фадья Вадья, в которой материнские чувства взяли верх над щекотливостью ситуации. — Но поймите, уважаемый господин, моя Надья Вадья заслуживает, чтобы у нее были детки… ей бы кого-нибудь помоложе…

Надья Вадья смотрела на меня странным взором.

— Не встречала ли Надья Вадья вас где-нибудь

раньше? -спросила она, смутно припоминая Ганапати. Я пропустил вопрос мимо ушей и обратился к более насущным делам. Загвоздка, объяснил я, в том, что они живут под покровительством одного из самых могущественных людей в Индии. Если они откажутся от предложенного брака с его единственным сыном, весьма вероятно, что старый бизнесмен перестанет их защищать и содержать. Мало кто тогда осмелится протянуть им руку помощи — все будут бояться оскорбить великого Зогойби. Возможно, единственным заинтересованным лицом будет некий джентльмен, который когда-то, в бытность свою карикатуристом, метил свои рисунки изображением лягушки…

— Никогда! — воскликнула Надья Вадья. — Миссис Мандук? Надья Вадья никогда ею не станет. Я тогда попрошу Фадью Вадью взять меня за руку, и мы вместе прыгнем прямо с этого балкона.

— Ну зачем, ну зачем, — успокоительно произнес я. — У меня для вас несколько лучшее предложение.

Моя идея сводилась к формальной помолвке. Авраам будет ублажен, получится замечательная реклама, и период помолвки может потом длиться неопределенно долго. Я рассказал им о своем

ускоренном старении. Совершенно ясно, сказал я, что жить мне осталось недолго. После моей смерти они извлекут немалую выгоду из связи с семейством Зогойби, единственным наследником громадных капиталов которого являюсь я. Я поклялся, что, если даже проживу столь долго, что брак станет необходимым, наше соглашение о платоническом характере отношений останется в силе. Я попросил только Надью Вадью, чтобы она соблюдала видимость действительного намерения выйти замуж.

— Остальное будет нашим с вами секретом.

— Ой, ну что же мы, Надья Вадья! — простонала Фадья Вадья. — Какие же мы с тобой невежи! К нам пришел твой красавец-жених, а мы его даже маленьким пирожным не угостили.

x x x

Почему я это сделал? Потому что был уверен: Авраам воспринял бы отказ как личное оскорбление и выкинул бы их на улицу. Потому что меня восхищало сопротивление Надьи Вадьи Филдингу и то, как она вела себя с моим отцом, известным своей похотливостью. Боже мой, потому, что она была так молода и прекрасна, а я был такой развалиной. Может быть, потому,

что после многих лет бесчинств и беззаконий я желал искупления, искал отпущения грехов.

Что я хотел искупить? Кто должен был отпустить мне грехи? Не задавайте мне трудных вопросов. Я это сделал, вот и все. Было объявлено о помолвке Мораиша Зогойби, единственного сына мистера Авраама Зогойби и покойной Ауроры Зогойби (урожденной да Гамы) с мисс Надьей Вадьей, единственной дочерью покойного мистера Кападьи Вадьи и миссис Фадьи Вадьи — все из Бомбея. И когда где-то в глубинах города Железяка прослышал об этом, его изломанное, бессердечное сердце наполнилось злобой.

Банкет по случаю помолвки был устроен, конечно, в отеле «Тадж» и, само собой, прошел с истинно бомбейским размахом. В недоброжелательном присутствии более чем тысячи красивых, злоязычных, с любопытством и скепсисом глядящих на все чужаков, в числе которых была Флореас, моя последняя оставшаяся в живых сестра, которая день ото дня становилась мне все более чужой, я надел кольцо со «сказочным алмазом», как писали наутро газеты, на прелестный пальчик прелестной девушки в завершение того, что «Кусака» назвал «поразительным и едва ли не жертвенным обручением Восхода с Закатом».

Однако Авраам Зогойби -самый зловредный, самый черствый из стариков — приготовил со своим обычным черным юмором ложку дегтя для этой большой бочки меда. После того, как ритуал публичной помолвки был окончен и фотографы, накинувшиеся на ослепительную, как никогда, Надью, наконец насытились, Авраам взошел на подиум и попросил тишины, поскольку ему нужно было сделать объявление.

— Мораиш, единственный мой отпрыск, и Надья, которая станет прекраснейшей из всех невесток на свете! — прокаркал он. — Позвольте мне выразить надежду, что в скором времени вы подарите нашей трагически поредевшей семье новых членов, — о бездушный отец! — на радость мне, старику. Между тем, однако, я сам хочу представить вам нового члена семьи.

Всеобщее замешательство, всеобщее волнение. Авраам усмехнулся и кивнул головой.

— Да, мой Мавр. Наконец-то у тебя, мой мальчик, появится младший братец.

По его сигналу позади маленького подиума театрально распахнулся красный занавес. Адам Браганза — Малыш Большие Уши собственной персоной! — выступил вперед. У многих из груди вырвался громкий, судорожный вздох — в том

числе у Фадьи Вадьи, у Надьи Вадьи и у меня.

Авраам поцеловал его сначала в одну щеку, потом в другую, потом в губы.

— С нынешнего дня, — сказал он юноше, стоящему перед всеми «сливками» города, — ты становишься Адамом Зогойби, моим возлюбленным сыном.

18

Бомбей был центральным городом, был с момента своего основания — незаконнорожденное дитя португальско-английского соития и в то же время самый индийский из всех индийских городов. В Бомбее все Индии встречались и перемешивались между собой. В Бомбее, кроме того, исконно индийское встречалось с тем, что не было Индией, что пришло к нам через темные воды и влилось в наши вены. К северу от Бомбея лежала северная Индия, к югу — южная. К востоку от него лежал индийский Восток, к западу — мировой Запад. Бомбей был центральным городом; все реки текли в его людское море. Он был океаном историй; мы все были в нем рассказчиками, и все говорили одновременно.

Что за волшебство было подмешано здесь в этот безумный человеческий инсан-суп, что за гармония возникла из его какофонии! В Пенджабе, Ассаме, Кашмире, Мируте — в Дели, в Калькутте — люди то и дело принимались резать горло своим соседям и окатываться теплой красной струей или окунаться в пенную ванну пузырящейся крови. Тебя могли убить за то, что ты обрезан, и за

то, что ты сохранил крайнюю плоть нетронутой. Ты мог погибнуть из-за длинных волос, а мог — из-за короткой стрижки; светлокожие сдирали кожу с темнокожих, и если ты говорил не на том наречии, ты мог лишиться своего несчастного языка. А вот в Бомбее такого никогда не случалось. — Вы сказали, никогда? — Ладно, согласен; никогда — слишком сильное слово. Бомбей не защищен никакими прививками от вирусов остальной страны, и что происходило в других местах — из-за языка, к примеру, — докатывалось и до его улиц. Но до Бомбея кровавые реки обычно доходили разбавленными, другие потоки втекали в них, поэтому уродства к тому времени, как они достигали бомбейских улиц, чаще всего смягчались. — Скажете, я сентиментальничаю? Ныне, когда я все оставил позади, не потерял ли я, среди прочего, также и ясность видения? — Может быть, и потерял; но я все равно не откажусь от своих слов. О, городские «облагораживатели», как вы не видели: благороден и прекрасен был Бомбей именно тем, что не принадлежал никому и принадлежал всем. Как вы не видели ежедневных чудес терпимости, переполняющих его запруженные улицы?

Бомбей был центральным городом. В Бомбее,

когда старый миф, стоявший у истоков нации, начал блекнуть, родилась новая Индия, Индия Бога и Маммоны. Богатство страны текло через его биржи, его порты. Ненавидящим Индию, жаждущим ее погубить необходимо сначала погубить Бомбей — вот одно из возможных объяснений того, что случилось. Что ж, может быть. А может быть, то, что выплеснулось на севере (увы, придется назвать это место — в Айодхъе [130]), эта едкая духовная кислота, эта смертельная отрава вражды, влившаяся в кровеносную систему страны, когда пала мечеть Бабри Масджид и стал ощущаться, как говорят о зрителях в бомбейских кинотеатрах, «большой наплыв желающих» соорудить на предполагаемом месте рождения Рамы его громадный храм, — может быть, она была на сей раз слишком концентрированной, и даже огромному городу оказалось не под силу разбавить ее в достаточной мере. Так, так; те, кто защищает эту точку зрения, бесспорно, имеют в ее пользу веские аргументы. В галерее «Наследие Зогойби» Зинат Вакиль высказалась по поводу беспорядков в своем обычном сардоническом духе.

---

130 Примечания: 130

Кровавые события, связанные с разрушением мечети в Айодхъе, начались 6 декабря 1992 г.

— Во всем виноваты вымыслы, — заявила она. — Последователи одного вымысла набрасываются на сторонников другой популярной фикции, и привет! Война. Дальше они обнаружат колыбель Вьясы [131] под домом Икбала [132] и погремушку Вальмики [133] под жилищем Мирзы Галиба [134]. Что ж, так тому и быть. По мне, если умирать, то лучше уж из-за великих поэтов, чем из-за богов.

Я видел во сне Уму — о предательское подсознание! — Уму, ваяющую свою раннюю скульптуру, большого быка Нанди. Подобно этому быку, думал я проснувшись, и синему Кришне, искусному флейтисту и любимцу пастушек, Всемогущий Рама — одна из аватар, воплощений Вишну, самого многоликого из богов. Подлинное «владычество Рамы» должно быть поэтому основано на изменчивых, зыбких, непостоянных реальностях

---

131 Примечания: 131

Вьяса — легендарный древнеиндийский мудрец.

132 Примечания: 132

Икбал Мухаммад (1873-1938) — индийский мусульманский поэт и философ.

133 Примечания: 133

Вальмики — легендарный автор «Рамаяны».

134 Примечания: 134

Галиб Мирза Асадулла-хан (1797-1869) — индийский поэт, писавший на фарси и урду.

человеческой природы — и не только человеческой, но и божественной. То, что творится именем великого Бога, оскорбляет его существо не меньше, чем наше. Но когда глыба истории начинает катиться с горы, такие хрупкие материи никого уже не интересуют.

Джаггернаут [135] не остановить.

…И раз Бомбей был центральным городом, то, что вышло наружу, возможно, коренилось в бомбейских конфликтах. Могамбо против Мандука: долгожданная дуэль, финальный бой боксеров-тяжеловесов, который должен раз и навсегда определить, какая банда (криминально-предпринимательская или криминально-политиканская) будет править городом. На моих глазах произошло нечто в этом роде, и я могу только зафиксировать то, что видел. Скрытые факторы? Вмешательство тайных/зарубежных сил? Пусть об этом судят более компетентные аналитики.

Вот что я лично думаю — вот во что, хоть я и всю жизнь настраивал себя на отрицание сверхъестественного, я не могу перестать верить: что-то началось после смертельного падения Ауроры Зогойби — не просто вражда, но удлиняющий-

135 Примечания: 135

Джаггернаут — статуя Кришны, вывозимая на большой колеснице; в переносном смысле — неумолимая сила.

ся, расширяющийся разрыв нашей жизненной ткани. Она не могла успокоиться, она преследовала нас неустанно. Авраам Зогойби видел ее все чаще и чаще, она парила в его саду, разбитом Пей, и требовала отмщения. Я действительно так думаю. То, что последовало, было ее местью. Лишенная телесной оболочки, она висела над нами в небесах, Aurora Bombayalis во славе своей, и не что иное, как ее гнев, обрушилось на нас ливнем. Ищите женщину, мой вам совет. Глядите: вот он, призрак Ауроры, вот он летит по грозовому небу. И Надью я тоже вижу; Надья Вадья, как и город, плотью от плоти которого она была, — Надья Вадья, моя невеста, тоже стоит в центре этой повести.

Так что же, выходит, это был конфликт наподобие «Махабхараты» или Троянской войны, в котором сражались друг с другом не только люди, но и боги? Нет, мистеры-сахибы. Нет уж, увольте. Никаких вам древних божеств, только мы, выскочки, только наша компашка, Авраам-Могамбо с Резаным и иже с ними, Мандук с его Чхагганом Одним Кусом Пять и прочими; все мы. Аурора, Минто, Сэмми, Надья, я. У нас не было никакого трагического статуса, мы его не заслуживали. Если Кармен Лобу да Гама, моя несчастливая дво-

юродная бабушка Сахара, когда-то разыгрывала в карты свое состояние с Принцем Генрихом-мореплавателем, то здесь не нужно видеть отголоска утраты Юдхиштхирой [136] своего царства из-за рокового расклада костей. И хотя мужчины оспаривали друг у друга Надью Вадью, она не была ни Еленой, ни Ситой. Просто красивая девушка, попавшая в переплет, — больше ничего. Трагедия не имела ничего общего с нашей природой. Трагедия действительно произошла, грандиозная трагедия национального масштаба, но те из нас, кто участвовал в ней, были — говорю прямо — клоунами. Клоунами! Балаганными шутами, которых история выволокла на свою сцену за неимением более значительных фигур. Когда-то в нашем театре действительно играли гиганты; но на исходе эпохи мадам История должна довольствоваться тем, что есть. Джавахарлал в наши дни — всего лишь чучело собаки.

x x x

По доброте душевной я предложил моему новоявленному «братцу» совместный ленч для знакомства. Что тут началось, милые мои, — это

---

136 Примечания: 136
Юдхиштхира — герой эпоса «Махабхарата», добрый и мудрый царь.

надо было слышать. «Адам Зогойби» — я до сих пор не могу помыслить это имя и фамилию без кавычек — пришел в настоящий раж, в этакий светский восторг. — Станем полинезийцами и закатимся в «Оберой Аутриггер»? Нет, нет, там только а-ля-фуршет, а я люблю, признаться, когда передо мной немножко виляют хвостом. Может, перекусим в «морском баре» отеля «Тадж»? Нет, все же слишком много туда приходит старых хрычей за отблесками былого. А как насчет «Извините»? Близко от дома, и вид прекрасный, — но, милый мой, как вынести присутствие хозяина, этого старого брюзги? А деловой ленч на скорую руку в иранском заведеньице — «Бомбей-А-1» или «Пирк» у фонтана Флоры? Нет, слишком там шумно, и к тому же нам нужно потолковать спокойно, не торопясь. Тогда что-нибудь китайское? — Да, но невозможно выбрать между «Нанкином» и «Камлином». «Деревушка»? Вся эта фальшивая крестьянщина, братишка, — вчерашний, вчерашний день. -После долгого возбужденного монолога (я привел только характерные выбранные места) он остановился — «ладно, так уж и быть» — на «Сосайети» с его знаменитой европейской кухней. И, явившись туда, стал манерно теребить цветок.

— Пышка! Мышка! Душка! Как здорово, что у вас, девчонки, опять мир-дружба! — А, бонжур, Калидаса, мне, как обычно, кларет «силвер-плейт». — Ну что ж, мой милый Мавр, — ничего, если я буду называть тебя Мавром? Ничего? Великолепно. — Хариш, привет! Слыхал краем уха, покупаете ОТСЕІ? Очень разумно! Жутко классная ценная бумага, чуть-чуть только пока недоразвитая. — Мавр, прости, прости. Клянусь, я теперь твой со всеми потрохами. — Бонсуар, Франсуа! Чмок-чмок! — О, просто принесите нам, что считаете нужным, мы всецело в ваших руках. Только никакого масла, ничего жареного, никакого жирного мяса, никакого разгула углеводов, и, пожалуйста, без баклажанов. Надо фигуру сохранять, правда ведь? — Под конец: — Братишка! Ох, и повеселимся же мы! Лафа, маза, суперкласс. Сугубый кайф! Ты ночные клубы посещаешь? Забудь про «Миднайт-конфиденшиал», «1900», «Студию 29», «Пещеру». Все это в прошлом, дружок. Я тут между делом инвестирую в новый зал для электронных хэппенингов. Мы назовем его «Трижды Эс» — Супер-современная сеть. Или, может быть, просто «Сеть». Виртуальная реальность плюс эротика Востока! Киберпанки плюс пенджабский танец «бхангра»! И декор

соответствующий! Плюс таланты, яар, онлайн, в избытке, понял меня? Пароль: на современном уровне. Цимес!

И если мое лицо было довольно-таки застывшим, с оттенком брезгливости, что из того? Я чувствовал, что удостоен чести. Я словно смотрел безостановочное представление в ночном кабаре, стриптиз под названием «Семь одежек, или Адам Зогойби», и я видел, что он тоже наблюдает за мной. Он достаточно быстро сообразил, что в образе «классного парня» успеха ему не видать, и переключился на заговорщический шепот.

— А знаешь, братишка, ведь я слыхал, какой у тебя обалденный боевой послужной список. Еврей, а вот поди ж ты.

Я раньше думал, что вы все как один очкастые книгочеи, участники международного заговора для установления мирового господства.

Это у него тоже не прошло. Я пробормотал что-то о воинственных евреях-наемниках, которым община обязана своим длительным существованием на Малабарском берегу, и он уловил в моем голосе ледяную нотку.

— Ну что ты, братец, шуток не понимаешь? — Эгей, это же я! Мадху, Мехер, Ручи, привет! Вот так встреча, как я рад вас видеть, девушки! Позна-

комьтесь с моим большим братом. Слушайте, он совершенно ненормальный, кто из вас его берет, быстро решайте! — Ну как, Мавр, они тебе? Абсолютно классные фотомодели, королевы подиума и журналов, обскакали даже твою бедную покойную сестру Ину. И что ты думаешь? По-моему, они тобой заинтересовались. Шикарные, шикарные дамочки.

У меня быстро формировалось мнение об «Адаме Зогойби». Вот он опять изменил тон, заговорил по-деловому, профессионально.

— Я считаю, тебе надо определиться с финансами. Наш отец, увы, уже не юноша. Я сейчас завершаю детальные переговоры с его людьми на тему о моих персональных запросах.

Готово. Что-то в этом Адаме тревожило меня как дежа вю, уже виденное, и теперь я понял, что это такое. Нежелание говорить о своем прошлом, текучесть переходов от одного аллюра к другому, когда он старается увлечь тебя и очаровать, холодная просчитанность всех движений, — когда-то я поверил подобному обману, но она, надо сказать, была намного выше его в хамелеоновском искусстве и делала намного меньше ошибок. Я с содроганием вспомнил мою старую фантазию об инопланетном существе, питающемся нашими

бедами и способном принимать человеческий облик. Тогда женщина, теперь мужчина. Вновь «оно», «нечто».

— Я знал когда-то женщину, похожую на тебя, — сказал я Адаму. — Тебе, братец мой, еще учиться и учиться.

— Хм, — вскинулся Адам. — Когда один из двоих делает такой шаг навстречу, я не понимаю, почему другой так чертовски враждебен. Тут какая-то ложная установка у тебя, Мавр, братишка. Нехорошо. И в деловом смысле, кстати, тоже. Я слыхал, ты и с нашим дорогим папочкой так же высокомерно себя вел. А ему уже столько лет! К счастью, хоть один сын у него есть, который охотно делает все, что нужно, и при этом не огрызается и не перечит.

x x x

Сэмми Хазаре жил в пригороде Андхери среди мешанины малых предприятий: выделка кож «Назарет» — аюрведическая лаборатория Ваджо (специализирующаяся на геле для десен «Ваджраданти») — колпачки для колы «выше нос» -растительное масло «кленола» — и даже маленькая киностудия, выпускающая главным образом рекламные клипы и сулящая клиентам (как

хвастливо написано на щите у ворот) «штатных Трюкача и Трюкачку» и «управляемое вручную (команда 6 чел.) крановое устр-во». Его жилище, одноэтажное деревянное оштукатуренное бунгало, давно находящееся под угрозой сноса, но до сих пор стоящее по-бомбейски волею чистого случая, притаилось между вонючими задами фабрик и группой приземистых желтых дешево сдаваемых домиков на одну семью, словно всеми силами старалось укрыться от взора команд по расчистке территории. Решетчатая дверь была увешана лаймами и стручками зеленого перца, отпугивающими злых духов. Внутри старые календари с яркими цветными изображениями Всемогущего Рамы и слоноголового Ганеши много лет составляли единственное украшение стен; теперь, однако, там и сям были прикреплены скотчем к сине-зеленым обоям вырезанные из журналов снимки Надьи Вадьи. Попадались также фотографии из светской хроники со сценой обручения мисс Вадьи и мистера М. Зогойби в отеле «Тадж», на которых мое лицо отсутствовало — оно было яростно вымарано чернилами или соскоблено ножом. В одном или двух случаях я был полностью обезглавлен. Поверх моей груди были написаны ругательства.

Сэмми никогда не был женат. Он делил это жилье с лысым и большеносым карликом Дхирендрой, снимавшимся в кино в мини-ролях и утверждавшим, что явил себя зрителям более чем в трех сотнях полнометражных фильмов; его сладкой мечтой было попасть в Книгу Гиннесса в качестве рекордсмена по числу кинолент с его участием. Карлик Дхирен готовил для бешеного Сэмми, занимался уборкой и даже, когда нужно, смазывал его железную руку. А ночью, при свете парафиновой лампы, он помогал Железяке в его маленьком хобби. Зажигательные бомбы, бомбы с часовым механизмом, взрыватели и бикфордовы шнуры; весь дом -с его шкафами, с его щелями и закутками, с теми особыми ямами, что они вырыли под полом их единственной комнаты и закрыли сверху досками для секретности, — они превратили в частный арсенал.

— Когда придут нас брать, — говорил Сэмми своему малорослому сотоварищу с жестоким, фаталистическим удовлетворением, — мы выйдем, дорогой мой, но мы от души хлопнем дверью.

Некогда мы с Сэмми были приятелями; у каждого из нас была по-своему изуродована рука, мы считали себя братьями по крови и несколько лет наводили ужас на весь город; недомерок Дхи-

рендра, как ревнивая жена, сидел дома и готовил еду, которую Сэмми, возвращаясь еле живой от усталости после наших трудов, поглощал без единого слова благодарности и валился спать, оглашая комнату мощными отрыжками и громко извергая газы. Но теперь была еще Надья Вадья, и дурачок Сэмми, охваченный страстной любовью к этой недоступной девушке, моей невесте, был готов — о чем, во всяком случае, говорили стены его дома — снести с плеч мою ненавистную голову.

В прошлом Железяка был у Рамана Филдинга командиром номер один, супервожаком, боевиком из боевиков. Но когда Мандук, сам желавший заполучить Надью, приказал Сэмми поучить девку уму-разуму, Хазаре возглавил бунт. Несколько месяцев потом Мандук держал Сэмми на виду, не спуская с него своих холодных мертвых глаз, какими лягушка следит за жужжащей добычей. Потом он позвал Сэмми в свою святая святых, оснащенную телефоном-лягушкой, и объявил о его увольнении.

— Придется распрощаться с тобой, дружище, — сказал он.

— Игра важней, чем любой игрок, а ты у нас захотел играть по своим собственным правилам.

— Сэр нет капитан сэр. Сэр, леди и бача-лог [137] — это не противники сэр.

— Крикет изменился, Железяка, — промолвил Мандук мягко. — Я вижу, ты так и остался в джентльменской эпохе. Сэмми, мальчик мой, теперь у нас тотальная война.

Андхера — значит «тьма», и у себя в Андхери «Железяка» Сэмми Хазаре просиживал долгие часы, окутанный мраком. На ранней стадии своего помешательства из-за Надьи Вадьи он иногда пускался в пляс по комнате, держа перед лицом на манер маски цветной снимок Надьи Вадьи во всю страницу, в котором были прорезаны дырки для глаз, так что он мог смотреть на мир сквозь ее глазницы; девичьим фальцетом он распевал последние киношные шлягеры.

— Что под чоли у меня? — пел он, многозначительно поводя торсом. — Что под блузкой у меня?

Однажды Дхирендра, выведенный из себя запредельностью безумия своего друга и невозможным звучанием его голоса, проревел в ответ:

— Да сиськи же! Сиськи у нее под поганым ее чоли, что же еще? Буфера там у девки!

---

137 Примечания: 137
Бача-лог — девочки (хиндустани).

Но Сэмми, как ни в чем не бывало, продолжал петь.

— Любовь, — заливался он. — Любовь под блузкой у меня.

Однако теперь с пением, как видно, было покончено. Малыш Дхирен метался по комнате, стряпал, шутил, выделывал всякие трюки — стойки на руках, обратные сальто и прочие акробатические номера, — и все для того, чтобы подбодрить Сэмми, он даже дошел до того, что спел эту гадкую песню про блузку-чоли, несмотря на свое отвращение к Надье Вадье, к этой смазливенькой фикции, которая материализовалась невесть откуда и в один момент разрушила их жизнь. Малыш Дхирен не делился с Сэмми мыслью о том, что Надья Вадья — это особа, которой он лично с удовольствием бы напакостил.

Наконец Дхирендра нашел-таки волшебное заклинание, то самое «сезам, откройся», которое вернуло угрюмого Сэмми Хазаре к жизни. Карлик вскочил на стол, принял позу миниатюрной садовой статуи и произнес магическое слово.

— Циклонит, — заявил он.

Верность и нашим, и вашим никогда не составляла для Сэмми большой проблемы; не он ли годами брал деньги у моего отца и шпионил за

Мандуком? Бедный человек ведь должен как-то жить, так почему не поддержать обе противоборствующие стороны? Нет, верность и нашим, и вашим -обычное дело; но никакой верности вообще? Это смущало. События, касающиеся Надьи Вадьи, каким-то образом разрубили все связи Железяки — с Филдингом, с «командой Хазаре» и ОМ в целом, с Авраамом, со мной. Отныне он играл сам за себя. И если Надья Вадья не могла принадлежать ему, почему она вообще должна была принадлежать кому бы то ни было? И если его дом не мог стоять, почему должны были непоколебимо выситься другие особняки и небоскребы? Да, карлик попал в точку. Хазаре знал секреты и умел мастерить бомбы. Это были козыри, оставшиеся в его распоряжении.

— Так я и сделаю, — произнес он вслух. Те, кто причинил ему зло, почувствуют тяжесть его железной руки.

— Трюкач-Трюкачка дают гарантию, — сказал Дхирен. -Высший сорт, постоянным клиентам — скидка.

У супругов с близлежащей киностудии, специализировавшихся на звуковых и зрительных эффектах — безобидных хлопках и вспышках, — была и другая специализация, более скрытая, но

теснее связанная с реальностью. Без сомнения, они были мелкая сошка, но долгие годы они являлись для Железяки самыми надежными поставщиками гелигнита, тринитротолуола, часовых механизмов, детонаторов, бикфордовых шнуров. Но циклонит! Мощнейшая взрывчатка! У Трюкача-Трюкачки дела, должно быть, пошли в гору. Чтобы заполучить циклонит, кошелек у тебя должен быть тугим, связи — в самых высоких сферах. Киношную парочку, видимо, завербовала серьезная банда. Если циклонит завезен в Бомбей в таком количестве, что трюкачи могут позволить себе продать немножко на сторону, — значит, пахнет большой бедой.

— Сколько нужно? — спросил Сэмми.

— Кто знает?! — выкрикнул Дхирен, кривляясь. — Кто знает, сколько овса потребует наш конек?

— У меня золото припрятано, — сказал Сэмми Хазаре. -Наличность тоже. И у тебя есть заначка.

— У актера короткая жизнь, — запротестовал карлик. — Мне что, голодать на склоне дней?

— Никакого склона дней у нас не будет, — ответил Железяка. — Скоро мы вспыхнем как солнце.

x x x

У нас с «братцем» больше не было совместных ленчей. И для «нашего» отца годы, когда он пожирал плоть и пил кровь страны, были на исходе. Моя мать уже рухнула с высоты. Теперь настала его очередь.

История головокружительного падения Авраама Зогойби с самых высот бомбейской иерархии хорошо всем знакома; быстрота его полета и сила удара о грешную землю обеспечили этой истории широкую известность. Но одно имя в этой печальной повести полностью отсутствует, в то время как другое вновь и вновь мелькает в ее главах.

Отсутствующее имя — мое. Имя единственного биологического отпрыска мужского пола, имевшегося у моего отца.

Вновь и вновь мелькающее имя — «Адам Зогойби». Ранее известный как «Адам Браганза». А еще раньше как «Аадам Синай». А до того? Если, как пронюхали и потом сообщили нам замечательные газетные ищейки, его биологических родителей звали Шива и Парвати, и если принять во внимание — простите, что я опять подчеркиваю эту деталь, — его действительно очень большие уши, могу я предположить имя

«Ганеша»? [138] Хотя «Дамбо» — или, если хотите, «Чурбо», «Мерзо», «Подло» — хорошо, сойдемся на «Сабу» [139] — наверно, лучше подходит этому отвратительному Лопоухому Малышу.

Итак, этот вундеркинд из двадцать первого века, этот сверхскоростной компьютерный мальчик, этот выскочка, распевающий: «Я сделал это, я сделал», оказался не только узурпатором и интриганом, но и простофилей, считавшим себя неуловимым и именно поэтому уловленным со смехотворной легкостью. К тому же неким подобием библейского Ионы: не только сам пострадал, но и остальных подставил. Да, появление Адама в нашей семье дало начало цепной реакции, которая стряхнула могущественного главу «Сиодикорпа» с его высокого насеста. Если вы не против, я сейчас без малейшего следа Schadenfreude [140] в голосе расскажу об узловых моментах гигантской катастрофы нашего семейного бизнеса.

---

138 Примечания: 138

Слоноподобный бог Ганеша считается сыном бога Шивы и его жены Парвати.

139 Примечания: 139

Сабу (1924-1963) — индийский актер. Снялся, среди прочего, в фильме «Мальчик-слон».

140 Примечания: 140

Злорадства (нем.).

Когда суперфинансист В. В. Нанди по прозвищу Крокодил был арестован и привлечен к ответственности по из ряда вон выходящему обвинению в подкупе министров центрального правительства с целью получения от них десятков миллионов рупий казенных средств, с помощью которых он намеревался «прибрать к рукам» саму бомбейскую фондовую биржу, — одновременно с ним был отправлен за решетку и вышеупомянутый пресловутый «шри Адам Зогойби», который, как утверждали, был «курьером» этой сделки: он привозил в частные дома некоторых высокопоставленных лиц страны и, как он потом хитро утверждал на следствии, «случайно забывал» там чемоданы с огромными суммами в купюрах, бывших в употреблении и лежащих не по порядку номеров.

Всеобъемлющее расследование деятельности «шри Адама Зогойби» с немалым энтузиазмом вели полицейские службы, отдел борьбы с мошенничеством и прочие компетентные органы, испытывавшие сильнейшее давление, в том числе со стороны потрясенного до основания центрального правительства и подконтрольной ОМ бомбейской муниципальной корпорации, от лица которой глава ОМ мистер Раман Филдинг

потребовал, чтобы «этот гадюшник был выметен поганой метлой»; и вскоре выявилось участие «братца» в еще более грандиозных аферах. Сообщения о колоссальных злоупотреблениях интернационального масштаба, совершенных руководством Международного банка «Хазана», об исчезновении его активов в так называемых «черных дырах», о его связях с террористическими организациями и о крупных хищениях ядерных материалов, ракет, сверхсложного компьютерного оборудования и программного обеспечения как раз начали достигать недоверчивых ушей общественности; и тут имя приемного сына Авраама Зогойби обнаружилось на ряде поддельных транспортных накладных, сфабрикованных в связи с хитрой операцией по переправке украденного суперкомпьютера в неназванную ближневосточную страну. Когда банк «Хазана» лопнул и разорились десятки тысяч простых граждан, от водителей заложенных в банк такси до индийцев-эмигрантов, владельцев газетных киосков и мелких магазинчиков по всему миру, всплыли новые подробности тесных связей финансового филиала «Сиодикорп» — «дома Кэшонделивери» — с коррумпированными боссами потерпевшего крушение банка, многие

из которых уже сидели в британских и американских тюрьмах. Акции «Сиодикорп» стали стремительно падать. Авраам — сам Авраам -едва избежал краха. К тому времени, как разразился скандал, связанный с поставками оружия, и он был вынужден предстать перед судом по серьезнейшим обвинениям в личной причастности к таким делам организованной преступности, как бандитизм, контрабанда наркотиков, гигантские операции с «черным налом» и торговля живым товаром, — к тому времени империя, созданная им на капиталах семьи да Гама, была потрясена до основания. Бомбейцы с возмущением и священным ужасом показывали на небоскреб Кэшонделивери, словно ожидая, когда он треснет, как дом Ашеров у Эдгара По, и развалится на куски.

В обшитом панелями зале суда мой девяностолетний отец отверг все обвинения.

— Я не для того сюда явился, чтобы участвовать в индийской версии фильма «Крестный отец», не для того, чтобы играть роль этакого отечественного болливудского Могамбо, — заявил он, стоя вызывающе прямо и улыбаясь той самой обезоруживающей улыбкой, в которой его мать Флори еще много лет назад распознала кураж

отчаяния. — Спросите кого угодно от Кочина до Бомбея, кто такой есть Авраам Зогойби. Вам объяснят, что это респектабельный бизнесмен, занимающийся перцем и специями. Говорю вам совершенно чистосердечно: таков я есть, таков я был всегда. Вся моя жизнь прошла под знаком торговли пряностями.

Несмотря на энергичные протесты обвинения, он был отпущен под залог в десять миллионов рупий.

— Мы не станем отправлять одного из самых заметных людей нашего города в заурядную тюрьму, пока его вина не доказана, — сказал судья мистер Качравала, и Авраам отвесил суду поклон. Кое-какие ограниченные возможности у него еще оставались. Чтобы уплатить залог, ему пришлось взять кредит под исконные плантации пряностей семьи да Гама. Но так или иначе Авраам вышел из зала суда свободным, он мог вернуться в свою «Элефанту», в свою умирающую Шангри-Ла [141]. И, сидя один в темном кабинете около своего поднебесного сада, он пришел к такому же решению, что и Сэмми Хазаре в Андхери, в его приговоренной к сносу лачуге: если

141 Примечания: 141

Шангри-Ла — сказочное место в Тибете, царство вечной молодости, описанное в романе «Потерянный горизонт» Дж. Хилтона (1900-1954).

уж падать, так с грохотом. В это время по радио и телевидению Раман Филдинг распространялся о неминуемом крахе старика.

— Смазливое девичье личико на телеэкране теперь уже его не спасет, — сказал он, после чего, ко всеобщему изумлению, запел. Наглец получит под за-адья, — проквакал он. — Ох, крепко получит, Надья.

В ответ на это Авраам издал угрожающий звук и потянулся к телефонной трубке.

В тот вечер Авраам сделал два звонка, и один раз позвонили ему. Впоследствии из информации, полученной в телефонной компании, стало ясно, что первый его звонок был в один из публичных домов на Фолкленд-роуд, контролируемых гангстерским боссом по прозвищу Резаный. Но не имелось никаких данных о том, что к нему на работу или домой, на Малабар-хилл, отправляли девушку. Скорее всего цель звонка была иная.

Позднее, уже ночью — много позже полуночи — позвонил Дом Минто, которому уже перевалило за сто лет. Дословной записи их разговора не существует, но отец пересказал мне его содержание. По словам Авраама, Минто был совершенно не похож на себя — сварливого, кипятящегося старика. Он был подавлен, мрачен и впрямую

говорил о смерти.

— Пусть она приходит! Вся моя жизнь — кошмарный порнографический фильм, — сказал якобы Минто. — Я всего насмотрелся, что только есть в жизни грязного и похабного.

Наутро старый сыщик был найден мертвым в своем кабинете.

— В убийстве подозрений нет, — сказал инспектор Сингх, назначенный провести расследование.

Авраам сделал еще один звонок — мне. По его требованию я глубокой ночью приехал к безжизненному небоскребу Кэшонделивери и с помощью особого ключа проник в здание и поднялся к отцу на его персональном лифте. То, что он сказал мне в своем темном кабинете, заставило меня потом усомниться в естественном характере кончины Дома Минто. По словам отца, Сэмми Хазаре, явно не желавший появляться поблизости от обычных мест пребывания Авраама, посетил Минто и поклялся головой своей матери, что смерть Ауроры Зогойби — результат убийства, совершенного небезызвестным Чхагганом Одним Кусом Пять по заказу Рамана Филдинга.

— Но почему? — крикнул я. Глаза Авраама блеснули.

— Я же говорил тебе про твою мамочку, малыш. Попробовать и отодвинуть, не доев, — так она любила поступать и с едой, и с мужчинами. Но Мандуком она поперхнулась. Подоплека убийства — сексуальная. Сексуальная. Сексуальная… месть.

Я никогда раньше не слышал, чтобы он говорил так зло. Боль от неверности Ауроры явно жгла до сих пор его нутро. Немыслимая боль от того, что приходится говорить об этом с сыном.

— И как? — не унимался я.

Орудие убийства, объяснил он, — маленький дротик-шприц, воткнувшийся ей в шею, из тех, какими усыпляют небольших животных, не слонов, а, скажем, диких кошек. После того, как в нее выстрелили этим шприцем с пляжа Чаупатти во время безумия Ганапати, голова у нее закружилась, и она упала. Прямо на изглаженные прибоем камни. Волны, вероятно, смыли дротик, и во всей этой суматохе никто не заметил — никто даже и не искал — маленькую ранку у нее на шее.

Я помнил, что стоял в тот день на трибуне для особо важных персон с Сэмми и Филдингом; но Чхагган мог быть где угодно. Чхагган, который наряду с Сэмми особо отличался в стрельбе дро-

тиками из трубки на мандуковских комнатных олимпиадах.

— Но это не могла быть простая трубка, — подумал я вслух. — Слишком далеко. К тому же снизу вверх.

— Тогда специальное ружье, — пожал плечами Авраам. -Подробности содержатся в письменных показаниях Сэмми. Утром Минто их принесет. Но ты понимаешь, — добавил он, — что в суде это не пройдет.

— И не надо, — ответил я. — Это дело будет решаться не на судебном заседании.

Минто умер прежде, чем он смог принести Аврааму показания Сэмми. Среди его бумаг документ найден не был. Инспектор Сингх не заподозрил здесь убийства; что ж, пусть так. В любом случае я знал, что мне делать. Мной овладели древние, неодолимые побуждения. Вопреки всем ожиданиям потревоженная материнская тень витала у меня за плечами, взывая к насилию.

Кровь за кровь. Омой мое тело в красных фонтанах крови убийц и дай мне упокоиться с миром.

Я это сделаю, мама.

x x x

Мечеть в Айодхъе была разрушена. Люди

буквенной лапши, «фанатики», или, напротив, «благочестивые освободители святынь» (выбирайте, что вам ближе, остальное вычеркивайте) тучей двинулись на построенную в семнадцатом веке Бабри Масджид и развалили ее голыми руками, разорвали зубами, уничтожили силой той стихии, которую сэр В. Найпол [142] одобрительно охарактеризовал как «пробуждение к истории». Полицейские, судя по фотографиям в газетах, стояли в сторонке и смотрели, как исторические силы делают свою работу по уничтожению истории. Реяли шафранные флаги. Люди распевали дхуны во славу Рамы: «Рагхупати рагхава раджа Рам» и прочее. Это был один из тех моментов, которым лучше всего подходит определение «противоречивый»: момент радости и горя, подлинности и фальши, естества и манипуляции. Он и открывал двери, и закрывал их. Это был конец, и это было начало. Это было то самое, что много лет назад предсказал Камоинш да Гама, -приход Карающего Рамы.

Некоторые обозреватели осмелились усомниться в том, что нынешний город Айодхъя в штате Уттар-Прадеш стоит на месте легендар-

---

142 Примечания: 142

Видиадхар С. Найпол (род. в 1932 г.) — тринидадский писатель индийского происхождения, живущий в Англии.

ной Айодхъи, где, согласно «Рамаяне», родился Всемогущий Рама. Представление о том, что Рамджанмабхуми, родина Рамы, находилась в точности там, где потом построили мечеть, идет отнюдь не из глубокой древности — оно не насчитывает и ста лет. Первым заявил о том, что ему явился здесь Всемогущий Рама, как раз некий мусульманин, молившийся в старой мечети Бабри, -с него-то все и началось; что может быть лучшим символом веротерпимости и религиозного плюрализма? После этого видения мусульмане и индуисты какое-то время мирно уживались на священном месте… но черт с ними, с прошлыми делами! Кто сейчас будет копаться в этих поросших быльем тонкостях? Здание рухнуло. Пришло время последствий, а не взглядов в прошлое; время думать о том, что будет дальше, а не о том, что могло бы или не могло случиться, если бы…

Дальше было вот что: в Бомбее ночью кто-то ограбил галерею «Наследие Зогойби». Воры сработали быстро и профессионально; установленная в галерее система сигнализации оказалась совершенно ненадежной, и в некоторых местах она вообще была неисправна. Были взяты четыре картины, принадлежащие к циклу «мавров» и явно выбранные заранее: по одной из всех трех

основных периодов и также последняя, неоконченная, но тем не менее выдающаяся работа — «Прощальный вздох мавра». Тщетно хранительница музея доктор Зинат Вакиль пыталась обратить на это событие внимание радио и телевидения. Эфир заполонили события в Айодхъе и их кровавые последствия. Если бы не Раман Филдинг, утрата этих национальных сокровищ вовсе не получила бы никакого освещения. Лидер ОМ, комментируя кражу по центральному телевидению, провел параллель между исчезновением картин и падением мечети.

— Когда такие чуждые нам артефакты покидают священную индийскую землю, я не вижу повода для грусти, — сказал он. — Если мы хотим, чтобы родилась новая нация, многое из того, что принесли с собой чужеземцы, должно быть выметено.

Выходит, даже сейчас мы — чужеземцы? После двух тысячелетий мы все еще не свои и, разумеется, скоро будем «выметены», что не повлечет за собой никаких изъявлений печали или сожаления. После оскорбления, которое Мандук нанес памяти Ауроры, мне легче было совершить то, на что я решился.

Мою жажду убийства вряд ли можно назвать

атавистической; хотя внушила мне ее смерть матери, это не было похоже на возвращение признаков, спавших на протяжении нескольких поколений. Скорее это некое побочное наследование; ибо не входило ли в семью да Гама с каждым новым супружеством новое насилие? Эпифания привела с собой воинственный клан Менезишей, Кармен — их смертельных врагов Лобу. Аврааму с самого начала был присущ инстинкт смертоубийства, хотя он предпочитал делать все чужими руками. Только Камоинш и Белла, мои искренне любившие друг друга дед и бабка с материнской стороны, чисты от этого греха.

Мои собственные любовные связи едва ли внесли какое-либо улучшение. Я не собираюсь бросать тень на милую Дилли; но Ума, которая лишила меня материнской любви, внушив Ауроре мысль о том, что я погрузился в скверну? Ума, которая была готова убить меня и не преуспела в этом только лишь из-за вторжения в сцену из трагической мелодрамы фарса со столкновением лбов?..

Но нечего, пожалуй, валить все на родичей и возлюбленных. Моей собственной боевой карьерой — годами, когда я избивал людей, будучи сокрушительной Кувалдой, — я обязан капризу

природы, которая вложила так много убойной силы в мою правую, в других отношениях бессильную, руку. Правда, до сей поры я так никого и не убил; однако принимая во внимание тяжесть и продолжительность иных избиений, я должен приписать это чистой случайности. Если же в отношении Рамана Филдинга я разом взял на себя роль судьи и палача, то лишь потому, что этого требовала моя природа.

Цивилизация есть ловкость рук, скрывающая от нас нашу собственную природу. Моей руке, изысканный читатель, недоставало ловкости; ей было хорошо известно, что она за штука.

Итак, жестокость была в моей семейной истории, и она же была у меня в крови. Я не колебался в моем решении ни минуты: отомщу — или умру. В последнее время смерть постоянно присутствовала в моих мыслях. Теперь, наконец, есть возможность придать смысл моей кончине, которая иначе была бы жалкой. С неким отстраненным удивлением я понял, что готов умереть, лишь бы прежде увидеть труп Рамана Филдинга. Вот и я тоже стал убийцей-фанатиком (или благородным мстителем — как вам будет угодно).

Насилие есть насилие, убийство есть убийство, зло, помноженное на зло, не дает в итоге добра;

эти истины я сознавал в полной мере. К тому же, опускаясь до уровня противника, ты теряешь преимущество высоты. В дни, последовавшие за разрушением Бабри Масджид, «горящие праведным гневом мусульмане»/"убийцы-фанатики" (вновь берите синий карандаш и действуйте согласно велению сердца) разоряли индуистские храмы и убивали индусов как в Индии, так и в Пакистане. В эскалации межобщинной вражды рано или поздно наступает момент, когда вопрос «Кто первый начал?» становится бессмысленным. Злое спариванье враждующих сторон не дает даже малейшей основы для прощения, не говоря уже об оправдании. Они беснуются среди нас — левые и правые, индусы и мусульмане, с ножами и пистолетами, убивают, жгут, грабят, потрясают в дыму стиснутыми и окровавленными кулаками. Оба эти дома прокляты из-за их деяний; обе стороны сбросили последние лохмотья достоинства; каждая из них — чума для другой.

Я отношу эти слова к себе тоже. Слишком долго я был человеком насилия, и в ночь после того, как Раман Филдинг с телеэкрана оскорбил память моей матери, я свирепо положил конец его проклятой жизни. И, сделав это, навлек проклятие

на себя самого.

x x x

По ночам стены вокруг владений Филдинга патрулировали отборные охранники — восемь пар, сменяющих одна другую каждые три часа; почти всех их я знал по кличкам, употребляемым в узком кругу. Сад охраняли четыре злобные восточноевропейские овчарки (Гаваскар, Венгсаркар, Манкад и — как свидетельство непредубежденности хозяина — «мусульманин» Азхаруддин); эти претерпевшие метаморфозу звезды крикета, радостно виляя хвостами, потрусили ко мне, чтобы я их погладил. У дверей дома стояла своя охрана. Эти головорезы мне тоже были знакомы — двое молодых гигантов по прозвищам Угрюмый и Чих, — но они, несмотря на знакомство, обыскали меня с ног до головы. Оружия у меня с собой не было — во всяком случае такого, которое не являлось бы частью моего тела.

— Как в старые вребеда сегоддя, — сказал мне Чих, младший из двоих верзил, у которого постоянно был забит нос, но который — в порядке компенсации — был более словоохотлив. — Дедавдо был Железяка, заходил поприветствовать сабого. Давердо, хотел, чтобы его взяли обратдо,

до капитал де из таковских.

Я сказал, что жалею, что разминулся с Сэмми; а как поживает наш Одним Кусом Пять?

— Од пожалел Хазаре, — пробубнил молодой охранник. -Вбесте ушли пить.

Напарник хлопнул его по затылку ладонью, и он замолчал.

— Это же даш Кувалда, — сказал он обиженно, потом зажал нос большим и указательным пальцами и высморкался изо всех сил. Слизь брызнула во все стороны. Я попятился.

Я понимал: мне страшно повезло, что Чхагган отлучился. У него было шестое, если не седьмое, чувство на все подозрительное, и мои шансы одолеть и его, и Филдинга, а потом ретироваться, не возбудив общей тревоги, равнялись нулю. Идя сюда, я не ожидал такого подарка; его судьбоносное отсутствие давало мне, по крайней мере, некий шанс выбраться отсюда живым.

Молчун и любитель раздавать подзатыльники по кличке Угрюмый спросил, по какому я делу. Я повторил то, что сказал привратникам:

— Только капитану с глазу на глаз. Угрюмый сделал недовольное лицо:

— Так не пойдет.

— Узнает, что не пустил, — будешь отвечать, —

пригрозил я. Он сдался.

— Твое счастье, что капитан сегодня из-за событий в стране заработался допоздна, — сказал он злобно. — Погоди, я схожу узнаю.

Через минуту-другую он вернулся и свирепо ткнул большим пальцем в сторону хозяйского логова.

Мандук сидел и работал при желтом свете настольной лампы. Половина его большой очкастой головы была освещена, другая половина была темная; его громадное грузное тело тонуло во мраке. Один ли он здесь? Уверенности нет.

— А, Кувалда, — проквакал он. — В каком качестве явился? Эмиссаром твоего папаши или крысой с его пропащего корабля?

— С сообщением, — ответил я. Он кивнул:

— Говори.

— Только для ваших ушей, — сказал я. — Не для микрофонов.

Еще много лет назад Филдинг с восхищением отзывался о решении американского президента Никсона установить подслушивающую аппаратуру в своем собственном кабинете. «У парня было понимание истории, — сказал тогда он. -И характер тоже. Все подряд шло на запись». Я возразил тогда, что из-за этих катушек он слетел

с поста. Филдинг только отмахнулся. «Мне мои слова повредить не могут, -заявил он. — Мое богатство — в моей идеологии! Когда-нибудь меня детишки в школах будут изучать».

Поэтому: не для микрофонов. Он широко, от уха до уха, улыбнулся, похожий под светом лампы не столько на лягушку, сколько на чеширского кота.

— Слишком хорошая у тебя память, Кувалда, — добродушно пожурил он меня. — Ну давай, давай, милый мой. Прошепчи мне на ушко свои сладкие пустячки.

Я уже стар, с беспокойством думал я, приближаясь к нему. Кто знает, сохранился ли у меня нокаутирующий удар. «Дай мне силу, — взмолился я, обращаясь неизвестно к кому — может быть, к тени Ауроры. — Один раз, последний. На один удар сделай меня опять Кувалдой». Зеленый телефон-лягушка пялился на меня с письменного стола. Господи, как я ненавидел этот телефон. Я наклонился к Мандуку; он стремительно выбросил вперед левую руку и, схватив меня за волосы, прижал мой рот к своей левой скуле. На секунду потеряв равновесие, я с ужасом понял, что моя правая -единственное мое оружие — выведена из игры. Но, когда я уже падал на ребро столеш-

ницы, левая моя рука — та самая левая, которой я всю жизнь учился пользоваться, насилуя мою природу, — нащупала телефон.

— Телефонограмма от моей матери, — прошептал я и шарахнул его зеленой лягушкой по лицу. Он не издал ни единого звука. Его пальцы разжались, и он отпустил мои волосы, но телефон-лягушка хотел целовать его еще и еще, и я поцеловал его телефоном так крепко, как только мог, потом крепче, потом еще крепче, пока наконец зеленая пластмасса не раскололась и аппарат не начал разваливаться на части. «Сраное дешевое изделие», — подумал я и кинул его на стол.

x x x

Вот как Всемогущий Рама убил ланкийского царя Равану, похитителя прекрасной Ситы:

И, вроде змеи ослепительной, грозно шипящей,

Достал из колчана даритель великоблестящий

Стрелу, сотворенную Брахмой, чтоб Индра мирами

Тремя завладел, – и Агастьей врученную Раме.

В ее острие было пламя и солнца горенье,

И ветром наполнил создателе ее оперенье,

Окутана дымом, как пламень конца мирозданья,

Сверкала и трепет вселяла в живые созданья…

И, неотвратимая, Раваны грудь пробивая,

Вошла ему в сердце, как Индры стрела громовая,

И в землю воткнулась, от крови убитого рдея,

И тихо вернулась в колчан, уничтожив злодея…

Вверху величали гандхарвы его сладкогласно,

А тридцать бессмертных кричали: "Прекрасно! Прекрасно! " [143]

А вот как Ахилл убил Гектора, убийцу Патрокла:

---

143 Примечания: 143
«Рамаяна», перевод В. Потаповой.

Дышащий томно, ему отвечал шлемоблещущий Гектор:

"Жизнью тебя и твоими родными у ног заклинаю.

О! не давай ты меня на терзание псам мирмидонским..."

...Мрачно смотря на него, говорил Ахиллес быстроногий:

"Тщетно ты, пес, обнимаешь мне ноги и молишь родными!

Сам я, коль слушал бы гнева, тебя растерзал бы на части,

Тело сырое твое пожирал бы я, – то ты мне сделал!

Нет, человеческий сын от твоей головы не отгонит

Псов пожирающих!....

Птицы твой труп и псы мирмидонские весь растерзают! " [144]

Вы сами видите разницу. Если Рама имел в своем распоряжении божественную технику страшного суда, мне пришлось довольствоваться

---

144 Примечания: 144
Гомер, «Илиада», перевод Н. Гнедича.

телекоммуникационной лягушкой. И никаких поздравлений с небес по случаю моей славной победы. Что касается Ахилла: у меня никогда не было ни его плотоядной ярости (напоминающей, между прочим, ярость Хинд из Мекки, сожравшей сердце мертвого героя Хамзы), ни его поэтического красноречия. У мирмидонских псов нашлись, однако, собратья в наших краях…

…Убив Равану, великодушный Рама устроил поверженному врагу пышную тризну. Ахилл, отличавшийся из двоих великих героев гораздо меньшим благородством, привязал труп Гектора к своей колеснице и трижды протащил его вокруг тела погибшего Патрокла. Что касается меня: живя во времена далеко не героические, я и не почтил, и не осквернил труп моей жертвы; мои мысли были заняты мною самим, моими шансами на спасение. Убив Филдинга, я повернул его вместе с креслом лицом от двери (хотя лица как такового у него уже не было). Потом я водрузил его ноги на книжную полку и положил его руки так, что они охватывали размозженную голову, словно он заснул, утомленный тяжкими трудами. Затем быстро и бесшумно я принялся искать записывающие устройства — их должно было быть два, для вящей надежности.

Найти их не составляло труда. Филдинг никогда не делал секрета из своей страсти к звукозаписи, и, открыв шкафы в его кабинете — они не были заперты — я увидел магнитофонные катушки, медленно вращающиеся во тьме, как дервиши. Я отмотал от каждой по длинному куску ленты, оторвал и сунул себе в карманы.

Пора было делать ноги. Я вышел из комнаты и подчеркнуто-бережно затворил дверь.

— Не беспокоить, — прошептал я Угрюмому и Чиху. -Капитан прикорнул.

Это задержит их на какое-то время, но успею ли я выйти за ворота? Мне чудились крики, свистки, выстрелы и четверо преображенных крикетистов, с громким рыком хватающих меня за горло. Мои ноги заторопились сами собой; усилием воли я замедлил шаг, потом остановился совсем. Гаваскар, Венгсаркар, Манкад и Азхаруддин подошли и принялись лизать мою здоровую руку. Я опустился на колени и обнял их. Потом встал и, оставив псов и статуи Мумбадеви у себя за спиной, прошел через ворота и сел в «мерседес-бенц», который взял на служебной стоянке у небоскреба Кэшонделивери. Уезжая, я думал о том, кто доберется до меня раньше — полиция или Чхагган Одним Кусом Пять. Полиция во-

ообще-то предпочтительней. «Второй труп уже, мистер Зогойби. Зря это вы так. Беспечность с вашей стороны неимоверная».

Вдруг сзади раздался звериный рев, хотя никакой зверь не способен реветь так громко, и словно чья-то гигантская рука завертела мою машину — один полный оборот, другой — и выбила задние стекла. Мотор «мерса» заглох, и он встал поперек дороги.

Засияло яркое солнце. Первым, о чем я подумал, был «Морж и Плотник» Кэрролла: "И недовольная луна / Плыла над бездной вод / И говорила: «Что за чушь / Светить не в свой черед? / И день — не день, и ночь — не ночь, / А все наоборот» [145]. Вторая мысль была та, что, наверно, на город упал самолет. Потом я увидел высоко взметнувшееся пламя и услышал крики, и тут до меня дошло: что-то случилось в резиденции Филдинга. В моих ушах вновь зазвучал голос Чиха: «Дедавдо был Железяка, заходил поприветствовать сабого».

Его последнее приветствие. Последнее приветствие уволенного старого вояки. Как же удалось бомбисту Сэмми пронести взрывное устройство мимо обыскивавшей всех охраны? Я мог дать на

---

145 Примечания: 145

Л. Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье», перевод Д.Г.Орловской.

это только один ответ: внутри своей железной руки. И это значило, что бомба должна была быть небольшая. Динамитные шашки там не уместить. Что тогда? Пластик, циклонит, семтекс? «Браво, Сэмми, — подумал я. -Миниатюризация в действии, да? Вах-вах. Для Мандука -только самое лучшее, только новейшее». Опрометчивое, опрометчивое увольнение. Мне вдруг подумалось, что я убил мертвеца. Хотя, когда я добрался до него, он был еще жив, Сэмми все же первым нанес нокаутирующий удар.

Мне хватило нескольких секунд, чтобы сообразить, что от Мандука теперь мало что осталось. УЖ в этом-то на Сэмми можно было положиться. Вполне возможно поэтому, что на меня вообще не падет подозрение в преступлении. Хотя, будучи последним, кто видел Рамана Филдинга живым, я, конечно, должен буду ответить на ряд вопросов. Мотор послушно завелся с первого же раза. Отвратительно запахло дымом и прочим — понятно, чем. Я увидел бегущих людей. Пора было уезжать. Когда я двигался по улице задним ходом, мне казалось, что я слышу лай голодных собак, которым неожиданно бросили большие куски мяса, главным образом с костями. И еще хлопанье крыльев слетающихся стервятников.

x x x

— Уезжай за кордон, — сказал Авраам Зогойби. — Уезжай сейчас же. И оставайся за кордоном.

Это была моя последняя прогулка с ним по его воздушному саду. Я только что рассказал ему о роковых событиях в Бандре.

— Итак, Хазаре сорвался с цепи, — проговорил мой отец. -Не имеет значения. Второстепенный вопрос. Кто-то из поставщиков торгует на сторону, надо пресечь. Но это не твоя забота. Б настоящий момент ты свободен. Поэтому — прощай. Собирай вещички. Уезжай, пока можешь.

— А здесь что будет?

— Твой брат будет гнить в тюряге. Всему придет конец. Я тоже конченый человек. Но с моим концом не спеши — он еще не начинался.

Я взял из корзинки спелое яблоко и задал ему мой последний вопрос:

— Когда-то Васко Миранда сказал тебе, что эта страна — не про нас. Он тогда произнес примерно то же самое, что ты теперь говоришь мне: «Убирайтесь вон, ополченцы Маколея». Так вот: значит, он был прав? Рвать когти, мотать на Запад? Так, что ли?

— Документы у тебя в порядке?

Авраам, могущество которого иссякло, старел у меня на глазах, как бессмертный, принужденный в конце концов выйти за волшебные врата Шангри-Ла. Да, кивнул я, документы у меня в порядке. Много раз возобновлявшаяся виза в Испанию была наследством, оставшимся мне от матери. Окном в другой мир.

— Так поезжай, спроси Васко сам, — сказал Авраам и пошел от меня меж деревьев с полной отчаяния улыбкой на лице. Я выпустил из руки яблоко и тоже повернулся, чтобы идти.

— Эгей, Мораиш, — окликнул он меня. Бесстыдный, ухмыляющийся, хоть и побежденный. — Чертов придурок. Для кого, по-твоему, были украдены эти картины, как не для твоего чокнутого Миранды? Поезжай, найди их, малыш. Найди твою драгоценную Палимпстину. Отыщи Мавристан. — И последний приказ, в котором он ближе всего подошел к изъявлению симпатии: — Сволочного пса забирай с собой.

Я покидал поднебесный сад, держа под мышкой Джавахарлала. Красный обод протянулся вдоль линии горизонта, отделяя нас от неба. Словно кто-то плакал — или что-то плакало.

x x x

Бомбей разлетелся на куски. Как я потом узнал, было использовано триста килограммов циклонита. Еще две с половиной тонны нашли позже — часть в Бомбее, часть в грузовике около Бхопала. Обнаружили также часовые механизмы, детонаторы и все, что полагается. Ничего подобного город раньше не знал. Ничего столь же хладнокровного, рассчитанного, жестокого. Буммм! Автобус со школьниками. Буммм! Здание авиакомпании «Эйр-Индия». Буммм! Поезда, особняки, трущобы, доки, киностудии, фабрики, рестораны. Буммм! Буммм! Буммм! Товарные биржи, деловые здания, больницы, самые оживленные торговые улицы в центре города. Куски человеческих тел валялись повсюду; кровь людей и животных, внутренности, кости. Стервятники нагрузились плотью и кособоко расселись на крышах, ожидая возвращения аппетита.

Кто это сделал? У Авраама было много врагов среди полицейских-оперативников, боевиков ОМ, гангстеров. Буммм! Мой отец — перед тем, как был уничтожен, — сделал телефонный звонок, и город начал взрываться. Но под силу ли было даже Аврааму с его немыслимыми возможностями

накопить такой арсенал? Можно ли объяснить войной банд такое количество невинно погибших? Взрывы произошли как в индуистских, так и в мусульманских районах; умирали мужчины, женщины, дети, и никто не позаботился хотя бы о том, чтобы объяснить, почему они умирают. Что за демон-мститель обрушил нам на головы огненный ливень? Может быть, город просто-напросто решил покончить с собой?

Авраам вышел на тропу войны, посылая свои проклятия направо и налево. Это — часть случившегося. Но не все; этого недостаточно. Я не знаю всего. Я говорю о том, что знаю.

Вот что я лично хотел бы знать: кто убил «Элефанту», кто уничтожил мой родной дом? Кто разнес его на куски, кто взорвал не только его стены, но и Боркара — Ламбаджана Чандивалу, — и мисс Джайю Хе, и Эзекиля с его волшебными тетрадями? Была ли то месть мертвого Филдинга или вольного стрелка Хазаре — а может быть, здесь проявилось нечто более глубокое, некий исторический сдвиг, до того скрытый, что даже те из нас, кто долгое время провел в подпольном мире, не могли его распознать?

Бомбей был центральным городом; был всегда. Как католические короли-фанатики, осадившие

Гранаду и ожидавшие падения Альгамбры, варварство теперь стояло у наших ворот. О Бомбей! Prima in Indis! [146]

Ворота Индии! Звезда Востока, обращенная лицом к Западу! Как Гранада — Аль-Гарната у арабов, — ты был чудом своего времени. Но настали темные времена, и подобно Боабдилу, последнему султану из рода Насридов, который был слишком слаб, чтобы защитить свое великое сокровище, мы тоже оказались несостоятельны. Ибо варвары не только стояли у наших ворот, но и прятались у нас под кожей. Каждый из нас был для себя самого троянским конем, несущим сокрытую внутри погибель. Может быть, бикфордов шнур поджег Авраам Зогойби, а может быть, Резаный; те фанатики или эти, наши безумцы или чужие — взрывы грянули в нас, в наших телах. Мы были и бомбистами, и бомбами. Взорвалось наше собственное накопленное зло — нечего искать объяснений в происках из-за рубежа, хотя там тоже зла всегда хватало. Мы своими руками отсекли себе ноги, мы сами виновны в нашем падении. И теперь можем только плакать напоследок о том, чего мы, оказавшись слабыми,

---

146 Примечания: 146
Первый в Индии (лат).

испорченными, мелкими и презренными, не смогли защитить.

— Простите мне, пожалуйста, этот всплеск. Увлекся. Старый мавр больше вздыхать не будет.

x x x

Доктор Зинат Вакиль была убита огненным шаром, прокатившимся по галерее «Наследие Зогойби» на Камбалла-хилл. Погибли все картины до единой, вследствие чего моя мать Аурора перешла в сферы, близкие к безвозвратно утраченной античности, в окрестности адского сада, наполненного беспомощными тенями тех — ныне, как их статуи, лишенных голов и рук, — чей труд жизни исчез навсегда (на ум приходит Чимабуэ [147], известный нам лишь по нескольким работам). «Скандал» уцелел. Он был передан «Наследием» для экспонирования на неопределенный срок Национальному музею в Дели, где находится и по сей день, с достоинством взирая на висящую напротив картину Амриты Шер-Гил. Сохранилось совсем немногое. Четыре ранних «чипкалистских» рисунка; «Uper the gur gur...»;

147 Примечания: 147

Чимабуэ (наст, имя Ченни ди Пепо, ок. 1240-ок. 1302) — итальянский живописец.

острый, болезненный «Обнаженный мавр» — все это по счастливой случайности было на выставках, одно в Индии, другое за рубежом. Также, по иронии судьбы, возмутительница спокойствия, крикетная фантазия «Поцелуй Аббаса Али Бека», висевшая у матери и дочери Вадья на стене гостиной. Восемь. Плюс картина из Амстердамского Муниципального музея, картина из галереи Тейт, картины из коллекции Гоблера. Несколько «красных» вещей в частных собраниях (как много дьявольской иронии в том, что большую часть работ этого периода она уничтожила сама!)

Получается, что осталось больше, чем у Чимабуэ; но все равно это только малюсенький фрагмент того, что было создано этой плодовитой художницей.

И теперь четыре украденные вещи представляли собой главное, что уцелело из наследия Ауроры Зогойби.

x x x

В то утро, когда произошли взрывы, мисс Надья Вадья, услышав звонок, сама открыла дверь, потому что служанка как ушла на рассвете на базар, так и не возвращалась. Перед ней стояла карикатурная парочка: карлик в защитной униформе

и человек с железным лицом и железной рукой. Вопль и хихиканье столкнулись у нее в горле; но прежде, чем она могла издать какой-либо звук, Сэмми Хазаре поднял ятаган и, умело оставив в неприкосновенности ее глаза, дважды рассек ей лицо параллельными линиями, идущими наискосок справа налево и сверху вниз. Она рухнула без чувств на коврик у двери, а когда пришла в сознание, голова ее покоилась На коленях у потрясенной матери, по губам текла ее собственная кровь, а двое незнакомцев исчезли, чтобы никогда больше не возвращаться.

x x x

Махагуру Хусро погиб в одном из взрывов; розовый небоскреб на Брич-кенди, где рос «Адам Зогойби», был разрушен. Тело Чхаггана Одним Кусом Пять нашли в одной из канав Бандры; шея его была искромсана ударами ятагана. Ларьки в Дхоби Талао, кинотеатры, демонстрировавшие широкоэкранную версию старого классического фильма «Ковбой», кафе «Извините» и «Пайонир» — все это исчезло с лица земли. Сестра Флореас, моя единственная остававшаяся в живых сестра, как оказалось, ошиблась относительно своего будущего: бомбы не пощадили ни женского мона-

стыря Марии Благодатной, ни родильного дома при нем, и Минни была в числе погибших.

Буммм! Буммм! Не только сестра, друзья, картины и любимые места отдыха — сами человеческие чувства разлетались на куски. Когда жизнь стоит так дешево, когда людские головы скачут по площадям, а безголовые тела танцуют на улицах, как горевать из-за чьей-то безвременной кончины? Как горевать из-за неизбежности собственной смерти? Каждое зверство сменялось еще большим зверством; подлинные наркоманы, мы увеличивали и увеличивали дозу. Город пристрастился к катастрофам, мы все стали бедоголиками, зомби беды, ее вампирами. Оглушенный и — хоть раз употреблю затасканное слово в его точном смысле — шокированный, я сделался бесчувствен и богоподобен. Город, каким я его знал, умирал. Тело, в котором я жил, — тоже. Ну и что? Que sera sera… [148]

И вот: что должно было случиться, случилось. «Железяка» Сэмми Хазаре, рядом с которым решительно семенил малыш Дхирендра, вошел в вестибюль небоскреба Кэшонделивери. У каждого к груди, спине и ногам была прикреплена

---

148 Примечания: 148
Будь что будет

взрывчатка. Дхирендра нес два детонатора; Сэмми держал наголо свой ятаган. Охранники по их виду поняли, что террористы приняли для куража героин, который тяжко давит им на глаза и заставляет их тела чесаться; все в ужасе расступились. Сэмми и Дхирен сели в лифт, поднимавший без остановки на тридцать первый этаж. Начальник службы безопасности позвонил Аврааму Зогойби и пропищал ему в трубку предупреждение и какие-то слова самооправдания. Авраам резко оборвал его.

— Эвакуируйте здание, — было последнее, что кто-либо от него услышал.

Обезумевшие люди ринулись из башни на улицу. Шестьдесят секунд спустя колоссальный атриум на самом верху небоскреба Кэшонделиверри взорвался фейерверком, и на бегущих обрушился дождь стеклянных клинков, протыкавших им шеи, спины, бедра, пронзавших их мечты, их любовь, их надежды. А после стеклянных клинков — другие ливни. Многие служащие оказались заперты огнем внутри здания. Лифты не работали, лестничные пролеты обрушились, возникли пожары, поползли облака прожорливого черного дыма. Некоторые, отчаявшись, прыгали в окна и разбивались насмерть.

Наконец на тротуар, как благословение, посыпался Авраамов сад. Привозная земля, английская подстриженная трава и не наши цветы — крокусы, желтые нарциссы, розы, штокрозы, незабудки — полетели на отвоеванную у Бэк-бея твердь; а также иноземные плоды. Целые деревья грациозно взмывали в небо прежде, чем упасть на землю наподобие гигантских спор. Перья птиц, какие не водятся в Индии, замечали плывущими в воздухе даже спустя дни.

Перчинки, цельные зерна тмина и кардамона, палочки корицы мешались в воздухе с привозными растениями и пернатыми и, как пахучий град, выбивали дробь на мостовых и тротуарах. Авраам всегда держал близко от себя мешки с кочинскими специями. Порой, оставаясь один, он развязывал горловины мешков и погружал тоскующие руки в ароматные недра. Фенугрек и нигелла, кориандр и асафетида сыпались на Бомбей; но больше всего было черного перца, черного золота Малабара, на котором вечность назад молодой складской управляющий и пятнадцатилетняя девушка любили друг друга перечной любовью.

x x x

"Сформировать класс, — писал Маколей [149] в 1835 году в «Заметке об образовании», -...индийцев по крови и цвету кожи, но англичан по суждениям, нравственным принципам и интеллекту". Для чего, спросите вы? О, для того, чтобы стать «посредниками между нами и миллионами, которыми мы правим». Какую благодарность должны, просто обязаны испытывать лица из этого класса! Ибо индийские наречия «бедны и грубы», и «одна полка книг из хорошей европейской библиотеки стоит всей туземной литературы». Столь же пренебрежительного отзыва удостоились история, естественные науки, медицина, астрономия, география, религия. «Даже английскому кузнецу было бы зазорно... вызвало бы смех у девочек в английском пансионе».

Итак, класс «маколеевых ополченцев» должен был ненавидеть все лучшее, что было в Индии. Нет, Васко ошибся. Мы не были, никогда не были этим классом. Лучшее находилось внутри нас, и худшее тоже, и одно боролось с другим внутри

149 Примечания: 149

Томас Бабингтон Маколей (1800– 1859) — английский историк, публицист и государственный деятель.

нас, как и по всей стране. В некоторых из нас худшее торжествовало победу, и все же мы могли сказать — и сказать с полным правом, — что любили лучшее.

Когда мой самолет делал вираж над городом, мне видны были столбы дыма. Ничто больше не связывало меня с Бомбеем. Это уже не был мой Бомбей, неповторимый город, город веселой мешанины, город-полукровка. Чему-то пришел конец (миру, в котором мы жили?), а то, что осталось, было мне чуждо. Я поймал себя на том, что думаю об Испании — об Иных Краях. Я летел в те места, откуда мы были изгнаны столетия назад. Не там ли я обрету утраченный дом, покой, Землю Обетованную? Не там ли ждет меня мой Иерусалим?

— Как думаешь, Джавахарлал?

Но набитый опилками пес безмолвствовал у меня на коленях.

В одном, однако, я был неправ: конец одного из миров не означает конца всего мира. Надья Вадья, моя бывшая невеста, появилась на телеэкране через несколько дней после взрывов, когда шрамы поперек ее лица были еще ярко-багровыми и не позволяли сомневаться в том, что они останутся на всю жизнь. И все же ее красота

была столь трогательна, а храбрость — столь очевидна, что каким-то образом она выглядела еще привлекательней, чем прежде. Репортер задавал ей всякие вопросы о случившемся; но вдруг, в некий необычайный миг она отвернулась от него и заговорила прямо в телекамеру, обращаясь к сердцу каждого зрителя:

— И вот я спросила себя: Надья Вадья, это что, конец твой настал? Это что, занавес? И какое-то время я думала — ача, да, это все, халас. Но потом я спросила себя: Надья Вадья, что это ты говоришь такое? В двадцать три года сказать, что жизнь кончена, фантуш? Что за пагальпан, что за чушь, Надья Вадья! Не раскисай, девчонка, поняла? Город будет жить. Поднимутся новые небоскребы. Настанут лучшие времена. Теперь я каждый день себе это повторяю. Надья Вадья, будущее зовет. Надо только прислушаться к его зову.

Часть четвертая. «ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЗДОХ МАВРА»

19

Я решил отправиться в Бененхели, потому что отец сказал мне, что Васко Миранда, которого я не видел четырнадцать лет — или двадцать восемь, если считать по моему личному скоростному календарю, — держит там в заточении мою умершую мать; во всяком случае лучшую часть того, что от нее осталось. Вероятно, я рассчитывал предъявить свои права на украденные произведения и, вернув их, поправить что-то в себе самом, пока я еще жив.

Я никогда раньше не летал на самолетах, и, когда мы проходили сквозь облака — я покинул Бомбей в один из редких облачных дней, — это так потусторонне напоминало образы загробной жизни в кино, живописи и сказках, что у меня мурашки побежали по коже. Я что, вхожу в страну мертвых? Я чуть ли не ожидал увидеть в иллюминатор покоящиеся на пухлом поле кучевых облаков жемчужные врата и человека с разграфленной надвое бухгалтерской книгой добрых и злых дел. Меня объяла сонливость, и в первых за всю мою жизнь заоблачных снах мне привиделось, что я воистину покинул царство

живущих. Может быть, меня уничтожило взрывом, как многих людей и многие места, что я знал и любил. Когда я проснулся, ощущение, будто я проник за некую завесу, не исчезло. Приветливая молодая женщина предлагала мне еду и питье. Я не отказался ни от того, ни от другого. Красное вино «риоха» в миниатюрной бутылочке оказалось превосходным, но его было слишком мало. Я попросил принести еще.

— Я чувствую себя так, словно произошел сдвиг во времени, — сказал я симпатичной стюардессе чуть позже. — Только вот не знаю, в будущее или в прошлое.

— Многие пассажиры ощущают то же самое, — заверила она меня. — Я им объясняю, что это не то и не другое. В прошлом и в будущем мы проводим большую часть нашей жизни. На самом деле в нашем крохотном микрокосме вы оттого чувствуете себя сбитым с толку, что на несколько часов попали в настоящее.

Ее звали Эдувихис Рефухио, и она изучала психологию в мадридском университете Комплутенсе. Некая душевная неугомонность побудила ее прервать учебу и зажить этой кочевой жизнью, призналась она мне совершенно непринужденно, присев на несколько минут в пустое кресло

рядом со мной и взяв Джавахарлала к себе на колени.

— Шанхай! Монтевидео! Алис-Спрингс! А знаете ли вы, что место открывает свои секреты, свои глубочайшие тайны как раз тому, кто попадает в него только проездом? Точно так же, как можно излить душу перед незнакомцем на автобусной остановке — или в самолете, — сознаться в таком, что, узнай об этом хотя бы только намеком живущие рядом с вами, вы сгорели бы со стыда. Ну до чего милое у вас чучело собачки! У меня, кстати, собралась коллекция маленьких птичьих чучелок; а из южных морей — настоящая высушенная человеческая голова. Но если начистоту, я потому летаю, — тут она наклонилась ко мне совсем близко, — что мне нравится часто менять партнеров, а в католической стране, как Испания, не слишком разгуляешься.

Даже в этот момент — таково было мое внутреннее смятение, вызванное полетом, — я не понял, что она предлагает мне свое тело. Ей пришлось сказать мне об этом прямо.

— У нас тут налажена взаимопомощь, — объяснила она. -Другие стюардессы постерегут и последят, чтобы нас не обеспокоили.

Она отвела меня в крохотную уборную, где мы

совершили очень короткий половой акт; она добилась оргазма всего лишь за несколько быстрых движений, я же не достиг его вовсе, поскольку она явно потеряла ко мне всякий интерес, едва ее потребность была удовлетворена. Я пережил ситуацию пассивно — ибо пассивность вообще владела мною в этом полете, — и, поправив на себе одежду, мы стремительно разошлись в разные стороны. Некоторое время спустя мне очень сильно захотелось поговорить с ней еще, хотя бы только для того, чтобы получше запечатлеть ее лицо и голос в памяти, где они уже начали блекнуть; но когда я нажал кнопку со схематическим изображением человека, зажглась маленькая лампочка и явилась совсем другая женщина.

— Мне нужна Эдувихис, — объяснил я; незнакомая стюардесса нахмурилась.

— Прошу прощения, не поняла. Вы сказали — «риоха»?

В самолете своеобразная акустика, решил я, и, подумав, что, возможно, произнес ее имя невнятно, я повторил со всей возможной отчетливостью:

— Эдувихис Рефухио, психолог.

— Вам, наверно, это приснилось, сэр, — сказала молодая женщина, странно улыбнувшись. — Та-

кой стюардессы у нас на борту нет.

Когда я начал настаивать на своем и, возможно, повысил голос, немедленно появился мужчина с золотыми нашивками, опоясывающими обшлага кителя.

— А ну-ка тихо-спокойно, — грубо приказал он мне, толкая меня в плечо. — В вашем-то возрасте, дедуля, да еще с таким уродством! Как не стыдно вам делать приличным девушкам такие предложения! Вы там у себя в Индии всех наших европейских женщин шлюхами считаете.

Я был ошеломлен; но, взглянув опять на эту вторую девушку, я увидел, что она промокает платочком уголки глаз.

— Прошу прощения за беспокойство, — сказал я. — Позвольте мне заверить вас, что я безоговорочно беру назад все свои требования.

— Так-то оно лучше, — кивнул мужчина в кителе с нашивками. — Поскольку вы признали свою неправоту, не будем больше говорить об этом.

И он ушел вместе со второй девушкой, которая приняла теперь очень даже приветливый вид; удаляясь вместе по проходу, оба весело хихикали, и у меня создалось впечатление, что они смеются надо мной. Не в силах найти случившемуся разумного объяснения, я вновь провалился в глу-

бокий сон — на сей раз без сновидений. Эдувихис Рефухио я больше никогда не видел. Я вообразил, что она — некий фантом воздушных пространств, привлеченный моими желаниями. Несомненно, подобные гурии во множестве парят здесь над облаками. И с легкостью проникают сквозь оболочку аэропланов.

Вы видите, что я пришел в диковинное душевное состояние. Привычные мне местность, язык, люди и обычаи отдалились от меня из-за того лишь, что я сел в этот воздушный лайнер; а для большинства из нас это четыре якоря души. Если добавить сюда воздействие, частью отложенное, ужасов последних дней, будет, может быть, понятно, почему я чувствовал себя так, словно корни моего "я" выворочены из земли, как у деревьев, выброшенных из Авраамова атриума. Новый мир, в который я собирался вступить, послал мне загадочное предостережение, дал предупредительный выстрел. Я должен был помнить, что не знаю и не понимаю ровно ничего. Меня окружали тайна и одиночество. Но, по крайней мере, передо мной лежал некий путь; за это можно было уцепиться. Направление было мне задано, и, продвигаясь вперед со всей отпущенной мне энергией, я мог надеяться постичь

со временем эту ирреальную чужеродность, чьи шифры были пока что мне недоступны.

В Мадриде я пересел на другой самолет и испытал облегчение из-за того, что расстался, наконец, с этим странным экипажем. Во время полета на юг на самолете гораздо меньших размеров я держался очень замкнуто, прижимал к себе Джавахарлала и на все предложения еды и вина отвечал кратким отрицательным движением головы. К моменту посадки в Андалусии воспоминание о трансконтинентальном перелете сильно поблекло. Я больше не мог вызвать в памяти внешность и голоса троих служащих, которые, как я теперь был уверен, решили подшутить надо мной, избрав меня из всех пассажиров, без сомнения, потому, что я летел впервые в жизни, — в этом я, кажется, признался Эдувихис Рефухио; да, конечно, теперь уже мне определенно помнилось, что я ей это сказал. Похоже, путешествия по воздуху не столь живительны, как заявляла мне Эдувихис; тем, кто приговорил себя к томительно-долгим часам измененного, небесного времени, необходимо иногда внести в свою жизнь элемент развлечения и эротического возбуждения, и они добиваются этого, разыгрывая таких простачков, как я. Что ж, пускай! Они

преподали мне урок: надо крепко стоять на земле и осторожно относиться, помня о моей телесной дряхлости, к любым предложениям сексуальных услуг в порядке благотворительности.

Когда я вышел из второго самолета, меня ослепил яркий солнечный свет и охватил сильный зной — не тяжелый и влажный «гнилой жар» моего родного города, а сухой, подхлестывающий зной, гораздо более подходящий для моих измученных астмой легких. Я увидел цветущие деревья мимозы и холмы в пятнах оливковых рощ. Между тем ощущение диковинности окружающего не проходило. Словно я приехал не весь, не целиком или, возможно, приземлился в неверном месте — почти там, где нужно, но все-таки не там. Я чувствовал головокружение, чувствовал себя глухим, старым. Издали доносился собачий лай. У меня болела голова. В своем долгополом кожаном пальто я обильно потел. Зря я не выпил воды в самолете.

— На отдых? — спросил меня человек в униформе, когда пришла моя очередь.

— Да.

— Чем интересуетесь? Здесь масса достопримечательностей, вам их обязательно надо посмотреть.

— Меня интересуют картины моей матери.

— Странно. Что, у вашей матери мало картин там, откуда вы приехали?

— Не "у" нее. Картины ее работы.

— Ничего не понимаю. Где ваша мать? Она здесь? В нашем городе или в каком-то другом? Вы приехали в гости к родственникам?

— Она умерла. Мы жили врозь, и ее уже нет в живых.

— Смерть матери — ужасная вещь. Ужасная. И теперь вы надеетесь отыскать ее в чужой стране. Необычно. Скорее всего у вас будет мало времени на достопримечательности.

— Скорее всего.

— Но вы должны выкроить время. Вы должны увидеть то, чем мы славимся. Непременно! Вы просто обязаны. Вам понятно?

— Да. Мне понятно.

— А что за собака? Почему собака?

— Это бывший премьер-министр Индии, обратившийся в пса.

— Ничего страшного.

Не зная испанского, я не мог торговаться с таксистами.

— Бененхели, — сказал я первому шоферу, но он покачал головой и пошел прочь, обильно

сплевывая. Второй назвал сумму совершенно запредельную. Я оказался в краю, где названия вещей и мотивы человеческих поступков были мне неизвестны. Вселенная была абсурдна. Я не мог сказать ни «собака», ни «где?», ни «я — человек». К тому же моя голова взбухла, как тесто.

— Бененхели, — вновь произнес я, кинув свой чемодан на сиденье третьего такси и влезая в кабину с Джавахарлалом под мышкой. Таксист раздвинул рот в широкой золотозубой улыбке. Тем из зубов, что не были золотыми, была придана устрашающая треугольная форма. Однако вел он себя достаточно дружелюбно. Он показал на себя:

— Бивар. — Потом показал на горы. — Бененхели. — Показал на свою машину. — О'кей, друг. Погнали.

Я понял, что мы оба — граждане мира. Язык, на котором мы можем изъясняться, — ломаный жаргон из отвратительных американских фильмов.

Городок Бененхели находится в горах Альпухаррас, что ответвляются от Сьерра-Морены, отделяющей Андалусию от Ла-Манчи. Когда мы поднимались на эти возвышенности, я видел множество собак, то и дело перебегавших дорогу. Потом я узнал, что здесь зачастую селились

на время иностранцы с семьями и домашними животными, а потом, непостоянные, как перекати-поле, снимались с места и уезжали, бросая собак на произвол судьбы. Местность кишела голодными, сбитыми с толку андалусскими псами. Услышав об этом, я принялся показывать на них Джавахарлалу.

— Понял, как тебе повезло? — говорил я. — Благодари судьбу. Мы въехали в город Авельянеду, знаменитый своей трехсотлетней ареной для боя быков, и шофер Бивар прибавил газу.

— Город ворюг, — объяснил он. — Ничего хорошего.

Следующий населенный пункт назывался Эрасмо — это был городок меньших размеров, чем Авельянеда, но достаточно крупный, чтобы в нем имелось внушительных размеров школьное здание с надписью над дверью: «Lectura -locura». Я попросил шофера перевести, и после некоторых размышлений он подобрал слова.

— Чтение — «lectura». «Lectura» — чтение, — сказал он гордо.

— A locura?

— Это безумие, друг.

Женщина в черном, закутанная в накидку-ребосо, проводила нас подозрительным взглядом,

когда мы тряслись по булыжной мостовой Эрасмо. На площади под раскидистым деревом шел какой-то горячий митинг. Повсюду виднелись плакаты с лозунгами. Я переписал некоторые из них. Я думал, что это политические воззвания, но на поверку все оказалось куда необычней. «Все люди неизбежно безумны, так что не быть безумцем означает только страдать другим видом безумия» [150], — гласил один из плакатов. Другой заявлял: «Все в жизни столь многообразно, столь противоречиво, столь смутно, что мы не можем быть уверены ни в какой истине». И третий, более сжатый: «Все возможно». Можно было подумать, что философы из близлежащего университета решили собраться в селении со столь звучным названием для того, чтобы поделиться суждениями, в числе прочего, о радикальных, скептических взглядах Блеза Паскаля, о высказываниях автора «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского и о воззрениях Марсилио Фичино. Ярость и пыл философов были столь велики, что вокруг них собралась толпа. Жителям Эрасмо нравилось участвовать в жарких дебатах, принимая ту или другую сто-

150 Примечания: 150

Б. Паскаль, «Мысли», фрагмент 412 (перевод Ю. Гинзбург).

рону. — Да, только мироздание значимо! — Нет, не только! — Да, корова была в поле, когда никто ее не видел! — Нет, кто-то мог запросто оставить ворота открытыми! — Итак, личность едина, и человек отвечает за свои поступки! — Все наоборот: мы такие противоречивые конгломераты, что при ближайшем рассмотрении само понятие личности утрачивает всякий смысл! -Бог существует! — Бог умер! — Мы можем и, более того, обязаны говорить с убежденностью о вечности вечных истин, об абсолютности абсолютов! — Господи, какой бред — в относительном смысле, конечно! — И в вопросе о том, какую сторону, левую или правую, должен выбирать джентльмен, когда он надевает трусы, все ведущие авторитеты склоняются к левому варианту. — Это просто смешно! Хорошо известно, что для истинного философа годится только правая сторона. — Тупой конец яйца! — Чушь, дорогой мой! Острый, и только острый! — «Вверх», говорят вам. — Но совершенно ясно, уважаемый, что единственно возможным корректным утверждением будет «Вниз». — Ладно, тогда «Вправо». — «Влево!» — «Влево!» — «Вправо!»...

— Чудной народ в этом городишке, — заметил Бивар, выезжая из Эрасмо.

Согласно моей карте, до Бененхели было уже близко; но когда мы покинули Эрасмо, дорога вместо того, чтобы идти вверх и вдоль холма, пошла вниз. Со слов Бивара я понял, что со времен Франко, когда жители Эрасмо стояли за республику, а обитатели Бененхели — за фалангу, два городка находятся в состоянии непрекращающейся вражды, вражды столь глубокой, что между ними даже не была проведена дорога. (Когда Франко умер, жители Эрасмо устроили празднество, а Бененхели погрузился в глубокий траур, к которому, правда, не имели отношения жившие там многочисленные «паразиты», или экспатрианты, — они даже и не знали о случившемся, пока им не начали звонить из-за границы обеспокоенные друзья.)

Поэтому нам пришлось долго спускаться с холма, на котором стоит Эрасмо, и столь же долго подниматься на соседний холм. Там, где дорога, шедшая от Эрасмо, вливалась в гораздо более широкое четырехполосное шоссе, ведущее к Бененхели, стоял большой и красивый дом, окруженный гранатовыми деревьями и цветущими кустами жасмина. В воротах неподвижно зависли птички колибри. С некоторого отдаления доносился приятный стук теннисных мячей. Над

аркой ворот было написано: «Pancho Vialactada Campo de Tenis» [151].

— Тот самый Панно, понял? — сказал Бивар, вытянув в ту сторону большой палец. — Большой-большой человек.

Виалактада, родом из Мексики, был одним из великих игроков времен, предшествовавших эпохе открытых соревнований; он играл в турнирах профессионалов вместе с Хоудом, Розуоллом и Гонсалесом и поэтому не имел доступа к чемпионатам серии «Большой шлем», где ему, несомненно, не было бы равных. Он был неким прославленным фантомом, витавшим на границе света и тени в те моменты, когда худшие, чем он, теннисисты вздымали кверху почетные кубки. Он умер от рака желудка несколько лет назад.

Вот где, выходит, он окончил свой жизненный путь, уча богатых дамочек подавать и отбивать; тоже своего рода лимб, подумал я. Здесь завершились его странствия по белу свету; где завершатся мои?

Хотя я слышал стук мячей, на красных грунтовых кортах не видно было ни одного игрока. Должно быть, есть еще корты вне поля зрения,

---

151 Примечания: 151
Теннисный корт Панчо Виалактады (исп.).

решил я.

— Кто теперь руководит клубом? — спросил я Бивара; он с жаром закивал, оскалив в улыбке свои чудовищные зубы.

— Да, конечно, Виалактада, — заверил меня он. — Его ранчо. Он самый.

x x x

Я попробовал представить себе, каким был этот пейзаж во времена наших далеких предков. Кое-что надо удалить из ландшафта, но не столь уж многое: дорогу, черный силуэт рекламного быка фирмы «Осборн», глядящего на меня с высоты, опоры линии электропередачи, столбы телефонной линии, несколько автомобилей «сеат» и автофургонов «рено». Городок Бененхели полосой белых стен и красных крыш тянулся над нами вдоль склона холма и выглядел примерно так же, как должен был выглядеть столетия назад. «Я еврей из Испании, как философ Маймонид», — сказал я вслух, чтобы проверить, будут ли слова звучать как правда. Они прозвучали глухо и пусто. Призрак Маймонида рассмеялся надо мной. «Я как мечеть в Кордове, превращенная в католический храм», экспериментировал я. «Барочная постройка, торчащая посреди восточной

архитектуры». Это тоже звучало фальшиво. «Я никто и ниоткуда, ни на что не похожий, всюду неприкаянный». Вот это звучало лучше. Здесь чувствовалась правда. Все мои узы порвались. Я достиг Антииерусалима: здесь не родина, здесь дальняя даль. Место, которое не привязывает, а отвязывает.

Я видел затейливое жилище Васко: его красные стены увенчивали возвышающийся над городком холм. Особенно сильное впечатление производила высокая-превысокая башня, словно перенесенная сюда из волшебной сказки. На вершине ее виднелось гигантское гнездо цапли, хоть я и не заметил поблизости ни одной из этих надменных, величественных птиц. Несомненно, Васко пришлось основательно подмаслить местные власти, чтобы те позволили ему возвести здание, столь резко противоречащее приземистым, выбеленным окрестным строениям. Башня была такой же высоты, как два шпиля местной церкви; Васко как бы заявлял, что соперничает с самим Господом, и это, среди прочего, как я потом узнал, восстановило против него многих жителей городка. Я велел Бивару везти меня к «малой Альгамбре», и он покатил по извилистым улочкам, которые были совершенно пусты

— вероятно, из-за сиесты. В ушах у меня, однако, стоял шум машин и пешеходов — возгласы, гудки, скрип тормозов. За каждым углом я ожидал увидеть толпу людей, или транспортную пробку, или то и другое вместе. Но каким-то образом мы все время объезжали эту часть городка. Стало ясно, что мы заблудились. Когда мы в третий раз проехали мимо бара «Ла губернадора», я решил отпустить такси и продолжить путь пешком, несмотря на усталость и звенящую боль в голове, вызванную сменой часовых поясов. Шофер был недоволен бесцеремонностью моего расставания с ним. К тому же, не зная местных обычаев и цен на услуги, я, возможно, недодал ему чаевых.

— Чтоб вам никогда не найти то, что вы ищете, — крикнул он мне вслед на безупречном английском, сделав «рожки» мизинцем и указательным пальцем левой руки. — Чтоб вам на тысячу и одну ночь потеряться в этом дьявольском лабиринте, в этом городе проклятых!

Я вошел в «Ла губернадору» спросить дорогу. Мои глаза, которые я все время щурил из-за режущего, как бритва, света, отражаемого белыми стенами Бененхели, не сразу привыкли к полутьме бара. Бармен в белом фартуке протирал стакан. В дальнем конце длинного и узкого

помещения виднелось несколько старческих силуэтов.

— По-английски кто-нибудь здесь говорит? — спросил я. Тишина — словно я не задал никакого вопроса.

— Прошу прощения, — сказал я, подходя к человеку за стойкой. Он посмотрел словно сквозь меня и отвернулся. Я что, стал невидимкой? Ну нет, я же был вполне видим сварливому Бивару, я и особенно мой кошелек. В раздражении я протянул руку через стойку и хлопнул бармена по плечу.

— Дом сеньора Миранды, — произнес я раздельно. — Как пройти?

Пузатый бармен, щеголявший белой рубашкой, зеленой жилеткой и зачесанными назад черными прилизанными волосами, издал короткий стон — презрения? лени? отвращения? — и вышел из-за стойки. Подойдя к двери, он показал рукой вперед. Теперь я увидел прямо против входа в бар узкий проулок между двумя домами, а в дальнем его конце — множество людей, быстро снующих туда-сюда. Должно быть, это и есть толпа, шум которой я слышал; но как же я раньше не заметил этот проулок? Да, явно мое состояние еще хуже, чем мне казалось.

Чувствуя, как чемодан становится все тяжелее и тяжелее, волоча за собой на поводке Джавахарлала (его колеса стучали и подскакивали на булыжной мостовой), я миновал короткий проулок и оказался в совершенно неиспанском месте, на «пешеходной» улице, полной иностранцев — либо пожилых и безупречно одетых, составлявших большинство, либо молодых, рассчитанно-неряшливых по последней моде, -которые явно не проявляли интереса к сиесте и другим местным обычаям. По обеим сторонам улицы, которая, как мне предстояло узнать, получила у местных жителей название «улица паразитов», в большом количестве виднелись дорогие бутики — «Гуччи», «Гермес», «Акуаскьютум», «Карден», «Палома Пикассо» — и разнообразные питательные точки, от лотков со «скандинавскими тефтелями» до «Чикаго риб шэк» под звездно-полосатым флагом. Я стоял посреди толпы, которая текла мимо в обоих направлениях, не обращая на меня ни малейшего внимания на манер скорее столичных жителей, нежели провинциалов. Я слышал обрывки разговоров на английском, американском, французском, немецком, шведском, датском и то ли нидерландском, то ли африкаанс. Но эти люди не были туристами — они шли без

фотоаппаратов, и по их поведению чувствовалось, что они тут живут. Эта денатурированная часть Бененхели стала их землей. Среди них мне не попалось ни одного испанца. «Может быть, эти экспатрианты — новые мавры, — подумал я. — И что я такое, в конце концов, как не один из них, приехавший искать то, что имеет значение для одного меня, и понимающий, что мне, может быть, суждено окончить тут жизнь? А может быть, на другой улице местные готовят новую реконкисту, и кончится тем, что нас, как наших предшественников, заставят погрузиться на корабли в кадисском порту?»

— Заметили, что, хотя улица полным-полна народу, глаза у них у всех пустые? — спросил чей-то голос у меня над плечом. — Возможно, вам трудно проникнуться жалостью к этим потерянным душам в ботинках из крокодиловой кожи и спортивных рубашках с крокодилами на груди, но поверьте мне -здесь требуется именно сострадание. Простите им их прегрешения — ведь эти кровососы уже пребывают в аду.

Слова эти произнес высокий седовласый джентльмен в кремовом полотняном костюме и с неизменно язвительным выражением лица. Но первым, на что я обратил внимание, был его

огромный язык, который, казалось, не помещался во рту. Этим языком он беспрестанно облизывал себе губы с неприятно-насмешливым видом. У него были красивые мерцающие голубые глаза, отнюдь не пустые; воистину они казались до предела насыщенными всяческим недобрым знанием.

— У вас утомленный вид, сэр, — произнес он церемонно. -Позвольте мне угостить вас кофе и стать, если вы того захотите, вашим собеседником и провожатым.

Его звали Готфрид Хельзинг, он знал двенадцать языков -"пресловутую дюжину", сказал он беззаботно, словно это были устрицы, — и хотя он обладал манерами немецкого аристократа, от меня не укрылось, что у него не было средств отдать свой костюм в чистку, в которой тот явно нуждался. Усталый, я принял его приглашение.

— Как простить жизнь, в которой громадные машины наличного бытия с такой безжалостной силой перемалывают души сущих? — спросил он беспечным тоном, когда мы уселись за столик кафе, защищенный от солнца навесом-зонтиком, с двумя чашками крепкого кофе и двумя рюмками виски «фундадор». — Как простить мир, в котором красота только маскирует уродство, в

котором доброта только прикрывает жестокость; который создает иллюзию непрерывности, слитности наподобие чередования дня и ночи, тогда как в действительности жизнь есть цепочка жесточайших разрывов, обрушивающихся на наши беззащитные головы, как топор дровосека?

— Прошу прощения, сэр, — сказал я, тщательно подбирая слова, чтобы не обидеть его. — Я вижу, что вы человек, склонный к размышлениям и обобщениям, но у меня позади долгое путешествие, и оно еще не окончено; я не могу позволить себе роскошь трепаться о том о сем…

И вновь я испытал ощущение несуществования. Хельзинг просто-напросто продолжал говорить, словно не слышал ни слова из того, что я произнес.

— Видите этого человека? — спросил он, показывая на старика неожиданно испанского вида, который пил пиво в баре на другой стороне улицы. — Он был раньше мэром Бененхели. Во время гражданской войны он, однако, встал на сторону республиканцев, как жители Эрасмо — слыхали про Эрасмо? — Он не стал дожидаться моего ответа. — После войны людей, подобных ему, — видных граждан, которые были против Франко, — загнали кого в школу в Эрасмо, кого

на бычью арену в Авельянеде, и расстреляли. А он решил спрятаться. В его доме был маленький альков за шкафом, там он проводил день. Поздно вечером, когда его жена закрывала ставни, он выходил из алькова. Посвящены в эту тайну были только его жена, дочь и брат. Жена ходила покупать еду вниз, к подножью холма, поэтому соседи не видели, что она берет на двоих. Они не могли спать друг с другом, потому что, будучи ревностными католиками, не признавали контрацептивы, а последствия ее беременности были бы роковыми для них обоих. Так они жили тридцать лет, до всеобщей амнистии.

— Тридцать лет скрываться! — воскликнул я, захваченный его рассказом вопреки усталости. — Какая это, наверно, была мука!

— Пустяки по сравнению с тем, что началось, когда он вышел, — сказал Хельзинг. — Потому что к тому времени его любимый Бененхели уже стал заповедником всяческого международного отребья; к тому же те в его поколении, кто остался жив, сплошь были фалангисты и не желали знаться со старым противником. Его жена умерла от гриппа, брат -от рака, дочь вышла замуж и уехала в Севилью. В конце концов все, что ему осталось, — это сидеть здесь, в логове паразитов,

потому что для него не нашлось места среди его народа. Так он превратился в иностранца без корней, подобного этой публике. Вот какую он получил награду за верность принципам.

Используя краткую паузу в монологе Хельзинга, когда он задумался о жизни мэра, я вклинился и спросил, как пройти к дому Васко Миранды. Он посмотрел на меня с легким удивлением, как будто не совсем понял, о чем я спрашиваю, затем небрежно, словно отмахиваясь, пожал плечами и вновь заговорил о своем.

— Примерно так же был вознагражден и я, — рассказывал он. — Я покинул родину, когда нацисты пришли к власти, и немало лет провел в путешествиях по Южной Америке. Я по профессии фотограф. В Боливии я сделал книгу, показывающую ужасы оловянных рудников. В Аргентине я фотографировал Эву Перон [152], один раз живую, другой раз в гробу. Я ни разу не приезжал в Германию, потому что тяжело переживал осквернение национальной культуры тем, что там произошло. Я ощущал отсутствие евреев как громадную потерю, хоть сам я и не еврей.

— Я наполовину еврей, — сказал я по-дурац-

152 Примечания: 152

Эва Перон (1919-1952) — первая жена Хуана Доминго Перона, президента Аргентины в 1946-1955, 1973-1974 годах.

ки. Хельзинг не обратил на мои слова никакого внимания.

— Позднее, в стесненных денежных обстоятельствах, я приехал в Бененхели, потому что здесь я могу прожить на мою маленькую пенсию. И когда паразиты узнали, что я немец и жил в Южной Америке, они начали называть меня нацистом. Кличку такую дали. Так что в награду за жизнь, проведенную в противостоянии определенным бесчеловечным идеям, мне под старость нацепили их на грудь, как ярлык. Я больше не разговариваю с паразитами. Я больше ни с кем не разговариваю. Какое редкое удовольствие для меня, сэр, получить в вашем лице собеседника! Здешние старики — это в прошлом мерзавцы среднего пошиба со всего света: второразрядные мафиозные боссы и погромщики, третьеразрядные расисты. Женщины все из тех, что млеют от грубой силы и сбиты с панталыку приходом демократии. Молодежь — сплошь мусор: наркоманы, бездельники, плагиаторы, шлюхи. Они все давно уже мертвы, и старые, и молодые, но поскольку им исправно идут пенсии и содержание, они отказываются ложиться в могилы. Вместо этого они ходят туда-сюда по этой улице, едят, пьют и сплетничают об отвратительных мелочах своей

жизни. Вы обратили внимание, что здесь нигде нет зеркал? Если бы они были, ни одна из этих пленных теней не отразилась бы в них. Когда я понял, что это их ад в такой же степени, в какой они — мой ад, я научился их жалеть. Вот вам Бененхели, где я живу.

— А Миранда… — вновь предпринял я робкую попытку, рассудив, что лучше мне не рассказывать Хельзингу слишком много о моей жизни, полной нравственных компромиссов.

— У вас нет ни малейшего шанса встретиться когда-либо с сеньором Васко Мирандой, самым знаменитым и самым отвратительным из здешних жителей, — сказал Хельзинг с мягкой улыбкой. — Я надеялся, что вы поймете намек, который содержался в моем нежелании отвечать на ваши настойчивые расспросы, но раз вы его не поняли, скажу прямо: вам ничего здесь не светит. Как сказал бы Дон-Кихот, вы ищете птенцов нынешнего года в прошлогодних гнездах. Миранда месяцами не видит никого вообще, даже собственных слуг. Недавно какая-то женщина им интересовалась — симпатичная маленькая штучка! — но ничего не добилась и отбыла в неизвестном направлении. Говорят…

— Что за женщина? — перебил я. — Когда, дав-

но? Откуда вы знаете, что она к нему не попала?

— Женщина как женщина, — ответил он, облизывая губы. — Давно? Нет, недавно. Какое-то время назад. А не попала потому, что никто не попадает. Вы слушаете или нет? Говорят, что все в этом доме застыло — абсолютно все. Часы там заводят, но время все равно не идет. Большая башня уже годы как заперта. Никто туда не поднимается кроме, разве что, самого хозяина, старого идиота. Говорят, пыль в комнатах башни доходит до колен, потому что он не разрешает слугам там убирать. Говорят, целое крыло этого огромного дворца заросло креозотовым кустарником, la gobernadora. Говорят…

— Какая мне разница, что говорят? — крикнул я, решив, что пора поставить себя потверже. — Мне необходимо с ним повидаться. Сейчас позвоню ему из кафе.

— Не говорите глупостей, — сказал Хельзинг. — Уже годы прошли, как он обрезал телефон.

x x x

Каким-то образом вдруг рядом со мной возникли две миловидные испанки лет сорока в белых передниках поверх черных платьев.

— Мы невольно услышали ваш разговор, —

сказала первая из официанток на прекрасном английском. — И, если вы простите нам наше вторжение, я должна отметить, что этот нацист искажает факты. Обе телефонные линии у Васко работают, к одной подключен автоответчик, к другой -факс, правда, хозяин никогда не отвечает на сообщения. К сожалению, владелец этого кафе, скупой датчанин Оле, не позволяет посетителям пользоваться телефоном, что бы ни случилось.

— Ведьмы! Вампирши! — закричал Хельзинг, внезапно разъярившись. — Обеим надо кол в сердце забить!

— Вам действительно не стоит больше терять время на разговор с этим старым аферистом и кретином, — сказала вторая официантка, чей английский звучал еще лучше, чем у напарницы, и чье лицо выглядело чуть более утонченным. — Его тут все знают как злобного, извращенного выдумщика, как закоренелого фашиста, прикидывающегося теперь противником фашизма, как грубого бабника, неизменно отвергаемого женщинами, которых он впоследствии при любой возможности осыпает оскорблениями. Без сомнения, он уже наплел вам с три короба всяких врак о себе самом и о нашем замечательном городке. Пойдемте с нами, если хотите: мы как

раз закончили работу и можем исправить ложные представления, которые он постарался у вас создать. К сожалению, в Бененхели теперь живет немало фантазеров, закутавшихся в ложь, как в теплые одеяла.

— Меня зовут Фелиситас Ларисе, а это моя единокровная сестра Ренегада, — сказала первая официантка. — Если вам действительно нужен Васко Миранда, вам полезно будет знать, что мы работаем у него экономками с первых дней его пребывания здесь. К заведению Оле мы вообще-то не имеем отношения; сегодня мы просто оказали ему любезность, потому что его штатные официантки больны. Никто вам не расскажет о Васко Миранде больше, чем мы.

— Свиньи! Мегеры! — заорал Хельзинг. — Они хотят вас обвести вокруг пальца! Они все эти годы работают тут за жалкие гроши, кланяются и убирают, моют и подметают, а хозяин, между прочим, никакой не Оле и не датчанин, а бывший матрос с Дуная по имени Ули.

Я почувствовал, что пора избавляться от Хельзинга. Экономки Васко сняли передники и положили их в большие плетеные корзины, которые держали в руках; им явно хотелось поскорее уйти. Я извинился и встал.

— Вот, значит, как вы оценили все, что я для вас сделал! -сказал несчастный негодник. — Я был вашим наставником, а вы вот как мне платите.

— Ничего ему не давайте, — посоветовала мне Ренегада Лариос. — Он всегда пытается выкачивать деньги из иностранцев, как заурядный нищий.

— За питье, так и быть, заплачу, — сказал я и положил на стол купюру.

— Они сожрут ваше сердце, а душу в бутылке закупорят, -не унимался Хельзинг. — Не жалуйтесь потом — я вас предупредил. Васко Миранда — зловредный дух, а они — его сообщницы. Берегитесь! Я своими глазами видел, как они превращались в летучих мышей…

Хотя он разглагольствовал очень громко, на людной улице никто не обращал на Готфрида Хельзинга ни малейшего внимания.

— Мы тут к нему привыкли, — заметила Фелиситас. — Он распинается, а мы идем себе мимо. Сальвадор Медина, сержант гражданской гвардии, время от времени сажает его на ночь в кутузку, чтоб успокоился.

x x x

Должен сказать, что набитый опилками пес

Джавахарлал переживал не лучшие времена. С того момента, как я покатил его за собой на поводке, он утратил большую часть одного уха и пару зубов. Тем не менее Ренегада, более изящно сложенная из двух моих новых знакомых, восторженно расхваливала его, то и дело трогая мою руку или плечо в подкрепление своих слов. Фелиситас Лариос больше помалкивала, и мне показалось, что она не одобряет этих прикосновений.

Мы вошли в маленький двухэтажный одноквартирный дом в сплошном ряду таких же домов на круто идущей в гору улице, именуемой Calle de Miradores, хотя строения на ней были слишком скромны, чтобы щеголять застекленными балконами, на которые указывало лживое испанское название. Однако буквы на табличке (белые на ярко-синем фоне) не выказывали и следа раскаяния. Еще одно свидетельство того, что Бененхели — обитель мечтателей и таинственное место. В конце улицы, на самом верху холма, я различал очертания большого и уродливого фонтана.

— Там площадь Слонов, — сказала Ренегада с чувством. -Оттуда главный вход в резиденцию Миранды.

— Но стучать или звонить бесполезно — никто

не откроет, — вставила Фелиситас, озабоченно нахмурившись. — Будет лучше, если вы отдохнете у нас. У вас усталый и, прошу прощения, даже нездоровый вид.

— Будьте добры, — сказала Ренегада, — снимите обувь.

Я не понял смысла этого требования, отдававшего религиозным фанатизмом, но подчинился, и она провела меня в крохотную комнатку, пол, потолок и стены которой были облицованы керамическими плитками, в своей дельфтской голубизне хранившими множество миниатюрных сюжетов.

— Нет двух одинаковых, — гордо заявила Ренегада. — Говорят, это все, что осталось от древней синагоги в Бененхели, которая была разрушена после изгнания евреев. Говорят, на них можно увидеть будущее, если умеешь смотреть.

— Нелепые россказни, — засмеялась Фелиситас — при более плотном телосложении и менее одухотворенной внешности, которую к тому же несколько портила большая бородавка на подбородке, еще и менее романтичная из двух сестер. -Плитки — самая настоящая дешевка, никакие они не древние; такая голубая керамика в наших краях везде в ходу. А что касается предсказаний

судьбы, это и вовсе чушь собачья. Так что кончай, милая Ренегада, валять дурака, и пусть усталый человек хоть немного поспит.

Меня не надо было просить об этом дважды — бессонница, даже в худшие времена, была мне совершенно незнакома! — и одетый, как был, я рухнул на узкую кровать в облицованной плитками комнате. На секунду, пока я еще не уснул, мой взгляд упал на одну из плиток у моего изголовья, и на ней я увидел лицо моей матери — она смотрела мне в глаза и лукаво улыбалась. У меня закружилась голова, и я провалился в сон.

Проснулся я в длинной ночной рубашке, которую надели на меня через голову. Под ней я был голый. Бойкая парочка — эти две экономки, подумал я; и насколько же крепко я спал! Мгновение спустя я вспомнил про чудесную плитку, но как ни напрягал глаза, не мог обнаружить ничего, даже отдаленно похожего на образ, несомненно увиденный мною перед тем, как я отключился. «Мало ли, что перед сном примерещится», — рассудил я и встал с постели. Был яркий день, и из главной комнаты маленького дома шел сильный, манящий запах чечевичного супа. Фелиситас и Ренегада сидели за столом, накрытым на троих; для меня уже была налита большая тарелка, из

которой валил пар. Они одобрительно смотрели, как я поглощаю ложку за ложкой.

— Сколько же я проспал? — спросил я, и они коротко переглянулись.

— Целый день, — ответила Ренегада. — Уже завтра наступило.

— Глупости, — возразила Фелиситас. — Вы только прикорнули на два-три часа. Никакого завтра еще нет.

— Моя сестрица шутит, — сказала Ренегада. — Честно говоря, я не хотела вас шокировать и поэтому слегка преуменьшила. На самом деле вы проспали, как минимум, сорок восемь часов.

— Скорей уж, сорок восемь минут, — не сдавалась Фелиситас. — Ренегада, не смущай человека.

— Мы вычистили и выгладили вашу одежду, — сказала ее сестра, меняя тему. — Надеюсь, вы не будете обижаться.

Даже после сна последствия перелета еще давали себя знать. Впрочем, если я действительно дрых двое суток, некоторая дезориентация вполне естественна. Я переключил мысли на насущные дела.

— Милые дамы, я чрезвычайно вам благодарен, — произнес я вежливо. — Но теперь я срочно

должен просить вашего совета. Васко Миранда — старый друг моей семьи, и мне нужно видеть его по важному семейному делу. Позвольте представиться. Мораиш Зогойби из Бомбея, Индия, — к вашим услугам.

Они судорожно вздохнули.

— Зогойби! — пробормотала Фелиситас, недоверчиво качая головой.

— Вот уж не думала, что еще раз услышу это ненавистное имя, — сказала Ренегада Ларисе, заливаясь краской. Вот что мне удалось извлечь из их последующих объяснений.

Когда Васко Миранда, художник с мировым именем, приехал в Бененхели, сестры (в то время молодые женщины лет двадцати пяти) предложили ему свои услуги и были взяты на работу немедленно. «Он сказал, что ему нравится наш английский, наши хозяйственные навыки, но больше всего наше происхождение, — поведала мне Ренегада, немало меня удивив. — Наш отец Хуан Лариос был моряк, у Фелиситас мать была марокканка, а моя мать жила в Палестине. Так что Фелиситас наполовину арабка, а я по матери еврейка».

— Значит, у нас с вами есть нечто общее, — заметил я. -Потому что я тоже на пятьдесят

процентов принадлежу к этой нации.

Судя по лицу Ренегады, известие сильно ее обрадовало.

Васко сказал им, что он возродит в своей «малой Альгамбре» легендарную множественную культуру старинного Аль-Андалуса. Они будут жить не как хозяин и служанки, а скорее как одна семья. «Мы решили, конечно, что он немножко чокнутый, — сказала Фелиситас, — но ведь художники, они все такие, и платил он куда больше, чем прочие. -Ренегада кивнула. — На поверку, однако, это все оказалось красивыми сказками. Слова, больше ничего. Он приказывает, мы исполняем — только так. И чем дальше, тем он больше сходил с ума, начал одеваться, как султан тех времен, и вести себя стал еще хуже, чем эти жестокие мавританские деспоты-язычники». Они приходили к нему каждое утро и старались, как могли, поддерживать чистоту в доме. Садовников он уволил, и сад с водоемами — некогда настоящий рай, Хенералифе [153] в миниатюре, — считай, совсем погиб. Кухонной прислуги давно уже не было, и Васко просто оставлял сестрам Лариос список покупок и деньги. «Сыры, сосиски,

153 Примечания: 153

Хенералифе — летний дворец мавританских правителей поблизости от Альгамбры.

вина, пирожные, — сказала Фелиситас. — Не думаю, что хотя бы яйцо было сварено в этом доме за последний год».

С того самого дня, как Сальвадор Медина оскорбил его пять с лишним лет назад, Васко жил затворником. Он проводил день за днем, запершись в своей высокой башне, куда не позволял сестрам входить под страхом немедленного увольнения. Ренегада сказала, что видела в его мастерской пару полотен, в которых кощунственным образом Иуда занял место Христа на кресте; эти изображения «Иуды Христа» стояли там долгие месяцы, неоконченные и явно заброшенные. Не было признаков того, что он работает над чем-то еще. Он больше не разъезжал, как бывало, по всей планете исполнять заказы на роспись гостиничных вестибюлей и залов ожидания в аэропортах. «Он закупил массу сложного оборудования, — сказала Ренегада. — Записывающие устройства, даже рентгеновский аппарат. С помощью этой своей техники он делает странные записи — сплошь визги да хлопки, крики да шлепки. Авангардная бессмыслица. Потом пускает это на полную громкость на своей башне — всех цапель распугал, что там гнездились». — «А рентгеновский аппарат зачем?» — «Чего не знаю, того не знаю. Может

быть, из этих прозрачных фотографий хочет вытворить какое-нибудь искусство».

— Здорового в этом ничего нет, — сказала Фелиситас. — Он никого не видит, совершенно никого.

Уже год с лишним, как Фелиситас и Ренегада в глаза не видели своего работодателя. Но порой лунными ночами его закутанную в плащ фигуру замечали жители городка: он крался по высоким зубчатым стенам своей крепости, как толстый медлительный призрак.

— Но почему вам ненавистно мое имя? — спросил я.

— Была одна женщина, — сказала Ренегада после долгой паузы. — Простите меня. Может быть, тетя ваша?

— Моя мать. Художница. Ее уже нет на свете.

— Царствие ей небесное, — вставила Фелиситас.

— Васко Миранда очень озлоблен из-за этой женщины, -произнесла Ренегада скороговоркой, словно иначе не могла заставить себя это выговорить. — Наверно, он ее сильно любил, правда ведь?

Я ничего не ответил.

— Простите меня. Я вижу, вам больно. Это болез-

ненная тема. Мать и сын. Вы верны ее памяти. И все же я думаю, что он был, что он был ее… ее…

— Любовником, — резко сказала Фелиситас. Ренегада покраснела.

— Мне очень жаль, вы, наверно, не знали, — промолвила она, кладя ладонь на мою левую руку.

— Продолжайте, пожалуйста, — сказал я.

— Потом она повела себя с ним жестоко и прогнала его. С тех пор в нем растет обида. Это чувствовалось все сильнее и сильнее. Самое настоящее безумие.

— Здорового в этом ничего нет, — вновь сказала Фелиситас. — Ненависть сжигает душу.

— И теперь являетесь вы, — продолжала Ренегада. — Я думаю, он ни за что не согласится встретиться с ее сыном. Само звучание вашего имени будет для него невыносимо.

— Он рисовал супергероев и зверюшек из мультфильмов на стенах моей детской, — сказал я. — Я должен его увидеть. И увижу.

Фелиситас и Ренегада многозначительно переглянулись -дескать, бог с ним.

— Милые дамы, — сказал я. — Мне тоже есть что вам рассказать.

x x x

— Некоторое время назад что-то привезли, — промолвила Ренегада, когда я кончил. — Может быть, там была одна картина. Не знаю. Возможно, та, где под верхним слоем изображена ваша мать. Видимо, он забрал ее к себе в башню. Но четыре большие картины? Нет, ничего такого не присылали.

— Скорее всего, еще рано, — сказал я. — Кража произошла совсем недавно. Вам надо будет понаблюдать. Теперь я вижу, что мне не следует пока объявляться у его дверей. Он тогда распорядится, чтобы картины спрятали где-нибудь еще. Поэтому вы, пожалуйста, наблюдайте, а я буду ждать.

— Если вы хотите жить в нашем доме, — предложила Фелиситас, — можно будет договориться. Если вы хотите. Услышав эти слова, Ренегада отвернулась.

— Ваша поездка — это великое паломничество, — сказала она, не поворачивая ко мне лица. — Сын ищет наследие своей погибшей матери, ищет исцеления и мира. Мы, женщины, просто обязаны помочь мужчине в его поисках.

Я жил в их доме больше месяца. Они хорошо обо мне заботились, и мне было приятно с ними

разговаривать; но о них самих я узнал очень мало. Их родители, по всей вероятности, умерли, но они не были настроены говорить об этом, и я, естественно, не настаивал. Ни других братьев и сестер, ни друзей Ренегады и Фелиситас в моем поле зрения не было. Любовников тоже. Тем не менее они выглядели счастливой и неразлучной парой. Утром, держась за руки, уходили на работу, вечером так же возвращались. В иные дни я в моем одиночестве ощущал некое полужелание в отношении Ренегады Лариос, но, поскольку остаться с ней наедине возможности не было, я не сделал никаких шагов ей навстречу. Каждый вечер после ужина сестры шли наверх, где у них была одна кровать на двоих, и я до поздней ночи слышал их перешептывания и шевеления; тем не менее утром они всегда были на ногах до того, как я просыпался.

В конце концов я не утерпел и спросил их за ужином, почему они не вышли замуж.

— Потому что в наших краях все мужчины дохлые выше плеч, — отпарировала Ренегада, бросая на сестру яростный взгляд. — Ниже, впрочем, тоже.

— Моя сестра, как всегда, чересчур капризна, — сказала Фелиситас. — Но мы действительно не

похожи на тех, кто живет вокруг. И никто в нашей семье не был похож. Все остальные уже умерли, и мы не хотим терять друг друга из-за каких-то там мужей. Наша связь более тесная. Видите ли, мало кто в Бененхели разделяет наши предпочтения. Например, мы рады тому, что кончилось правление Франко и вернулась демократия. А если говорить о более личных вещах, мы не любим табака и детей, а все вокруг просто свихнулись и на том, и на другом. Курильщики вечно расхваливают радость приобщения, которую дарят им эти пачки «фортуны» и «дукадос», и интимную чувственность момента, когда ты даешь прикурить другу; но нам претит просыпаться и надевать пропахшую дымом одежду или ложиться спать, ощущая застарелый запах курева в волосах. А что касается детей — полагается вроде бы думать, что чем их больше, тем лучше, но нам вовсе не улыбается оказаться во власти команды скачущих и визжащих маленьких тюремщиков. И, честно говоря, нам потому так нравится ваш песик, что он — чучело и не требует от нас внимания.

— Но за мной вы ухаживаете великолепно, — возразил я.

— Это другое, — объяснила Фелиситас. — Вы нам платите.

— Безусловно, могли бы найтись мужчины, которые любили бы вас ради вас самих, а не ради семьи и детей, — не уступал я. — А если в Бененхели у людей не те политические взгляды, почему не отправиться в Эрасмо, к примеру? Я слыхал, у них там по-другому.

— Если вы так настырны, что требуете ответа, — сказала Фелиситас, — то знайте, что я в жизни не встречала мужчину, который ценил бы женщину саму по себе. Что касается Эрасмо: туда нет от нас дороги.

Я уловил в глазах Ренегады странное выражение. Возможно, она соглашалась не со всем, что говорила сестра. Порой после этого разговора я воображал одинокими ночами, что вот-вот дверь моей комнаты откроется и Ренегада Лариос скользнет в мою постель, в своей длинной ночной рубашке на голое тело… но этого так и не случилось. Я лежал один и прислушивался к шепотам и шорохам над моей бессонной головой.

x x x

Пока тянулся месяц ожидания, я бродил по улицам Бененхели — иногда тащил за собой Джавахарлала, но чаще один, -охваченный тупым безразличием, не позволявшим мне сосредото-

читься на прошлом. Я задавался вопросом, не приобрел ли я ту же пустоту взгляда, какой отличались многие из так называемых «паразитов», которые проводили большую часть времени на «своей» улице в ходьбе и толкотне, покупали одежду, ели в ресторанах, пили в барах и все время что-то говорили с пеной у рта, но со странным отсутствующим выражением лица, указывавшим на их полное безразличие к теме разговора. Впрочем, чары Бененхели явно действовали и на людей с нормальными глазами: всякий раз, как я проходил мимо старого слюнявого Готфрида Хельзинга, он игриво, заговорщически мне подмигивал, приветливо махал рукой и кричал: «Как насчет нового бесподобного собеседования? Поскорее бы!» — словно мы были закадычные друзья. Я пришел к выводу, что оказался в таком месте, куда люди приезжают забыться — или, точнее, затеряться в себе самих, окунуться в некий сон о том, кем они могли бы или предпочитали быть, — или, запамятовав, кем они были в прошлом, тихо отстраниться от себя нынешних. Эти люди могли быть лжецами, как Хельзинг,

или почти что кататониками [154], как бывший мэр, этот «почетный паразит», с утра до ночи сидевший неподвижно на табуретке бара на открытом воздухе и не произносивший ни слова, как будто он все еще пребывал в тиши и мраке алькова за большим деревянным гардеробом в доме его покойной жены. Атмосфера тайны, окутывавшая эту улицу, была, по сути дела, атмосферой незнания; что казалось загадкой, было в действительности пустотой. Эти вырванные с корнем и плывущие по течению люди стали по своей воле человеческими автоматами. Они не жили — только имитировали жизнь.

Местные, насколько я мог видеть, были в меньшей степени, чем «паразиты», одурманены наркотическими испарениями городка; но преобладающие в Бененхели рассеянное отчуждение и апатия в какой-то степени сказывались и на них. Мне пришлось три раза спрашивать Фелиситас и Рене-гаду о недавно приезжавшей сюда молодой женщине, которая, по словам Готфрида Хельзинга, искала встречи с Васко Мирандой. В первых двух случаях они пожимали плечами и

154 Примечания: 154

Кататония — нервно-психическое расстройство, характеризующееся мышечными спазмами, нарушением произвольных движений (прим. ред).

напоминали мне, что Хельзингу нельзя доверять; но когда однажды вечером я вернулся к этой теме еще раз, Ренегада подняла глаза от шитья и проговорила:

— Да, да, действительно, сейчас подумала и вспомнила -приезжала, богемная такая, вроде как искусствовед из Барселоны, реставратор картин или что-то в этом роде. Но ничегошеньки она не добилась своим кокетством и сейчас должна уже быть в своей Каталонии, там ей самое место.

У меня опять создалось сильное впечатление, что Фелиситас осуждает сестру за ее длинный язык. Она почесала бородавку и поджала губы, но ничего не сказала.

— Так что же, эта каталонка все-таки увиделась с Васко? -спросил я в возбуждении от открывшегося.

— Никто вам этого не сказал, — отрезала Фелиситас. — Нет смысла больше поднимать эту тему.

Ренегада покорно склонила голову и вновь занялась шитьем.

Во время моих прогулок я иногда встречал обильно потеющего Сальвадора Мединy — шефа гвардии, который при виде меня неизменно хмурился, снимал фуражку и принимался скрести

свои мокрые от пота кудри, словно силился сообразить, что это за тип такой идет ему навстречу. Мы никогда с ним не разговаривали — отчасти из-за того, что в испанском я все еще был слаб, хотя постепенно осваивался в нем благодаря ночному чтению книг и дневным урокам, даваемым мне сестрами Лариос, которым я за это приплачивал вдобавок к еженедельным расчетам за комнату и еду, отчасти из-за того, что английский язык отразил все попытки Сальвадора Медины овладеть им, подобно матерому преступнику, всегда на два шага опережающему закон.

Я был рад тому, что Медина настолько мало мною заинтересован, что тут же обо мне забывает: это значило, что индийским властям нет никакого дела до моего местопребывания. Я напоминал себе, что недавно совершил убийство, и приходил к выводу, что взрыв в доме жертвы наверняка стер следы моего преступления. Поверх сцены с моим участием бомба написала новую картину, навсегда скрыв от глаз следователей меньшее насилие под слоем большего. Еще одно доказательство отсутствия подозрений на мой счет я получил из банков. За годы, проведенные в небоскребе отца, я сумел припрятать солидные суммы в иностранных банках, в том числе на

номерных счетах в Швейцарии (так что, видите, я не был простым громилой и «тормозом», каким меня считал «Адам Зогойби»!) Насколько я мог понять, никаких вмешательств в мои финансовые дела не было, хотя многие стороны деятельности лопнувшей компании «Сиодикорп» подверглись расследованию и многие банковские счета были заморожены или помещены под контроль официального управляющего.

Странно, однако, что это преступление, которое, как ни верти, было убийством, и убийством жестоким, единственным убийством, за которое я нес ответственность, — что оно так быстро ушло на периферию моего рассудка. Возможно, мое подсознание, подобно правоохранительным органам, оказалось во власти и под впечатлением подавляющей реальности взрывов, которая стерла все письмена с грифельной доски моей совести. А может быть, это отсутствие чувства вины — это нравственное отупение — было подарком мне от Бененхели.

Физически я тоже чувствовал себя в неком межеумочном положении, в краю остановившегося времени, под знаком закупоренных песочных часов или клепсидры, в которой перестала течь ртуть. Даже астма не так меня мучила; какая,

думал я, удача для моих легких, что я попал здесь в единственный дом, где не курят, — ибо действительно в Бененхели везде, где бы я ни был, люди дымили как ненормальные. Чтобы избавиться от сигаретной вони, я шел на те увешанные колбасами улицы, где находились пекарни, кондитерские и мясные лавки; вдыхая сладкие ароматы мяса, теста и свежеиспеченного хлеба, я отдавал себя во власть непостижимых законов городка. Местный кузнец, главным занятием которого было изготовление цепей и наручников для авельянедской тюрьмы, кивал мне, как кивал всем проходящим, и выкрикивал по-испански с сильным местным акцентом: «Пока на воле гуляем, да? Поглядим, поглядим», — после чего он бренчал тяжелой цепью и разражался хохотом. Чем лучше я понимал испанский, тем дальше от «улицы паразитов» я забредал, благодаря чему мне удалось бросить несколько взглядов на другую ипостась Бененхели — городка, побежденного ходом истории, где ревнивцы в стоящих колом костюмах шпионили за своими невестами, убежденные, что эти невинные девушки им изменяют; где по ночам с громким цоканьем копыт давно умершие распутники проносились галопом по булыжной мостовой. Я начал понимать,

почему Фелиситас и Ренегада Лариос проводят все вечера дома за закрытыми ставнями, тихо переговариваясь между собой, пока я в моей маленькой уютной комнатке штудирую испанские книжки.

x x x

В среду на пятой неделе моего пребывания в Бененхели я вернулся домой после прогулки, во время которой угловатая молодая одноногая женщина насильно сунула мне в руку кое-как отпечатанный листок с требованиями противников абортов, чья организация называлась «Пожалейте Невинных Крошек — революционный крестовый поход в защиту нерожденных христиан»; она пригласила меня на митинг. Я резко оборвал ее, но тут же ощутил наплыв воспоминаний о сестре Флореас, которая несла знамя «защитников жизни» в самые перенаселенные районы Бомбея и которая теперь пребывает там, где проблема нежелательной беременности вряд ли существует; милая моя фанатичка Минни, теперь, надеюсь, ты счастлива… и еще я подумал о моем тренере по боксу, об одноногом, как эта женщина, Ламбаджане Чандивале Боркаре и его попугае Тоте, которого я всегда недолюбливал

и который бесследно исчез во время бомбейских взрывов. Размышляя о пропавшей птице, я почувствовал прилив ностальгии и горя и заплакал прямо на улице, сильно удивив молодую активистку, которая немедленно ретировалась к своим соратникам, в логово ПНК.

Таким образом, Мавр, вернувшийся к сестрам Лариос в их маленький домик на Calle de Miradores, был уже другим человеком, возвращенным силою случайного совпадения в мир чувств и страданий. Переживания, так долго спавшие во мне, омывали меня мощным потоком. Однако прежде, чем я смог сказать об этой перемене своим домохозяйкам, они наперебой затараторили, спеша сообщить мне, что украденные картины наконец прибыли, как я и ожидал, в «малую Альгамбру».

— Приехал грузовик… — начала Ренегада.

— …глухой-глухой ночью, как раз под нашими окнами прогрохотал… — перебила ее Фелиситас.

— …я закуталась в ребосо и выбежала…

— …и я тоже…

— …и мы увидели, как открылись ворота большого дома и грузовик…

— …въехал внутрь…

— …а сегодня камины были полны деревянных

обломков…

— …похожих на куски упаковочных ящиков — ну, вы понимаете…

— …он, наверно, всю ночь их разбирал!..

— …а в мусоре были кучи этого белого материала…

— …который дети любят кидать в огонь, чтобы хлопало…

— …пенопласта, вот…

— …да, и пенопласт там был, и волнистый картон, и железная лента…

— …значит, грузовик привез что-то крупное в упаковке, как же иначе?

Полной уверенности, конечно, не было, но я не мог в этом городке неясностей рассчитывать на большее. В первый раз за все время я начал размышлять о том, как пройдет моя встреча с Васко Мирандой. Когда-то, ребенком, я любил сидеть у его ног; но теперь, когда мы оба состарились, нам, можно сказать, предстояло сразиться за женщину, и сражение не обещало быть менее яростным из-за того, что женщина уже умерла.

Пора было думать о дальнейшем.

— Раз он не хочет меня видеть, придется вам провести меня туда тайком, — сказал я сестрам Лариос. — Другого пути я не вижу.

На рассвете следующего дня, когда солнечный свет лишь еле заметно коснулся вершин дальних гор, я отправился с Ренегадой Лариос к месту ее работы. Фелиситас, более полнотелая из двух, дала мне свою самую широкую черную юбку и блузку. На ногах у меня были безликие каучуковые сандалии, купленные в испанской части городка. Согнув в локте правую руку, я нес на ней корзину с моей собственной одеждой, скрытой под кучей тряпок, губок и флаконов; мой увечный кулак и моя голова были скрыты под ребосо, которое я крепко придерживал левой рукой.

— Не слишком-то вы похожи на женщину, — сказала Фелиситас Лариос, оглядывая меня своим, как всегда, критическим взором. — Хорошо, что еще темно и идти недалеко. Чуть пригнитесь и делайте шаги покороче. Будь что будет! Ради вас мы рискуем нашим заработком — надеюсь, вы это чувствуете.

— Ради вашей покойной матери, — поправила Ренегада единокровную сестру. — Наши матери тоже умерли. Поэтому мы вас понимаем.

— Оставляю пса на ваше попечение, — сказал я Фелиситас. — Особых хлопот с ним не будет.

— Это уж точно, — отозвалась она ворчливо. — Как только вы выйдете за дверь, он окажется вот

в этом чулане, и не воображайте, что он высунет оттуда нос до вашего возвращения. Мы тут не настолько сошли с ума, чтобы выгуливать чучело собаки.

Я попрощался с Джавахарлалом. Он, как и я, проделал долгий путь и, конечно, заслуживал под конец лучшей участи, чем чулан в чужой стране. Но чему быть, того не миновать. Я отправлялся выяснять отношения с Васко Мирандой, и Джавахарлалу предстояло стать всего-навсего еще одним брошенным андалусским псом.

x x x

Мой первый в жизни опыт пребывания в женской одежде напомнил мне историю о том, как Айриш да Гама облачился в свадебное платье своей жены и отправился развратничать в обществе Принца Генриха-мореплавателя; какой, однако, упадок, насколько обыденнее выглядела эта темная ткань, чем сказочный наряд Айриша, и насколько менее приспособлен я был к такому переодеванию! Когда мы пошли, Ренегада Лариос сказала мне, что бывший мэр городка — тот самый человек, который теперь, безымянный и одинокий, целыми днями сидит и пьет кофе на «улице паразитов» — когда-то был вынужден

идти по этим улицам в платье своей бабушки, потому что под конец его заточения их дом был назначен к сносу и семье пришлось переехать. Так что, помимо прецедента в семье, у меня нашелся предшественник среди местных жителей.

В первый раз за все время мы с Ренегадой оказались одни, без бдительного присмотра Фелиситас, но хотя она послала мне несколько недвусмысленных взглядов, я был слишком скован (и женским платьем, и нервозностью из-за того, что ближайшее будущее сулило неожиданности), чтобы реагировать. Мне показалось, что мы незамеченными проделали путь к служебному входу в «малую Альгамбру», хотя нельзя было с уверенностью сказать, что никакие любопытные глаза не смотрели на нас из темных окон домов на «улице застекленных балконов», пока мы поднимались по ней к нелепому и уродливому слоновьему фонтану Васко.

Над стеной крепости я на мгновение увидел яркое, порхающее зеленое пятнышко. «В Испании есть попугаи?» — шепотом спросил я Ренегаду, но не получил ответа. Возможно, она дулась из-за моего нежелания воспользоваться такой редкой возможностью для флирта.

В терракотово-красную стену около двери

была вделана маленькая панель с кнопками, и Ренегада быстро набрала четырехзначный код. Дверь, щелкнув, открылась, и мы вошли в логово Миранды.

Я испытал столь мгновенное и мощное ощущение «дежа вю», что голова у меня закружилась. Немного придя в себя, я подивился изобретательности, с какой Васко Миранда выстроил интерьер своей крепости по образцу интерьеров на картинах Ауроры из цикла «мавров». Я стоял в открытом дворике с центральной площадью-пьяццей, вымощенной плитами в шахматном порядке и обрамленной аркадами; в окна на противоположной стороне видна была широкая равнина, переливающаяся, как океан, в лучах рассветного солнца. Дворец, окруженный морским миражем, частью арабский, частью могольский, заставляющий вспомнить де Кирико [155], он был тем самым местом, где, по словам Ауроры, «миры сталкиваются, вливаются и выливаются один из другого, притекают и утекают». Местом, где «воздуходышащий человек должен отрастить жабры, иначе он может потонуть; где водяное существо может напиться воздухом допьяна или

155 Примечания: 155
Джордже де Кирико (1888-1978) — итальянский художник.

задохнуться в нем». Хотя дом несколько обветшал и сады пришли в упадок, я действительно оказался в Мавристане.

Проходя одну за другой пустые комнаты, я обнаруживал интерьеры, имитирующие картины Аурoры, и чуть ли не ожидал, что сейчас передо мной появятся их персонажи и начнут разыгрывать перед моими недоверчивыми глазами свою печальную повесть; я чуть ли не ожидал, что сам превращусь в пестрого, раскрашенного ромбами Мавра, чья трагедия — трагедия Множественности, побежденной Единством, — была сквозным мотивом всего цикла. Я воображал, что моя увечная рука в любой момент может вспыхнуть цветком, солнцем, пламенем! Васко, который всегда считал, что Аурора украла у него идею «мавров», воспользовавшись его слезливым конным кичем, употребил бешеные деньги и бездну энергии, рожденной глубочайшим безумием, для того, чтобы присвоить созданный ею мир. На любви зиждился этот дом или на ненависти? Если истории, которые я слышал, были правдивы, здесь была подлинная Палимпстина, в которой его нынешний горький гнев покрывал своим створаживающим слоем память о прежней, утраченной сладости и романтической сказке.

Ибо воистину в этой блестящей имитации было нечто скисшее, была некая зависть; и по мере того, как разгорался день и у меня проходил шок узнавания, я начинал видеть промахи в этом грандиозном сооружении. Васко Миранда так и не избавился от своей всегдашней вульгарности, и то, что Аурора вообразила столь живо и столь роскошно, Васко пытался передать красками, которые, как стало видно при свете дня, отстояли от первоисточника на то небольшое, но ощутимое расстояние, каким подделка бывает отделена от радующего глаз подлинника. С пропорциями в этом здании дело тоже обстояло неважно, все его линии были смещены. Нет, чудом его все-таки нельзя было назвать; мое первое впечатление оказалось иллюзией, и эта иллюзия уже поблекла. «Малая Альгамбра», при всех ее размерах и пышности, была отнюдь не Новым Маврусалимом, а уродливым и претенциозным строением.

Я не увидел даже следа украденных картин и той техники, о которой говорили Ренегада и Фелиситас. Дверь, ведущая в высокую башню, была наглухо заперта. Васко должен быть там, наверху, со своей аппаратурой и чужими секретами.

— Я хочу переодеться в свою одежду, — сказал я Ренегаде. -Я не могу предстать перед старым

хрычом в таком виде.

— Так переодевайтесь на здоровье, — ответила она, не моргнув глазом. — Ничего нового для себя я у вас не увижу.

Я не узнавал Ренегаду; после того, как мы вошли в «малую Альгамбру», она начала разговаривать со мной повелительно и по-хозяйски. Без сомнения, она заметила растущее недовольство, с каким — после нескольких первоначальных возгласов восторга — я рассматривал дом, который, как бы то ни было, она лелеяла долгие годы. Естественно, она ждала от меня большего восхищения. Тем не менее ее замечание было грубым и бестактным, и я не смолчал.

— Думайте, что говорите, — сказал я ей и, не обращая внимания на ее сердитый взгляд, прошел в соседнюю комнату, чтобы там спокойно переодеться. Делая это, я услышал шум, источник которого находился на некотором отдалении. Это была мерзейшая какофония — смесь женских визгов, звона обратной связи в звуковых усилителях, завываний неясного происхождения, гудков и писков, производимых компьютером, и бренчащего металлического аккомпанемента, вызывающего в воображении кухню в разгар землетрясения. Вот, значит, о какой «авангард-

ной музыке» они мне говорили. Выходит, Васко Миранда проснулся.

Ренегада и Фелиситас недвусмысленно заявляли мне, что не видели своего отшельника-хозяина уже больше года, поэтому, выйдя из комнаты, где я переодевался, я с крайним изумлением узрел дородную фигуру старика Васко, поджидающего меня в шахматном дворике, и стоящую с ним бок о бок экономку; и не просто стоящую, а игриво щекочущую его метелкой из перьев, от чего он хихикал и блаженно повизгивал. На нем и впрямь был мавританский наряд, о котором говорили мне сестры, и в своих пышных шароварах и расшитом камзоле, надетом поверх пузырящейся рубашки без воротника, он выглядел как подрагивающая студенистая груда турецкого рахат-лукума. УСЫ его поникли (от стоящих торчком вощеных сталагмитов не осталось и следа), а голова была столь же лысой и пятнистой, как поверхность Луны.

— Хи-хи, — фыркал он, отмахиваясь от Ренегадиной метелки. — Ола, намаскар, салам — здравствуй, милый мой Мавр. Выглядишь ужасно: того и гляди откинешь копыта. Что, мои женщины плохо тебя кормили? Этот маленький отдых не пошел тебе на пользу? Сколько же лет

мы не виделись? Бог ты мой — четырнадцать! Да. Не слишком милосердно эти годы с тобой обошлись.

— Если бы я знал, Миранда, что вы так… доступны, -сказал я, гневно глядя на экономку, — я не стал бы затевать этот дурацкий маскарад. Напрасно я поверил россказням о вашем отшельничестве.

— Каким россказням? — возмутился он неискренне. Потом, смягчившись, добавил: — Если кое-что и преувеличено, то лишь в некоторых мелких деталях.

Взмахом руки он велел Ренегаде удалиться. Без единого слова она положила метелку и отошла в угол двора.

— Мы тут в Бененхели действительно ценим неприкосновенность частной жизни, — сказал Васко, — как и ты, между прочим, судя по тому, как ты взволновался из-за переодевания! Ренегада от души повеселилась. Но о чем бишь я? Ах, да. Как ты, возможно, заметил, Бененхели определяется тем, чего здесь нет, — в отличие от большей части округи и, безусловно, в отличие от всего побережья, наш городок свободен от таких уродств, как ночные клубы «коко-локо», автобусы с туристическими группами, ослики-такси, «камбиос»

для обмена валюты и продавцы соломенных сомбреро. Наш замечательный сержант Сальвадор Медина обороняется от подобных уродств, организуя любому, кто осмелится насаждать их, ночное избиение в одном из темных переулков городка. Сальвадор Медина, кстати, терпеть меня не может, как и всех вновь прибывших, но, подобно тем иммигрантам, кто сумел хорошо устроиться — то есть подавляющему большинству «паразитов», — я приветствую его политику, препятствующую дальнейшему наплыву иностранцев. Мы-то уже здесь, и очень хорошо, если кто-то захлопнул дверь, в которую мы вошли.

— Ну не прелестно ли у меня в Бененхели? — продолжал он, неопределенно взмахнув рукой в направлении океанского миража, светившего в окна. — Ни тебе грязи, ни болезней, ни коррупции, ни фанатизма, ни кастовой ограниченности, ни карикатуристов, ни ящериц, ни крокодилов, ни магнитофонной музыки, а главное — никакой тебе семьи Зогойби! Прощай, Аурора, прощай, великая и ужасная! Прощай, мошенник, прощай, высокомерный Авраам!

— Не совсем так, — возразил я. — Потому что я вижу, что вы попытались — с ограниченным, надо сказать, успехом -окружить себя подобием

воображаемого мира моей матери, прикрыть им, как фиговым листком, вашу несостоятельность; к тому же у вас находятся кое-какие уцелевшие работы Зогойби, и вопрос о похищенных картинах ждет своего разрешения.

— Они там, наверху, — пожал плечами Васко. — Ты должен быть доволен, что их для меня своровали. Настоящее ура для них! Тебе следовало бы ноги мне целовать за это. Если бы не моя команда профессионалов, они превратились бы в горелые тосты.

— Я требую, чтобы вы провели меня туда немедленно, -сказал я твердо. — А после этого, возможно, Сальвадор Медина окажет мне маленькую услугу. Возможно, мы отправим за ним вашу экономку Ренегаду или просто позвоним ему по телефону.

— Что ж, милости прошу наверх — поглядим, что там есть, — отозвался Васко, на вид нимало не обеспокоенный. — Только сделай одолжение, не спеши, ведь я человек тучный. Что касается остального, я не думаю, что ты действительно жаждешь общения с правосудием. Что лучше в твоих обстоятельствах: инкогнито или когнито? Разумеется, первое. Кроме того, моя возлюбленная Ренегада никогда меня не предаст. И разве

тебе никто не говорил, что телефонный провод уже годы как перерезан?

x x x

— Вы сказали «моя возлюбленная Ренегада»?

— И моя возлюбленная Фелиситас. Они не причинят мне вреда даже за все золото мира.

— Это значит, что две сестрички сыграли со мной жестокую шутку.

— Никакие они не. сестрички, бедный ты мой Мавр. Они любовницы.

— Друг друга?

— Уже пятнадцать лет. И четырнадцать лет — мои. Мне долгие годы бог знает какую чушь внушали-втолковывали про всякое там единство в многообразии. И теперь не кто иной, как я, Васко, с моими девочками сотворил такое сообщество.

— Мне нет никакого дела до ваших постельных занятий. Пусть скачут на вас, сколько хотят, как на старом пухлом матрасе! Мне-то что? Меня бесит то, что меня надули.

— Но ведь надо было дождаться картин. Какое тут надувательство? И надо было заманить тебя сюда так, чтобы никто не знал.

— Для чего?

— Для чего? А для того, чтобы одним махом избавиться от всех Зогойби, до каких я могу дотянуться, — от четырех картин и одного человека, последнего, как выясняется, в этом проклятом роду; иными словами — для того, чтобы вышло одним кусом пять.

— Пистолет? Васко, вы спятили? Мне грозить пистолетом?

— Всего-навсего маленький пистолетик. Но он у меня в руках. Огромное ура для меня; а для тебя — увы.

x x x

Меня ведь предупреждали. Васко Миранда — зловредный дух, а они — ею сообщницы. Я своими глазами видел, как они превращались в летучих мышей.

Но похоже, я с самого начала был у него в руках. Интересно, какая часть жителей городка действует с ним заодно? Сальвадор Медина, пожалуй, все же нет. Готфрид Хельзинг? Насчет телефона сказал правду, но в остальном напустил туману. А остальные? Не плели ли они заговор против меня, не разыгрывали ли грандиозный спектакль, повинуясь властным требованиям Васко? Какие денежные суммы здесь перешли из рук в

руки? Не состоят ли все эти люди в каком-нибудь оккультном масонском обществе вроде «Opus Dei»? И как далеко в прошлое идут нити заговора? Таксист Бивар, сотрудник службы иммиграции, странный экипаж самолета по пути из Бомбея… «Одним кусом пять», — сказал Васко. Именно так и сказал. Не тянутся ли сюда некие щупальца от взорванной виллы в Бандре, не месть ли это мне со стороны жертв? Я почувствовал, как мой разум дрейфует, словно сорванный с якоря корабль, и прекратил мои беспочвенные и бесполезные умствования. Мир все равно непознаваем, он — тайна за семью печатями. Мне следовало сосредоточиться на загадке текущего момента.

x x x

— Итак, Одинокий Объездчик и его верный Тонто заперты воинственными индейцами в горной долине, — сказал Васко Миранда, с одышкой поднимаясь по лестнице позади меня. — Одинокий Объездчик говорит: «Игра кончена, Тон-то. Мы окружены». А Тонто отвечает: «Что значит — мы, белый человек?»

Высоко над нами находился источник скрежещущей какофонической музыки, которую я все время слышал. Это были нечеловеческие,

выматывающие душу звуки, садистские, безжизненные, отчужденные. В начале нашего восхождения я пожаловался на них Васко, но он только отмахнулся.

— В некоторых районах Дальнего Востока, — сообщил он мне, — подобная музыка считается чрезвычайно эротической.

Чем выше мы поднимались, тем громче приходилось ему говорить, чтобы я его слышал. В моей голове начала пульсировать боль.

— Одинокий Объездчик и Тонто располагаются лагерем на ночь, — прокричал Васко. — «Разведи огонь, Тонто», — говорит Одинокий Объездчик. — «Сейчас, кимо сабай». — «Принеси из ручья воды, Тонто». — «Сейчас, кимо сабай». — «Свари кофе, Тонто». И так далее. Вдруг Тонто издает возглас отвращения. «Что случилось?» — спрашивает Одинокий Объездчик. «Ф-ф-фу, — отвечает Тонто, рассматривая подошвы своих мокасин. — Я, кажется, вляпался в большую кучу кимо сабай».

Краем сознания я припомнил, что таксист Бивар, любитель вестернов, носивший имя средневекового, закованного в броню ковбоя Родриго де Бивара по прозвищу Сид, второго по значению после Дон-Кихота испанского странствующего рыцаря, предостерег меня относительно Бенен-

хели, копируя интонации не то Джона Уэйна в любом его фильме, не то Илая Уоллака в «Великолепной семерке»: «Смотри в оба, друг. Там индейский край».

Но сказал ли он это в действительности? Может быть, это ложное воспоминание или полузабытый сон? Я больше ни в чем не был уверен. За исключением, пожалуй, того, что взаправду дошел до края, что край этот не то индейский, не то индийский и что вокруг становится все больше кимо сабай.

В некотором смысле я всю жизнь провел в индейском краю, учась читать его знаки и красться по его тропам, радуясь его необъятности и его неистощимой красоте, сражаясь за территорию, воссылая в вышину дымовые сигналы, колотя в его барабаны, продвигая вперед границы, прокладывая путь сквозь опасности, надеясь найти друзей, страшась его жестокости, тоскуя по его любви. Даже индеец не мог в индейском краю спать спокойно, если он был индейцем не того сорта, не так украшал голову, не на том языке изъяснялся, не те танцы танцевал, не тем богам молился, не в той компании разъезжал. Меня всегда удивляло, как бережно воины, нападавшие на человека в маске с серебряными пулями,

обращались с его перьеголовым дружком. В нашем индейско-индийском краю не было места человеку, который не хотел принадлежать племени и мечтал о выходе за его границы; о том, чтобы содрать с себя кожу и обнажить свое внутреннее лицо (ибо таков, если хотите, секрет обретения личности для любого человека); о том, чтобы встать перед раскрашенными по-боевому храбрецами и открыть им голое, очищенное единство плоти.

x x x

Ренегада не стала подниматься с нами на башню. Скорее всего, маленькая предательница побежала в объятия своей украшенной бородавкой любовницы, чтобы вместе порадоваться моему пленению. Через узкие окна-бойницы на винтовую лестницу сочился призрачный свет. Стены башни были по меньшей мере метровой толщины, из-за чего в ней было прохладно, даже зябко. Пот на спине высох, и меня пробрала легкая дрожь. Васко, пыхтя и отдуваясь, карабкался за мной следом — бочкообразное привидение с пистолетом. В этом «замке Миранды» двум не знающим покоя духам — последнему из Зогойби и его сумасшедшему врагу — предстояло

исполнить финальные па своего потустороннего танца. Все были мертвы, все было потеряно, и в полумгле могла разыгрываться лишь эта фантомная повесть. Не серебряными ли пулями заряжен пистолет Васко Миранды? Говорят, сверхъестественное существо можно убить только серебряной пулей. Как раз мой случай, если я превратился в призрака.

Мы миновали помещение, которое, вероятно, было мастерской Васко, и я краем глаза заметил неоконченную картину, где был изображен снятый с креста и лежащий на коленях у плачущей женщины труп, у которого из пробитых гвоздями рук сыпались кусочки серебра — без сомнения, ровно тридцать. Эта «анти-пьета» явно входила в цикл об «Иуде Христе», про который мне говорили. Лаже беглого взгляда на холст мне хватило, чтобы ощутить приступ тошноты от этой сумрачной пародии на Эль Греко, и я мысленно пожелал, чтобы Васко больше не возвращался к задуманному циклу.

На следующем этаже он провел меня в комнату, где я увидел — отчего сердце у меня заколотилось — неоконченное полотно совсем иного уровня: последнюю работу Ауроры Зогойби, страдальческий всплеск ее материнской любви, способной

возвыситься до прощения действительных и мнимых бесчинств любимого сына, — «Прощальный вздох мавра». Еще в этой комнате стояла громоздкая аппаратура -рентгеновская, заключил я; вдоль одной из стен шла обширная стеклянная панель с лампами для подсветки, к которой были прикреплены рентгеновские снимки. Васко явно обследовал украденную картину квадрат за квадратом, словно, заглянув под ее поверхность, он надеялся хотя бы сейчас раскрыть и присвоить секрет гения Ауроры. Словно он, как герой сказки, искал волшебную лампу.

Васко закрыл дверь, и терзающая уши музыка разом умолкла. Очевидно, в комнате была высококачественная звукоизоляция. Однако свет в ней (окна-бойницы закрывала черная ткань, так что оставалось лишь слепящее белое сияние от подсвеченной панели) был почти таким же давящим, как музыка.

— Чем это вы здесь занимаетесь? — спросил я Васко, сознательно стараясь говорить как можно грубее. — Живописи учитесь?

— Я вижу, ты унаследовал острый язычок семейства Зогойби, — отозвался он. — Но лучше бы ты не насмехался над человеком с заряженным пистолетом; мало того, над человеком, который

оказал тебе услугу, разгадав тайну смерти твоей матери.

— Я и сам знаю разгадку, — сказал я. — Она не имеет ничего общего с этой картиной.

— Вы, Зогойби, высокомерны до крайности, — продолжал Васко Миранда, полностью проигнорировав мое замечание. — Как бы вы ни третировали человека, вы все равно уверены, что он готов ради вас на все. Твоя мать думала обо мне именно так. Ведь она мне писала, знаешь ты об этом? Незадолго до смерти. После четырнадцати лет молчания — крик о помощи.

— Вы лжете, — заявил я ему. — Какую помощь вы могли ей оказать?

— Она была напугана, — сказал он, вновь пропустив мои слова мимо ушей. — Писала, кто-то хочет ее убить. Кто-то злобный, ревнивый и безжалостный, у кого не дрогнет рука. Она каждую минуту ждала смерти.

Я старался сохранять презрительную мину, но на меня не мог не произвести впечатления образ моей матери во власти такого ужаса — и такого одиночества, — что она обратилась к этой отыгранной карте, к этому давным-давно отвергнутому шуту. Я не мог не увидеть мысленным взором ее искаженное страхом лицо. Она

ходила, ломая руки, взад и вперед по мастерской и вздрагивала от любого звука, как от предвестника гибели.

— Я знаю, что случилось с моей матерью, — сказал я тихо. Васко взорвался.

— Послушать вас, Зогойби, так вы знаете все на свете! Но вы ничего не знаете! Ничегошеньки! Это я, я — Васко, которого вы все презирали, аэропортно-гостиничный мазила, недостойный даже поцеловать край одежд твоей великой матери, халтурщик от искусства, чертов фигляр — на этот раз именно я знаю истину.

Он вырисовывался темным силуэтом на фоне световой панели, окруженный рентгеновскими снимками.

— Если меня убьют, писала она, я хочу, чтобы имя преступника стало известно. Поэтому она скрыла под своей последней картиной его портрет. Просвети холст рентгеном, писала она мне, и увидишь лицо убийцы.

Он держал письмо в руке. Итак, наконец, в это миражное время, в этом обманном месте — простой факт. Я взял у него письмо, и мать заговорила со мной из могилы.

— Теперь взгляни-ка. — Васко махнул рукой с пистолетом в сторону рентгеновских изображе-

ний. Молча, в смятении я повиновался. Сомнений не могло быть: картина была палимпсестом, из фрагментов-негативов складывался портрет человека в полный рост, скрытый под слоем краски. Но Раман Филдинг был по комплекции похож на Васко, а портрет-призрак, напротив, изображал высокого и худощавого мужчину.

— Это не Мандук, — вырвалось у меня против моей воли.

— В самую точку! Абсолютное ура, — отозвался Васко. -Лягушка — существо безобидное. Но этот! Не признал еще? Доверься своим предчувствиям и послечувствиям! Здесь он присутствует тайно, но ты видал его явно! Разуй глаза -перед тобой главный Бяка собственной персоной. Блофельд, Могамбо, дон Вито Корлеоне: узнаешь типчика?

— Это мой отец, — сказал я, и это действительно был он. Я грузно осел на холодный каменный пол.

x x x

Хладнокровно. Это слово никому так хорошо не подходило, как Аврааму Зогойби. Начав достаточно скромно (заставив строптивого капитана отправиться в плавание), он поднялся до эдемских высот, откуда, как льдистое божество,

сеял ужас среди копошащихся внизу простых смертных, включая — и в этом он отличался от большинства богов -своих собственных родных и близких. — Обрывки мыслей сами собой возникали в моем сознании, требуя подтверждения, или рассмотрения, или не знаю чего еще. — Подобно Супермену, я получил дар рентгеновского зрения; в отличие от него, благодаря этому зрению, я узнал, что мой отец -самый большой злодей из когда-либо живших. — А кстати, если Ренегада и Фелиситас — не единокровные сестры, какие у них настоящие фамилии? Лоренсу, дель Тобосо, де Малиндранья, Каркульямбро? — Но мой отец, я же думал о моем отце Аврааме, который дал начало расследованию таинственной смерти Ауроры; который не мог о ней забыть и видел ее призрак в своем поднебесном саду, — искало ли здесь выхода его чувство вины, или это была часть его громадного, хладнокровного плана? Об Аврааме, который сказал мне, что Сэмми Хазаре дал под клятвой письменные показания Дому Минто, показания, которых никто никогда не видел, но на основании которых я забил человека до смерти. — А Готфрид Хельзинг? Возможно ли, что он не знает правды о самозванных «сестрах Ларисе», — или же его безразличие столь велико,

что он просто-напросто не счел нужным проинформировать меня? Неужто среди «паразитов» Бененхели так ослабло чувство человеческой общности, что никто уже не ощущает ни капли ответственности за судьбу ближнего? — Да, забил, именно забил. Колотил по лицу, пока оно не превратилось в кровавое месиво. А Чхагган — его нашли в канаве; подозрение пало на Сэмми Хазаре, но, может быть, тут поработала другая, незримая рука. — А как, черт возьми, звали актеров, которые играли человека в маске и его индейца? Эй-би-си-ди… джей, да, конечно, Джей, но не Серебряная Пуля, а Серебряная Пятка, Силверхилз. Вождь Джей Силверхилз и Клейтон Мур [156]. — О Авраам! Почему с такой готовностью ты возложил сына на алтарь твоего гнева? Кого ты нанял, чтобы тот пустил отравленный дротик? И существовал ли этот дротик вообще, или тут сработало более скользкое средство — тюбика вазелина хватило бы, чтобы исполнить убийственный замысел, тонкий слой в нужном месте, так легко нанести, так легко стереть; по какой

156 Примечания: 156

Актеры Клейтон Мур (р. в 1914 г.) и Джей Силверхилз (1919-1980 — наст, имя Гарольд Смит, и он действительно был сыном индейского вождя) играли главные роли в популярном американском вестерне «Одинокий объездчик» (1955 г.).

причине, в конце концов, я поверил рассказу Минто? О, я был по уши погружен в фикции, и все вокруг было пронизано убийством. — Мой мир был сумасшедшим миром, и я был в нем сумасшедшим; как я могу обвинять Васко, когда мы, Зогойби, с таким безумием обрушивались друг на друга и на тех несчастных, кто попадался под руку? — А Майна, моя сестра Майна, убитая взрывом? Майна, отправившая за решетку махинатора от политики и заставившая собственного отца откупаться по-крупному? Может быть, дочь тоже погибла от его руки? Может быть, это была репетиция, устроенная нашим папочкой перед последующим уничтожением собственной жены? — А она, Аурора? Виновна она или нет? Она уверовала в мою вину, которой не было; мне теперь следует избегать подобной ловушки. Была ли она неверна, дала ли этим Аврааму повод для ревности и гнева? И после целой жизни, которую он провел в ее тени, исполняя все ее прихоти (тогда как в отношениях с другими он сделался всесильным чудовищем, дьяволом), он убил ее и использовал ее таинственную смерть, чтобы обмануть меня и заставить меня разделаться с его врагом? — Или она была невинна и чиста, как настоящая индийская мать, а он, приняв

добродетель за порок, поступил как безумный, нерассуждающий ревнивец? — Как можно вершить суд над прошлым, когда оно сметено взрывами и обратилось в прах? Как осмыслить жизнь, ставшую руинами? — Бесспорно одно: судьба и родители сыграли со мной злую шутку. — Этот пол очень холодный. Я должен с него встать. Надо мной по-прежнему возвышается этот толстяк, и дуло его пистолета направлено в мое сердце.

20

Я потерял счет дням с той поры, как началось мое тюремное заключение на самом верху башни в безумной горной крепости Васко Миранды в андалусском городке Бененхели; но теперь, когда оно позади, я должен записать мои воспоминания об этом ужасном времени — хотя бы лишь для того, чтобы воздать должное героизму женщины, которая делила со мной заточение, той, чья отвага, изобретательность и спокойствие позволили мне выжить и рассказать мою повесть. Ибо, как я обнаружил в тот день, когда увидел столь многое, я был не единственной жертвой безумца Васко Миранды, помешанного на памяти о моей умершей матери. Была еще одна заложница.

Все еще глубоко потрясенный тем, что открылось мне в рентгеновской комнате, я по приказу Васко должен был продолжить восхождение. И наконец поднялся в круглое помещение, где мне предстояло так долго гнить заживо, где, оглушенный отвратительными звуками из вмонтированных в стену громкоговорителей, уверенный в неизбежности смерти и утешаемый только этой удивительной женщиной, светив-

шей мне сквозь тьму, словно маяк, я ухватился за нее и только поэтому не утонул.

Посреди этой комнаты стояла на мольберте другая картина — Боабдил в версии Васко, слезливый всадник, который благополучно доскакал до Испании, покинув дом своего покупателя С. П. Бхабы и вернувшись к автору. То, что творилось в «Элефанте», — убийство, месть и живопись -закончило свой путь в Бененхели. Первая работа Васко на холсте и последняя — Ауроры, его полное надежд начало и ее печальный финал; две украденные картины, посвященные одной и той же теме и таящие под слоем краски изображения обоих моих родителей. (Я так и не увидел других украденных «мавров». Васко заявил, что искромсал полотна и сжег вместе с упаковкой: дескать, ему нужен был только «Прощальный вздох мавра», а остальное просто затушевывало этот факт).

В нижнем круге этого восходящего ада рентгеновские лучи вынесли обвинение Аврааму Зогойби, однако снимков скрытой Ауроры Миранде было бы мало. Мавр работы Васко подлежал уничтожению, его соскабливали кусочек за кусочком; моя молодая мать, эта мадонна с обнаженной грудью и без младенца, которая в

свое время так возмутила Авраама, постепенно выходила из долгого заточения. Но ее свобода покупалась ценой свободы другого человека. Мне не понадобилось много времени, чтобы увидеть, что женщина, стоявшая у мольберта, снимавшая с холста чешуйки краски и клавшая их на блюдо, была прикована за щиколотку цепью к стене из красного кирпича.

По происхождению она была японка, но большую часть своей профессиональной жизни провела в Европе, где работала в крупных музеях реставратором. Потом вышла замуж за испанского дипломата, некоего Бене, и ездила с ним по всему свету, пока их брак не расстроился. Вдруг, ни с того ни с сего, Васко Миранда позвонил ей в Барселону, в фонд Жоана Миро, неопределенно сказал, что «имеет о ней самые лестные отзывы», и пригласил ее в Бененхели обследовать недавно приобретенные им картины-палимпсесты и дать о них свое заключение. Хотя она отнюдь не была его почитательницей, она не нашла способа отказать ему, не обидев его; к тому же ей было любопытно заглянуть за высокие стены его легендарного убежища и, возможно, попытаться понять, что за лицо кроется под маской знаменитого затворника. Когда она приехала в «малую

Альгамбру» и привезла с собой орудия своего ремесла, о чем он попросил ее особо, он показал ей «мавра» своей работы и рентгеновские снимки скрытого под ним портрета, после чего спросил, может ли она снять верхний слой и тем самым эксгумировать погребенную картину.

— Это рискованно, но, пожалуй, возможно, — сказала она ему после беглого обследования. — Но вы же не станете уничтожать вашу собственную работу.

— Именно этим я предлагаю вам заняться, — ответил он.

Она отказалась. Хотя она отнюдь не была в восторге от «мавра» Васко и считала эту вещь малохудожественной, ее совершенно не привлекала перспектива провести недели, а то и месяцы кропотливого труда, уничтожая, а не сохраняя, произведение искусства. Ее отказ был вежливым и деликатным, но он поверг Миранду в ярость.

— Цену себе набиваете, да? — крикнул он и назвал сумму, настолько дикую, что ее худшие опасения по поводу состояния его психики получили подтверждение. После ее повторного отказа он вынул пистолет, и началось ее заточение. Он не отпустит ее, сказал он, пока она не окончит работу; если же она станет отлынивать, он «при-

стрелит ее, как собаку». Ей пришлось взяться за дело.

Придя в ее камеру, я удивленно воззрился на цепи. Этот местный кузнец, видать, безотказный малый, раз он с таким равнодушием оборудует частные дома подобными штучками. Потом я вспомнил его выкрики — «Пока на воле гуляем, да? Поглядим, поглядим», — и вернулось гнетущее ощущение всеобщего заговора.

— Будет вам компания, — сказал Васко женщине, после чего, повернувшись ко мне, объявил, что по старому знакомству и доброте своей широкой, порывистой натуры он откладывает на время мою казнь.

— Давай-ка вспомянем вместе прежние деньки, — предложил он игриво. — Раз уж Зогойби суждено быть сметенными с лица земли — раз уж за делишки папаши и мамаши суждено расплачиваться сыну — пусть тогда последний из Зогойби расскажет их прескверную повесть.

Каждый день после этого он приносил мне карандаш и бумагу. Он сделал из меня Шехерезаду. Пока то, что я пишу, будет ему интересно, я буду жить.

Узница, делившая со мной камеру, дала мне хороший совет.

— Тяните время, — сказала она. — Именно этим занимаюсь здесь я. Чем дольше мы живы, тем выше наши шансы на спасение.

У нее была раньше жизнь, среда — были работа, друзья, дом, — и рано или поздно ее отсутствие должно было вызвать подозрения. Васко понимал это и заставлял ее писать письма и открытки, продлевать отпуск на работе и объяснять знакомым, что ее удерживает здесь «завороженность» пребыванием внутри тайного мира знаменитого В. Миранды. Это оттягивало выяснения, но не могло оттягивать их беспредельно, потому что она намеренно делала в письмах ошибки — например, называла любовника или собачку подруги не тем именем; когда-нибудь кто-нибудь должен был почувствовать неладное. Услыхав об этом, я пришел в несообразное возбуждение, поскольку уныние, овладевшее мною после рентгеновских разоблачений Васко, лишило меня всякой надежды на спасение. Теперь надежда возродилась, и я обезумел от радости. Но узница мигом охладила мой пыл.

— Удача маловероятна, — сказала она. — Люди, как правило, очень невнимательны. Они не читают — только просматривают. Они не ждут никаких закодированных сообщений и, если

получат, скорее всего не заметят.

На эту тему она рассказала мне следующую историю. В 1968 году, во время «пражской весны», один ее американский коллега находился в Чехословакии с группой студентов, изучавших искусство. Когда первые советские танки вошли в город, они были на Вацлавской площади. Во время начавшихся беспорядков этот преподаватель среди прочих случайных лиц, попавшихся под руку карательным органам, был арестован и двое суток провел в тюрьме, пока американский консул не добился его освобождения. Сидя в камере, он увидел нацарапанный на стене код для перестукивания и с энтузиазмом принялся слать сообщения тому, кто мог находиться по соседству с ним. Спустя примерно час дверь его камеры вдруг распахнулась, и ввалившийся охранник со смехом сказал ему на грязном и ломаном английском, что сосед хочет, чтобы он «кончал со своим поганым стуком», потому что ему, соседу, «никто не дал этот греба-ный код».

— К тому же, — продолжала она холодно, — если даже явится помощь, если даже полицейские примутся колотить в ворота этого жуткого дома, как можно быть уверенными, что Миранда отдаст нас живьем? Сейчас он живет только на-

стоящим, освободившись от цепей будущего. Но если наступит это самое завтра, если ему придется встретиться с ним лицом к лицу, он может предпочесть смерть, как лидер одной из экстремистских религиозных группировок, о которых мы все чаще и чаще слышим, и вполне вероятно, что он захочет убить за компанию нас всех — и мисс Ренегаду, и мисс Фелиситас, и меня, и вас.

Мы познакомились в самом конце наших жизненных путей, и поэтому я не смогу воздать ей по справедливости. Нет ни времени, ни места, чтобы обрисовать ее, так сказать, в полный рост; хотя у нее тоже была своя история, она любила и была любима, она была человеческим существом, а не просто пленницей в этой отвратительной толстостенной темнице, чей холод заставлял нас дрожать по ночам и для тепла прижиматься друг к другу, завернувшись в мое кожаное пальто. У меня нет возможности рассказывать о ее жизни, я могу только восхвалить щедрую силу, с какой она обнимала меня в эти нескончаемые ночи, когда я слышал шаги близящейся Смерти и падал духом. Я могу только вспомнить, как она шептала мне на ухо, как пела мне и как шутила. Она знавала в прошлом другие, более добрые стены, смотрела в другие окна, не похожие на эти

бритвенные разрезы в толще красного кирпича, сквозь которые днем падал свет, расчерчивая нашу клетку словно бы тюремными прутьями, и которые не могли пропустить наружу ни единого крика о помощи. Сквозь те, счастливые окна она, наверно, окликала родных или друзей; здесь такой возможности не было.

Вот то немногое, что я могу сказать. Ее имя было настоящим чудом гласных: Аои Уэ. Она была маленькая, худощавая, бледная. Ее лицо представляло собой гладкий овал без морщин и складок, на котором размытые, продолговатые пятнышки бровей располагались необычайно высоко, придавая лицу постоянное выражение легкого удивления. Это лицо не имело возраста. Он мог быть любым от тридцати до шестидесяти лет. Готфрид Хельзинг назвал ее «симпатичной маленькой штучкой», Ренегада Лариос — или как там ее по-настоящему кличут — определила ее как «богемную» женщину. Обе характеристики страдали неточностью. Она была чрезвычайно выдержанна и отнюдь не казалась девчушкой; там, в большом мире подобное самообладание выглядело бы чуть ли не пугающим, но в роковом круге нашего заточения оно стало моим оплотом, моей дневной пищей и моим ночным ложем. Не

ощущалось в ней также ничего своевольного, ничего беспорядочного — напротив, это был в высшей степени дисциплинированный дух. Ее вежливость, ее точность разбудили во мне мое старое "я", напомнив мне о моей детской любви к аккуратности и порядку, которую я принес в жертву зверским императивам уродливой руки-кувалды. В ужасных обстоятельствах нашего цепного существования Аои была проводником необходимой дисциплины, и я безоговорочно ей повиновался.

Она придала нашим дням форму, установив распорядок, которого мы неукоснительно придерживались. Рано утром нас будила «музыка», которая звучала целый час и которую Миранда упорно называл "восточной' и даже «японской», но при всей оскорбительности этих определений для японки она ни разу не доставила Васко удовольствия изъявлением протеста. Звуки терзали нас, но в это время мы по предложению Аои справляли наши телесные нужды. Каждый из нас по очереди отворачивался, ложась лицом к стене, а другой в это время пользовался одним из двух ведер, которыми снабдил нас Васко, самый кошмарный из тюремщиков; шум, мучивший наш слух, заглушал звуки испражнения. (Каждый

из нас время от времени получал несколько квадратных листочков грубой коричневой бумаги, которые мы берегли как зеницу ока.) Затем мы совершали утренний туалет с помощью алюминиевых тазиков и кувшинов с водой, которые раз в день приносила одна или другая из «сестер Лари-ос». Во время этих визитов лица у Фелиситас и Ренегады были каменные, они отвергали все мои мольбы, игнорировали все мои ругательства.

— До чего вы докатитесь?! — орал я им. — Чем еще вы готовы ублажить этого жирного идиота? Убийством, да? Поедете до конечной? Или раньше сойдете?

Под этим градом поношений они оставались неумолимы, бесстрастны, глухи. Аои Уэ втолковала мне, что сохранить необходимое самоуважение в подобной ситуации можно лишь храня молчание. После этого я не говорил женщинам Миранды ни слова.

Когда музыка прекращалась, мы принимались за работу: она за свои чешуйки краски, я за эти страницы. Но посреди предписанных трудов мы находили время для разговоров, когда, по взаимному соглашению, говорили о чем угодно, кроме нашего теперешнего положения; и для коротких ежедневных «деловых совещаний», когда мы

осторожно обсуждали пути к спасению; и для физических упражнений; и для одиночества, когда мы сидели каждый сам по себе, не произнося ни слова и пестуя свои потаенные, поврежденные "я". Так мы цеплялись за нашу человечность, отказывая застенку в праве формировать нас. «Мы больше, чем эта тюрьма, — говорила Аои. — Мы не должны съеживаться по ее размеру. Мы не должны превращаться в привидения этого идиотского замка». Мы играли в игры — в слова, в запоминание, в «ладушки». И часто, без всякого сексуального побуждения, мы держали друг друга в объятиях. Иногда она позволяла себе содрогаться и плакать, и я позволял, позволял ей. Гораздо чаще плакал я сам. Ибо я чувствовал себя старым и дряхлым. Мне опять стало трудно дышать, труднее, чем когда-либо раньше; у меня не было с собой лекарств, и просить о них было бесполезно. Помутившимся, измученным сознанием я понимал, что тело шлет мне простое и непререкаемое известие: игра сыграна.

Лишь одно событие дня происходило не по расписанию. Это было посещение Миранды, когда он проверял, как движется работа у Аои, забирал у меня исписанные страницы, давал мне чистую бумагу и карандаши; а также по-всякому

прохаживался на наш счет. У него имеются для нас клички, заявил он, ибо кто мы такие, как не его кобель и сука, посаженные им на цепь?

— Мавр, он, конечно, и есть Мавр, — сказал Васко. — А вы, милая моя, будете отныне его Хименой.

Я рассказал Аои Уэ о моей матери, которую она воскрешала из мертвых, и о цикле ее картин, в которых другая Химена встретила, полюбила и предала другого Мавра. Аои сказала в ответ:

— Я тоже любила; любила Бене, моего мужа. Но он изменял мне, очень часто, во многих странах, он ничего не мог с собой поделать. Он любил меня и предавал меня, продолжая любить. В конце концов именно я разлюбила его и ушла; я перестала его любить не из-за этих измен — к ним я привыкла, — а из-за некоторых его привычек, которые всегда меня раздражали и в конце концов свели на нет мою любовь. Очень мелких привычек. Он с наслаждением ковырял в носу. Очень долго плескался в ванной, пока я ждала его в постели. Не отвечал улыбкой на мой взгляд, когда мы были на людях. Тривиальные вещи; или не такие уж тривиальные? Не знаю — может быть, мое предательство было хуже, чем его, или, по крайней мере, такое же? Не важно. Я хочу

только сказать, что все равно наша любовь для меня — самое главное, что было в моей жизни. Побежденная любовь — все равно сокровище, и те, кто выбирает безлюбье, не одерживают никакой победы.

Побежденная любовь… О душераздирающие отзвуки прошлого! На моем маленьком столе в этой камере смертников молодой Авраам Зогойби объяснялся в любви наследнице империи пряностей и вступал в войну против сил уродства и ненависти на стороне красоты и любви; но правда ли это — или я приписываю моему отцу мысли Аои? Сходным образом, ночами мне по-прежнему снилось, что с меня сдирают кожу; и когда я писал о подобных видениях Оливера д'Эта или о давних мастурбаторных мечтаниях Кармен да Гамы, когда по моей воле в своем одиноком воображении она мечтала о том, чтобы ее ободрали и лишили жизни, -кем была она, как не моим творением? Как и все прочие; каковыми они и должны быть, не имея, кроме моих слов, иных возможностей для бытия. И о побежденной любви я знаю не понаслышке. Когда-то я любил Васко Миранду. Да, это было. Человека, который теперь хочет убить меня, я в прошлом любил… но в моей жизни было еще более тяжкое поражение.

Ума, Ума.

— Что если та, кого ты любишь, не существует вовсе? -спросил я Аои. — Что если она вылепила себя согласно своему представлению о том, чего ты жаждешь? Что если она разыграла роль женщины, перед которой ты должен был пасть, не мог не пасть, роль твоей тайной мечты? Что если она добилась твоей любви с той именно целью, чтобы предать тебя, — что если предательство было не любовной неудачей, а первоначальным намерением?

— И все же вы любили ее, — ответила Аои. — Вы не разыгрывали роль.

— Да, но…

— Это ничего не меняет, — отрезала она. — Все то же самое.

x x x

— Слышь-ка, Мавр, — сказал Васко. — Я тут в газете прочитал, что какие-то французы выдумали чудо-лекарство. Замедляет процесс старения — представляешь себе? Кожа остается упругой, кости остаются твердыми, органы продолжают работать на полную катушку, человек сохраняет общий тонус и умственную свежесть. Скоро начнутся клинические испытания на добровольцах.

Обидно, да? Твой поезд уже ушел.

— Разумеется, — отозвался я. — Благодарю за сочувствие.

— Почитай на досуге. — Он протянул мне вырезку. — Прямо эликсир жизни. Да, не хотел бы я оказаться на твоем месте.

x x x

А по ночам были тараканы. Ложем для нас служил соломенный тюфяк, покрытый мешковиной, и в темноте твари вылезали из него наверх, просачивались по тараканьему обыкновению сквозь тончайшие трещины во Вселенной, и мы чувствовали, как они елозят по нашим телам, словно грязные пальцы. Поначалу я содрогался, вскакивал на ноги, вслепую топал ногами и охлопывал себя руками, лил горючие слезы страха. Когда я плакал, воздух вырывался из моей груди со свистом и шумом, как у осла. «Нет, нет, — утешала меня Аои, когда я трясся в ее объятиях. — Нет, нет. Надо научиться оставлять это, как оно есть. И страх, и стыд — как они есть». И она, самая утонченная и разборчивая из женщин, подавала мне пример: никогда не вздрагивала и не жаловалась, проявляла железное спокойствие, даже если тараканы забирались в ее волосы. И

мало-помалу я начал вести себя, как она.

Наставляя меня, она напоминала мне Дилли Ормуз; за работой она становилась воплощением Зинат Вакиль. Она объяснила мне, что ее задача оказалась выполнимой из-за тонкой пленки лака, наложенной поверх нижнего слоя краски. Два мира стояли на ее мольберте, разделенные невидимой границей, которая делала возможным их окончательное разделение. Но при этом разделении одному из миров предстояло погибнуть, а другой легко мог быть поврежден. «Запросто, — сказала мне Аои, — например, если моя рука дрогнет от страха». Она чрезвычайно изобретательно находила практические резоны для того, чтобы не бояться.

Мой прежний мир был уничтожен пожаром. Я попытался из него выпрыгнуть и упал в огонь. Но разве она, Аои, заслужила такой конец? Она была странницей и немало перестрадала в жизни, но как уютно ей было в этой оторванности от корней, как легко в самой себе! Так что, в конце концов, человеческое "я" оказывалось мыслимо как нечто автономное, и мультипликационный моряк Попай — как и Иегова -был, похоже, близок к истине. Я — э то я, вот кто я такой, ясно вам? И к чертям собачьим все эти ваши корни. Божье имя

оказалось заодно и нашим именем. Я это я это я это я это я… Так скажи сынам Израилевым: я сам, Сущий, послал себя к себе.

Сколь ни была ее судьба незаслуженной, Аои встретила ее лицом к лицу. И долгое время не позволяла Васко видеть ее страх.

Что пугало Аои Уэ? Я пугал ее, мой читатель. Да, именно я. Пугал не внешностью и не поведением. Пугал словами, которые я писал на бумаге, этим ежедневным молчаливым пением о моей жизни. Читая мои записки прежде, чем Васко их забирал, узнавая всю правду об истории, в которую она была безвинно вовлечена, — она содрогалась. Ужасаясь тому, как мы поступали друг с другом из поколения в поколение, она с ужасом думала о том, что мы способны сотворить сейчас, сотворить с самими собой и с ней. В самых тяжких местах повести она закрывала лицо руками, и голова ее начинала трястись. Я, нуждавшийся в ее спокойствии, державшийся за ее самообладание, как за спасательный круг, в смятении ощущал свою ответственность за эти судороги.

— Неужто это была такая скверная жизнь? — спросил я ее однажды, спросил жалобно, как ребенок, ищущий опоры у воспитательницы. — Неужто действительно совсем, совсем скверная?

Я увидел, как перед ее глазами проходят разные эпизоды — горящие плантации пряностей, смерть Эпифании в домашней церкви на глазах у Ауроры. Тальк, мошенничество, смертоубийство.

— Конечно, — ответила она, пронзив меня взглядом. — Все вы… ужасно, просто ужасно. — И, помолчав, добавила: -Почему вы не могли просто… успокоиться?

Вот она, наша история в сжатом виде, наша трагедия, разыгранная клоунами. Напишите это на наших могилах, прошепчите это ветру: несчастные да Гама! Несчастные Зогойби! Они просто не умели успокаиваться.

Мы были согласными без гласных — корявыми, неоформленными. Может быть, если бы она была с нами и оркестровала нас, наша фея гласных звуков… Может быть, тогда. Может быть, в иной жизни, за развилкой пути она пришла бы к нам, и мы все были бы спасены. Ведь в нас есть, в каждом из нас, некая доля света, доля иной возможности. Мы начинаем жизнь с ней и с ее темной противодолей, и они до самого конца тузят и лупят друг друга, и если драка кончится вничью, нам, считай, еще повезло.

Что до меня… Мне никто ни разу не подал руку помощи. И только теперь я нашел мою Химену.

Под конец она стала отдаляться от меня, сказала, что не хочет больше читать; и все-таки читала, вливая в себя каждый день еще немного ужаса, еще немного отвращения. Я умолял ее простить меня, я сказал ей (во мне до конца, выходит, сохранились дурацкие пережитки катоиудейства!), что хочу получить от нее отпущение грехов. Она ответила: «Я этим не занимаюсь. Ищите себе священника». После этого расстояние между нами увеличилось.

Когда наши труды приблизились к завершению, страх навис над нами совсем низко и дождем посыпался нам в глаза. У меня начались долгие приступы кашля, когда, выворачиваясь наизнанку и истекая слезами, я чуть ли не желал задохнуться и умереть, оставив Миранду ни с чем. Моя рука дрожала над листом бумаги, Аои часто прекращала работу, брела, звеня цепью, к стене и там, сев и обхватив себя руками, собиралась с духом. Теперь я тоже был в ужасе, ибо воистину ужасно было видеть, как ослабевает эта сильная женщина. Но когда, в эти последние дни, я пытался утешить ее, она отталкивала мою руку. И конечно же, Миранда все это видел, видел упадок ее душевных сил и наше отчуждение; он веселился, глядя на то, как мы сдаем, и дразнил

нас: «Ну что, может, сегодня с вами расправиться? Да, пожалуй! Нет, все-таки лучше завтра». Ему не нравилось, как я его изображаю в моих записках, и дважды он приставлял дуло пистолета к моему виску и нажимал на спусковой крючок. Патронник оба раза был пуст, и, к счастью, пуст был мой кишечник; иначе, конечно же, мое унижение было бы очевидным.

— Он этого не сделает, — стал повторять я механически. -Не сделает, не сделает, не сделает, Аои Уэ не выдержала.

— Еще как сделает, ублюдок ты несчастный! — закричала она, икая от ужаса и гнева. — Он с-сумасшедший, совсем сумасшедший, он к-колется!

Разумеется, она была права. Обезумевший Васко стал под конец жизни тяжелым наркоманом. Васко Миранда, потерявший иголку, обрел теперь иголки во множестве. Поэтому, когда он придет расправляться с нами, в его крови будет играть дурная отвага. Вдруг с одышливым содроганием я вспомнил, как он выглядел после того, как прочел мое описание рейда Авраама Зогойби в мир детских присыпок; я вновь увидел кривую улыбку на его лице, когда он злорадствовал на наш счет, и вновь услышал — с леденящим душу

пониманием — его голос, когда он пел, спускаясь по лестнице:

«Бэби Софто» — чистота,
«Бэби Софто» — красота,
Лучшим деткам достается
Мягенький наш «Софто».

Конечно же, он убьет нас. Я воображал, как он будет сидеть подле наших трупов, очистившись насилием от ненависти, и смотреть на обнажившийся портрет моей матери; наконец-то вместе с той, кого он любит. Так будет сидеть, глядя на Аурору, пока за ним не придут. И тогда, может быть, выстрелит в себя последней — серебряной — пулей.

x x x

Помощь так и не явилась. Закодированные сообщения не были поняты, Сальвадор Медина ничего не заподозрил, «сестры Лариос» оставались верны своему хозяину. Не тальковая ли это верность, думал я, и не балуются ли эти женщины, помимо швейных, иными иголками?

Я довел рассказ до моего приезда в Бененхели, и с мольберта, баюкая пустоту, уже смотрела на меня моя мать. Мы с Аои почти не разгова-

ривали; со дня на день мы ждали конца. Порой среди этого ожидания я молча вопрошал портрет матери в надежде получить ответы на великие вопросы моей жизни. Я хотел знать, была ли она любовницей Миранды, или Рамана Филдинга, или кого бы то ни было еще; я просил дать мне доказательство ее любви. Она ничего не отвечала — только улыбалась.

Часто я смотрел на работающую Аои Уэ. На женщину, которая была мне такой близкой и такой чужой. Я мечтал встретиться с ней позже, когда мы чудесным образом спасемся, на открытии выставки в какой-нибудь другой стране. Бросимся мы друг к другу — или посмотрим и пройдем мимо, не подав виду, что узнали? После ночной дрожи и ночных объятий, после тараканов что мы будем значить друг для друга — все или ничего? Может быть, хуже, чем ничего; может быть, каждый из нас напомнит другому о худшем времени в нашей жизни. И мы почувствуем взаимную ненависть и в ярости отвернемся друг от друга.

x x x

О, я в крови, я весь в крови. Кровь на моих трясущихся руках и на моей одежде. Кровь пятнает

страницы, на которых я сейчас пишу. О вульгарность, о пошлая недвусмысленность крови. Как она безвкусна, как бессодержательна… Я вспоминаю газетные сообщения о зверствах, о невзрачных служащих, оказывающихся жестокими убийцами, о гниющих трупах, обнаруженных под половицами спальни или под дерном лужайки. Вспоминаю фотографии уцелевших — жен, соседей, друзей. «Еще вчера мы жили богатой и разнообразной жизнью, — говорят эти лица. — И вот случилась эта мерзость; теперь мы не более, чем ее принадлежность, мы статисты в кровавой драме, не имеющей к нам отношения. Нам и присниться не могло, что подобное может иметь к нам отношение. Мы раздавлены, уплощены, сведены к нулю».

Четырнадцати лет достаточно, чтобы возникла новая генерация; или чтобы произошла регенерация. За четырнадцать лет Васко мог бы выщелочить из себя горечь, мог бы очистить душу от ядов и вырастить новый урожай. Но он увяз в трясине былого, насквозь промариновался в желчи и унижении. Он тоже был узником в этом доме, ставшем величайшей глупостью его жизни, он по своей воле угодил в ловушку собственной несостоятельности и неспособности сравняться

с Ауророй; он был пойман невыносимой для слуха петлей обратной связи, пронзительной петлей воспоминаний, голосивших все громче и громче, пока от их звука не стало лопаться и трескаться все подряд. Барабанные перепонки; стекло; жизни.

То, чего мы страшились, настало. Прикованные цепями, мы ждали; и вот оно наконец. Когда я довел повествование до рентгеновской комнаты и Аурора скинула с себя последние ошметки плачущего всадника, в полдень Васко явился к нам в своем султанском облачении и черной шапочке [157], бренча висящими на поясе ключами, держа в руке револьвер и мурлыкая тальковую песенку. Похоже на бомбейскую версию ковбойского фильма, подумал я. Решающая стычка средь яркого дня, правда, только один из нас вооружен. Бесполезно, Тонто. Мы окружены.

Лицо у него было темное, не такое, как раньше.

— Не делайте этого, — сказала Аои. — Вы будете раскаиваться. Прошу вас.

Он повернулся ко мне.

— Госпожа Химена хочет остаться в живых,

---

157 Примечания: 157

Черную шапочку надевает английский судья при объявлении смертного приговора.

Мавр, — проговорил он. — Неужто не бросишься ее спасать? Неужто не будешь драться за нее до последнего вздоха?

Солнце падало на его лицо узкой полосой. Глаза у него были розовые, рука с револьвером дрожала. Я не понимал, о чем он говорит.

— У меня нет возможности драться, — ответил я. — Но если снимешь с меня цепь и положишь пистолет, тогда будь уверен: я сражусь с тобой за наши жизни.

Из-за астмы мой голос звучал как рев осла.

— Настоящий мавр, — сказал Васко, — должен броситься на обидчика своей дамы, даже если это означает его неминуемую смерть.

Он поднял пистолет.

— Прошу вас, — сказала Аои, вжимаясь спиной в стену из красного кирпича. — Мавр, ну же.

Однажды в прошлом женщина просила меня умереть ради нее, но я выбрал жизнь. Теперь меня просили снова; просила более достойная, которую я, однако, любил меньше, чем первую. Как мы цепляемся за жизнь! Если я кинусь на Васко, это продлит ее жизнь лишь на мгновение; но каким же бесценным казалось ей это мгновение, каким нескончаемо длительным, как она молила о нем, как презирала меня за отказ подарить ей

эту вечность!

— Мавр, прошу вас, пожалуйста. Нет, подумал я. Нет, не хочу.

— Поздно, — весело сказал Васко Миранда. — О вероломный и трусливый Мавр!

Аои вскрикнула и бесцельно бросилась бежать через комнату. В какой-то миг верхняя часть ее тела оказалась заслонена картиной. Васко выстрелил всего один раз. Пуля пробила холст над Аурориным сердцем и вошла в тело Аои Уэ. Она тяжело повалилась на мольберт, схватившись за него руками, и был такой момент — представьте себе это! — когда ее кровь потекла сквозь рану в груди моей матери. Потом портрет упал вперед, ударился об пол правым верхним углом рамы, перевернулся и лег лицом вверх, обагренный кровью Аои. Та, напротив, рухнула лицом вниз и больше не двигалась.

Картина была испорчена. Женщина была убита.

Итак, не она, а я выиграл это мгновение, столь необъятное в предвкушении, столь краткое в воспоминании. Я отвел полные слез глаза от распростертого трупа Аои. Я повернулся к моему убийце лицом.

— Плачь же, как женщина, — сказал он мне, —

о том, чего ты не умел защитить, как мужчина.

Потом он попросту лопнул. Из недр его тела послышалось бульканье, его задергало, словно невидимыми бечевками, и потоки его крови смели все плотины, они хлынули у него из носа, рта, ушей, глаз. — Клянусь, именно так! — Кровавые пятна стали расплываться по его мавританским шароварам, спереди и сзади, и он плюхнулся на колени в натекающую из него смертельную лужу. Была кровь, и еще раз кровь, кровь Васко смешалась с кровью Аои, кровь плескалась у моих ног, текла под дверь и капала вниз, сообщая новости Аврааму и рентгеновским лучам. — Вы скажете, передозировка наркотика. Одна лишняя игла в руку, и тело не выдержало, дало течь в дюжине мест. — Нет, это было другое, из прежних времен, та, старая игла, игла воздаяния, проникшая в него еще до того, как он совершил преступление; или (и) это была сказочная игла, осколок льда, оставшийся в его жилах после встречи со Снежной Королевой, моей матерью, которую он любил и которая свела его с ума.

Умирая, он упал на портрет моей матери, и вытекающая из него кровь залила полотно. Аурора тоже была утрачена безвозвратно, она так и не заговорила со мной, так ни в чем и не призналась,

так и не дала мне то, в чем я нуждался, -свою безусловную любовь.

Что до меня, я вернулся к столу и дописал мою повесть.

x x x

Кладбище заросло грубой травой, высокой и колкой, и, сидя на этом могильном камне, я, наверно, кажусь покоящимся на ее желтых остриях, невесомым, сбросившим все и всяческие ноши, парящим, едва касаясь густой поросли чудесным образом негнущихся лезвий. Мне отпущено немного времени. Счет моим вздохам, как годам античного мира, идет в обратном порядке, и до нуля уже близко. На это паломничество я истратил мои последние силы; ибо когда я пришел в себя, когда я освободился от цепи с помощью ключей, которые снял с пояса у Васко, когда я довел до конца мои записки, отдав последнюю дань чести и бесчестия двоим умершим, -тогда мне стало ясно, что я еще должен сделать в жизни. Я надел мое пальто, потом, выйдя из камеры, разыскал в кабинете Васко все написанное мною и рассовал по карманам пухлую пачку бумаги, прихватив еще молоток и гвозди. Экономки обнаружат тела очень скоро, и тогда Медина отправится по следу.

Пусть найдет меня, решил я, пусть не думает, что я не хочу быть найденным. Пусть узнает все, что следует узнать, и поделится этим знанием с кем сочтет нужным. И вот я начал прибивать листы моей истории всюду, где проходил. Я держался в стороне от дорог; несмотря на то, что легкие отказывались служить, я ковылял по каменистой земле и крался по руслам пересохших рек, ибо во что бы то ни стало хотел добраться до цели прежде, чем меня настигнут. Я весь покрыт ссадинами от колючих кустов, веток и камней. Я не обращал на это внимания: если напоследок с меня слезает кожа, я только рад избавиться от этой обузы. И вот я сижу здесь в последнем свете дня, на этом камне, среди этих олив, и смотрю через долину на дальний холм; там высится она, гордость мавров, жемчужина их мастерства, их последний оплот. Европейский красный форт, Альгамбра, родная сестра фортов в Дели и Агре, дворец проникающих друг в друга форм и потаенной мудрости, переплетение покоев, двориков и садов, памятник несбывшейся возможности, уцелевший вопреки всему до наших дней и намного переживший своих завоевателей; свидетельство утраченной, но сладкой любви, пребывающей вопреки поражению, уничтожению и отчаянию,

побежденной любви, которая выше того, что ее победило; свидетельство этой глубочайшей из наших потребностей, потребности к слиянию, к стиранию границ, к выходу за пределы собственною "я". Да я увидел ее через океанскую равнину, хотя мне не довелось пройти по ее благородным залам. Я вижу, как она тает в сумерках, и на мои глаза наворачиваются слезы.

В головах этого могильного камня выбиты три искрошившиеся буквы; я читаю их пальцем. R I P [158]. Что ж, очень хорошо: я упокоюсь с надеждой на мир. Сколько их, объятых сном, ожидает поры, когда можно будет проснуться? Артур спит в Авалоне, Барбаросса — в своей пещере. Финн Маккул [159] лежит среди ирландских холмов, Червь Уроборос [160] — на дне Разделяющего моря. Ванджина, предки австралийских аборигенов, покоятся под землей, и где-то в чаще терновника красавица в хрустальном гробу ждет поцелуя принца. У меня под рукой моя фляга. Выпью

---

158 Примечания: 158

Requiescat in pace (лат) — покойся в мире.

159 Примечания: 159

Финн Маккул — герой кельтского эпоса, отец Оссиана.

160 Примечания: 160

Уроборос — змей, кусающий себя за хвост, древний символ у египтян и греков.

вина; а потом, новоявленный Pun Ван Винкль, лягу на этот старый камень, положу голову чуть ниже букв R I P и закрою глаза, чтобы, как исстари повелось в моей семье, уснуть в час беды с надеждой на радостное и светлое пробуждение в лучшие времена.